

НОВОБЫИ
МИР

НОВОБЫИ
МИР

НОВОБЫИ
МИР

1967

7



1967

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIII

№ 7

Июль, 1967 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
БЕРДЫ КЕРБАБАЕВ — <i>Размышления на высоте восьми тысяч метров.</i> Перевел с туркменского В. Курдицкий	3
И. ГРЕКОВА — <i>На испытаниях</i> , повесть	14
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — <i>Из новых стихов</i>	110
ВИКТОР АСТАФЬЕВ — <i>Ясным ли днем</i> , рассказ	112
ПУБЛИЦИСТИКА	
В. МОЕВ — <i>Вокруг автомобиля</i>	129
Е. ГНЕДИН — <i>Не меч, но мир</i> (Заметки о становлении советской дипломатии)	154
В МИРЕ НАУКИ	
ДИАЛОГ ИСТОРИКОВ. Переписка А. Тойнби и Н. Конрада	174
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
ВСЕСОЮЗНЫЙ СТАРОСТА. Публикация П. Я. Гурова и В. Н. Шульгина	186
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
<i>Полвека советской литературы</i>	
Ф. БИРЮКОВ — <i>Над страницами «Тихого Дона»</i> (Заметки о стиле)	195
СТ. РАССАДИН — <i>Искусство быть самим собой</i>	206
М. ЧУДАКОВА, А. ЧУДАКОВ — <i>Современная повесть и юмор</i>	222

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	233
И. Виноградов. Любкина свадьба и другие истории.— Ф. Светов. Об ответственности человека.— А. Монгайт. Книга о древнерусской живописи.— Наталья Ильина. Катя за границей.— В. Борнычева. О мастерстве воспитания и «усложненных» формулах.— М. Злобина. Плата за вещи.	
<i>Политика и наука</i>	254
Т. Смирнов. Переработанное и дополненное.— Л. Шкаренков. Дела и судьбы белой эмиграции.— О. Лацис. В зеркале истории.— Н. Эйдельман. В предчувствии краха.— Э. Рабинович. Загадки древней цивилизации.— Вас. Осокин. Вредна ли книжная пыль? — В. Френкель. Размышления фантаста.	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	273
КОРОТКО О КНИГАХ — Ахмедхан Абу-Бакар. Снежные люди.— Сергей Орлов. Дни.— На каторжном острове. Дневники, письма и воспоминания политкаторжан «нового Шлиссельбурга».—Иван Костыря. Пора новолуний.— А. Воронский. Бурса.— Михаил Шур. Повесть с адресом.— Генерал-майор И. К. Спатарель. Против черного барона.— В. В. Кованов. Меридианы, события, встречи.— В. Азерников. Тайнопись жизни.— Исаак Борисов. Есть слова.— Б. С. Рябинин. О любви к живому.— А. Рубакин. Над рекою времени.— Якуб Кадри Караосманоглу. Дипломат поневоле.— Станислав Панкратов. Вахрушев.— Ф. Сыркина. Александр Григорьевич Тышлер.— Стелла Корытная. Пером и объективом	278
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

БЕРДЫ КЕРБАБАЕВ

★

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ВОСЬМИ ТЫСЯЧ МЕТРОВ

Октябрьская революция, строительство социализма разбудили и подняли к самостоятельному историческому творчеству отсталые в прошлом народы, а некоторые из них были спасены от физического вымирания. В ходе строительства социализма они обрели собственную государственность, ликвидировали свою экономическую и культурную отсталость, приобщились к высшим социалистическим формам хозяйства и культуры.

(«50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Тезисы Центрального Комитета КПСС»)

Недавно я летел из Ашхабада в Ташкент. Летать мне в последние годы, несмотря на восьмой десяток, приходится много, во всяком случае гораздо больше, чем пользоваться наземными способами передвижения. Соседом моим по креслу оказался сын человека, которого я знал в юности: мы разговорились, и одна его случайная реплика вызвала у меня столько раздумий, воспоминаний, ассоциаций, что я затем, по старой своей привычке, вернулся к этому разговору, оставшись в одиночестве со своею тетрадью. А прочитав Тезисы Центрального Комитета КПСС к пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции, я подумал, что не грех мне поделиться своими размышлениями с моими соотечественниками, потому что строки, приведенные в эпиграфе, имеют прямое отношение и ко мне, и к моему народу, и к моей родной туркменской земле.

* * *

Наш лайнер быстро набирал высоту. Хотя в Ашхабаде, когда мы вылетали, было пасмурно — стоял конец нашей «зимы», — в салоне заиграли солнечные зайчики. За стеклами иллюминатора громоздились внизу гигантские комья облаков. Казалось, на невообразимо огромном небесном хармане разбросаны для просушки груды хлопка. Северянину это зрелище наверняка напомнило бы снежный покров.

Молоденькая бортпроводница мило продекламировала пассажирам, что наш «ИЛ» совершит свой путь до Ташкента за один час сорок минут на высоте восьми тысяч метров со скоростью шестьсот пятнадцать километров в час.

— Вот не повезло! И надо же было, чтоб такой тихход нам достался. Если бы «ТУ-114», мы бы, наверное, за час добрались! — прервал ворчливый голос соседа только что возникшее в моей памяти воспоминание детства.

Я обернулся и узнал довольно известного в Ашхабаде врача Сердара Солтанова, с которым был знаком, правда, шапочно. Кивнув ему в знак приветствия, я снова задумался.

— Что это вы так иронически улыбаетесь? — спросил меня вдруг Солтанов.

Иронически улыбаюсь? А я даже не заметил этого.

— Я услышал ваше недовольное замечание как раз в ту минуту, когда мне вдруг вспомнился забавный случай поры моего детства.

— Поделитесь, если это не секрет.

— Какой уж тут секрет! Мальчишками мы очень любили устраивать скачки на ослах. Это было захватывающе увлекательное соревнование. Нам казалось, что мы мчимся, обгоняя ветер. Однажды мой ослик обскакал соперника на целую голову. Я уже торжествовал победу. Но тут мой «иноходец» споткнулся, и я, перелетев через его голову, грохнулся в дорожную пыль.

— Неужто вы боитесь, что мы тоже можем «грохнуть»?

— Нет, не боюсь. Страх и улыбка, как волк и овца, не могут жить рядом. Просто я сравнил скорость бега ослика и нашего самолета.

— Но стоит ли прибегать в наше время к столь далеким сравнениям?

— Стоит. Даже очень стоит. И почему вы считаете это сравнение таким далеким? Ведь на моей памяти, да и на вашей тоже, осел долго оставался чуть ли не главным — если не считать еще коня да верблюда — способом передвижения в нашем родном краю. Но как быстро мы все забываем, как быстро привыкаем к новому, принимаем его как должное, само собой разумеющееся, как не любим оглядываться назад, сравнивать... Вероятно, так происходит потому, что даже для людей вашего поколения, я не говорю уже о зеленой молодежи, недавнее прошлое очень быстро превращается из личного переживания в отчужденную страничку истории — безразлично, идет ли речь о событиях полувековой или пятисотлетней давности.

Солтанов пожал плечами.

— Вот с вами мы разговорились впервые, а ведь мы из одного аула и я знал когда-то вашу семью. Вы помните своего отца?..

Солтанов недоуменно посмотрел на меня.

— При чем здесь мой отец?

— Тогда я скажу иначе: «Аяз-хан, взгляни на свои чарыки»...

Эта пословица родилась из старой туркменской легенды о том, как бедняк Аяз волей случая стал ханом. Зная, что слава и высокое положение часто меняют человека в худшую сторону, он повесил над своим ханским тронном чарыки — сделанную из сыромятной кожи самодельную обувь, в которой обычно ходят бедняки. И когда ему случалось забываться и совершать несправедливость, он неизменно говорил себе: «Аяз-хан, взгляни на свои чарыки».

Солтанов, несомненно, знал эту пословицу. Он улыбнулся и сказал:

— Вы напоминаете мне, чтобы я не забывал отцовской бедности.

— Хотя бы это.

— К сожалению, отец для меня — образ довольно расплывчатый: он умер, когда мне еще и года не было.

— Тем более не мешало бы поинтересоваться прошлым своих близких. А отца вашего я хорошо знал.

В глазах Солтанова мелькнуло любопытство.

— Вот как?.. Никогда бы не подумал. Что же вы знаете о нем?

Что я знаю о Солтане-ага?.. — думал я. По характеру своему это был человек веселый, остроумный, но вечная бедность лишала его возможности радоваться. Вот он стоит перед моими глазами в старом сте-

ганом халате, прорех на котором больше, чем целых мест. Из прорех во все стороны торчат клочья бурой ваты. Халат подпоясан истершейся шерстяной веревкой — когда-то на ней водили верблюда, потом верблюд околел от старости, и хозяин нашел для недоуздка новое применение. На ногах у Солтана-ага чокаи — лоскуты сыромятной кожи, стянутой поверху ремешком. Что и говорить, обувка немудреная, но и она под стать халату — сплошь в заплатках.

Вижу лицо Солтана-ага, иссеченное морщинами, припухшие веки, поджатую, словно от вечной обиды, нижнюю губу. Бородка редкая, желтая с проседью, и только на скулах кое-где темнеют черные волоски.

Не помню случая, чтобы видел я Солтана-ага праздным. Вечно он был в трудах и постоянно повторял горькое бедняцкое присловье: «Лучше раз в году быть ограбленным, чем целый год жить бедняком». Но ему так и не пришлось быть ограбленным — прожил всю жизнь бедняком.

Да так жили почти все дайхане. Были в ауле, конечно, один-два богача да дюжина более или менее безбедно живущих хозяев, но остальные мало чем отличались от Солтана-ага и так же, как он, хлопая себя по лбу, говорили: «Хлеб от меня на коне бежит, а я его пешком догоняю».

Действительно, ни накормить досыта, ни одеть сколько-нибудь сносно свою многочисленную семью Солтан-ага не имел возможности, при всем своем трудолюбии и старании. Кибитка его ветшала, скотиной своей так и не удалось обзавестись. Порой он посмеивался, сетуя, что голодные женщины чаще рожают, но втайне гордился своим многочисленным потомством и успокаивал себя надеждой, что все еще может измениться к лучшему и завтра дети его накормят досыта, хотя сам он сделать этого для них не сумел.

А когда наступил неурожайный 1916 год, люди и вовсе забыли вкус пшеничного хлеба; основной пищей большинства дайхан стал жмых. Солтан-ага толлок его в ступе, и желтая пыль покрывала бороду и тощую обнаженную грудь. Он выглядел совсем стариком, хотя лет ему было столько, сколько сейчас его сыну Сердару, который сидит рядом со мной и выглядит человеком в расцвете сил, хотя ему уже за пятьдесят и одет он в дорогой новомодный костюм. Позднее Солтан-ага от голода совсем лишился разума, опух и вскоре успокоился от земных забот на сельском кладбище, где каждый день прибавлялось по нескольку новых могил...

Вот что знал я о Солтане-ага. Жизнь его была сплошной трепкой нервов, непрерывными поисками хлеба насущного. Но только ли у него была такая жизнь? Девяносто из ста дайхан влачили такое же существование. Как подумаешь о прошлом — в глазах темнеет: что приходилось пережить людям!

Там, где наши деды и отцы проложили в пустынях долгие и трудные караванные пути, теперь пролегают оросительные каналы и расцветает земля, а в небе проносятся самолеты. На них теперь люди преодолевают путь из одного конца республики в другой за считанные минуты. Сколько почтенных дайхан, ни разу не выдавших обыкновенного поезда, преспокойно садятся теперь в самолет и отправляются по своим делам, а то и просто в гости.

Думаю я и о себе. Кто я такой? Кто дал мне право и возможность говорить от имени моего народа? И хотя о том, что умный не начинает разговора словом «я», говорил еще классик туркменской литературы великий поэт и философ Махтумкули, — я позволю себе дать читателю повод обратиться ко мне слова великого поэта в качестве упрека.

Скажу о себе.

Возможность появиться на свет, дышать и воспринимать окружающий мир дал мне отец. Но жизнь во всем ее полнокровии и многообразии дала мне Великая Октябрьская социалистическая революция. Чело-

веком в самом полном смысле этого слова сделала меня советская власть.

Сравнение — аргумент величайшей убедительности. Если в любой развитой капиталистической стране установится подлинно народная власть, власть трудящихся, это будет огромным благом для ее народа. Но жизнь его в новых условиях, вполне понятно, не будет так резко контрастировать с его недавним прошлым, как контрастируют вчера и сегодня Туркмении, которую Великий Октябрьский вихрь перенес из самого дремучего феодализма в новое, социалистическое общество. И потому, пока бьется мое сердце, язык мой не устанет славить Революцию и Ленина, славить Коммунистическую партию, упорно и настойчиво осуществляющую ленинские заветы, славить великий русский народ, благодаря братской помощи которого Туркмения стала страной высокого благосостояния народа и стремительно развивающейся национальной культуры, стала равноправным членом содружества советских народов.

Трудная и кровавая история у моего народа. Не случайно у него родилась поговорка: «Сабля ржавеет, когда покоится в ножнах». Но совсем не о его воинственном духе, не об агрессивных устремлениях свидетельствует она, а о том, что волей судеб дайханину слишком часто приходилось оставлять кетмень и братья за саблю, чтобы защитить свою горькую и прекрасную землю от иноземных захватчиков. Много их — самых разных — прошло по просторам Туркмении. Императоры, ханы, шахи — греческие, монгольские, арабские, иранские, — все они оставляли за собой дымящиеся руины и реки крови. Нет на туркменской земле места, где не оставило бы своего следа копыто коня чужеземца, нет селения, вблизи которого не возвышались бы безобразные развалины когда-то прекрасных зданий.

Обширны земли Туркмении, но малочислен был ее народ. И трудно было людям бороться за свободу своих детей, за сохранность дома своего, за независимость родного края. И потому неоднократно обращали туркмены с надеждой взгляды на север, стремились к дружбе с могучим и справедливым русским народом. Еще в начале XVIII века туркмены послали своего представителя Ходжу Непеса к русскому царю Петру I с просьбой взять их под свое покровительство и помочь повернуть Аму-Дарью от Аральского моря по ее прежнему руслу — в Каспийское море. И не вина народа, что предательские действия хивинского хана помешали успеху русской экспедиции.

В 1802 году русское подданство приняли северные туркменские племена. На стороне России выступали приатрекские племена во время русско-персидской войны 1804—1814 годов. И еще можно привести множество примеров, когда с просьбой принять их в русское подданство обращались туркмены долины Атрека, старшины текинских родов и другие. И нет вины на народе в том, что мирным помыслам не сопутствовали мирные дела.

Неумная политика царского правительства предпочитала опираться на военную силу. В Туркмению пришли войска. Но ведь за дружеский достархан сажает только доброго гостя, пришедшего с раскрытыми ладонями. А того, кто бряцает саблей, встречают на поле брани! Вот потому и произошли столкновения, во многом подогретенные агентурой некоторых иностранных держав, — для них присоединение Туркмении к России костью становилось поперек горла. Вот потому и пролилась напрасно русская и туркменская кровь. Именно в этот период один из русских генералов сказал злые и несправедливые слова: «Туркмены — это черное пятно на земном шаре, и его необходимо стереть». Но так думали немногие.

Я — туркмен, я родился и вырос в этом самом «черном пятне», которое не стерли и которое стереть невозможно, и я убежден и готов всегда утверждать, что просчет царского правительства не повредил отношению туркмен к русским. Пусть силой была образована Закаспийская область, но ведь в дальнейшем кровавые геоктепинские события больше не повторялись. По решению чрезвычайного маслахата — совещания мервских туркмен — состоялось добровольное присоединение Мервского оазиса к России. Три месяца спустя русское подданство принял Иолтанский оазис, а затем и Пендинский, несмотря на все усилия англичан спровоцировать военный конфликт между русскими и туркменами.

Присоединение Туркмении к России в восьмидесятых годах прошлого века было необходимым хотя бы уже потому, что Туркмения благодаря этому избежала ярма английского колониализма. Но главное заключалось в том, что русские принесли нам прогрессивные идеи, искры революционного огня. Не случись этого, я нынче, может быть, не помнил бы имени своей родной матери. Но это — случилось, и я — туркмен и сын туркмена, которому на роду, казалось бы, написано было полунищенское существование, — иду по миру с высоко поднятой головой, потому что я — гражданин прекрасной и могучей страны.

— Кажется, Аму-Дарья... — слышу я голос Сердара Солтанова, прервавший ход моих мыслей.

Я наклоняюсь к иллюминатору. Да, это она — великая сумасбродка, артерия жизни — Аму. «Джейхун» — Безумная — звали ее в древности. По непостижимой прихоти своей бросалась она из стороны в сторону, десятки раз меняя русло, оставляя одни селения умирать от жажды и затопляя другие. И в то же время ее желтые плодородные воды почитались священными, они давали жизнь. Окунуть в Аму руки, омыть лицо в ней, — как для индийца в водах Ганга, — и придет очищение от всех грехов. Иногда мулла или табиб (знахарь), омыв в ней руку, давал воду Аму-Дарьи больному как лекарство.

Все это я сказал вслух, и Сердар Солтанов, улыбаясь уголками губ, провел ладонями по воображаемой бороде — ритуальный жест благодарения аллаху. Я сделал вид, что не понимаю его шутки, и спросил:

— Вы тоже омывали руки в Аму-Дарье?

— Конечно, — охотно ответил он.

— И лицо омывали?

— И лицо омывал.

— Значит, жест ваш надо понимать как знак одобрения дедовских способов врачевания?!

Мы оба рассмеялись, и он сказал:

— Да, поди попробуй нынче убедить кого-нибудь, что щепоть праха с могилы святого полезнее таблетки тетрациклина! Самый древний шарпец, который до сих пор исправно по пять раз на день свершает намаз, и тот, чуть в боку кольнет, бежит к врачу.

— Между прочим, — усмехнулся Солтанов, — рассказывали мне любопытный случай. Не так давно это было, забыл только, в каком ауле. Там один доморощенный лекарь пользовался необыкновенной славой: он излечивал почти всякую хворь, с какою бы ни обращались к нему люди. Дошло это до райздравстдела — заинтересовались, что за целитель такой искусный объявился. На поверку оказалось, что у этого целителя есть все новейшие лекарства, которые не только в колхозной больнице, а и в городской аптеке не всегда достанешь. И он пользовался лекарствами сравнительно правильно. А знаете почему? Время от времени он ездил в город, ходил к врачам и жаловался на те недуги, с которыми обращались к нему односельчане. Врачи прописывали ему лекарства, а он потом выдавал их своим пациентам. Каков фрукт, а? И вдобавок еще

оригинал — плату за лечение обычно не брал, но в знак благодарности принимал иногда ковры и обязательно старые. Почему бы это — старые, как вы думаете?

— Думаю, что просто хорошо разбирается в коврах.

— А разве нынешние ковры плохие?

— Нет. Ковры наши хороши, недаром они пользуются мировой известностью.

— Тогда в чем же дело?

— Да в том, что нынче ковроделие стало отраслью промышленности, а прежде оно было искусством.

— Значит, прежде ковроделие не было прибыльным делом?

— Напротив. Очень прибыльным. Недаром баи, да и вообще состоятельные люди всячески поощряли его и заставляли бедняков расплачиваться за их долги коврами. Брала они их, конечно, за гроши, а продавали раз в десять — пятнадцать дороже. Но я хотел сказать о другом — ковроделию тогда уделяли значительно больше внимания, нежели теперь. Каждый год дважды устраивались выставки ковров — лучшим ковровщицам присуждали золотые и серебряные медали, давали денежные премии. А сейчас, насколько мне известно, внимание уделяют выполнению плана, количеству ковров. А когда количество — бог, качество — раб. Боюсь, что скоро ковры наши, которые на протяжении десятка столетий были национальной гордостью нашего народа, станут отличаться от машинных только своей непомерной стоимостью. Уже и сейчас сколько угодно примеров, когда колхозники сплошь и рядом вывозят из Москвы машинные ковры.

— Может быть, потому, что на более дорогие у них денег не хватает?

— Ну нет! Теперь рядовой колхозник нередко зарабатывает в месяц столько, сколько получает хороший техник или даже инженер. Ведь вот, смотрите, вторая наша национальная гордость — прославленные ахалтекинские скакуны и сегодня окружены самым пристальным вниманием и заботой. На коневодческих заводах стремятся, конечно, к увеличению поголовья, но ни в коей мере не забывают о сохранении и улучшении породы коней. Почему не может быть таким же отношение к ковроделию?

— Может. Но тут уж скорее ваша вина, чем моя, — неожиданно резюмировал Солтанов.

— То есть как это — моя вина?

— А так. Вы же председатель Комитета по государственным премиям республики, почему бы вам не причислить и ковры к числу произведений искусства, поощряемых государственной премией? Пытались вы сделать это?

Нет, не пытался, подумал я со смущением и поэтому промолчал.

Несколько минут мы сидели, занятые каждый своими мыслями.

— Да, — сказал Солтанов, как бы подводя итог своим раздумьям, — жизнь действительно изменилась неузнаваемо. В повседневном круговороте не успеваешь задуматься над этим. А надо бы!

— Конечно. Например, вы этого не помните, но в годы вашего детства книги были настолько редки, что за одну только рукопись Махтумкули отдавали верблюда. Что же касается газет, журналов, театров, кино, то туркмены вообще не представляли себе, что это такое...

— Скажите: «Была беспросветная дикость» — и все станет ясно.

Дикость? Нет, пожалуй, такое определение не будет точным. Верно, население было почти поголовно неграмотным — по официальной статистике грамотность дореволюционного Туркменистана определялась цифрой... 0,7 процента. И все же дикости — как моральной категории —

не было. Народ наш ценил человечность, благовоспитанность. Среди простых дайхан никогда не было случая обмана, о воровстве рассказы- валось только в сказках. Писать не умели, это верно, но слово было крепко и нерушимо. Люди были гордыми, и многие бедняки предпочитали умереть голодной смертью, чем униженно просить милостыню. Но если, говоря так, иметь в виду их быт, то это верно — тут действительно была дикость.

Цепки воспоминания детства — до сих пор стоит перед моими глазами старый наш аул. Маленькие, словно голубиные гнезда, закопченные кизячным и саксауловым дымом кибитки почти не отличались друг от друга. В ауле не было ни одного кирпичного дома, ни одного дерева, под сенью которого можно было бы укрыться от солнца.

Меж кибиток, утирая сопливые носы драным рукавом, бегали детишки. У них были каменно затвердевшие и потрескавшиеся пятки, цыпки на руках, гноящиеся глаза. Удачливой могла считать себя лишь та их малая часть, которой досталось пасти байских овец. Остальные слонялись без дела, хотя с радостью схватились бы за любую работу, способную дать лишний кусок хлеба.

У нашего соседа было восемь душ детей. Ночью они все укрывались одним огромным драным одеялом, возраст его затруднился бы определить сам глава семьи. Зимней ночью они дрожали от холода и жаллись друг к другу, как щенята. Помню, сосед рассказывал отцу: «Сегодня, понимаешь, старшенький мой спрашивает: «Разве холод тоже мерзнет?» Нет, говорю, глупенький, как же это может мерзнуть холод. А он мне: «Почему же тогда холод сквозь дыры к нам под одеяло забирается? Согреться хочет?»

Сосед говорил это смеясь. Но в его выцветших от горя и забот глазах были тоска и безнадежность.

— Я оказался счастливее своих сверстников,— сказал я Сердару Солтанову.— В нашем ауле не было школы, но отец мой разыскал ее в одном из соседних аулов. Он, сам человек неграмотный, лелеял мечту, чтобы хоть один из его сыновей стал ученым человеком. Выбор пал на меня. Но то, что я оказался одним из семерки на тысячу человек,— это дело слепого случая. Мог бы я остаться, как и мои приятели, неграмотным.

Нет меры, которой можно было бы измерить разницу между старым аулом и сегодняшним колхозным селеньем. Сейчас, когда приезжаешь в аул, первое, что бросается в глаза, это жизнерадостность, стремление людей пошутить, посмеяться. От плохой жизни не шутят.

Лучшие здания здесь — школы. Ребятишки соревнуются нынче не в скачках на ослах, а на школьных стадионах. И стоит только заглянуть в их смелые, пытливые глаза, чтобы почувствовать, какая пропасть отделила их от судьбы, которая была бы для них уготована пятьдесят лет назад. Мы ходили с опущенным взором, словно стыдились чего-то, словно боялись, что, подняв глаза, увидим новые невзгоды, которых и без того было в избытке.

Разве может хоть отдаленно старый аул сравниться с большинством нынешних колхозных поселков — с трех-четырёхкомнатными домами под шиферной крышей, с ровными улицами, сплошь засаженными деревьями, с чистотой — когда не то что в доме, а и на улице брошенного клочка бумажки не встретишь.

Естественно, все это самым непосредственным образом связано с коренным улучшением благосостояния наших колхозников, а благосостояние в значительной мере зависит от решения водной проблемы. Самая южная из всех республик, Туркмения отличается на редкость сухим климатом. Она бедна осадками, бедна поверхностными источниками во-

ды, а воды требуется очень много. Во-первых, нужно просто увлажнять землю под посевы. Во-вторых, там, где близки грунтовые воды, необходимы очень обильные поливы, чтобы не допускать резкой и быстрой засоленности земель,— это особенно важно в приамударьинских колхозах и на землях Мургабского оазиса.

Туркменское небо — жестокий ростовщик: оно очень скупое выдает дожди и слишком большой процент берет себе, испаря поливную воду. Маленькие арыки не могли в достаточной мере напоить жаждущие поля. И когда мы говорим, что капля воды ценилась у нас на вес золота, мы говорим неправильно. На вес человеческой крови, а не золота ценилась вода! И потому так часто встречались недобрые названия: «Крoвaвый колодец», «Крoвaвый арык», «Крoвaвый водораздел». Названия их отражали истину, так как нередко в арыках вместо воды текла кровь, когда вспыхивал жестокий спор о справедливости дележа воды, а споры такие случались сплошь и рядом.

Нынче проблема воды в основном решена: приведена в надлежащий порядок ирригационная сеть, построено много новых водохранилищ, через знойные сыпучие пески Каракумов протянулась широкая лента канала. Это одно из самых грандиозных гидротехнических сооружений мира — восьмисоткилометровый (от Керков до Ашхабада) Каракумский канал. Но он протянется еще на шестьсот километров — до самого Каспийского моря.

Как отнесся бы отец моего соседа, Солтан-ага, к рассказу о том, будто в Каракумах кто-то подстрелил утку или поймал рыбу? Он рассмеялся бы и, трясая бородкой, ответил: «Рассказывай эту сказку подалее от меня!» А если бы я сказал ему, что на катере доезжаю от Ашхабада до Аму-Дарьи, он бы лукаво сощурился и спросил: «Кажется, кто-то из нас сошел с ума, верно?»

И он был бы прав в своем неверии, рано состарившийся, измотанный суровой жизнью Солтан-ага. А мы сегодня воспринимаем все это не только как правдоподобное, но и как самое обычное дело. Мы даже недовольны скоростью реактивных самолетов, и сын Солтана-ага, родившийся и выросший в ветхой глинобитной хижине, ворчит: «Ну что это за квартиры строят — четыре комнаты, а повернуться негде! И потолки низкие...» И кривится оттого, что вынужден тратить «целых два часа» на то, чтобы попасть — по прежним понятиям — за тридевять земель.

Да, мы успели забыть дымную кибитку, еле освещенную мигающим светом пятилинейной лампочки. Достать для нее бутылку керосина было проблемой, часто — неразрешимой. Но представить себе сейчас серьезность этой проблемы действительно трудно, зная, что туркменские недра дают свыше десяти миллионов тонн нефти и миллиарды кубометров газа.

Нефтяная промышленность Туркмении развивается такими темпами, что, вероятно, недалеко время, когда республика станет основным нефтяным районом страны, что, безусловно, поможет Туркмении стать еще богаче и краше. Но начиналось-то все это не так давно. Кажется, только вчера ходили по нехоженным каракумским просторам академики Губкин и Ферсман, десятки других русских ученых исследовали почву Туркмении, сотни геологов определяли точки новых месторождений. Здесь, как и во всех других областях хозяйственного и культурного строительства, оказывали нам братскую помощь люди России. И потому все, кто дышит туркменским воздухом, кто кровно связан с туркменской землей, навсегда сохраняют в своем сердце великую благодарность русскому народу.

Нефтяная промышленность важна для нас и тем, что именно здесь начал формироваться рабочий класс Туркмении, которого до Великой Октябрьской социалистической революции мы, собственно, не имели вовсе. Когда я писал роман о нефтяниках, я прожил в Небит-Даге почти

три года — ел хлеб-соль с рабочими, пил с ними их воду. До чего ж радостно и приятно мне было, встречая знакомых, вспоминать, что вот этот инженер был сыном чабана, а этот буровой мастер — из рядовой дайханской семьи, а этот геолог-изыскатель — потомственный рыбак.

Смотришь на все это, радуешься, представляешь далекое и близкое будущее: нефть и хлопок — две великие силы республики, два ее крыла, которые поднимают ввысь экономику и культуру республики. И увлекает нас вперед энергия могучего мотора, имя которому — творческий порыв свободного человека на свободной земле.

Хлопок. Когда-то крошечные наделы дайхан давали ничтожные урожаи низкосортного хлопка. А ныне республика наша дает самый первоклассный, тонковолокнистый хлопок и занимает второе место среди остальных республик по сбору волокна. В минувшем году Туркмения сдала государству более шестисот пятидесяти тысяч тонн этого ценнейшего сырья!

Тонны легко сложить из руды, из угля или нефти. Но из хлопкового пуха — трудно, ох как трудно. А ведь хлопчатник ко всему — самая прихотливая и трудоемкая из всех технических культур, и получить тысячу тонн волокна куда труднее, чем вырастить сто тысяч тонн картофеля или сахарной свеклы.

Однако по труду и доход — хлопок необычайно доходная культура. Причем чем выше сортность, тем выше и стоимость, которая растет заметно быстрее сортности. Не зря хлопок называют «белым золотом» — это не просто красное словцо. Именно благодаря хлопку неизмеримо повысилось благосостояние колхозников. Теперь у сыновей тех, кто не был в состоянии прокормить ишака, есть собственные мотоциклы и легковые автомашины, теперь у них такой достаток, который в прежние времена и присниться не мог.

Увлечшись, я, очевидно, очень горячо стал поверять собеседнику свои мысли, потому что Солтанов вздохнул и сказал, что все это очень интересно, жаль только, что не каждому известно. Сказано это было таким тоном, что я невольно спросил:

— Разве для вас это такая уж новость?

— Новость не новость, но ведь за жизнью не угонишься. Я как-то, знаете, на южной окраине Ашхабада месяца три-четыре не был. Попал туда случайно — и глазам не верю: был пустырь — вырос город. Прямо как в сказке. Чтоб за жизнью угнаться, надо больше ходить, ездить, читать. А когда мне ходить или ездить? То работа, то лекция, то доклад...

— А вы докладов поменьше делайте да покороче. Как часто они только попусту отнимают время и у докладчиков и у слушателей. Наш народ никогда не страдал многословием. Знаете притчу?.. «Два дайхани направились на верблюдах из Ашхабада в Куния-Ургенч. Дорога дальняя, пятнадцать дней ехать надо. Едут они и молчат, едут и молчат. Наконец на пятнадцатый день показался город. «Хвала аллаху, подъезжаем, — говорит один дайханин, — вон уже и минарет виден!» Другой покосился на него и проворчал сердито: «Сроду такого болтуна не видел! Слепой я, что ли?»

— Если следовать этой притче, так мы вообще говорить разучимся, — усмехнулся мой собеседник.

— Не разучимся, — возразил я. — Для полезных дел больше времени останется. Для чтения, например.

Солтанов лукаво сощурился.

— Понятно. Это ваш, так сказать, цеховой писательский интерес, — чтобы больше читали.

Что же в этом зазорного, если и так? — подумал я. Когда ты, дорогой Сердар, родился на свет, трудно было найти в ауле грамотного человека.

А нынче наоборот: чтобы неграмотного найти, надо по радио розыск объявлять, и то, пожалуй, не сыщешь. Когда ты, дорогой мой Сердар, первый раз «мама» сказал, народных шахиров у нас по пальцам считали. А сегодня благодаря русским переводчикам, центральным издательствам туркменская литература обрела всесоюзного читателя и перешагнула границы страны. Я сам видел переводы туркменских книг в Румынии, Чехословакии, Венгрии, Индии. И это, понятно, наполняло мое сердце гордостью.

А наше искусство и национальная культура? Туркменские дезушки, которым ислам строжайше запрещал открывать лицо перед посторонними, предписывал молчание, сегодня поют и танцуют на сценах ашхабадских и московских театров, выступают в городах Европы и Азии. Наши джигиты-конники — желанные гости в любой зарубежной стране, их искусством восхищаются все.

— Настолько желанные, что в собственной республике их почти не видят, — засмеялся Солтанов.

Мы помолчали. Потом заговорили о нашей Академии наук с десятком ее институтов, о проблеме промышленного использования солнечной радиации, — ей сейчас уделяют много внимания наши ученые. В Туркмении почти триста дней в году небо безоблачно. Надо только найти эффективный и дешевый способ преобразования солнечной энергии в электрическую или тепловую. Возможно, что в ближайшем будущем отпадет необходимость использовать для отопления домов топливо и солнечное тепло станет использоваться даже в промышленных целях.

Поговорили мы и об интенсивном жилищном строительстве в республике, особенно в Ашхабаде и Чарджоу, где появились очень красивые и благоустроенные микрорайоны. Теперь города — пришли мы к заключению — все больше приобретают современный облик.

— А ведь было время, когда туркмены вообще не селились в городах, — заметил я. — Город был просто чужд степнякам. А главное, в городе не было для них ни жилья, ни работы.

— А вот сегодня многие колхозники рвутся в город. Почему бы это? Как вы думаете? — спросил Солтанов.

— Думаю, немалую роль играет здесь культура, которая в городе все-таки пока еще значительно выше, чем на селе.

Сельский житель живет куда зажиточнее большинства горожан. Ему вполне доступно построить современный дом, поехать отдохнуть на Черноморское побережье, посмотреть Москву, Киев, Ленинград. У него есть кровать с пружинным матрацем и добротные одеяла. Но зачастую он не пользуется постельным бельем. У него есть прекрасная тульская бескурковка, но часто нет зубной щетки. Сельский житель стремится к культуре, но не всегда умеет осуществить свои стремления.

— Сказывается наследие прошлого бескультурья, — заметил Солтанов. — Видимо, полвека — малый для этого срок?

— Во всяком случае не слишком большой. Фактор экономический всегда опережает духовный. В экономическом отношении наше село идет наравне с русским, а то и обгоняет его. Что же касается пережитков в области духовной жизни и быта, то у наших, на мой взгляд, корни поглубже, и для того, чтобы выкорчевать их, требуется много труда и много времени.

Когда подумаешь, сколько усилий было положено для того, чтобы помочь людям избавиться от предрассудков, кажется, что это сложнее, нежели вылечить рак или лучевую болезнь. Для предрассудков порой находят самые неожиданные оправдания. Спросишь, например, у человека: «Зачем калым за дочь хочешь взять, неужто нуждаешься?» — «Что ты, отвечает, какая нужда!» — «А в чем же дело?» — «Да понимаешь,

говорит, если без калыма отдам, люди могут подумать, что девушка порченная или с каким изъяном». Тут и остается только руками развести.

Или такой случай. Вполне вроде бы здравомыслящий, трезвый человек совершает намаз. Спрашиваешь: «Зачем ты поклоны бьешь пять раз в сутки? В самом деле в бога веришь?» Он смущенно улыбается: «Не верю, конечно, кто в него нынче верит, а поклоны — они вроде физзарядки, вреда не приносят». — «А ты лучше физзарядку делай по радио». Мнется: «Непривычно как-то и... смысла вроде бы нет».

Много нелепого и дурного было в традициях врачевания болезней. Невежественные знахари — табибы — поили больных детей водой из посуды, в которой дают еду собаке; утверждая, что огонь избавляет от всех болезней, лечили своих пациентов раскаленным железом. Все это ушло в прошлое. Люди перестали верить в нашептывания муллы и снадобья табиба. В колхозах забыли, что такое черная оспа и изнуряющая лихорадка, забывают о туберкулезе и трахоме. А ведь не так давно они были постоянными спутниками туркмена...

Верно, пережитки старины у нас нет-нет да и встречаются. Но верно и то, что любые параллели между вчерашним и сегодняшним туркменским селом — между их благосостоянием, бытом, культурой, запросами, возможностями — окажутся весьма условными.

Я бывал во многих зарубежных государствах — и в сопредельном с Туркменией Афганистане, и в далеких африканских странах: Гвинее, Мали, Сенегале. Я видел, с каким жадным интересом тамошние жители принимают каждое известие о Советском Туркменистане. Я охотно удовлетворял их любопытство, невольно думая, что национальная независимость государства — это еще не все, что для подлинного благосостояния и счастья людей нужна по-настоящему народная власть.

Я вспоминал генерала, назвавшего Туркмению «черным пятном», и мне было смешно: сегодня «пятно» это для многих стран Азии и Африки излучает яркий свет, как маяк, указывает единственно верный путь к той жизни, о которой мечтает каждый честный трудовой человек.

И еще я думал: какое это счастье, что моя горькая и прекрасная земля, моя Туркмения, не оказалась за линией границы, когда над Россией пронеслась освежающая и животворная буря Великого Октября.

Перевел с туркменского В. Курдицкий.

Ашхабад, март 1967.



И. ГРЕКОВА
★
НА ИСПЫТАНИЯХ

Повесть

Памяти Ф. В.

ПОЛЕТНЫЙ ЛИСТ

1. 07. 1952 г.

Бортовой № 18942

Командир корабля л-т Ночкин А. В.

СПИСОК ПАССАЖИРОВ

№ п/п	в/звание	Ф. И. О.	Примечание
1	генерал-майор ИТС	Сиверс А. Е.	ответств.
2	инж.-подполковник	Чехардин Д. Г.	
3	инж.-майор	Скворцов П. С.	
4	гражд.	Теткин Н. Т.	
5	гражд.	Ромнич Л. К.	
6	гражд.	Джапаридзе М. Г.	
7	гражд.	Манин И. Ф.	

Начальник О. П.

Луговой (подпись)

1

Летнее подмосковное утро только еще начинало просыпаться, потягивалось. Полегла за ночь, седая от росы трава потихоньку выпрямлялась, скатывая по усам тяжелые ртутные капли. Деревенскими голосами переключались петухи. На летном поле неподвижно застыли самолеты, похожие на больших, чем-то озабоченных рыб. Раннее солнце ярко освещивало на скошенных крыльях. Тугой прохладный ветер надувал над метеобудкой длинный шахматно-клетчатый «чулок». Ветер был с северо-запада, благоприятный.

У служебного здания на низких скамейках, поставленных буквой «П», расположились люди с чемоданами в ожидании вылета. Опрятный желтый песок площадки, надпись на фанерном щитке «Курить только

здесь», урны, сделанные из корпусов авиационных бомб,— все это придавало обстановке деловой, аэродромный характер.

Ответственный за предстоящий полет майор Скворцов, высокий загорелый офицер в полевой форме, узко перехваченной в поясе ремнем, быстрым, озабоченным шагом переходил с места на место и казался поэтому находящимся сразу везде. Стальной нержавеющий зуб сверкал у него во рту. На большом ящике с черной надписью «Не кантовать!» сидел молодой художавый генерал, зябко засунув руки в рукава серого плаща с голубыми петлицами. Он как будто спал. По крайней мере глаза его за стеклами очков были покойно закрыты. Несколько человек хлопотали у багажа. Высокая женщина в брюках, циркулем расставив длинные ноги, осторожно передвигала ящики с приборами. Ей помогал среднего роста, плотный человек в гражданском, с блестящей коричневой лысиной. Он для чего-то поднимал каждый ящик и, покачивая, подносил к уху. С одним ящиком он замешкался и поднял палец.

— Теткин, в чем дело? — спросила женщина.

— Перекат содержимого, — с видимым удовольствием ответил Теткин. — Недопустимый перекал содержимого.

— Фу ты, как пышно, — сказал, прислушавшись, артиллерийский офицер с изможденным лицом и блестящими, неистово-светлыми глазами. — «Перекал содержимого!» Замечали, как любит казенщина обрастать цветами красноречия? Современный церковнославянский язык! На днях еду по улице и читаю — что бы вы думали — надпись: «Объезд разрытий!» Каково громохание? Истинный перл канцелярской поэзии. Слог, достойный Тредьяковского!

Художавый генерал приоткрыл один глаз и спросил:

— Кто здесь поминает Тредьяковского?

— Я, товарищ генерал.

— А, подполковник Чехардин! Рад вас видеть. Я тут приспнул немного и слышу: голос как будто знакомый и, как всегда, разводит демагогию. Насчет Тредьяковского вы зря. Читали вы его? Или так, понаслышке, судите?

— Должен признаться — понаслышке, — ответил Чехардин, скомкал папиросу и сразу же зажег другую. — Не успеваешь как-то следить за современной литературой.

— А напрасно. Надо бы прочесть. А ну-ка, кто из присутствующих читал Тредьяковского?

Теткин с готовностью открыл рот и сказал:

— Екатерина, о! поехала в Царское Село.

Генерал сморщился, как от боли.

— Ну, вот. Снова я слышу про эту несчастную «Екатерину, о!». Это апокриф.

— Что, товарищ генерал?

— Апокриф, — повторил генерал. — К вашему сведению, апокрифом называется произведение на библейскую тему, признаваемое недостоверным и церковью отвергаемое. Убежден, что никакой «Екатерины, о!» Тредьяковский не писал. Это был один из величайших поэтов России! Вот, например... — Генерал нахмурился и, понизив голос, торжественно произнес:

— Вонми, о небо, я реку!
Земля да слышит уст глаголы.
Как дождь, я словом протеку,
И снудут, как роса к цветку,
Мои вещания на доли...

— А и в самом деле неплохо, — заметил Чехардин.

— «Неплохо»? Замечательно! Какое величие, какая сила! «Вонми,

о небо, я реку!» Ну, кто еще из российских поэтов решился бы так, за просто, разговаривать с небом?

— Маяковский,— сказал Чехардин.— «Эй вы, небо!»...

— А? Правда, я и забыл.— Генерал снова закрыл глаза.

Прерванный спор Теткина с длинноногой женщиной возобновился.

— Так вы же сами паковали,— досадливо сказала она,— а придираетесь.

— Самокритика — движущая сила,— ответил Теткин и засмеялся. Засмеявшись, он сразу похорошел. Зубы у него оказались крепкие, крупные, выпуклые, как отборные ореховые ядра. Блестящая приветливая лысина его не старила.

Майор Скворцов подозвал к себе Теткина.

— Кто такая? — спросил он вполголоса, указав подбородком на женщину.

— Этс? Лидка Ромнич, наш конструктор. Мировая баба, даром что тощая. А ты разве ее не знаешь?

— Что-то слышал. Из группы Волкорезова, по боевым частям?

— Ага.

— Я думал, Ромнич — мужчина.

— Многие так думают. А как она тебе?

— Больно уж некрасива.

— А по-моему, ничего. Впрочем, я уже привык.

Из служебного здания вышел высокий вялый летчик в обвисшем комбинезоне. Скворцов подошел к нему:

— Послушайте, где тут все ваше начальство?

— А что?

— Мы с группой сотрудников и багажом прибыли для специального рейса в Лихаревку. Полетный лист у меня. Вылет назначен на шесть сорок. Почему не дают вылета?

Скворцов говорил с военным шегольством, подчеркивая официальность и беглость речи. Летчик, не отвечая, уминал табак в трубке.

— Кто командир корабля? — спросил Скворцов.

— Ну, я,— неохотно ответил летчик.

— Я вас спрашиваю: когда вылет?

— Когда полетим, тогда и полетим.

Скворцов обозлился:

— Постарайтесь отвечать, как полагается, и назвать себя.

Летчик неохотно вытянулся:

— Командир корабля лейтенант Ночкин.

— Так вот, товарищ лейтенант, я вас спрашиваю: почему задерживаете рейс?

Летчик снова обмяк в своем комбинезоне и задумчиво сказал:

— Погоды не дают.

— Ерунда! Я справлялся на метео: погода есть. В чем дело?

Лейтенант Ночкин указал трубкой на Лиду Ромнич:

— Членов семейства на борт не беру. Не имею права.

— Что за бред! Это не член семейства, а конструктор боевых частей.

Конструктор Ромнич. Неужели не знаете? Эту женщину во всем Союзе знают.

— Не знаю,— сказал Ночкин.— Все равно — женщина. С женщиной на борту не полечу. Пока не будет специального распоряжения.

— Так она же внесена в полетный лист! Смотрите, под номером пять: Ромнич Л. К.

— Мало ли что внесена. В полетный лист и кошку внести можно.

Ночкин стукнул трубкой по колену, отвернулся и пошел к небольшой двухстворчатой будке, ярко сверкавшей на солнце свежими буква-

ми «М» и «Ж». Не туда же за ним идти? Скворцов вернулся к ожидающим.

— Что там за задержка? — спросил генерал.

— Командир корабля лейтенант Ночкин отказывается брать женщину на борт.

— А разве с нами женщина?

— В некотором роде. Ромнич, конструктор боевых частей.

— Вот уж истинно сказано, — съязвил Чехардин, — «где кончается порядок, начинается авиация». На вашем месте поставил бы я этого Ночкина по стойке «смирно», по уставу, как положено стоять перед старшим по званию...

— Нет, — возразил Скворцов, — это, знаете, не в духе наших авиационных традиций. Устав уставом, а командир корабля при всех обстоятельствах — персона грата. На него словно бы устав не распространяется... Впрочем... Поговорили бы вы с ним, товарищ генерал!

— А я чем могу помочь?

— Все-таки, генеральские погоны...

— Ну, ладно уж. Иверскую подняли, — сказал генерал, вставая, и двинулся в сторону будки.

— Эх, авиация! — опять желчно поддразнил Чехардин. — Это даже у Теркина отмечено: «Лишь в согласье все подряд авиацию бранят»...

— К сожалению, на пушке не полетишь.

— Что верно, то верно.

— Вот увидите, генерал Сиверс его уговорит.

Тем временем лейтенант Ночкин уже возвращался из будки. Генерал Сиверс подошел к нему. Ночкин вытянулся, держа трубку у колена.

— Здравия желаю, товарищ генерал.

— Здравствуйте. Если не ошибаюсь, лейтенант Ночкин?

— Так точно, товарищ генерал.

— А это что у вас, лейтенант Ночкин? — спросил генерал Сиверс, указывая тонким, ехидно искривленным пальцем на самолет.

— Самолет, товарищ генерал.

— А, самолет? А я думал — летучий мужской нужник.

— Какой нужник, товарищ генерал?

— Мужской. Знаете? «М» и «Ж». Напрасно вы на дверце своего самолета не изобразили «М». Было бы куда проще.

— Я вас не понимаю, товарищ генерал, — мучаясь, сказал Ночкин. — Это самолет, а не нужник.

— Нет, видимо, зрение вас обманывает, и это именно нужник.

Ночкин стоял, мрачно уставившись в землю.

— Вы шутите, товарищ генерал?

— Что вы, это не я шучу. Это шутка великого математика Давида Гильберта. Слыхали про такого?

— Никак нет, товарищ генерал!

— Ну, вот, — горестно вздохнул Сиверс. — Придется мне заняться вашим образованием. Слушайте. В прошлом столетии знаменитая женщина-математик Эмми Нётер, ранга нашей Софьи Ковалевской... тоже не слыхали?..

— Никак нет, товарищ генерал.

— Эх вы! Так вот, когда Эмми Нётер баллотировалась в профессора Геттингенского университета, ученые мужи вашего типа отклонили ее кандидатуру: она-де женщина, а членом университетского сената женщина быть не может. Узнаете аргументацию, а?

— Так точно, товарищ генерал.

— И тогда великий математик Давид Гильберт, о котором вы никогда не слыхали, что не мешает ему быть великим, задал вопрос

председательствующему...— Тут генерал быстро и отчетливо произнес несколько слов по-немецки.— Вы меня поняли, лейтенант Ночкин?

— Никак нет, товарищ генерал. Английский с школы не повторял, подзабыл.

— К вашему сведению, это был не английский, а немецкий, и означало это следующее: «А что, сенат разве баня, что в него нет хода женщинам?» Не правда ли, остроумно?

— Так точно, товарищ генерал.

— Ну, а теперь, вооруженный передовой теорией, я полагаю, вы полетите с женщиной на борту?

— Полечу. Извиняюсь, товарищ генерал.

— Кстати, усвойте, лейтенант Ночкин, поборник патриархата: говорить «извиняюсь» невежливо. Это значит: «извиняю себя», «снимаю с себя вину». Люди воспитанные говорят: «извините» или «извините, пожалуйста», а по уставу: «виноват». Поняли?

— Понял. Извиняюсь, товарищ генерал. Разрешите идти?

— Что ж делать с вами. Идите.

Ночкин лихо повернулся через левое плечо и направился к самолету. Генерал Сиверс вернулся на площадку для курения.

— Ну как, товарищ генерал?

— Все в порядке — полетит. В таких случаях лучше всего поразить воображение.

— Спасибо выручили, товарищ генерал.

— Не стоит благодарности.

Началась погрузка в самолет. Ящики осторожно вносили по трапу.

— Не кантуй! — орал Теткин. — Я тебе покантую!

Лида Ромнич стояла рядом и с величайшим страданием глядела на ящики. Тут только Скворцов заметил, какие у нее большие серые, какие печальные глаза. И не так уж она дурна, как показалась ему с первого взгляда. Только очень уж худа — до болезненности. На запястье левой руки так и ерзал тонкий ремешок мужских часов. Брюки на ней были смяты под коленками, но и в этих мятых брюках было что-то изящное. Главное, как-то просто стояла она на земле — просто и твердо. «Какая самодовлеющая женщина», — подумал Скворцов.

Пока шла погрузка, летчик Ночкин в рулевой рубке тихо разговаривал со вторым пилотом, младшим лейтенантом Кудрявцевым:

— А генерал-то Сиверс меня как песочил... И по-английски и по-всякому. Гильберта какого-то приводил, Давида. Ты не знаешь, что за Гильберт?

— Понятия не имею. Давид... Сиверс вообще всякие имена любит. Тяжелый человек. Знаешь, мне что про него Санька Кривцов рассказывал?

— Этот технарь с усиками? Фасонщик?

— Ага. Так вот, идет Санька по улице, зимой было дело, на нем, естественно, шапка, и уши от шапки распущены, а не завязаны. Усек? Так вот, идет Санька, а навстречу ему генерал Сиверс. Плясливой такой походкой, даром что генерал. Увидел Саньку и зовет: «Лейтенант! Сюда!» Санька к нему на полусогнутых — подбежал, вытянулся. А генерал обмахнул его легонечко так перчаточкой по ушам и спрашивает: «Кто вы? Лейтенант или Спаниель?» Санька опупел, говорит: «Я лейтенант, товарищ генерал». А генерал ему: «Вот как? А я думал: Спаниель». И пошел себе. Санька стоит, как мешком ударенный. Долго переживал.

Самолет, оторвавшись от земли, с натугой набирал высоту. Одна ребристая плоскость круто уходила вверх, другая — вниз. Люди скользили по металлическим сиденьям откидных скамеек. В круглых окошках иллюминаторах быстро мельчала удаляющаяся земля. Все на ней становилось маленьким, игрушечным, необыкновенно чистым. По сверкающей нитке шоссе божьей коровкой полз красный автобус. Быстро закладывало уши. Плохо закрепленные ящики, вздрагивая, сползали вбок. От громкого рева двигателей все тряслось, вибрировало.

— Экая консервная банка,— заметил Теткин.— Так и дребезжит: дзы, дзы.

— Это же не пассажирская машина,— возразил ему длинношей, длинноногий молодой человек с темными преданными глазами, похожий на мальчика-переростка.— Машина строгая, военная, один металл.

— Эх, Ваня-Маня, а я и не знал! Спасибо надоумил! — засмеялся Теткин.

Ваня Манин работал в седьмом институте и был известен тем, что всегда все всем объяснял. Называли его обычно Ваня-Маня.

— Да, комфортабельной эту машину не назовешь,— солидно сказал пухлый блондин в светло-серой рубашке, похожий на зрелый гриб-дождевик.

— А вы откуда? — дружелюбно спросил Теткин.— Тоже из семерки?

— Нет, я из двадцатого ящика. Инженер Джапаридзе.

— Будем знакомы: Теткин, из КБ Перехватова. А почему вы Джапаридзе?

— Вы имеете в виду мою белокурую внешность? Чисто случайно. Меня отчим усыновил, природный грузин. От рождения я, в сущности, Лютиков, а не Джапаридзе. А как там с условиями?

— Где?

— В этой вашей Лихаревке.

— Ничего. Жить можно.

— Я колбасы твердого копчения захватил.

— Правильно захватили.

Самолет пробил слой облачности и пошел горизонтально. Моторы ревели теперь ровнее, и ящики успокоились.

— Ну как, кончились ваши фокусы с набором высоты? — спросил в пространство генерал Сиверс.

— Так точно, товарищ генерал,— ответил Скворцов.

— Отлично. Теперь можно и соснуть. Спишь — меньше грешись.

— А мы вам не будем мешать разговорами? — вежливо осведомился Ваня Манин.

— Сделайте одолжение, не стесняйтесь.

Все-таки разговор оборвался.

— Был у меня приятель, Коля Нефедьев,— сказал вдруг генерал Сиверс, не открывая глаз.— Хороший человек, царство небесное, ровно десять лет тому назад погиб — в июле сорок второго. Так вот, Коля очень любил спать и относился к этому делу, можно сказать, профессионально. Называл он это занятие «сидеть на спине» и особенно любил спать под разговоры... Даже стрельба ему не мешала...

Генерал умолк.

— А дальше? — спросил Теткин.

— Дальше ничего. Это я так рассказал. Просто захотелось вспомнить хорошего человека.

Все замолчали.

Самолет теперь шел спокойно, как уют, время от времени плавно подныривая и опять выравниваясь. Становилось заметно свежо, металлические сиденья холодили. За бортом — минус тридцать пять.

— Один человек эквивалентен ноль целых три десятых секции отопления, — сказал Теткин. — Прошу товарищей дышать.

Майор Скворцов смотрел в окошко. Небесный пейзаж в круглой раме. Ведь сколько он летал, всю жизнь, можно сказать, был при авиации, а все не мог привыкнуть к этой картине, когда самолет летит над облаками, а они освещены солнцем. Край ледяной, фантастический, клубящийся. На горизонте дыбом встают снежные горы. А внизу, под самолетом, облака плавают, как льдины, как шуга на замерзающей воде. Между ними — голубые просветы. А если взглядеться — таинственно в этих просветах становятся видны затянутые дымкой земные подробности: дороги, овраги, леса, поселки... словно все это утонуло и лежит на дне озера.

— Невидимый град Китеж, — сказал над ухом Скворцова подполковник Чехардин.

— Представьте, я сейчас об этом же думал, только не теми словами.

— Что слова? — сказал Чехардин, своими чрезмерно светлыми глазами глядя на облака. — Что можно ими передать, кроме самой элементарной информации? «Идет дождь, человек умер, самолет летит на высоте десять тысяч метров» — такие вещи с грехом пополам словами передаются. А попробуй объясни: что здесь красиво? Почему красиво? Кроме «Ах, как!», ничего не скажешь...

— Я рад, что вам понравилось, — сказал Скворцов, польщенный, словно он был хозяин всем этим облакам. — А вот когда будем к Лихаревке подлетать, вы не пропустите. Такая там красота, что... словом, «ах, как». Воды — километров на сорок—пятьдесят, и это все изрезано, с рукавами, островами, протоками... пойма реки Машуган, знаете?

— А я видел, — сказал Чехардин. — Я уже не первый раз.

— Ну и как там в Лихаревке — ничего? — спросил Джапаридзе.

— Вполне ничего, — ответил Скворцов. — Впрочем, вру. Летом ничего, а зимой грудновато. Мороз градусов тридцать, ветер пятнадцать—восемнадцать метров в секунду. Один раз у нас ветром гальюн снесло, так называемый туалет. Прихожу утром — будки нет, одни кучи. Ветер такой, что сквозь кирпичную стену продувает, честное слово. Приходишь домой после пурги, а в углах — сугробики.

— Плохое качество строительства, — пояснил Манин.

— А что там есть замечательного? — спросил Джапаридзе.

— Свины, — засмеялся Теткин.

— Да, — поддержал его Чехардин. — Пожалуй, самое замечательное в Лихаревке — это местная порода свиней. Высокие, поджарые, на длинных ногах... сразу не поймешь, свинья или борзая. Воинственные, боевые свиньи. Дерутся на помойках, визжат, кусаются... Какой-то свиной цирк.

— А их хозяйева не кормят, — сказал Теткин. — Там считается, что свинья сама себе найдет пропитание. Вот они и трудоустраиваются — на помойках.

— А съедобные они? — поинтересовался Джапаридзе.

— Относительно, — ответил Скворцов. — Мясо рыбой воняет. Я-то неприхотлив, для меня любое органическое вещество съедобно, а другие обижаются.

— Братцы, что я вам расскажу по случаю этих свиней... — вмешался Теткин. — Купил я однажды такой свиный окорок и сильно на нем проиграл. Я тогда ухаживал за одной местной, ничего была женщина, как же ее звали?.. Кажется, Настя.

— Нина? — подсказал Скворцов.

— Не путай. Нина — это в другой раз. А на этот раз была Настя, я теперь твердо вспомнил. Позвала она меня в гости. Я, конечно, волнуясь. Купил плодоягодного, того-сего, мелкого частника в банке...

— Частика, — поправил Манин.

— Ну, все равно — частика. И, как последний аккорд, решил ее поразить — взял на рынке целый свиной окорок. Иду к ней нагруженный. Вручаю окорок: «Зажарь, Настенька». От великодушия еле жив. А она даже не поразилась. Понюхала: «Так и есть — рыбой воняет». Представляет? Я до того разочаровался, что взял плодоягодное и ушел. Так ничего у нас и не вышло.

— А отчего они рыбой пахнут? — спросил Манин.

— А черт их знает. Может, они сами рыбу в реке ловят. С них станет. Такие свиньи на все способны.

Джапаридзе слегка порозовел и, стесняясь, спросил:

— А как там в области напитков?

— В этой области как раз неважно, — ответил Скворцов. — В городке, сами понимаете, продажа запрещена, а в самой Лихаревке — одно плодоягодное, вино в высшей степени не вдохновляющее. Кстати, неудачи Теткина в любви надо на восемьдесят процентов отнести за счет плодоягодного. Выпив такого вина, женщина...

— Оставь свои пошлые намеки, — сказал Теткин. — Для тебя нет ничего святого.

Скворцов не слушал:

— А вам, товарищ Джапаридзе, раз уж вы едете в Лихаревку и интересуетесь напитками, вам надо знать, что такое Ноев ковчег.

— А что это?

— «Ноевым ковчегом» там называют забегаловку, которой заведует некий Ной Шошиа, личность в своем роде замечательная. У Ноя всегда можно достать и водку, и коньяк, и пиво, если только он вас полюбит. Я думаю, что за одну фамилию он всегда обеспечит напитками вас — и нас заодно.

— Моя фамилия только номинально грузинская...

— Ну, тогда вам придется победить Ноя с помощью личного обаяния.

Джапаридзе задумался, словно усомнившись в своем личном обаянии.

В самолете становилось все холоднее. Пар дыхания облачком окружал каждый говорящий рот. То один, то другой из пассажиров вставал и, пытаясь согреться, топал ногами и бил в ладоши. Джапаридзе открыл чемодан и застенчиво облачился в мохнатый свитер.

— В предусмотрительности нет ничего плохого, — пояснил Манин. У него самого отчетливо посинел нос и темные влажные глаза смотрели очень уж по-собачьи.

— А как же наш генерал спит в такой холодине? — вполголоса спросил Теткин.

— Я спал, — сказал Сиверс, — но теперь, по милости вашей, проснулся.

— Вам же холодно, товарищ генерал.

— Мне не холодно. Мне никогда не бывает холодно. Как, впрочем, и жарко. Ваше замечание напоминает мне, как однажды моя мамень-

ка — шнырливая старушка, даром что ей восемьдесят годов — разбудила меня и спросила: «Саша, как ты можешь спать, ведь тебе мухи мешают?»

Кругом засмеялись. Подошла Лида Ромнич, растирая замерзшие руки. Она была правильного синего цвета и узко вжалась в свою короткую курточку.

— Однако холодно.

— Хотите, я вас согрею? — спросил Скворцов.

Она подняла на него медленные серые глаза. Теткин захохотал.

— Нет, я без пошлостей. Я вас заверну в чехол от мотора. Хотите?

В углу лежали большие замасленные чехлы, похожие на ватники великанов. Скворцов взял один, встряхнул и галантно завернул в него Лиду Ромнич.

— И черным соболем одел ее блистающие плечи, — сказал Чехардин.

Она засмеялась. Посиневшие губы, плотно прилипшие к деснам, раздвинулись неохотно, в подобии гримасы. «Как она нехороша все-таки», — подумал Скворцов. Лида уселась на пол, плотно завернувшись в чехол.

— Небось тепло? — завистливо спросил Теткин.

— Нет еще, но будет.

Теткин поднял второй чехол:

— Чего добру пропадать? Кому отепление? Скорей признавайтесь, а то сам возьму.

— Ну, да бери уж.

— Не в порядке эгоизма... — бормотал Теткин, заворачиваясь в чехол.

— А токмо волею пославшей ты жены. Знаем, — отвечал Скворцов.

Теткин, окупившийся, опустил на пол рядом с Лидой. Они молча сидели бок о бок притихшие, словно потерпевшие бедствие. Самолет, монотонно рыча, всверливался глубже в мороз. Среди оледеневшего металла двое в чехлах казались единственными островками тепла. Манин не выдержал:

— Теткин, пусти погреться.

— А я что? Я не протестую. Полезай. Ишь, орясина, как тебя вымахало! Мослов одних, мослов сколько.

Повозились, укутались, затихли.

— А что ж у меня второе место пропадает? — спросила Лида и вопросительно взглянула на Чехардина. — Хотите?

— Нет, спасибо, я почти не чувствую холода.

— А вы? — обернулась она к Скворцову, подняв на него свои серые скорбные глаза. Черт, что за глаза! Опять она показалась ему не так уж дурна.

— Ну как я могу отказаться? — фатовски ответил Скворцов. — Желание дамы — закон.

Она даже внимания не обратила, спокойно потеснилась, давая ему место, и сцепила края чехла перед грудью узкой, побелевшей на сгибах рукой.

— Ребята, я жрать хочу, — заявил Теткин. — Такая закономерность, что в воздухе я всегда жрать хочу.

— Если бы только в воздухе, — сказал Скворцов.

— Нет, серьезно. Только взлетишь — так и разбирает. Надо было в дорогу жратвы купить.

— Что же не купил? Тут вот запасливые люди со своей колбасой летят.

— Психологически не могу. Когда плотно наемся, не могу жратву покупать. А вчера как раз зашел в сашисечную...

— Куда? — спросила Лида Ромнич.

— В сашисечную, — невинно повторил Теткин.

— А ну-ка, по буквам, — предложил Скворцов.

— Сергей, Александр, Шура...

Все засмеялись.

— Вы напрасно смеетесь, — подал голос генерал Сиверс, — это особое заболевание: органическая безграмотность. У меня двоюродный брат тем же хворал. Цивилизованный человек, инженер-путеец, а до самой смерти писал «парабула».

— Теткин, а как пишется «парабола»? — бессердечно спросил Скворцов.

— А ну вас к черту. Не обязан я вам тут кандидатский минимум сдавать.

Солнце постепенно переместилось и било теперь в правые окошки вместо левых. Чехардин курил, глядя на облака. Генерал Сиверс по-прежнему четко спал, прислонясь к стене. Скворцов начинал согреваться и размышлял о тысяче дел, ожидающих его в Лихаревке. Справа от себя он слегка чувствовал худое, со слабой косточкой, плечо Лиды Ромнич, но не думал ни об этом плече, ни о ней самой.

Он представлял себе Лихаревку, обжитую за эти годы, как второй дом, деловую свободу командировки, каменную офицерскую гостиницу (прошлый раз не было мест, пришлось жить в деревянной)... «А как прилетим, — думал он, — сегодня же непременно купаться». И он представил себе, как спустился по пыльной крутой тропинке вниз, к реке, в благословенную зеленую пойму, как разделся, затащил плавки, прыгнул... И сразу же обступила его в мыслях теплая блистающая вода, и он резал ее, отталкивая от себя ногами, чувствуя, как он споро плывет, как он бесконечно, ликующе, по-дурацки здоров, каждым мускулом, каждым пальцем, каждым ногтем здоров... А вечером — пульку. Ребята, кажется, подобрались ничего, и Теткин — для смеху, и вообще хорошо — в Лихаревку. Самолет поревывает, поныривает, а он, Скворцов, летит туда, в Лихаревку, — легкий, бодрый, ничего лишнего; в чемоданчике — эспандер, трусы и бритва, а главное, здоров. Это хорошо: потребность жизнь, любые обстоятельства — пожалуйста, я тут, здоров.

А еще он думал, что многие будут ему там рады, и среди многих — Сонечка Красникова...

3

Последний раз, как он был в Лихаревке, месяца полтора назад, стояла жестокая ранняя жара. Майор Красников праздновал присвоение очередного звания. Гости собрались в небольшой квартирке Красниковых — уютно, зажиточно, на диване подушки — болгарский крест. Жесткие тюлевые занавески не колыхались. Гости сидели за столом мокрые, разварные и даже водку, с трудом добытую у Ноя (Скворцов пустил в ход личное обаяние), глотали неохотно. Водка была теплая и желтая, как спитой чай. На тарелке, выпучив мертвые глаза, лежала селедка, лилово окольцованная луком. Напротив Скворцова сидел совсем разомлевший капитан Курганов, а рядом с ним — его жена, смуглая, недоброглазая женщина с большим вырезом, косо спустившимся на одно плечо. Курганов, передернув шей, выпил водки и только что занес вилку, чтобы закусить селедочкой с луком, как жена отчетливой и злой скороговоркой сказала:

— Будешь есть лук — разверну к стене.

Рука с вилкой повисла в воздухе и послушно опустилась. «Экая стерва», — подумал Скворцов. Слева от него сидела жена начальника отдела, Люда Шумаева, худая высокая блондинка с длинной шеей и озабоченными глазами.

— Людочка, отчего не пьешь? — спросил ее Скворцов.

— Жарко, душно. До чего мне здесь надоело, знал бы ты. Кажется, все бы отдала — уехать. Город, шум города я люблю... Театр, оперетку. Оперетку особенно. Я все арии из опереток прямо наизусть знаю. «Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?» — пропела она ему на ухо.

— Помню, — сказал Скворцов.

— Ты все смеешься, а мне не до смеху. Ну, посуди сам, что я здесь вижу? Рынок, магазин, кухня, дети... Я как заводная кукла — прикована к кресинке...

— А ты бы работать пошла.

— Куда? Здесь на каждое место по десять жен. Нет, уехать, только уехать.

— Ну что ж. Уехать тоже можно. Уговори Сергея...

— Он! Да разве он отсюда уедет? Это такой эгоист, до того в свою работу влюблен, просто ужас. Нет, послушай, почему это так выходит: ему все удовольствия, и днем и ночью...

Скворцов засмеялся и спросил:

— А тебе ночью разве нет удовольствия?

— Очень редко, — печально и просто ответила Люда.

Он поцеловал ей руку. С другого конца стола подполковник Шумаев, маленький человек с черными горячими глазами и бритым, слоновой кости черепом, крикнул ему:

— Что тебе, Пашка, жизнь надоела?

— Вот видишь, какой собственник, — вздохнула Люда.

Капитан Курганов опять робко потянулся к селедке: в эту минуту жена разговаривала с соседом. Скворцов услышал ее слова:

— От этой жары я становлюсь злая, как Муфистофель.

— Муфистофель, — повторил Скворцов.

— Это правда, — печально сказала Люда. — Сколько ему достается — это нельзя передать. Он и дочку в садик, он и на рынок, и все он... Я и сама хозяйка неважная, ничего не скажешь, но сготовлю и на стол подам безропотно. А она ему швырком швыряет: ешь! Прошлый раз Сергей у них в карты играл, так она им тарелку с помидорами прямо по столу так и двинула — кошмар! Нарезаны помидоры как ногой, ни маслом не заправлены, ни что. А она...

— Не надо о ней, Людочка, — попросил Скворцов. — Ну ее к бесу.

Заиграла радиола. Столы сдвинули, начались танцы. Две-три пары вяло задвигались по крашеному, до блеска натертому полу. Подполковник Шумаев подошел к жене и вежливо поклонился. Люда встала и положила ему на плечо руку, желтоватую и тонкую, как церковная свечка. Она была на полголовы выше мужа. Скворцов заметил, что она босиком. Узкие босые ступни — про них хотелось думать: не ступни, а ладони. На этих ступнях-ладонях она двигалась легко, проворно, чуть изгибаясь, как очень худая молодая кошка ходит вокруг ног своей хозяйки.

— И все-то она бисиком, — сказала Муфистофель. — И как только муж терпит.

— Жарко, — ответил сосед.

— Всем жарко, но никто, кроме нее, не позволяет. Все в каблуках. Не деревня.

Скворцову сделалось душно, он встал из-за стола и пошел проветриться. По дороге его кто-то перехватил за руку. Это был сам хозяин, герой торжества, новоиспеченный майор Красников. Большая звезда

празднично поблескивала на его новеньком двухпросветном погоне. Красников был счастлив и пьян.

— Посиди со мной, Паша! Я тебя во как люблю. Все собирался тебе сказать, да случая не было. Я тебя люблю. Не веришь?

— Отчего же? Верю.

— Ну, садись, друг мой закадычный.

Скворцов сел.

— Выпьем, Паша, за... В общем, за наши достижения. Вот я, майор...

Выпили. Водка была еще теплее, чем вначале. Просто горячая водка. Скворцова чуть не стошнило.

— Ну, люблю я тебя, как сукиного сына, честное слово,— говорил Красников в судорогах пьяной любви к ближнему. Он стиснул Скворцова поперек шеи и стал целовать.

— Пусти, брат, душно,— сказал Скворцов.

— Брезгаешь? Ну, ладно, брезгай. Все равно я тебя люблю.

— За что же ты меня так особенно полюбил?

— Ты — человек политически подкованный.

— Вот как? — удивился Скворцов.

— Честное слово. И я тоже политически подкованный. Я все перевожу на уровень теории. Вот недавно приходит ко мне моя Соня — хорошая женщина, но развитие еще не на высоте — и жалуется на трудности в домашнем хозяйстве. Я сказал: «Соня, во всем нужно базироваться на теорию». И с трудом достал книгу «Мужчина и женщина», том второй. Очень глубокая книга. Прочитала. И как ты думаешь? Помогло. Ей-богу, помогло! Вот она сама тебе подтвердит. Соня!

Подошла, улыбаясь, невысокая крепенькая женщина с гладко натянутыми на круглой головке черными волосами. Красников, не вставая, притянул ее к себе.

— Хочу тебя познакомить. Это — Паша Скворцов, любимый человек моего сердца. А это — Соня, законная жена.

— А мы уже знакомы,— сказал Скворцов.

— Ничего, я вас еще раз познакомлю, крепче будет. Дай ему руку, Соня.

— Красникова Соня,— сказала она, подавая руку дощечкой. Черные глаза у нее были выпуклые и чистые до сияния.

— Я тут, Соня, рассказывал майору, как я тебе по хозяйству помог. Было дело?

— Было-было,— сказала Соня, чуть-чуть подмигнув Скворцову.— А теперь тебе пора баиньки, ты уже набрался достаточно.

— Я-то? Я еще как штык.

— Слушайся маму.

Красников покорно встал и сделал ручкой:

— Гудбай.

Сонечка вывела мужа в соседнюю комнату и довольно быстро вернулась:

— Готов, спит. Он у меня, когда выпьет, такой послушный, такой сознательный, ну прямо прелесть. Другие мужа издеваются, посуду бьют, а он все жультурно. Сам ботинки снимает, на цыпочках идет — детей не разбудить. Нет, ничего не скажешь, я сравнительно с другими счастливая.

— Приятно видеть счастливую женщину,— сказал Скворцов.

Кто-то принес гармошку. «Русского, русского!» — закричали гости. Гармонист развернул мехи, и родные, поскрипывающие, заикающиеся звуки так и поплыли, подмывая, по доскам пола. Соня Красникова

пошла плясать. Этаким кубариком она плясала — плавно и складно. Казалось, именно так должны были плясать наши бабушки, целые поколения наших бабушек — и пра, и пра... Скворцов смотрел на нее, очарованный каким-то сложным чувством, очень ощущая себя русским.

Когда снова завели радиолу, он пригласил Сонечку танцевать. У нее оказалась очень тонкая, прямо-таки муравьиная талия, резко делившая ее пополам, и за эту талию он ее поворачивал, и она слушалась, снизу глядя ему в глаза. Маленькое золотое сердце на тонкой цепочке подрагивало в вырезе ее голубого платья, на самой границе загара. Скворцов танцевал с наслаждением и неохотно остановился, когда кончилась музыка.

— Пойдите, у меня, наверно, чайник вскипел, — сказала Сонечка. — Пойду посмотрю.

Он пошел за ней. В кухне горела керосинка. Теплый свет падал сквозь слоистое, слюдяное окошко. Чайник молчал.

— И не шумит... — сказала Сонечка.

На столе, под полотенцами, отдыхало что-то печеное, должно быть пироги. Рядом стояли чашки — ручками все в одну сторону. Сонечка тихо дышала. В оранжевом свете, поблескивая, поднималось и опускалось золотое сердечко. Стоя рядом, он обнял ее, и она опять послушалась, как в танце. Вокруг ее рта стоял островок чистого дыхания. Он поцеловал источник этого дыхания и обомлел: он провалился во что-то свежее и душистое, как только что скошенное сено...

Но тут зашумел чайник...

.....

— Братцы, пойму видать! — закричал кто-то.

Все бросились к иллюминаторам. Внизу лежала широкая, в пол-земли, зеленая полоса, вся изрезанная темноватыми водяными жилами. Могучая река, разветвленная на множество рукавов, показывала сразу все свои извилистые изгибы. Время от времени солнечный луч, отраженный от водной поверхности, ударял в глаза, и какой-нибудь участок реки на миг становился пролитой ртутью. Даже отсюда, далеко сверху, было видно, как все это огромно.

— Да, неплохая речка, — сказал генерал Сиверс.

— А вот и наша Лихаревка! — закричал Скворцов.

— Где, где?

На резко очерченном, как ножом срезанном берегу виднелась одна длинная улица с домами-бусинками по краям. Немного поодаль белели домики побольше.

— Жилой городок — видите?

— По местам! Идем на посадку! — крикнул второй пилот.

Все расселись по скамьям. Самолет, круто кренясь и поворачивая, начал снижаться. Из круговращения внизу постепенно выплыли аэродромные постройки, взлетно-посадочная полоса, метеобудка, длинный, натянутый ветром шахматно-клетчатый чулок. Самолет с жужжанием выпустил шасси, ощутимым толчком коснулся земли и побежал, подпрыгивая, по грунтовой дорожке.

Кругом лежала совершенно плоская, совершенно пустая степь. Ветер пригибал к земле иссушенные до невесомости остовы мертвых трав. Самолет остановился. В последний раз взревели моторы и замолчали.

— Прибыли, — сказал лейтенант Ночкин.

Прибывшие, толкаясь чемоданами, начали пробираться к выходу. Снаружи солдат прислонил к борту самолета жидкую металлическую лесенку. Люди спустились на сухую, горячую землю. Жара сразу же навалилась на них, тяжелая, как кирпич.

Из голубого павильона вышел офицер и направился к самолету. Майор Скворцов, держа руку у козырька, сказал:

— Товарищ дежурный, прибыла специальная группа из Москвы для выполнения работ в войсковой части. На борту спецгруз весом четырехста килограммов. Старший группы майор Скворцов.

— Здравия желаю,— ответил дежурный, подавая руку.— С приездом вас.

4

Жилой городок, расположенный невдалеке от райцентра Лихаревка, еще не имел своего названия. Он состоял из двух-трех десятков совершенно одинаковых каменных домов в два этажа, с ампириными веночками по фасадам, нескольких деревянных барачков и множества сараев с толевыми крышами. Еще была здесь кирпичная красно-белая школа, совершенно такая же, как во всех других городах, и недостроенный Дом офицера с двенадцатью пузатыми колоннами, грубо облицованными цементом.

В городке было три гостиницы: деревянная, каменная и «люкс». Деревянная — для тех, что попроще, гражданских и вообще всякой мелочи. Строение было барачного типа, хотя и большое; так называемые «удобства» — на улице. Каменная гостиница считалась рангом повыше, селили там главным образом офицеров. Стояла она на круглой площади, задуманной строителями как центр городка. В каменной гостинице был предусмотрен водопровод и удобства внутри. Последней ступенью роскоши был «люкс», где размещали генералов и вообще большое начальство. Здесь были фикусы, по верхней кромке стен — золотой багет, и при каждом номере ванна. Впрочем, в летние месяцы вода шла редко, а когда шла, то со свистом и совершенно ржавая, так что разница между деревянной, каменной и «люксом» сказывалась больше не в быте, а в почете. Строено было это все плохо, хромо, щелясто. С повышением ранга увеличивалось главным образом количество картин на стенах, стекляшек на люстрах и золоченых цапек «под бронзу».

Конструктора Ромнич разместили, конечно, в деревянной. Заполнив анкету у дежурной, она заплатила за неделю вперед и взяла квитанцию.

— Одно женское место, третий номер, вторая дверь направо,— нелюбезно сказала дежурная.

Лида Ромнич вошла в небольшую комнату, оклеенную пестрыми, в букетиках, обоями. Окно было завешано мокрой простыней, пахло предбанником. По стенам стояли три железные койки; две были заняты, одна свободна. На занятых спали две фигуры, с головой укрытые простынями, по простыням путешествовали мухи. Свободная койка была застлана темно-синим грубошерстным одеялом с надписью «ноги». В изголовье торчком стояла взбитая подушка с заправленными внутрь уголками, а над надписью «ноги» висело чистое вафельное полотенце. Стульев не было. Лида осторожно, чтобы не стукнуть, поставила чемодан на пол и села на кровать. Кровать под ней задвигалась и жестоко заскрипела. Толстая женщина напротив проснулась и высунула из-под простыни помятое сном, пятнами покрасневшее лицо. Увидев Лиду, она улыбнулась, и сразу стало видно, что она молода, добра и хорошо выспалась. Лида улыбнулась ей в ответ. Женщина протянула ей маленькую влажную руку с рыжими на концах пальцами фотографа:

— Лора Сундукова.

— Лида Ромнич.

— Ой, я про вас знаю! Вы — конструктор, правда?

— Правда.

— Очень уважаю женщину, если она конструктор. Мне про вас Теткин рассказывал. Вы ведь тоже у Перехватова?

— Да. Кстати, Теткин с нами прилетел. Только что.

— Да неужели? — просияла Лора. — Радость какая! Где же его разместили? В каменной?

— Нет, как будто здесь.

— Здесь! Если здесь, это хорошо, — откровенно светясь, сказала Лора. — Подумать, как мило! Томка, Теткин приехал! Надо одеваться.

Она откинула простыню и села, беззастенчиво показывая милое белое тело, обзолоченное солнцем по выпуклостям. Напряженно нагнув голову, она стала застегивать сзади обширный голубой бюстгальтер. На второй кровати зашевелилась простыня, из-под нее высунулась темная мелко-кудрявая голова со смуглым смешным личиком.

— Лора, страдалница, опять Теткин приехал, снова переживать!

— А я не против переживать, я за.

Накинув сарафан, Лора взяла полотенце и вышла.

Из-под простыни вылезла черненькая девушка, вертлявая и кудрявая, как пуделек. Темные красивые глаза смотрели скорее печально, в противоречии со смеющимся ротиком, полным неправильных, сдвинутых зубов.

— Я Тамара, зовут Томка. А та, полная, это Лора. Она в Теткина влюбилась, прямо смех. Я ей говорю: брось, а она продолжает, прямо как психованная. Теткин и Теткин, и никого другого, это надо же! Я лично в нем ничего не вижу особенного, мужчина как мужчина, лысый и довольно пожилой, хотя и молодой годами. но интересным его не назовешь, правда?

Томка не говорила, а словно журчала, слитно, без передышек, только иногда наклоняла голову, спрашивала: «Правда?» — и смотрела вбок. Она начала одеваться, проворно шевеля локтями.

— Вы не смотрите, я такая худая, прямо стыдно! Лора, она даже чересчур полная, а я худая, кому что, но Лорка, она по-своему очень даже интересная. Хотя у нас в КБ ее интересной не считают, слишком полна. А по-моему, полнота, если не слишком, даже украшает женщину, правда? Лорке полнота идет, она все-таки мать, девочка и мальчик, Маша и Миша. Лорка — она до ужаса рукодельница, французской гладью умеет, для меня это недоступно, я только русской, по сеточке, без набивки, но я рукоделием не увлекаюсь, это слишком несовременно, правда?

Лида сначала хотела отвечать, но быстро убедилась, что «правда?» — вопрос риторический.

— Подумать только, мы с Лорой тут скоро месяц, время бежит, условий никаких, жара, мухи, койки жесткие, на пленке эмульсия так и ползет, дешифрируй, как хочешь, в столовой суп «бе эм» и котлеты «бе гэ»; «бе эм» — значит без мяса, а «бе гэ» — без гарнира. Дома я большая любительница изящно покушать, я салат «оливье» сделаю — как художественная картина, я создана для хозяйства, так муж говорит. Он у меня мужчина интересный, хотя росту мало и лысина пробивается. Меня он называет «макака», но это так, а в душе он меня до ужаса любит. Получку принесет — и все мне, из рук в руки. Я бы не работала, но хочу на телевизор скопить, чтобы дома была культура, а то, говорят, муж будет куда-то стремиться, правда?

— У меня тоже нет телевизора.

— Ну, вам, с вашей зарплатой. на телевизор скопить — раз плюнуть, не то что мне. Я техник-лаборант, шестьсот получаю, да муж тысячу, от таких денег не каждый месяц отложишь, все на еду уходит, прямо смешно, никаких последствий. Все мои подруги сбережения имеют,

а я нет. Я только так говорю — хозяйственная, но нет, это я постряпать хозяйственная, а экономить я не умею, для этого не создана, я люблю, чтобы деньги не считать, чтобы по ветру летели деньги. Я ресторан люблю посещать. Для чего и жить, если себе отказывать, детей нет, скоро конец молодости, правда? Лорка, она здорово экономная, ну да ей и надо, все-таки одинокая, муж у нее ушел, слышали? Ушел к какой-то зануде, оставил двух детей, Маша и Миша,—ужас, какая трагедия, я даже плакала, честное слово, ведь это...

Она недоговорила, потому что пришел удар — глубокий, красивый, бархатный. Стекла лениво отозвались.

— Звуковой барьер,— сказала Томка.

— Нет, тол, килограммов двести,— поправила Лида.

— Ну так вот, я и говорю: ведь это очень трагично, когда муж уходит от жены! Прорабатывали его, но без результата. Я своего вот как держу: он только одним глазом посмотрит на женщину, я и то не пропускаю, говорю: не смотри. Он смеется: никто мне не нужен, кроме тебя, макака. Любит. Я его тоже люблю, только я не такая уж темпераментная, я и в девушках целоваться не любила, особенно когда страстно целуются, я этого не выношу, наверно, оттого, что очень худая, как вы думаете? Вы вот тоже худая, наверно, тоже не особенно страстная?

Лида не успела ответить: в дверь постучали.

— Кто там? — спросила Томка.

— Можно войти?

— О боже, мужчина,— засуетилась Томка, засовывая под матрас какой-то предмет туалета.— Входите!

Вошел майор Скворцов — весь подобранный, сапоги блестят, ремень с портупеей затянут до предела.

— Лидия Кондратьевна, я за вами.

— Почему за мной?

— Если я правильно понял обстановку, вы еще не обедали. В здешней столовой время обедов кончилось, а время ужинов еще не началось. Но я, вступив в переговоры с персоналом, решил эту проблему. Приглашаю вас к столу.

— Ладно, сейчас иду. Только мне надо умыться и переодеться.

— Сколько времени вам на это понадобится?

— Минут десять.

— Отменно. Ровно через десять минут жду вас в вестибюле.

Скворцов откозырял и вышел.

— Какой интересный! — воскликнула Томка.— Это ваш поклонник?

— Что вы! Мы с ним сегодня только познакомились.

— Тем лучше. Я таких мужчин очень люблю: в точности мой вкус!

Дома я себе не позволяю, соблюдаю семейный очаг, а здесь — отчего нет? На серьезное нарушение не пойду, а так — потанцевать, посмеяться — не вижу ничего дурного. Мужчина интересный, рост высокий, я это люблю, хотя сама вышла за низенького, и лицо интеллигентное, хотя прелести особой нет, но зато сразу виден ум, правда?

— Пожалуй, да. Я как-то не обратила внимания.

— Зато он на вас очень даже обратил, поверьте моему опыту. Я всегда вижу, кто на кого обращает, это у меня как ясновидение, даже муж говорит. Он только еще успеет подумать в направлении, а я уже ревновать начинаю. Все чтобы было мое, каждая мысль и каждое дыхание: вот как я понимаю семейную жизнь!

— Где здесь можно умыться?

— Во дворе налево. корыта такие стоят с умывальниками. Я вас провожу, хотите?

— Нет, спасибо, найду.

Пока Лида умывалась, пришло еще два удара. Вообще воздух в Лихаревке был насыщен ударами, и пора было уже не обращать на них внимания.

5

— Пока не достроен Дом офицера — а судя по замыслу, это будет дворец, — я вынужден кормить вас в предприятии общественного питания, которое лучше всего характеризуется русским термином «живо-пырка».

Майор Скворцов говорил очень по-своему: бегло, складно, щеголевато, голосом, натянутым, как струна, с каким-то даже легким дребезгом на гласных. Как будто звон невидимых шпор молодежато сопровождал каждое слово. Наверно, из-за контраста манеры говсрить и содержания все вместе выходило почему-то очень смешно. «А он ничего, — подумала Лида Ромнич. — Хорошо, что он за мной зашел».

Столовая помещалась в нескладном одноэтажном здании с грибообразной пристройкой. У входа росло деревцо на подпорке с тремя жалобно растопыренными ветками. Пыльные серо-зеленые листья, скрученные от жары полутрубочками, словно просили пить. На дереве висел плакатик: «Старший техник-лейтенант Неустроев».

— Почему старший техник-лейтенант?

— Гримасы быта, — отвечал Скворцов. — Заместитель по тылу, генерал Гиндин, после неудачных опытов по озеленению городка распорядился прикрепить к каждому офицеру персональное дерево, за которое означенный офицер отвечает головой. Судя по состоянию данного конкретного дерева, голова старшего техника-лейтенанта Неустроева находится в угрожаемом положении.

— Ну-ну, — сказала Лида. — А проще говорить вы не можете?

— Если надо, могу, — смеясь, ответил Скворцов.

Они вошли в дверь с надписью «Общий зал». В довольно обширном помещении толпились столы, покрытые сивой клеенкой. На столах ножками вверх стояли стулья. Уборщица мела пол, сердито шаркая веником.

— Здесь, кажется, уборка... — нерешительно сказала Лида. Ее робкий тон воодушевил Скворцова:

— Ничего, ничего, проходите.

Он провел ее между столиками, под раскаленным взглядом уборщицы, к дальней двери с табличкой: «Зал № 2. Пользование кроме старших офицеров воспрещается». Лида опять замялась.

— Будьте спокойны, — сказал Скворцов. — Вы имеете дело со мной. Пока я здесь, вам обеспечен офицерский харч.

В маленьком «зале № 2» было светло и даже довольно игриво: белые занавески, веселенькие, трафаретиком, стены, голубые клеенки. Между окнами висел плакат с лозунгом: «Предотвратим залет мухи!» — а сами окна были забраны частой проволочной сеткой. Несмотря на это, мух в зале было порядочно. С потолка свисали безопасные для них, высохшие от жары липучки. Горячий солнечный свет крутыми, твердыми какими-то столбами входил в окна. За столами уже сидели сегодняшние попутчики. Лида кивнула им и села, осматриваясь.

На стене напротив висела большая, масляными красками, картина, по-видимому, копия с васнецовского «Ивана-царевича на сером волке», но копия вольная, фантастическая. Писанная явно неумелой рукой, она дышала какой-то дикой искренностью. Сказочные, аляповатые цветы розово светились в лесной черноте. Царевич, глупый и пучеглазый до одури, крепко держал поперек туловища понишку в обмороке девицу.

Ее рыжие волосы летели вбок, как пламя от горящего самолета. Волк, насмешливо улыбаясь, вывалив язык, скакал прямо вон из картины, грудью на зрителя...

— Вас, кажется, заинтересовало данное произведение изобразительного искусства? — спросил Скворцов. — Даю пояснения. Всегда мечтал работать гидом. Это грандиозное полотно писал местный самодеятельный художник майор Тысячный. Страдает безответной любовью к живописи.

— Почему безответной?

— А неужели вам нравится?

— Чем-то — да.

— Пронзительная картина, — подтвердил генерал Сиверс. — Я бы ее купил. А он не продает своих работ, этот Тысячный?

— Кажется, нет.

— Жаль, я бы купил.

Чехардин, прищурившись, взглянул на картину:

— Народный примитив... Впрочем, не без чего-то.

— Вы это серьезно? — по-детски спросил Ваня Манин, перебегая глазами от лица к лицу. — Ну, значит, я дурак.

— Я тогда тоже дурак, — сказал Скворцов. — Никакой художественной ценности в этой картине я не вижу, хоть убейте.

— Правильно! — поддержал его Теткин. — Я тоже не вижу. Говорят, в капиталистических странах ослу кисть к хвосту привязывают, он и рисует, а потом эти картины продают за большие деньги...

— Молчите, Теткин, — отмахнулась Лида и повернула к Скворцову страдающие глаза. — Вы ничего не видите в этой картине? Нет, ничего вы не видите! Какие же вам картины нравятся?

— Какие? Ну, многие... — неопределенно отвечал Скворцов. К этому вопросу он был не подготовлен. В живописи он был слаб. Он вообще во многих вещах был слаб и отлично это сознавал, но до того был восприимчив и чуток и к тому же так хорошо владел речью, что зачастую с полуслова понимал что к чему и умел казаться неопытному глазу чуть ли не знатоком. Сейчас он тянул время, чтобы поймать намек, хоть маленький... Тут бы он развернулся.

— Какие же именно?

Фу ты черт, как на грех он не мог вспомнить ни одной картины: ни названия, ни художника. Одна, впрочем, сейчас представилась ему очень отчетливо: тюремная камера, вода, крысы на кровати, бледная женщина с открытыми плечами, откинувшая голову в страшном отчаянии... Красивая картина! Как же ее?

— «Не ждали», — подсказал Джапаридзе.

— Да, «Не ждали», конечно. неплохая картина, — мгновенно подхватил Скворцов и только что собрался по поводу этой совершенно неизвестной ему картины сказать что-нибудь этакое общее, ни к чему не обязывающее, как ему стало стыдно халтурить при этих простых и печальных серых глазах. Неожиданно для себя он признался: — По правде говоря, я ничего не понимаю в живописи.

— Я так и думала.

Разговор об искусстве на этом кончился, потому что вошла официантка в белом передничке — толстенькая, румяная, лакированная, до того похожая на кустарную «матрешку», что хотелось разнять ее и вынуть другую.

— Симочка! — закричал Скворцов. — Здравствуйте, деточка, вы цветете, как роза, рад вас видеть! Посмотрим, чем вы нас накормите, не знаю, как другие, а лично я уже почти умер от голода.

Симочка лупнула на него круглым синим глазом и сказала:

- Блюдов нет, супá не в чего лбжить.
- Ай-яй-яй, как же так?
- Да ничего, мы зараз намоем, давайте заказы приму.
- А что у вас есть?
- Борщ, котлеты.
- Борщ «бе эс»?
- Сметану всю покушали, осталось только для генеральского.
- А вы, Симочка, как-нибудь, а? — подмигнул ей Скворцов.

Симочка, не отвечая, записала: «Семь борщей, семь котлет» — и вышла.

— Делать нечего, — сказал Скворцов. — Придется ждать, пока будут намыты эти блюdá — так здесь называют глубокие тарелки.

— Черт, я здесь почему-то всегда жрать хочу, — пожаловался Теткин. — Пока ожидать, можно и загнуться.

— Теткин, тебе необходимо усвоить лучшие черты русского народа: ясный ум и терпение, — сказал Скворцов. — Вот, например, в нашей тяжелой ситуации что может сделать терпеливый человек? Отвлечь себя от пошлой мысли о еде чтением художественной литературы.

Он снял с углового столика серую тетрадь с карандашом на веревке:

— Перед вами, как следует из надписи на обложке, «Книга жалоб и предложений». Предложения, как обычно, отсутствуют или интереса не представляют, зато жалобы... Сам Чехов мог бы позавидовать. — Ему все еще было неловко, что он осрамился с живописью, и он особенно напирал на Чехова: — Проезжая мимо станции, у меня слетела шляпа.

— Читай-читай, — сказал Теткин. — Знаем, что грамотный.

— Внимание! — начал Скворцов. — Пример номер один. Скромная, сдержанная, немногословная жалоба, полная, несмотря на это, подлинной душевной боли: «Прошу обратить самое серьезное внимание на обслуживание посетителей столовой, которое происходит крайне медленно и грубо. Подполковник Ляхов». Погодите смеяться, главное здесь не жалоба, а ответ на нее: «Товарищ подполковник, рассмотрев вашу жалобу, факты не подтвердились, ибо ваша грубость отвечалась взаимностью. Зав. столовой Щукина».

Засмеялись все, кроме Лиды Ромнич. Нет у нее чувства юмора, что ли?

— Зав. столовой Щукина — талант! — сказал генерал Сиверс.

— А вот, — читал дальше Скворцов, — жалоба номер два: крик души, оставшийся без ответа. Слушайте, это почти стихи: «Возмущен приготовлением гуся. Сырой совершенно, да к тому же, вероятно, старый гусь. Снимает ли кто-либо пробу с подобного деликатеса, как гусь? Подержал в зубах и положил обратно в тарелку. Уплатил три пятнадцать. За что?»

Засмеялись все, даже Лида. Она смеялась словно с неохотой, нагнув голову и отвернувшись, по-детски вытирая слезы ладошкой, и Скворцов рад был, что она смеется, ужасно рад! Хорошо смеялся и Чехардин. Он все повторял: «Гуся! Гусь! Гусь!» — и опять начинал хохотать. Смеясь, он казался куда добрее и проще.

— А вот еще... — начал Скворцов, но не закончил.

Появилась Симочка с подносом, на котором в два этажа громоздились тарелки. Борщ был коричневый, пожилой, очевидно не раз разогретый, но зато в каждой тарелке плавал кружочек сметаны.

— Ай да Симочка! — завопил Скворцов. — За сметану вас расцеловать надо!

— Я — мужняя жена,— рассудительно ответила Симочка.

Принялись за борщ. Тут отворилась дверь и, неся перед собой живот, вошел огромного роста, толстоплечий, львино-седой генерал. Бодро подрагивая плечами и грудью, он направился прямо к столу, за которым сидел Сиверс:

— Здравия желаю, товарищ генерал. Меня зовут Гиндин, Семен Миронович. Вы меня еще не знаете, зато я вас знаю. Ничего, теперь вы меня узнаете: раз уже приехали в мое хозяйство, вам придется меня узнать. Прошу свободно обращаться по любому вопросу. А сейчас — я за вами. Мне только что донесли, что вы собираетесь обедать здесь, во втором зале. Зачем же? Для таких гостей, как вы, у нас есть другой зал, специальный. Напрасно вас сюда даже пустили, надо было направить прямо туда! Но, знаете, пока дисциплинируешь этих людей... Пройдемте со мной, товарищ генерал!

— Вольно,— сказал генерал Сиверс.— Садитесь.

Это Гиндину не понравилось, но он придвинул стул и сел.

— Так как же, пойдём?

— Да нет уж, я лучше здесь останусь, со своим народом.— Сиверс обвел рукой присутствующих.— Я, знаете, из тех руководителей, которые неразлучны с народом.

— Вольному воля,— сказал генерал Гиндин, начиная сердиться, но сохраняя светский тон.— Все-таки я еще раз советую пойти. Угощу жареной уткой.

— Уткой, говорите?..— Сиверс как бы задумался.— Нет, покорнейше благодарю, не надо. Огорчен, но вынужден отказаться. Кстати, пользуюсь случаем выразить вам свое восхищение.

— По какому поводу?

— Изумлен тонкостью обращения, достигнутой во вверенной вам части.

— В каком смысле? — шекотливо спросил Гиндин.

— В гоголевском. Помните: «У нас на Руси если не угнались еще кой в чем другом за иностранцами (прошу прощения, не я, не я, Гоголь!), то далеко перегнали их в умении обращаться... У нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, как с тем, у кого их триста...»

— Поражен вашей прекрасной памятью,— прервал его генерал Гиндин.— В других условиях я душевно рад был бы вас выслушать, но теперь меня призывают дела. Служба, знаете ли, долг службы...

— Скажите! А вот у меня времени как раз сколько угодно. Тем более что во вверенной вам столовой не очень-то торопятся со сменой блюд. Прошу вас, прослушайте еще один — только один! — поучительный отрывок...

— Мне, право же, некогда.— Генерал Гиндин стал вставать.

— Одну минуточку,— засуетился генерал Сиверс, удерживая его за руку.— В качестве личного одолжения. «Чичиков заглянул в городской сад, который состоял из тоненьких дерев, дурно принявшихся...»

— Не понимаю, какое это имеет...

— Сейчас поймете. Помните, как о них было сказано в газетке: «Город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых дерев...»

— Мне, право...

— «...и было умилительно глядеть, как сердца граждан трепетали и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику...»

У Гиндина покраснел лоб. Он встал.

— Я вас понял, товарищ генерал. К вашему счастью, я долго служил на Кавказе и усвоил заповедь: гость — лицо священное. Выше всего — долг гостеприимства. Несмотря на это, я все же сообщу вам свое мнение по затронутому вопросу: легче выучить наизусть Гоголя, чем вырастить хотя бы одно дерево. Будьте здоровы.

Он поклонился и вышел. Дверь с ветром захлопнулась.

— Забавное кино! — захохотал Теткин.

Генерал Сиверс невозмутимо принялся за свой остывший борщ.

Лида Ромнич спросила:

— Это тот самый генерал Гиндин, который к каждому дереву прикрепил офицера?

— Тот самый, — ответил Скворцов. — Любопытный человек, кстати говоря.

— Матерый бюрократ? — полуутвердительно спросил Ваня Манин. Он очень ценил формулировки и каждое явление сразу старался увязать с терминологией.

— Ну, нет, — ответил Скворцов — Что хотите: властолюбец, деспот, хам, но не бюрократ.

— Власть любит, что верно, то верно! — поддержал Теткин. — Он тут таких строгостей понавел! Этой зимой — знаега, как здесь бывает холодно? — вызвал он одного капитана, стружку снять, а тот — в шинели. Гиндин на него: «Почему в шинели?» — «Холодно, товарищ генерал». — «Ничего, снимите, сейчас вам будет жарко».

Теткин захохотал.

— Самодур? — с надеждой спросил Манин.

— Пожалуй, и самодур, — ответил Скворцов, — но только его это не исчерпывает. Гиндин — сложное явление. Энергичен, умен, талантлив, дело у него горит... Знаете, что здесь до него было? Пустыня, глушь, дичь, одни землянки да помойные ямы. За водой на реку с коромыслами ходили. Весь наш городок — это же Гиндин построил! И в каких условиях! Жара, воды нет, люди от болезней так и валятся...

Скворцов говорил горячо и почему-то даже без юмора. Его поддерживал Чехардин:

— Согласен с вами. Генерал Гиндин — любопытнейший тип. Это хозяйственник особого рода, хозяйственник-гений, такие могут вырастать только у нас, выковываются в процессе преодоления трудностей... Вы подумайте только, каково хозяйственнику в наших условиях: направо пойдешь — коня потеряешь, налево — сам погибнешь... А этот Гиндин ни черта не боится. У него к законам отношения конструктивное. Если надо — заплатит сверхурочные, проведет расходы по другой рубрике, из-под земли достанет лимитные фонды, бездельника уволит, хорошего работника переманит... Вместе с тем, без сомнения, субъективно честен. Никогда ничего не сделал для себя лично. Здесь ему предлагали отдельный коттедж — отказался. Так и живет в гостинице.

— А семья? — спросил Манин.

— В Москве, — ответил Теткин. — Жена пожилая, дети взрослые — чего они сюда поедут? Он к себе выписал папу — занятный, между прочим, старик! — так и живет вдвоем с папочкой. Очень любящий сын.

— Так долго жить в разлуке с семьей — это может привести к моральному разложению, — заметил Манин.

— Не беспокойся, уже привело, — засмеялся Теткин.

Генерал Сиверс положил ложку и сказал:

— Достойный человек. Зря я его обидел. Попутал бес.

Симочка внесла вторые.

6

Испытания затянулись. Генерал Сиверс вернулся в свою гостиницу поздно вечером. Он довольно долго звонил у подъезда. Заспанная дежурная в наскоро наброшенном халате, с волосами, накрученными на бигуди, отворила ему дверь и конфузливо скрылась. Он поднялся к себе на второй этаж. В двухкомнатном номере было душно. Очень хотелось вымыться.

Он прошел в ванную, отвернул кран — воды не было. Ну-ну. Кое-как, черпая кружкой из ведра, он вымыл над раковиной лицо и руки, вернулся в номер и распахнул окно. На улице было так же душно. Удручающе теплый ночной воздух не шевелился. Вдали, чуть смягченные дрожащей дымкой, мигали и роились огни Лихаревки. Где-то завывала сирена и замолчала; потом послышался отдаленный гул, похожий на рыкание множества львов; яркий огненный след стремительной дорожкой пересек небо, осветил и погас... Как всегда, в ночное время на объектах шли работы.

Генерал Сиверс отошел от окна. Нет, нельзя сказать, решительного успеха сегодня не было. Но и отрицательного результата — тоже. А это важно — отсутствие отрицательного результата. Посмотрим, посмотрим.

Тишина в номере была настороженной, полной мелких разнообразных звуков. В водопроводных трубах не прекращалась чмокающая, булькающая суетня. У потолка, в матовом плафоне, с легким постукиванием возились лесные клопы особой местной породы — крупные, жесткие, панцирные, — клспы-рыцари. К этим обитателям номера он уже привык; они жили своей странной, сосредоточенной жизнью, особенно оживляясь по ночам, когда они собирались в ламповом колпаке на какие-то свои клопные турниры...

Под лампой, на круглом столе, покрытом зеленой бархатной скатертью, белел прямоугольник — письмо. Сиверс его распечатал.

«Дорогой Саша, — писала жена, — как ты там поживаешь? Ради бога, будь осторожен, я всегда за тебя волнуюсь. Я без тебя скучаю, мальчики — тоже. У нас пока что все благополучно, главное — здоровы. Володя ходит весь счастливый и гордый: его корреспонденцию напечатали в «Комсомольской правде». Юра получил премию на конкурсе авиамodelистов. А Коля вчера опять упал в грязь и штаны порвал...»

Генерал Сиверс усмехнулся и пробормотал:

— От каждого — по способностям, каждому — по потребностям.

Коля, младшенький, был его любимец: красив, строптив, черноглаз — картина!

«Постарайся не слишком задерживаться, — писала дальше жена, — мне что-то страшно без тебя и очень тоскливо. Приходят разные мысли. Вчера был Борис Николаевич, рассказывал: Доллер заболел, Ситников тоже. Относительно Доллера еще можно было ожидать, но Ситников всех удивил. Борис Николаевич беспокоится о твоём здоровье. Здесь все время идут дожди, так и лето пройдет, а тепла мы еще не видели. Ну, будь здоров. Целую тебя, мой дорогой, и жду. Твоя Лиля».

Письмо было без даты — глупейшая женская манера! Сиверс исследовал конверт — отправлено авиапочтой, четыре дня назад. Он еще раз перечел письмо — выражение какой-то досадливой нежности прошло по его лицу. «Глупая ты моя, глупая», — сказал он куда-то в себя. Потом разорвал письмо на мелкие квадратики, поискал под столом корзину — ее не оказалось — и бросил обрывки в пепельницу. В дверь постучали.

— Avanti! — крикнул Сиверс.

Никто не входил.

— Войдите! *Avanti* по-итальянски «войдите»!

Дверь открылась. На пороге, занимая чуть ли не весь дверной проем, стоял генерал Гиндин. В руках у него была бутылка коньяка.

— Разрешите войти?

— Конечно, конечно! Милости просим! Садитесь, гостем будете.

Генерал Гиндин сел и поставил бутылку на стол.

— Пришел поинтересоваться, как вы тут устроились? Долг хозяина. Нет ли у вас в чем-нибудь недостатка? Только откровенно!

— Нет, благодарю вас, недостатка ни в чем не замечается. Напротив, все превосходно.

— Как вас устраивает номер?

— Благодарю вас, номер замечательный.

— Обслуживание?

— Отличнейшее.

— Летом у нас,— сказал Гиндин,— нередко бывают перебои с водой... Знаете, трудности роста... Вам приходится в связи с этим испытывать неудобства...

— Помилуйте, какие неудобства? Я даже не заметил, что воды нет.

Генерал Гиндин засмеялся:

— Ну, ладно, довольно церемоний. Я долго работал на Дальнем Востоке и слышал там одну китайскую формулу вежливости; на русском языке она звучит примерно так: «Шарик моей благодарности катится по коридору вашей любезности, и пусть коридор вашей любезности будет бесконечным для шарика моей благодарности». Хватит катать шарики по коридорам. Говорю просто и ясно: зашел я к вам потому, что хотел с вами поближе познакомиться, провести время в приятной беседе, выпить бутылочку коньяку... Кстати, коньяк французский, настоящий «мартель». Здесь, в нашей деревне, такой коньяк оценить никому. А в вас я подозреваю знатока.

— Помилуйте, какой же я знаток? Впрочем, в свое время я этим вопросом отчасти интересовался. Знаете, в чем главное преимущество знаменитых французских коньяков? Отнюдь не в качествах самой лозы, а в качествах дуба, из которого делаются бочки. Сама по себе французская лоза, так называемая *folle blanche*, из которой выделяются коньячные спирты, не так уж превосходит наши кавказские, особенно армянские, сорта. Но дуб...

— Второй раз убеждаюсь в вашей обширной эрудиции и блестящей памяти. Тем более приятно угостить вас коньяком, который выдерживался, несомненно, в самой высококачественной дубовой таре. Попробуем?

— Давайте.

Сиверс взял со стола один стакан и пошел было в ванную за вторым, но генерал Гиндин его остановил:

— О нет, не беспокойтесь. В нашем «люксе» все есть — и рюмки, и бокалы, и фарфор, и столовая посуда.

Он нажал кнопку звонка. Явилась все та же заспанная дежурная. Увидев Гиндина, она спешно стала раскручивать бигуди.

— Зина, вам известны обязанности дежурной? — спросил Гиндин.

— Известны, товарищ генерал. Вы уж меня простите, я на одну минуточку только заснула, честное слово.

— Еще раз напоминаю: в круг ваших обязанностей входит не спать в часы дежурства и сразу являться по вызову. И являться прилично одетой и причесанной, а не в виде распатланной марсианки. Если вас

эти условия не устраивают, скажите только два слова, и я вас немедленно освобожу.

— Товарищ генерал...

— Хватит. Об этом мы поговорим в другой обстановке. А теперь разбудите, пожалуйста, Аду Трофимовну и скажите, что я прошу ее принести сюда коньячные бокалы и закуску. Заметьте — коньячные, а не просто фужеры.

— Слушаю, товарищ генерал.

Дежурная ушла.

— Видали? — спросил Гиндин. — С такими людьми приходится работать! Плохо, что их уровень жизни почти не зависит от качества их работы. А самое главное — внутреннее сопротивление. У нас вообще до того отвыкли от так называемого «сервиса» — да, строго говоря, у нас никогда его и не было... у нас до того незнакомы с идеей сервиса, что каждое начинание в этой области встречается в штыки, причем и с той и с другой стороны, вот что интересно. Протестуют и те, которые должны обслуживать, и те, которых должны обслуживать. В вашем выступлении — помните, тогда, в столовой? — прозвучал, по-моему, протест второго рода.

— Ах, бросьте, — чистосердечно сказал Сиверс, — какой протест? Просто я тогда не подумавши наговорил лишнего. Простите великодушно.

— Не стоит, не стоит извиняться, — перебил его Гиндин, видимо, впрочем, обрадованный, — что старое поминать? Я только хотел отметить, что у нас из-за такого ложно понятого демократизма люди легко мирятся с любыми условиями жизни. Спросишь у такого демократа: «Ну, как условия? Хорошо ли вас обслуживают?» А у него уже на языке готовый ответ: «Спасибо, обслуживают превосходно!» А на деле обслуживают паршиво, так и надо сказать: паршиво обслуживают!

— Мне много не нужно.

— Дело не в вас, а в принципе. Чтобы приучить народ к идее сервиса — кстати, идея благородная, ничуть не холуйская! — надо не благословлять распушенность, а наоборот — требовать и требовать! — Гиндин опустил на стол большой, красный, жестко сжатый кулак: — Требовать! И никаких поблажек! Неужели же я не знаю, что легче спускать, чем требовать? Что проще всего быть таким всепрощающим христосиком в мундире? Требовательность — она требует всей жизни! Я себе на этой требовательности заработал инфаркт миокарда и еще не то заработаю. Пускай я умру, но умру, требуя!

— Что вы, Семен Миронович! Мы еще с вами поживем.

— Позвольте рассказать вам один эпизод, — не слушая, говорил Гиндин. — Сразу после войны я по некоторым причинам попал в немилость, меня отстранили от больших дел и послали командиром дивизии на Сахалин. Что же, я солдат. Пусть будет Сахалин. А знаете, что такое Южный Сахалин? Нет, вы не знаете, откуда вам знать? Условия — хуже некуда, жилья нет. Домишки какие-то бамбуковые, с бумажными стенами — ветер так и гуляет. Размещались мы там попросту: где работаем, тут и живем. Прибыл я к новому месту службы, принял дела, а вечером понадобилось мне посетить, извините за подробности, туалет. Вышел на улицу, походил — ничего не нашел. Вызываю начальника тыла: «Простите, товарищ полковник, что беспокоил в ночное время, но где у вас туалет?» Смутился: «Туалета не предусмотрено. Часть только разворачивается, а раньше здесь японцы жили, у них вообще туалетов не было». — «Их дело, говорю, может быть, японцы и могут так жить, а евреи не могут. Поэтому, будьте любезны, распорядитесь,

чтобы к завтрашнему утру, ровно к восьми ноль-ноль, у меня был туалет. Не будет — взыщу с вас». — «Есть, товарищ генерал!» Утром встаю: «Ну как?» — «Всю ночь строили, товарищ генерал. Только, разрешите доложить, к восьми ноль-ноль готов не будет». — «А когда будет?» — «В восемь двадцать». — «Ничего, двадцать минут я еще могу потерпеть». И что же? Ровно в восемь двадцать...

В дверь постучали, и вошла с подносом в руках красивая, стройная женщина, безукоризненно одетая и причесанная, с огромными диковатыми глазами. Она спокойно поздоровалась и поставила поднос. На нем были высокие, тонкого стекла, бокалы, печенье, сыр, тонко нарезанный лимон.

— Спасибо, дорогая, — светским голосом сказал Гиндин. — Познакомьтесь: генерал Сиверс, Александр Евгеньевич; Ада Трофимовна — хозяйка нашей гостиницы «люкс».

— Очень приятно, — сказала Ада Трофимовна. Генерал Сиверс встал и поклонился.

— Присядьте, Ада, — сказал Гиндин.

Ада Трофимовна села, сложив на коленях сухие, продолговатые руки.

— Генерал — наш уважаемый гость, и я вас прошу отнестись к нему с особым вниманием. Вы меня поняли?

Ада Трофимовна кивнула.

— Завтрак в номер?

— Ради бога, не надо, — поспешно возразил Сиверс. — Это бы меня только стеснило, к тому же я не имею привычки завтракать.

— Может быть, обед, ужин? — спросил Гиндин.

— Покорно благодарю, ничего.

— Видите, Ада, наш гость ничего не хочет. Тем более интересная задача — угодить ему. Я вас прошу, Ада, иметь это в виду. А теперь я вас больше не задерживаю...

Ада Трофимовна встала, улыбнулась, поклонилась и вышла.

— Какова? — спросил Гиндин. — Герцогиня! Прямо Элиза Дулитл из пьесы «Пигмалион».

— Красивая женщина, — ответил Сиверс.

— Главное, манеры. За манеры я ее и держу. На начальство она действует без промаха. Приедет какой-нибудь такой, начнет метать громы и молнии, а я на него — Аду. Смотришь, через небольшое время этот громовержец из рук ест. Да, в этом смысле Ада незаменима... Одна беда — глупа, как гусыня.

— Чему это мешает? — сказал Сиверс. — Женщина — как поэзия. Знаете, у Пушкина: «Поэзия, прости господи, должна быть глуповатой».

— Действительно, некоторые любят женственность в чистом виде, так сказать о натюрель. Но о вкусах не спорят. Я лично предпочитаю женщин, с которыми в промежутках можно еще и разговаривать. Разрешите вам налить?

— Пожалуйста.

Гиндин налил понемногу коньяку в оба бокала:

— Коньяк, я слышал, требует больших бокалов, не так ли?

— Совершенно верно, только нужно перед тем, как пить, слегка его взболтать круговым движением, вот так, ополоснуть им стенки, чтобы лучше чувствовался букет.

Генералы взболтнули свой коньяк круговыми движениями, принялись и выпили.

— Ну как?

— Первокласно,— сказал Сиверс, закрывая глаза.

— Я рад вашей высокой оценке. Повторим?

— Можно.

— За наше знакомство.

Чокнулись, выпили.

— Вы сыром закусывайте, Александр Евгеньевич.

— Нет, я лучше лимончиком.

— Кстати,— сказал Гиндин, разглядывая коньяк на свет,— прошлый раз с вами в столовой, если не ошибаюсь, была женщина. Кто она такая?

— Да, как будто была,— равнодушно ответил Сиверс.— Ромнич Лидия Кондратьевна, конструктор, кажется, по боевым частям. А что?

— Она показалась мне интересной. Запоминающееся лицо. Я и потом встречал ее раза два-три — в столовой, на улице... Какие глаза, вы заметили? Торжество скорби. Глаза великомученицы, святой! Откуда такие глаза у советского инженера-конструктора, да еще по боевым частям? Загадка! А главное, эта правдивость, обжигающая правдивость на лице...

— Однако вы хорошо описываете, со знанием дела. Даже меня проняло.

— А что, она вам не нравится?

— Как вам сказать... Слишком худа.

— Женщина не может быть слишком худой.

— Ну это на вкус. О вкусах, как вы правильно заметили, не спорят.

— Вы, конечно, женаты? — спросил Гиндин.

— Женат,— ответил Сиверс, отсекая голосом продолжение разговора.

— И дети есть?

— Трое мальцов.

— В каком возрасте, позвольте узнать?

— Старший школу кончает, а младшему двенадцать стукнуло. Колей зовут. Красавец.

— Это хорошо,— сказал Гиндин.— У меня две дочери. Замужем, внуков народили. Жена там, с внуками, а я здесь один с папой. Вроде холостяка на старости лет.

— Это хорошо,— сказал Сиверс.

Коньяку убавилось уже порядочно. Генералы беседовали в обстановке полного, немного размягченного дружелюбия.

— Знаете,— говорил Гиндин,— если вы хотите что-нибудь на этом свете делать, а не сидеть, как Будда, глядя на свой пуп, то на вас будут клеветать — это как дважды два четыре. Возьмем меня. Чего только про меня не говорят! Я и деспот, я и вор, я и развратник. Вором, я клянусь вам, никогда не был, копейкой не воспользовался для себя лично, наоборот, сам с ворами воевал, и очень успешно; это факт, мои подчиненные не воруют! Пункт два: развратник. Развратником рад бы быть, да годы не позволяют, а после двух инфарктов особенно. Здесь на меня стали всех собак вешать за то, что я будто бы с Адой живу. Это почти клевета, я с ней очень мало живу, и нужна она мне совсем для другого. Я люблю, чтобы вокруг меня были мои люди, мой стиль. Принять, угодить, блеснуть. Это в ней есть. Мне советуют уволить ее, чтобы не было разговоров! Пха. Разговоры все равно будут. Пока жив Гиндин, о нем будут разговаривать, такова моя судьба.

— *Nabeant sua fata libelli.*

— Как вы сказали?

— Это по-латыни: книги имеют свою судьбу. Люди тоже.

— Мне, к сожалению, не удалось получить классического образования: процентная норма. Кончал реальное. В сущности, даже не кончил: началась гражданская война, граната у пояса, знаете: «Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем»... Вы тоже недоучились?

— Нет, я гимназию кончил в восемнадцатом. На гражданскую попал уже потом.

— А вы знаете, Александр Евгеньевич, что это классическое образование может сыграть с вами злую шутку? Сейчас не очень любят людей, которые злоупотребляют иностранными языками, живыми и мертвыми. Я бы на вашем месте поостерегся. Особенно с вашей, прямо сказать, нерусской фамилией.

— Я — российский дворянин, — надменно отвечал Сиверс, — предки мои проливали кровь за Российскую империю, а я — за Российскую Федеративную. Как-нибудь мы с Россией разберемся, русский я или нет.

— Я только предупредил, — мягко сказал Гиндин. — За ваше здоровье!

— С месяц назад, — перебил его Сиверс с некоторым воодушевлением, — вызвал меня начальник отдела кадров, некто Мищенко. Надо вам сказать, что на этом месте прежде сидел другой деятель, но его сняли. Вызывает меня Мищенко и начинает разговор о том, о сем, а карт не открывает. Я тоже перед ним Швейком прикинулся. Водим этак друг друга за нос — кому скорей надоест? В конце концов оказалось, что его интересует моя фамилия. Откуда, мол, у меня такая фамилия? Читай: не агент ли я иностранной разведки? Я говорю ему: «Это дело серьезное, позвольте, я к вам завтра зайду». Назавтра являюсь, захватив необходимые документы, в том числе фамильную реликвию: жалованную грамоту за собственноручной подписью императрицы Елисавет, где удостоверено, что прапрапрадед мой, Карл Иоахим Флориан Сиверс, за верную службу в российских войсках пожалован потомственным дворянином. Показал я Мищенко эту грамоту, даже печать сургучную предложил обследовать, он обследовал и, знаете, весьма даже доволен остался. Ушел я от него и думаю: воистину чудны дела твои, господи! Я ли это, тот самый, которого в двадцать первом году из университета выперли.

— Да, наша жизнь часто совершает крутые повороты, — сказал Гиндин. — Когда становится плохо, я всегда на это надеюсь. Я оптимист.

— А знаете, — снова заговорил Сиверс, — я по этому поводу вспомнил одну историю про Дмитрия Дмитрича Мордухай-Болтовского, был такой профессор, математик. Случилась эта история то ли в двадцать втором, то ли в двадцать третьем году. В университете, где Дмитрий Дмитрич имел кафедру, проходила очередная кампания по выявлению классово чуждых элементов. Роздали анкеты. Дмитрий Дмитрич возьми, да и напиши в графе «сословная принадлежность до революции»: дворянин, мол, но это неправильно, потому что по справедливости род Мордухай-Болтовских княжеский; что интригами царского правительства княжеский титул был у рода отнят и что он просит советскую власть восстановить справедливость и считать его, Мордухай-Болтовского, князем. Что тут началось — вы себе представляете. Старика отовсюду поперли в три шеи. Он и сам понял, что слупил, но было уже поздно. Совсем бы ему плохо пришлось, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что семья Болтовских не раз прятала Михаила Ивановича Калинина от полиции. Так вот, когда вся эта история разразилась, поехал Дмитрий Дмитрич в Москву к Михаилу Ивановичу на прием: «Так и так, мол, заступись, гонят меня отовсюду». Михаил Иванович, конечно, его принял, выслушал, обещал помочь. Сидят они друг против друга — ста-

рое вспоминают. И говорит Михаил Иванович Калинин: «Дмитрий Дмитрич! А помните, как вы мне тогда говорили: «Брось, Миша! Лбом стену не прошибешь!» — «Помню». — «А ведь прошибли-таки, Дмитрий Дмитрич!»

Генерал Сиверс умолк.

— Я не совсем понял, к чему вы это рассказывали? — любезно осведомился Гиндин.

— К тому, что лбом стенку как раз и прошибешь, если только бить систематически.

— Золотые слова, — сказал Гиндин и поднял бокал. — Итак, за лоб?

— За лоб, Семен Миронович. А еще лучше, за лбы.

...Внезапно раздалось какое-то утробное гоготание, всхлипы и свисты, а затем из ванны донесся плещущий шум: пошла вода.

7

На другое утро генерал Сиверс встал рано, чтобы ехать на опыты. Голова у него болела, во рту был железный вкус. «Старею, — подумал он, — и выпили-то всего ничего». Он пошел мыться — кран защебетал, выронил ржавую каплю и иссяк. Сиверс неохотно умылся теплой водой из ведра; на дне отстоялся за ночь бархатистый слой ржавчины. Опять: «Старею, начинаю чувствовать неудобства». Он прошел обратно в номер, взял с подноса зачерствевший, обмастившийся вчерашний ломтик сыра и с отвращением съел. Через пять минут должна была прийти машина. Он спустился вниз. У лестницы стоял низенький старичок, серый, как мышь, с бритой головой и небритым лицом.

— Здравствуйте, — сказал Сиверс.

— Здравствуйте, — ответил старичок трагическим шепотом, — я вас специально здесь дожидаясь. Я Гиндин, Мирон Ильич, папа генерала.

Сиверс подал ему руку:

— Очень рад познакомиться.

— Я ждал вас, потому что имею твердое намерение с вами поговорить. Я вас ждал, как спасителя!

— Пожалуйста. Чем могу служить?

— Пройдете к нам, — сказал старичок, робко оглядываясь, — только прошу тет-а-тет, строго между нами.

— Будьте благонадежны.

Они вошли в комнату, пустоватую, точно такую, как номер «люкс» наверху, только похуже и попроще: без зеленой скатерти, без зеркала, без филодендрона в углу. Комната казалась нежилой, только на стуле, растопырив золотые плечи, отдыхал огромный генеральский китель да из-под кровати показывала стоптанные задники пара разболтанных шлепанцев.

— Вы простите, здесь не совсем порядок, не успеваю убирать. Знаете, семьдесят пять лет — это семьдесят пять лет, а жара есть жара.

Руки у старика дрожали, и он все топтался.

— Вы бы присели, — сказал Сиверс.

— Вы садитесь, вы! — воскликнул папа Гиндин. — Вот на это кресло, а я на стуле, я так, я на стуле посижу, что вы.

После короткой борьбы Сиверсу пришлось-таки сесть в огромное кресло, хранившее, казалось, отпечаток мощных плеч генерала Гиндина, а старик примостился напротив на стуле, робко поджав ноги.

— Ваше имя-отчество, позвольте узнать?

— Александр Евгеньевич.

— Я в энциклопедии читал про одного Сиверса, так это не вы?

— Нет, это мой дядя.

— Очень плохо у нас еще работают энциклопедии. Такого человека, как вы,— и не поместить.

— Мирон Ильич,— сказал Сиверс,— я надеюсь, речь идет не о том, чтобы устроить меня в энциклопедию? Если у вас есть такая возможность, я об этом охотно поговорю в другой раз, а теперь я должен ехать...

— Что вы, простите, я сейчас,— заволновался старик.— Мое дело совсем не в этом. Я к вам обращаюсь потому, что вы имеете влияние на моего сына. Пожалуйста, запретите ему пить.

— Помилуйте, как я могу ему запретить? Мы с ним едва знакомы.

— Нет, не говорите, я видел, в каком состоянии он вчера от вас пришел. Ему нельзя пить ни капли, это для него яд, смерть. У него очень большое сердце!

— Охотно верю, но я тут ни при чем. Я его не совращал. Он сам ко мне пришел с бутылкой «мартеля». Ей-богу.

— Знаю, знаю,— горестно поднял ручки Мирон Ильич.— Но если бы вы его не поддержали в этой идее... Он не стал бы пить один.

— Ваш сын, кажется, не совсем мальчик.

Старик заплакал.

— Вы не знаете моего Сему. Это же такая душа! Нежный, чувствительный... Вы видите только оболочку, грубую оболочку солдафона. Я, только я один, знаю, какая это душа! Это цветок, а не человек.

Сиверс невольно улыбнулся.

— Не смейтесь, ради бога не смейтесь,— взмолился папа Гиндин, сложив ладошками мохнатенькие руки,— не знаю, как передать вам, чтобы вы поняли! Никто не понимает. Его собственная жена не понимает! Не поехала с ним сюда... Я не осуждаю, но, если бы я был его женой, неужели бы я с ним не поехал? Куда угодно поехал бы, на край света... А как он переживает, Сема, это страшно смотреть. «Папа,— говорит он мне,— никто меня не любит, ты один меня любишь, папа»,— так и говорит! И это правда, святая правда. Я у него один, и он у меня один. «Не пей, говорю, Сема». Пьет...

Старик вынул из кармана заношенный серый платочек, сложил плотным квадратиком и вытер слезы. Сиверс болезненно сморщился. Не слезы пронзили его, а этот платочек.

— Ну-ну,— сказал он,— пожалуйста, Мирон Ильич, не плачьте, а то я сам зареву, я человек нервный. Скажите, чем я могу помочь, ну право же, я постараюсь.

— Чем помочь? Будьте ему другом. У него же нет друзей, ни одной души. Гордый, одинокий. Здесь на него смотрят косо, не прощают ему принципиальности. Он же честный, как брильянт, а люди этого не любят. Он говорит «плевать», а разве ему плевать? Все эти сплетни, разговоры — они ему ложатся прямо на сердце. А самое главное, ему нельзя пить, ни грамма. После второго инфаркта профессор так и сказал: «Будет пить — покупайте сразу место на кладбище». Хорошо? А он пьет.

— Успокойтесь, Мирон Ильич, я больше с ним пить не буду и его удержу при случае...

— А разве в этом все? — вскричал Мирон Ильич.— Эта Ада рядом с ним, видели? Страшная женщина! Разве она его любит? Она любит только свою красоту, и больше ничего! Это сердце, неспособное к любви. Мрачная пустыня, а не сердце! На меня она смотрит, как... Клянусь вам,

я на паршивую собаку смотрел бы добрее, чем она смотрит на меня! Нет, ничего, я терплю, я все стерплю ради бедного Семы...

— Послушайте, Мирон Ильич, зря вы отпеваете своего сына. Ваш Сема — мужик могучий. Деятелен, энергичен, сам черт ему не брат. Вчера мы с ним ноздря в ноздю пили, даже я маленько покосился, а ему хоть бы что. Его надолго хватит, честное слово. Он еще вас похоронит.

— Вы это серьезно? — робко обрадовался старик. — У вас такое впечатление?

— Совершенно серьезно.

— Может быть, вы и правы, может быть... Я тут все один да один, не с кем посоветоваться, поневоле начинают появляться мысли... Может быть, может быть...

— Не может быть, а именно так, — авторитетно заявил Сиверс. — А что касается вина, так я вам напомним прекрасное четверостишие Омара Хайяма:

Я пил всю жизнь, умру без страха
И хмельный лягу под землей,
И аромат вина из праха
Взойдет и встанет надо мной!

Папа Гиндин вдруг чрезвычайно оживился:

— Омар Хайям! Вы любите Омара Хайяма? Не может быть!

— А вы тоже любите?

— Обожаю!

— Прекрасно! А помните...

...Шофер за рулем машины, ожидавшей генерала Сиверса у подъезда гостиницы «люкс», несколько раз уже давал нетерпеливые сигналы, но Сиверс и Мирон Ильич его не слышали. «А помните вот это?» — спрашивал Сиверс. «Да-да, прекрасно, возвышенно, — отвечал Мирон Ильич, — а помните вот это?» И они все читали и читали стихи, и старик хлюпал от радости, да и Сиверс был растроган.

Они не заметили, как подъехала машина, как поднялся по ступеням вышедший из нее большой человек, как приоткрылась дверь. Посредине комнаты на цыпочках стоял Мирон Ильич и, размахивая руками, декламировал:

Когда я трезв, нет радости ни в чем.
Когда я пьян, мутится ум вином.
Но между трезвостью и хмелем есть мгновение,
Которое люблю за то, что жизнь — лишь в нем.

— Да-да, — отвечал Сиверс из кресла, — именно так!

— Здравствуйте, Александр Евгеньевич, — сказал, входя, генерал Гиндин. — Я вижу, что вы с моим папой уже нашли общий язык.

Дни в Лихаревке шли горячие и тяжелые; они начинали задыхаться уже с утра. По мере того, как крепчала жара, командование переносило начало рабочего дня все раньше и раньше. Теперь он начинался уже в пять часов, и все равно спасения не было. В служебных помещениях люди сидели измученные, потные, злые, прилипшие к своим стульям. Иногда даже напиться было нечем, и служащие бегали из отдела в отдел в поисках воды. Об испытательных площадках и говорить нечего — там был сущий ад, и все-таки изнуренно и упрямо работали черные, на себя

непохожие офицеры и солдаты. И среди этого раскаленного окаянства особым миром приволья была пойма. Наверху — плоская степь, мертвое однообразие, карающий зной. Внизу — пойма.

Пойма была бесконечно разнообразна. Она менялась от места к месту и от дня ко дню. Река здесь распадалась на сотни рукавов, намывала и снова разрушала песчаные острова, затопляла ивняковые заросли, выворачивала вверх корни — разнузданная смесь воды, песка и растительности. Кусты и деревья в пойме росли где попало, где только удавалось зацепиться корнями: на берегу так на берегу, в воде так в воде. Все это пускало листья, произрастало, буйствовало. В узких протоках, где вода бежала особенно быстро — на веслах не выгребешь, — ветки затопленных кустов напряженно дрожали, согнутые течением, и все-таки зеленели, зеленели изо всех сил. Были и широкие рукава, где все более или менее приходило в порядок: посредине — вода, по краям — зелень. Один из таких рукавов, рукав-богатырь шириной полкилометра, а то и больше, облюбовали приезжие — «командировочные» — для купанья. Местные жители купаться почему-то не ходили, отсиживались после работы в домах.

— Черт их знает, — сказал Теткин, — окопались у себя в квартирах, окна завесили, детей воспитывают, а здесь — такая красотища! Силой бы притащил.

На песчаном берегу большого рукава расположилась группа купальщиков: Скворцов, Манин, Теткин, Джапаридзе, а из женщин — Лора, Томка и Лида Ромнич. Они пришли с площадки; рядом с Теткиным лежал мегафон, который он «для форсу» таскал с собой на испытания, любил при случае ругнуться в трубу, но в присутствии женщин удерживался. Сейчас женщины отдельной кучкой жались поближе к кустарнику с его мелкой, коротенькой тенцой; мужчины добросовестно загорали. Один Джапаридзе солнца избегал, потому что по неосторожности уже обгорел. Он сделал себе небольшой шалашик из простыни, подпертой мерной линейкой, и лежал под ним на одеяле, спрятав от солнца упитанный малиновый торс, но выставив наружу ноги. В руках у него был «Огонек», он решал кроссворд.

— Гляди-ка, наш нежный Лютиков на одеяле устроился, — сказал Теткин. — Под собой — индивидуальное одеяло, над собой — индивидуальная крыша. Непримируемый борец за собственное благополучие.

— Он же обгорел, — вступился Манин.

— Обгорением можно оправдать шалаш, но не одеяло. Мишка, откуда одеяло? Для гостиничного — слишком красивое.

— Одна знакомая дала.

— Друзья, — сказал Скворцов, — вы недооцениваете этого человека. Перед вами — Казанова лихареvского масштаба. Каждый вечер он бредет с риском для здоровья, надевает галстук бабочкой системы «смерть девкам» и уходит на поиски любовных утех...

— Вы преувеличиваете, — польщенный, сказал Джапаридзе.

— Не скромничайте, мне все известно. У меня своя агентура по всей Лихаревке работает. Знаю, например, что вы предпочитаете брюнеток средней упитанности, в отличие от Теткина, который более разнообразен в своих вкусах... Теткин, подобно трудолюбивой пчеле, снимает мед с любого цветка...

— Ты циник, — сказал Теткин. — Я должен бороться с твоим влиянием на массы. Ты опустошаешь нас своим цинизмом.

— Тебя опустошишь, как же, — сказал Скворцов. — Ну, не знаю, как массы, а я в воду. Кто со мной? Поплыли на ту сторону, а?

Он встал и расправил плечи, противоестественно втянув загорелый живот чуть не до позвоночника.

— Вы по системе йогов работаете? — спросил Джапаридзе.

— Нет, по своей собственной.

— И чего хвастаешься? — сказал Теткин. — Ничего красивого в тебе нет. И за что только тебя женщины любят?

— Тебя они, кажется, тоже не обижают.

Лида Ромнич в каких-то выцветших трусиках, с узкими лямками лифчика на худой разноцветной спине молча встала и пошла в воду. Войдя по пояс, она бросилась и поплыла. «Да она — разрядный пловец», — сразу отметил Скворцов. Лида шла кролем с той непостижимой мягкостью слитных движений, которая делает человека в воде похожим на рыбу, на выдру, на дельфина. Скворцов тоже кинулся в воду и, подстроившись, поплыл рядом с ней. Лида высунула голову, гладко облипшую мокрыми волосами. Чужое, озорное лицо казалось лилово-коричневым.

— Давайте на ту сторону, — предложил Скворцов. — Не бойтесь?

Вместо ответа она нырнула, он — за ней, не успев толком набрать воздуха. Под водой было светло и слабо солнечно. В метре-полтора от себя сквозь пронизанную солнцем воду он увидел длинные, мягко колеблющиеся ноги и плоско очерченный живот; плывущая фигура уходила вглубь, в полупрозрачную зеленоватую муть. Небольшая рыбка, юрко махнув хвостом, сиганула мимо его лица; от нее бисером бежали вверх блестящие пузырьки. Скворцову не хватило дыхания, он вынырнул. Огляделся — Лиды не было видно. Только он начал беспокоиться и собрался опять нырнуть, как небольшая темная голова появилась поодаль, ниже по течению, обернулась, открыла рот с целым парадом белых зубов, крикнула: «Догоняйте!» — и бросилась поперек реки. Снова мягкой мельничкой завращались согнутые руки. «Отлично плывет, — подумал Скворцов, — а все равно мне ничего не стоит ее догнать, ведь я мужчина, царь природы». Он поднажал, с наслаждением вложил силу и пошел быстро, резво, с хорошим наплывом. Догнал, конечно, и перегнал, потом сбавил скорость и поравнялся. Он перешел с кроля на брасс — и она тоже, легко, естественно, словно перетекла из стиля в стиль. Теперь они шли рядом, не торопясь, отчетливо выделявая каждое движение.

— Отлично плывете.

— Спасибо.

— Второй разряд?

— Когда-то был первый.

— А теперь?

— Некогда. Сын.

— А жаль.

— Не только этого жаль.

Они говорили урывками, в те короткие секунды, когда поднимали голову, чтобы забрать воздух. Толчок, скольжение, руки в стороны, рот на поверхность, слово. И опять: толчок, скольжение... Разговор в ритме брасса:

— Как сносит.

— Надо брать выше.

— Куда?

— На ту иву.

— Ладно.

«Вот как говорим, вот как плывем», — думал Скворцов. Толчок, скольжение, слово. «С этой женщиной можно плыть. Она молодец».

Он плыл и наслаждался. Кругом был солнечный свет, прямой и отраженный, не поймешь, где небо и где вода.

С берега было видно, как две головы, согласованно поднимаясь и опускаясь, шли наперерез реки. Каждую голову сопровождал струйный треугольник.

— Вот пловцы! — сказал Манин. — Что значит тренировка.

— А то! — отозвался Теткин. — Пашка Скворцов у нас первый чемпион, да и она ему под пару.

— Смотрите, ребята, кто сюда идет! — крикнула Томка.

По тропинке к берегу шел генерал Сиверс в сугубо гражданском виде: затрапезные брючки, резиновые тапочки, серая рубашка с закатанными рукавами. Теткин вскочил, вытянулся по-военному:

— Здравия желаем, товарищ генерал.

За ним поднялся Манин. Генерал Сиверс снисходительно махнул рукой:

— О, прошу вас, не надо почестей.

Он сел на песок, снял тапки, вытряхнул их и, не торопясь, надел снова.

— Сегодня очень жарко, — завел разговор Ваня Манин.

— Хорошо, тепло, — сказал Сиверс.

— Нечего сказать, тепло! — захотел Теткин. — Сорок два градуса, тепло!

Он один чувствовал себя с генералом непринужденно. Остальные поживались. Сиверс уютно устроился на песке, скрестив ноги по-восточному. На груди у него ярко малиновел обожженный треугольник; голые худые руки тоже были розовые. Он с видимым наслаждением подставил лицо солнцу:

— Хорошо, тепло.

— Сгорите, товарищ генерал, — не унимался Теткин.

— Будьте покойны. Мой девиз, как у страхового общества «Саламандра».

— Какая саламандра?

— Теткин, вы еще молоды и вам простительно этого не знать. При проклятом царском режиме страхованием от огня занималось общество «Саламандра». На дверях у застрахованных прибывались бляхи с изображением саламандры и девизом: «Горю и не сгораю». Одно из моих самых ярких детских воспоминаний. Кто знает? Может быть, если бы не эти бляхи, вся моя судьба была бы иной.

— А именно? — спросил Теткин.

— Горел бы и сгорел в конце концов.

— Саламандры, это у Чапека, я читала, — попробовала вмешаться Томка.

— Не перебивай, — остановила ее Лора.

— Да я уже кончил, — сказал Сиверс.

Разговор как-то не налаживался.

— Искупались бы, товарищ генерал, — посоветовал Теткин, потирая свой темно-коричневый кудрявый живот. — Право, не пожалейте.

— А что, теплая вода?

— Прямо горячая. В нашей столовой щи холоднее бывают.

— Сам не знаю, — задумчиво сказал Сиверс. — Нешто и в самом деле выкупаться?.. Нет, не буду.

— Жарко ведь, товарищ генерал.

— Пар костей не ломит.

— Искупайтесь. Александр Евгеньевич, — сердечно посоветовала Лора. — После купанья такое блаженство наступает, просто не передать.

Она лежала валяжно, пышным задом кверху, вся в песке, как обсыпная булка. Генерал не без одобрения на нее взглянул:

— А может, и в самом деле?..

— Конечно, искупайтесь.

Сиверс нерешительно потоптался с ноги на ногу. Видно было, что человек мучается.

— Раздевайтесь, Александр Евгеньевич, а мы отвернемся, правда? — с приглушенной бойкостью прожурчала Томка. — Лора, отворачивайся, я локтем прикроюсь.

Генерал Сиверс тяжело вздохнул и начал вылезать из брюк. Медленно стянул через голову рубашку. Алый треугольник на белой безволосой груди обозначился ярко, как выпел. Вынув из кармана плавки, он долго завязывал их под трусами, потом снял трусы. Раздетый, он оказался белым и тонким, как макаронина.

— Что, можно уже смотреть? — спросила Томка, выглядывая из-под локтя.

— Сколько угодно, — сказал Сиверс. — Сказано: и кошка может смотреть на короля.

— Как, как? — пискнула Томка.

— Не слушайте, это я так, для моциона языка.

— А наши-то — смотрите где! — сказал Ваня Манин.

Две головы — два черных пятнышка, — все так же мерно поднимаясь и опускаясь, резали воду далеко, у того берега.

Генерал Сиверс подошел к кромке песка, осторожно пощупал воду породистой тонкой ногой и громко взвизгнул.

— Что такое, товарищ генерал? — испугался Теткин.

— И эту воду вы называли теплой!

— Теплая, ей-богу теплая, как парное молоко!

— Молодой человек, питаюсь в столовых, вы забыли, что такое парное молоко. Нет уж, увольте, не буду купаться.

— Да ну бросьте, Александр Евгеньевич! Я с вами, а? — предложила Томка.

— И не просите.

Генерал Сиверс отошел от воды и стал одеваться так же медленно и методично, как раздевался. В последнюю очередь он надел очки, сказал: «Честь имею кланяться» — и удалился, не оборачиваясь.

Сначала все молчали, глядя ему вслед, потом стали обсуждать.

— Странный человек! Воды боится, — сказал Джапаридзе.

— Не воды он боится, а холода, — возразила Лора.

— Какой же холод? Жарко, — заметил Манин.

— А ему холодно, — настаивала Лора. — Такой особенный человек. Я читала один роман про человека с Венеры. Он прилетел на нашу Землю, и ему все холодно, холодно... Никак не мог согреться, так и умер. Мне понравилось.

— Венера — планета любви, — мечтательно сказала Томка. Сегодня она была не по обычаю молчалива.

— Бросьте вы со своей Венерой, — перебил Теткин, — ничего ему не холодно, он в самолете без отопления летел и то не замерз. Нет, у него какая-то другая цель, но какая?

— Кстати, — крикнул из-под своего индивидуального шалаша Джапаридзе, — кто знает: спутник Марса, шесть букв, на конце «с»?

— Энгельс, — ответил Теткин.

— Балда! Не Маркса, а Марса.

— Тогда не знаю.

— Жаль, Сиверс ушел, — сказал Манин. — Он все знает. Исключительно образованный человек. Восемь языков изучил, если не больше.

— И откуда у него объем головы берется? — захохотал Теткин. — Я бы двух языков и то не выдержал. Да что языки? Мне в главке совершенно ответственно утверждали, будто генерал Сиверс помнит наизусть всю таблицу логарифмов. Я не поверил, конечно, и к нему: «Правду ли, Александр Евгеньевич, про вас говорят, что вы таблицу логарифмов на память знаете?» А он так странно на меня поглядел: «Вам это говорили? Ну что ж, распространяйте дальше». И пошел.

— В цирке один такой выступал, — вставил Джапаридзе. — В уме корни извлекал. Прямо ненормальный.

— Насчет таблиц сведения, конечно, не до конца проверены, — продолжал Теткин, — а насчет «пи» я своими глазами видел. Знает число «пи» наизусть до шестидесяти знаков. По этому «пи» он даже измеряет состояние опьянения. Напишет «пи» и считает знаки. Как дойдет до сорока — все. Ни капли больше не выпьет.

— Нам бы такое «пи», — сказал Манин.

— Тебе! Ты и без «пи» трезвенник. Одну рюмку полчаса сосешь, смотреть тошно.

— Однако не пора ли купаться? — спросил Джапаридзе из-под сени своего шалаша.

— Пора, пора, — закричал Теткин, вскакивая на ноги, — самая пора купаться, купаться!

Он подскочил к шалашу, ухватился за одеяло, на котором лежал Джапаридзе, подволок к берегу, приподнял за край и скатил лежащего в воду вместе с журналом «Огонек».

— Не понимаю таких шуток, — кричал Джапаридзе.

— Куча мала! — завопил Теткин, ухватился за шею Манина и, ловко дав ему подножку, свалил в воду прямо на Джапаридзе, а сверху упал сам. Замелькали спины, ноги, руки. Теткин отфыркивался, как тюлень. Лора глядела на возню с умилением:

— Какой веселый! Какой общительный! Это надо же!

— Ничего, — согласилась Томка. — Только мне майор Скворцов неизмеримо больше нравится. Ты не обижайся, даже сравнения нет по культуре.

— Девушки, в воду! — крикнул Теткин.

Лора и Томка, чуть жеманясь и поджимая пальцы, вошли в реку, выбрав мелкое место. Течение перекачивалось через отмель, сильное, как струя из шланга. Пузырьки, деревяшки, веточки — все это, повертываясь и покачиваясь, летело мимо.

— Ух, и несет же, — сказала Томка. — Прямо с ног сбивает, жутко, правда?

— Ужас! — ответила Лора. — Нет, лично я такое купанье не люблю: того и гляди утонешь.

— А где наши-то? Лида с майором? Были две головы — и нет.

— А вон погляди, на том берегу. Да нет, правой смотри. Видишь? Вон куда их снесло. Как же они возвращаться-то будут, бедные?

Далеко, на противоположном берегу, в мелком ракушечнике, виднелись две тощие знакообразные фигуры: мужская и женская. Лиц отсюда разглядеть было нельзя, но, судя по всему, они разговаривали, и довольно оживленно. Он, жестикулируя, что-то рассказывал, а она слушала, теребя одной рукой ветку, а другой опираясь на бедро. Издали это похоже было на разговор двух паяцев-дергунчиков.

— Как это люди в такую даль не боятся плавать? — сказала Лора. — Я бы умерла со страху. Ну, пускай он, мужчина все-таки, а она? Не понимаю таких отчаянных женщин.

— А я понимаю, я сама отчаянная, я только плавать не умею, а то бы поплыла. Я ничего не боюсь, в жизни все надо испытать, правда?

Две фигуры на далеком берегу изменили позы: теперь говорила она, а он слушал.

— Знаешь что, Лора,— сказала Томка,— а ведь между ними что-то намечается.

— Глупости! Тоже выдумала! Ничего не намечается. У нее муж и сын, и у него тоже жена и сын.

— Как будто это может помешать,— хихикнула Томка.— Вот у вас с Алексеем тоже двое детей, а он разве на это посмотрел? Наплевал и пошел по линии любви. В наше время на это не смотрят: дети. Понравились, погуляли, раз-два-три — и семья разрушена. Правда? Вот так и у них будет.

— Какая ты, Томка, мешанская, прямо ужас. Ты всех, наверно, на свой аршин меряешь.

— Это я-то? Ну, нет,— засмеялась Томка.— Я-то как раз к мужчинам равнодушна. У меня семья крепкая.

— И про Лиду не говори. Лида не такая, чтобы позволить. Лида глубокая.

— Ну, ладно, давай сплаваем.

Надув щеки и выпучив глаза, Лора и Томка кинулись в воду и поплыли по-собачьи, сильно брызгая ногами. Течение подхватило их и понесло.

— Ой, боюсь, вода так и тянет! — кричала Лора.— Постой, коса упала.

Она остановилась по пояс в воде, выжимая воду из тяжелой своей косы. Томка тоже встала на дно, мелко и часто дыша, лопатки так и ходили.

— А Лидка-то с майором все беседуют, обсуждают. Я тебе говорила: что-то у них есть. Слишком уж долго беседуют.

Лора, не отвечая, глядела на тот берег, где все еще разговаривали две фигуры-закорючки — мужская и женская. Мужчина теперь почему-то сидел на корточках.

— Объясняется,— сказала Томка.

— Глупости, кто ж это на корточках объясняется?

— Верь моему слову, у меня на эту любовь нюх, как у милицейской собаки.

Тем временем Теткин, Манин и Джапаридзе, искупавшись, выходили из воды.

— Одна полна, другая худа,— говорил Джапаридзе,— нет золотой середины.

— Разве в этом дело? — отвечал Манин.— Важно, может ли женщина быть настоящим другом человеку.

— Правильно! — согласился Теткин.— Как вы думаете, братцы, жениться мне или еще погодить?

— А кандидатура есть? — спросил Манин.

— За этим дело не станет. Кандидатур у меня — вся Лихаревка да еще пол-Москвы.

— Нет, лучше не женись,— сказал Джапаридзе.— Распишешься — сразу свободу потеряешь, зарплату отдавай, пить не смей.

— Смотря какая жена,— заметил Манин.— Бывают очень чуткие.

— Ну, ладно, братцы, пора закруглять купанье,— сказал Теткин.— Солнце опускается, скоро комары нападут, наплачемся, да и ужин пропустим. А наши-то два чемпиона все на том берегу консультируются.

— Не ждать же нам их,— сказал Джапаридзе.

Теткин взял мегафон и крикнул в трубу:

— Пашка! Лида! Скворцов! Ромнич!

Голос утробно загрохотал над рекой. Две фигуры, два значка — мужской и женский — на том берегу замахали руками.

— Чемпионы! Черт вас дери! — басовито раскатывался мегафон. — Чего вы там развели конференцию? Сейчас давайте обратно! Без вас уйдем!

— Дём... — ответило эхо.

От того берега отделились два быстрых треугольника; у вершины каждого из них периодически появлялась и пропадала черная точка.

Теткин опустил трубу и сказал:

— Хорошо плывут... собаки!

9

Генерал Сиверс шел домой один. В душе у него что-то сосало. Эх, напрасно не выкупался... Может быть, все-таки надо было выкупаться?

Он шел, и вспоминался ему один день в детстве, очень похожий по ощущению. Было ему тогда лет семь или восемь. Домашние собрались в гости, звали его с собой. А он все не мог решиться: идти или нет?

— Ну, хватит полоскаться, — сказала мама, — решай.

А он все полоскался. Потом будто бы решил, сказал: не пойду. Но это он так сказал, ему очень хотелось, чтобы его уговорили. Но никто его уговаривать не стал, просто ушли, а он остался один. Ужасно один, и так хотелось в гости. Как сейчас помнит: голубые обои, один, и солнце, один прямой луч, и в нем пылинки звездочками.

Сейчас он шел один по горбатой, изъезженной дороге с глубокими колеями. Окаменевшая грязь. Сколько предметов намертво в нее всохло: истлевший валенок с половиной галоши, моток ржавой проволоки, колесо... Какие здесь, должно быть, разыгрывались бои в героическую грязевую пору. Как завывали машины, как бились возле них люди, подсовывая под скаты брусья и колья, а то и ватники. Как дул холодный ветер, а люди закуривали, заслонив ладонями огонь, и между пальцами у них светило красным...

А сейчас по обе стороны дороги зеленели странные деревья — как их там зовут, ивы или ветлы? — бородатые, сказочные, сплошь оплетенные тускло-зелеными тяжкими водорослей. Это весной поднималась вода, высоко, до самых верхушек, стояла вода, а потом ушла, оставив на деревьях водоросли. Как уходила вода — это и сейчас было видно по листьям: на самых верхних ветвях они были здоровые, блестящие, темно-зеленые; пониже — узкие, светлые, молодые; а совсем внизу только еще распускались почки. Генерал Сиверс вспомнил, как однажды, несколько лет назад — еще и городка не было, — в самое половодье лодочник Степан Мартемьянович — совершенно библейский старик, матерщинник и пьяница — привез его в лодке, кажется, сюда, на это самое место. Да, точно. Кругом была вода — на десятки километров одна вода, гладкая, без морщинки, розовая вечером вода, а из нее — верхушки деревьев черноватыми шапками. И кажется, чайка была, старик держал весло, и с него капало, от каждой капли по воде бежал круг...

Дорога вышла к берегу реки. В тихой предвечерней воде по колено стояла лошадь, запряженная в водовозную бочку. Рядом расхаживал почернелый сухопарый возница в подвернутых штанах. Он черпал ведром воду и поливал лошади раздутые, дышащие бока. Генерал Сиверс с какой-то грустью и напряженным вниманием глядел на все это. Ощущение значительности происходящего еще усилилось необычайно глубоким, обширным и долгим ударом, который пришел издалека и огромным вздохом потряс окрестность.

И вдруг он увидел в воде двух совсем маленьких беленьких мальчиков — года по три, по четыре, не больше. Мальчики хлопотали то по пояс,

то по плечи, то по самую шею в воде, присаживались на корточки, подныривали, шлепали ладошками, что-то кричали. Почему-то они купались одетые. Под солнцем мокро и ярко сверкала красная с синим, пестрая кофточка одного. Другой был одет скромнее — в голубой маечке. За плечами у первого висело ружье. Так и купался с ружьем.

Генерал Сиверс обратился к вознице:

— Послушайте, это ваши дети?

— Наши, наши, — с удовольствием ответил возница. Он выпрямился, рукавом обтер коричневое лицо. С усов у него капало.

— А зачем же они купаются вот так, в одежде? Да еще с ружьем?

— А и в сам деле, зачем?

— Так это я вас спрашиваю.

— А я вас.

«Хорошо все-таки без формы, — подумал Сиверс, — разве он так бы со мной разговаривал, будь я в форме?»

— Послушайте, — сказал он, — это все-таки не дело — таких маленьких ребят пускать одних в воду. Хорошо здесь, у берега, мелко. Зайдут дальше — утонут.

— И очень просто — утонут, — радостно согласился возница, глядя на детей из-под широкой черной ладони. — Три шага — и по шейки, а там с ручками, ей-богу. Только пузыри буль-буль — и все.

— Тьфу, черт, — рассердился Сиверс, — что же вы за ними не смотрите?

— А чего смотреть? Не моя забота. Чужая-то спина не чешется.

— Так вы же мне только что сказали, что это ваши дети?

— А то не наши? Самые наши дети...

Тут только Сиверс заметил, что возница пьян, и порядочно. Придется самому заняться детьми.

— А ну-ка, орлы, — крикнул он, — вылезайте на берег, живо!

Две белобрысые головенки — чуть повыше и чуть пониже — повернулись к нему. У той, что пониже, были ярко-голубые глаза и брильянтовая капля на кончике носа.

— Не, не пойдем, — сказал маленький. — Мы тута играем.

— Во неслухи, — сказал возница, забираясь на облучок. — Я уж звал — нейдут. Таким одна дорога — тюрьма.

— Сейчас же на берег, кому говорю! — крикнул Сиверс.

Головы снова повернулись, как винтики.

— Но, паразитка! — крикнул возница, хлобыстнул лошадь кнутом и стал выезжать на дорогу. Бочка подрагивала, роняя воду.

— Чего ты с ними начинаешься? — спросил возница. — Брось их к лешему, айда со мной, к Ною.

— К какому Ною? К праотцу?

— Ты что, Ноя не знаешь?

— Не знаю.

— Пустой человек, Ноя не знает, — махнул рукой возница и отъехал.

Генерал Сиверс остался на берегу. Что поделаешь? Придется вытаскивать этих огольцов. Смерть не хочется лезть в воду. Может, словами их приманить?

— Эй ты, в красной кофточке! Как тебя зовут?

— Сережа, — ответил маленький.

— Ты что же, один сюда пришел?

— Не, я с Сережей.

— Ничего не понимаю! Кто из вас Сережа? Ты или он?

— Я Сережа. И он Сережа.

— Так вот, Сережа с Сережей, сейчас же вон из воды, а то силой вытащу.

- А я тебя застрелю,— сказал Сережа поменьше.
- Ну вот, и сразу застрелишь,— грустно сказал генерал Сиверс.— Это же превышение предела необходимой обороны.
- Какой обороны?
- Не слушай, это я так, для моциона языка. Да ты, наверно, из ружья и стрелять-то не умеешь?
- Фиг, врешь, умею.
- И со звуком?
- Пу! — крикнул Сережа.
- Ну, это что за звук. Скучно мне даже слушать тебя, братец ты мой.
- А ты с большим звуком стрелять умеешь? — заинтересовался Сережа.
- И с каким еще! Слышал, недавно ударило? Это мой был звук. Я умею стрелять из самой большой пушки, какая есть.
- Ты что же, солдат?
- Нет, генерал.
- Врешь. Генерал — он большой такой, золотой, красный, а ты серый.
- Сиверс вздохнул и согласился:
- Я серый.
- Тут неожиданно раскрыл рот Сережа побольше и спросил басом:
- А из лакеты ты умеешь?
- Это он говорит «лакета» вместо «ракета». Смешно? — сказал Сережа поменьше.
- Не смешно, — строго ответил Сиверс. — И вообще довольно демагогии. Живо из воды, поняли?
- Все равно я тебя не боюсь, — храбро заявил Сережа маленький.
- Господи, согресишь тут с вами.
- Генерал Сиверс разулся и полез в воду. Было мелко, до колен, брюки он подвернул и почти не замочил. Мальчики довольно послушно дали ему руки и вышли на берег. С обоих обильно текла вода. Сиверс снял с них одежку и неумело, по-мужски, выжал. Как их вести, голыми, что ли? Он подумал и надел на мальчиков трусы, а майку и кофточку дал им в руки — нести. Какие разные ребята! Сережа побольше — крепенький, укладистый, как туго набитый тючок. Сережа маленький — розовый, голубоглазый, похожий на новенькую перламутровую пуговицу.
- А ружье? — спросил маленький.
- Сиверс надел ему ружье на прохладное молочное плечико.
- За мной, орлы!
- Мальчики доверчиво подали ему маленькие холодные руки.
- Фу, до чего перекупались! Пошли домой. Где вы живете?
- На белом свете, — ответил Сережа маленький.
- Остроумно, но неопределенно. Покажи пальцем, где ты живешь.
- Там, — махнул Сережа маленький по горизонту. — Где кустья.
- «Кустьев» нигде не было видно. Генерал Сиверс подумал, вздохнул и двинулся по дорожке направо. Маленькие холодные руки лежали у него в руках, как влажные камешки.
- Знаешь, — говорил Сережа поменьше, — я тоже умею из ракеты. Я все умею. Когда буду большой, я всех постреляю.
- Ну уж и всех. Это ты брось.
- Вот увидишь, постреляю.
- Остается надеяться, что я до этого не доживу. Слушай, ты, будущий мировой убийца, как твоя фамилия?
- Сережа подумал, огорчился и сказал:
- Забыл.

— Зайцев его фамилие,— вдруг сказал Сережа побольше.— А мое — Иванов.

— Ай да Сережа,— похвалил его Сиверс.— Умница!

— А он совсем не умный,— ревниво сказал маленький.— Он букву «рэ» не говорит. Знаешь, как он говорит? «Волона кличит кал!» Смешно?

— Я уже тебе сказал: не смешно. Не следует смеяться над недостатками своих ближних.

Внезапно Сережа маленький остановился и протянул Сиверсу свою мокрую кофточку.

— Ты чего?

— Не могу больше нести кофту. Она тяжелая.

— Что же с тобой делать, братец? Давай понесу.

Навстречу шел офицер.

— Сережа, это не твой папа?

— Дай посмотрю. Нет, не мой.

— Послушайте, майор,— крикнул Сиверс,— вы не знаете, чьи это дети?

Майор остановился, несколько задетый бесцеремонностью обращения, и равнодушно оглядел ребят.

— Этого не знаю, а тот, поменьше, как будто полковника Нечаева внук, начальника штаба. А откуда вы их взяли?

— В воде нашел.

Майор засмеялся:

— Ведите скорей домой, их, верно, ищут.

— А где он живет, ваш Нечаев?

— Вон там, в домах начсостава.

Сиверс поблагодарил и повел мальчиков в указанном направлении.

— У меня нет папы, только мама,— рассказывал Сережа маленький.— У меня был папа, даже два, а теперь ни одного не осталось.

— А мама здесь?

— Не, уехала в Москву. На самолете.

— Ты что же, с бабушкой живешь?

— Больше с бабушкой. Бабушка мне эту кофту пошила, которую ты несешь.

Мокрая кофта прохладно висела на согнутом пальце генерала.

— Тебе не холодно? — спросил он.

— Не, тепло. Ведь мы идем на юг.

— Откуда ты знаешь?

— Я все знаю. Есть юг и север. На юге жарко, на севере холодно.

А еще есть восток и запад, там средне, не жарко, не холодно, просто тепло.

— Да ты, брат, образованный!

— Я все знаю. Вот мама у меня глупая. Не очень, а так, немножко глупая. Я ей говорю, а она не слушает. Я спрашиваю: «А машины вверх ногами ходят?» А она говорит: «Ходят». А сама плачет. Смешно?

— Я уже говорил: не смешно.

Сережа примолк, а потом сказал:

— У меня жена и пять детей. Я их не бросил.

Вокруг домов начсостава, как грибы на опушке, разрослись деревянные бараки, покосившиеся, сумрачные, с антеннами на крышах. Из одного барака выбежала женщина лет тридцати, растрепанная, в пестрой юбке. Она метнулась к ним, как птица, упала в пыль и крепко обхватила Сережу побольше:

— Сереженька, куколка моя, ягодка ненаглядная, нашелся, родной.

Она плакала, резко мотая сухими мятыми волосами.

- Вы за ним лучше смотрите,— сказал Сиверс.
- Ой, гражданин хороший, вас-то я и не заметила! Это вы их привели? Где ж вы их разыскали?
- В реке.
- Женщина побледнела и встала, отряхивая юбку.
- В реке? Надо же! Это все Зайцев, его так к воде и тянет! Говорила я тебе,— накинулась она на своего Сережу,— не ходи с этим бандитом! Он тебя хорошему не научит. Это есть бандит.
- «Бандит» скромно стоял, глядя на свои маленькие ноги.
- В реке! Это подумать! Другой раз насовсем утонут! Нет, я его под замок, запрю начисто, пусть дома посидит, уголовник! А вас-то чем благодарить? Разве что пол-литра есть... Интересуетесь?
- Непьющий.
- А зовут-то вас как, вы меня простите?
- Александр Евгеньевич.
- Век буду вас помнить, Александр Евгеньевич! А может, зайдете? Не водочки, так чайку? Не прибрано только у нас, вы уж извините...
- Нет, спасибо. Мне еще надо этого вот архаровца довести. Где он живет?
- А вот, аккурат где агитпункт. Лучше давайте я вас провожу.
- Не беспокойтесь.
- Какое беспокойство? Вы их из воды... Да я век должна...
- Вот мой дом,— сказал Сережа маленький. Сережа побольше шел, крепко вцепившись в руку матери. Лицо у него было напряженное и гневное.
- Они вошли во двор, где агитпункт. Навстречу им что-то яркое, топая, бежала по асфальту. Это была толстая женщина в пестром, большими цветами, халате. Она бежала, переваливаясь, на очень высоких каблуках, и крупная грудь моталась туда-сюда.
- Вы еще за это ответите, Иванова!— крикнула она.— Я этой дружбы никогда не одобряла, и вот, доплясались! Давайте мальчика!— Она резко дернула к себе Сережу маленького и строго спросила:— Где его кофта?
- Вот,— сказал Сиверс.
- А почему мокрая? Безобразие! Я вашего сына теперь на порог не пушу, больше того, во двор не пушу! Это квинтэссенция хулиганства! Я обращаюсь в милицию!
- Она повернулась и пошла прочь, таща за руку Сережу маленького и размахивая мокрой кофтой. Коричневая дверь подъезда захлопнулась за ней с пушечным звуком. Сережа большой заплакал.
- Не плачь, моя ягодка, не дам я тебя в обиду.
- Ну, ладно,— сказал Сиверс,— я пойду.
- А к нам? Чайку?
- В другой раз, спасибо.
- Сиверс пожал ей руку и пошел в сторону своей гостиницы.
- Хороший человек,— вздохнула женщина.
- Он из лакеты умеет,— сказал Сережа.
- Лакета, лакета. Горе ты мое, а не лакета.

На пятницу испытаний не было назначено, и Скворцов с удовольствием проспал лишних два часа. Он, когда удавалось, любил поспать, особенно проснуться и опять заснуть, зная, что торопиться некуда. Он даже просил товарищей, чтобы его будили и говорили: «Вставать еще

рано». Черт его знает, что ему в этом нравилось. Должно быть, ощущение неисчерпанного счастья.

Сегодня его никто не будил. Он проснулся сам, оделся, умылся (вода была) и вышел в вестибюль. Дверь в дежурку стояла приоткрытая; там разговаривали две женщины.

— Не живет гриб,— говорила одна.— Сморщился, весь повял. Воздух, что ли, для него плохой? Нет, плохо здесь все-таки для русского человека.

— Чего хорошего.

— Ну, пойду. Спасибо на ласке. Гриба попила...

— Заходи еще когда, попьешь.

— Зайду когда. А тебя, я гляжу, все разносит.

— Чисто нервнсе. От нервов полнею.

Скворцов засмеялся, распахнул дверь, повесил ключ и сказал:

— Здравствуйте, девушки. Все щебечете?

«Девушкам» было лет по пятьдесят, но они смутились и захихикали. — Товарищ майор! — сказала толстая заведующая.— А я-то смотрю, не захворали ли? Десятый час, а ключ в двери.

— Спал и видел вас во сне, Марья Евстафьевна.

— Все небось выдумываете.

— Честное слово. Люблю роскошных женщин.

Заведующая покраснела до самых плеч и прикрыла рукой вырез сарафана.

— Что вы только говорите, товарищ майор...

— А сами небось женатые,— сказала худая гостья.

— К сожалению, да. Поторопился. А был бы я свободен...

— Был бы свободен — то-то бы дал дрозда,— задумчиво заметила гостья.

— Очень метко сказано. Именно дрозда. Ну, ладно, девушки, пора мне идти. Ауфвидерзеен, на языке врага.

Скворцов откозырял и вышел. Прежде всего он зашел в столовую, где завтраки кончились, а обеды еще не начались, но, разумеется, Симочка его накормила. У выхода из столовой его задержал бродячий пес по имени Подхалим. Он дрался на помойке с высоконогой свиньей, но, узнав Скворцова, кинулся ему в колени, неистово виляя хвостом и повизгивая от счастья.

— Собака ты, собака,— говорил Скворцов, трепля его по загривку,— ну что тебе надо, собака? Есть тебе хочется, собака?

Подхалим глазами показал, что да.

Скворцов сбегал на кухню, насмешил судомоек, выпросил у повара кость, бросил ее Подхалиму, радостно посмотрел на радость собаки и пошел по своим делам. Ему нужно было зайти в отдел Шумаева, а потом в ЧВБ (чертежно-вычислительное бюро) к майору Тысячному.

Невысокий кирпичный корпус (так называемый лабораторный) был весь обсижен ласточкиными гнездами. Хозяйки-ласточки черно-белыми стрелками сновали вокруг него. Направляясь к входной двери, Скворцов с удивлением увидел, как из окна вывалился стул, ударился о землю, перевернулся и рассыпался. Вскоре за ним последовал второй стул, затем третий.

— Что это у вас стулья из окон летают? — спросил он у дежурного, входя в коридор.

— Подполковник Шумаев выбрасывает,— неохотно ответил дежурный.

— А зачем?

— Кто ж его знает? Не понравились.

Скворцов вошел в кабинет Шумаева в тот самый момент, когда хозяин, размахнувшись, выбрасывал в окно четвертый стул. Потом он тигром подошел к столу, взял стоявшее за ним кресло, повертел, осмотрел критически и поставил на место. Кресло было обыкновенное, канцелярское, с деревянными подлокотниками и, видимо, его удовлетворило. Кроме Шумаева и Скворцова, в кабинете стоял еще лейтенант Чашкин — молодой мальчик с растерянным миловидным лицом.

— Насмехаться над собой не позволю! — крикнул Шумаев и раздул ноздри.

— Сергей, опомнись, — сказал Скворцов. — Конечно, Александр Македонский был великий человек, но зачем же стулья ломать?

— При чем тут Александр Македонский? — сердито спросил Шумаев.

Чашкин улыбнулся.

— Стыдно, Сергей, не знать классиков. А вот лейтенант Чашкин, тот знает, судя по его лицу. Ну-ка, скажите ему, Чашкин, откуда это?

Чашкин покраснел и сказал:

— Из «Чапаева».

— Не совсем так, — поморщился Скворцов, — но по смыслу правильно.

— Товарищ подполковник, разрешите идти? — спросил Чашкин.

— Идите. Впрочем, по стойте. Сначала дайте майору стул. Приличный стул, а не такое...

Чашкин принес обыкновенный венский стул и удалился.

— Садись, — пробурчал Шумаев. Оба сели.

— Теперь расскажи толком, в чем дело?

Шумаев, затихший было, опять распалился:

— Это же издевательство! Поставить мне, начальнику отдела, четыре стула, и все с разной обивкой! Голубой, зеленый, розовый, черт-те какой! Я их пошвырял в окно.

— Кто же над тобой так издевается?

— Начальник АХО. Зачислил себя в клику святых и думает, что ему все можно! Вопиющий факт! У меня здесь солидные люди бывают: начальство, представители промышленности! Один раз даже замминистра был. Что же я, замминистра на разные стулья буду сажать?

— А что, он такой толстый, что сразу на двух стульях сидит?

Шумаев не слушал.

— Не кабинет начальника отдела, а спальня великосветской протитутки! Это удар не только по моему престижу. Это удар по престижу войсковой части!

— Закурим, брат, с горя.

Они закурили. Шумаев понемногу начал отходить.

— Серьезно. Паша, сил нет работать, — сказал он уже мягче, вытирая платком голый череп. — Дисциплина умирает. Я не требую уважения к себе лично. Пусть уважает служебное положение, воинское звание, черт возьми! А такие щенки, как этот Чашкин, еще позволяют себе улыбаться в служебное время!

— Брось, он хороший парень.

— У тебя все хорошие. Ты со всеми готов целоваться.

— Есть такой грех. А знаешь, я к тебе по делу.

— Что такое?

— Подбрось мне человечка два на завтрашний день.

— Два человечка? — заорал Шумаев. — Ты знаешь мои штаты?

Откуда у меня два человечка? Кто?

— Ну, хотя бы Бобров и Логинов.

— Ты с ума сошел! Буду я швыряться Бобровым!

— Тогда швырнись Логиновым.

— Не будет тебе и Логинова. У меня план! Приезжают тут всякие...

— Спокойнее, Сергей.

— Как тут будешь спокойнее? — закричал Шумаев. — Изволь, посмотри, какой мне отчет опять прислали! — Он вскочил мячиком, отпер сейф, вынул толстый, жестко переплетенный том и бросил на стол. — Полюбуйся, что они пишут, мерзавцы! — Он с усилием разогнул отчет, нашел нужную страницу и ткнул в нее пальцем: — На, читай! До чего все-таки доходит подлость! Это, можно сказать, высший пилотаж подлости!

Скворцов прочел несколько строк, гневно отмеченных по полям жирной линией, вопросительным знаком и двумя восклицательными.

— Ну и что?

— Как что? Они же, подлецы, явно против двухточки агитируют!

— Я этого не заметил.

— Не заметил! — сатанински захохотал Шумаев. — Младенец невинный! Нет, это их политика! Белыми нитками што! И кто пишет? Крикун, приоритетчик, болван, неуч! Не может отличить электронной лампы от керосиновой! А ты посмотри, что дальше написано: «...такие нетерпимые факты допускались и в воинской части...»

Тут Шумаев бросил отчет на пол и стал топтать его коротенькими ножками.

— Ты полегче, Сергей, такое обращение с документами не предусмотрено правилами секретного делопроизводства.

Шумаев одумался, подобрал отчет и швырнул его обратно в сейф. Попал метко, на самую полку. Удачное метание несколько его умиротворило.

— Так подкинешь двух человек? — безмятежно спросил Скворцов.

— Черт с тобой. Бери Лаврентьева и Мешкова — и ни копейки больше.

— А Логинов?

— Сказано: нет.

— Ну, ладно. Будь здоров, не огорчайся, никто на твою двухточку не посягает.

Шумаев махнул рукой. Скворцов направился в ЧВБ.

Большое помещение ЧВБ было тесно уставлено разнокалиберными столами, за которыми маялись девушки-расчетчицы, размокшие от жары до того, что ресницы поплыли. На некоторых столах стучали счетные машинки, на других были разложены чертежи. Воздух был как в улье, окна — наглухо закрыты. Скворцов направился в главный угол, где за столом побольше других сидел майор Тысячный — невзрачный человек лет сорока с толстым носом.

— Здорово, Алексей Федорович! — бодро начал Скворцов. — Как жизнь?

Позвонил телефон. Подошла одна из девушек:

— Алексей Федорович, вас.

Тысячный поднял маленькие глаза.

— Кто?

— Генерал.

Тысячный засуетился, оправил китель, надел фуражку, подбежал к телефону и вытянулся:

— Слушаю, товарищ генерал.

Разговор был недолгий. Тысячный вернулся к своему рабочему месту, снял фуражку и бережно положил на стол.

— Послушай,— сказал Скворцов,— зачем ты для разговора по телефону фуражку напяливаешь?

— Касказать, на всякий случай.

— Странно, а впрочем, дело твое. Выражай свое уважение к начальству любым доступным тебе способом. А у меня, Алексей Федорович, к тебе просьба. Надо срочно обработать картограмму вчерашнего подрыва.

— Не выйдет.

— Отчего же, мамочка?

— Девушек, касказать, нет. Все на работе, касказать, генерала.

— Так уж и нет?

Тысячный не успел ответить. В окнах потемнело, раздался свистящий, хлопающий шум. Девушки все, как по команде, легли на свои столы лицом вниз, крестообразно раскинув руки. С дребезгом разбилось и зашаталось окно, в комнату ворвался песчаный вихрь, опрокинул графин, взвил к потолку бумаги. Это продолжалось несколько секунд, после чего внезапно шум отрезало тишиной. Девушки поднялись со столов, начали отряхиваться, искать и пересчитывать бумаги. Тысячный рысцой включился в суматоху. По счастью, ничего не пропало. Девушки расселись по местам, стук машинок возобновился. Тысячный вытер лоб. Мокрые волосы у него стояли дыбком.

— Зачем они так, крестиками? — поинтересовался Скворцов.

— Согласно инструкции. Чтобы не унесло, касказать, документы.

— Твоя, что ли, инструкция?

— Моя. А что?

— Удачная идея.

Тысячный расплылся.

— Так как же все-таки с картограммой? Обработай, Алексей Федорович, будь отцом родным. Не моя просьба — Лидии Кондратьевны.

Тысячный косенько прищурился:

— Услуга, касказать, за услугу.

— Говори, чего надо, все сделаю. Вы имеете дело со Скворцовым.

— Вопрос боле-мене личный... Я завтра, касказать, именинник...

Всех прошу в гости...

— Только и всего? Это, брат, не тебе услуга, а мне.

Тысячный захихикал:

— Нет, тут, касказать, дело тонкое... Ты с генералом, касказать, Сиверсом лично знаком?

— Я со всеми лично знаком. А что? Привести его завтра к тебе?

Тысячный осклабился.

— Ну, эта службишка — не служба, как говаривал Конек-горбунёк в аналогичных ситуациях. Значит, замetano. Я обеспечу тебе генерала, а ты обработаешь картограмму. Идет?

Скворцов тут же пошел обеспечивать генерала. В успехе он не сомневался. Организовывать взаимодействие — это была его стихия, можно сказать профессия. Позвонить, связаться, выколотить — это он любил.

Ему сразу же повезло: в коридоре стояла группа офицеров и в центре генерал Сиверс. Он что-то рассказывал, они смеялись.

— Здравия желаю, товарищ генерал. Разрешите присоединиться?

— Сколько угодно. Ведь у нас свобода собраний.

Офицеры стояли кучкой, среди них лейтенант Чашкин с милым выражением готовности к смеху на молодом открытом лице. Он так и ел Сиверса глазами.

— И вообще,— продолжал Сиверс,— в периодической печати иной раз находишь дивные вещи! Вот, например, читаю я намедни вашу областную газету и что же вижу? На второй странице — большой заголо-

вок: «Досрочно выполним первую заповедь!» Я глазам не поверил. Я все-таки в гимназии учился и хоть имел по закону божьему четверку за вольнодумство, но первую заповедь помню: «Аз есмь господь бог твой, и да не будут ти бози иные разве мене». Что в переводе на современный язык означает: «Я — господь бог твой, и пусть у тебя не будет других богов, кроме меня». Хорошенькое дело! И это самое нас призывают досрочно выполнить!

Офицеры засмеялись, но как-то недружно.

— Товарищ генерал,— сказал Скворцов,— можно вас на два слова?

Кучка офицеров растаяла.

— Тут у меня одно неслужебное дело. Начальник ЧВБ, майор Тысячный...

— А, этот художник? Талантливый человек.

— Так вот, этот талантливый человек завтра свои именины празднует — очевидно, Алексея, божьего человека, а возможно, рождение, которое в просторечии тоже называется «именины», и одержим желанием вас пригласить.

— Свадебным генералом?

— Просто генералом. Беда в том, что он — нежная натура, робок и чувствителен, как истый художник, и сам обратиться к вам не решается. Поручил эту миссию мне. Вы согласны?

— Отчего же? Почту за честь.

...«Службишка» действительно оказалась «не службой». Даже досадно немножко. Скворцов любил героические дела, которые никто не мог сделать, кроме него.

11

Майор Тысячный, холостяк, жил не на казенной квартире, как другие офицеры, а снимал частную на самой окраине Лихаревки у хозяйки-вдовы с пятнадцатилетним сыном. Говорил, что ему так удобнее. Вдова была нестарая, робкая женщина с большими глазами, до того восхищенная и поработанная своим жильцом, что просто глядеть было жалко.

Сегодня Тысячный принимал гостей. Хозяйка ради такого случая отдала ему свою половину дома. Убрано все было до полного блеска, до ослепления: крашеный пол натерт воском, половики разостланы, каждый фикус умыт. Майор Тысячный, в гражданском сером костюме, поскрипывая новыми разрезными сандалетами, лично встречал каждого гостя:

— Спасибо, касказать, не побрезговали.

Гостей было много, человек тридцать, местные и командировочные. За стол пока не сажались: ждали генерала. Когда появился Сиверс, Тысячный прямо оконечел от восторга и так вдохновенно произнес свое «касказать», что других слов не понадобилось.

— А ну-ка, ротмистр, покажите свои картины. Я ради них, собственно, и пришел.

Зачем Сиверсу понадобилось назвать майора Тысячного «ротмистром» — неизвестно, но выходило почему-то складно. Тысячный смутился:

— Я, касказать, самоучкой, товарищ генерал. Только в личное время, касказать, в шутку.

— Тем более интересно. Будь вы художником-профессионалом — другое дело.

Тысячный провел генерала в свою горницу — просторную, хоть и низковатую, в четыре окна. Здесь тоже все было начищено и вылизано до блеска. На черном клеенчатом диване выстроились подушки с девицами, оленями и розами. Каждая подушка была взбита, расправлена и

стояла на ребре по стойке «смирно». На бревенчатых стенах, вперемежку с фотографиями, изображавшими хозяйкину родню, младенцев и покойников, висели картины. В них чувствовалась та же диковатая, тупо вдохновенная кисть. Особенно один закат так и притягивал: мрачный, замкнутый, а на нем — стога...

— А что? У вас талант! — сказал Сиверс.

Тысячного прямо повело:

— Касказать, шутите, товарищ генерал.

— А вы не продаете своих картин? Я бы купил, например, эти стога. Какую цену назначите?

— Что вы, товарищ генерал... Какая цена? Это, касказать... я вам, касказать... так просто... от души...

— Неужто подарить хотите?

— Так точно, товарищ генерал. Касказать, буду рад.

— Ну, спасибо, если не шутите.

Тысячный почтительно отколол от стены картину, свернул ее в трубку и, кланяясь, вручил генералу.

— Премного благодарен, — сказал Сиверс. — Эта картина будет висеть в моей комнате на видном месте.

Тысячный не нашелся что ответить и только пробормотал:

— Прошу, касказать, к столу. Чем богаты.

В соседнем помещении был накрыт стол. Скатерти и вышитые полотенца блистали крахмальной белизной. В графинах отсвечивала водка, в бутылках темнело плодоягодное — для женщин. Толстыми слоями нарезанная колбаса, жареный поросенок с живыми ироническими глазами. Под пристальным взглядом поросенка гости стали рассаживаться. Хозяйка стояла у двери с лицом, полным торопливой готовности. Тысячный хлопотал около генерала, поддерживая его под локоть. Сиверс, впрочем, довольно бесцеремонно его стряхнул.

В конце концов гости расселись, разложили на коленях полотенца, налили стаканы и лафитнички и замерли в ожидании.

— Паша, произнеси, — попросил Тысячный.

Ничего не поделаешь — придется произносить. Скворцов стихийно на всех сборищах становился тамадой. Он встал не без труда, потому что был зажат между двумя дамами, постучал по графину и поднял стаканчик:

— Разрешите, товарищи, предложить первый гост. Мы здесь собрались по приглашению нашего друга и именинника Алексея Федоровича Тысячного. Кто такой Алексей Федорович? Вы думаете, он скромный деятель военной науки, начальник ЧВБ — и только? Ошибаетесь! Перед нами — крупный художник, основатель нового направления в живописи. Может быть, мы еще увидим его полотна в Третьяковской галерее. Ура, товарищи!

— Ура! — закричали гости.

Тысячный со стаканом в руках двинулся в обход стола. Толстые слезы стояли в его глазах, стакан дрожал и плескался. Майор Красников размышлял вслух:

— А что? Может быть, он и правда художник, а мы его не понимали из-за пробелов общего развития.

Генерал Сиверс обнял Тысячного и троекратно, по-русски, облобызал. Тут общий восторг дошел до предела. Хозяйка заплакала и убежала.

Почествовав Тысячного, гости уселись и истово начали пить и закусывать. Гвоздем стола был соленый арбуз, которым особенно хвастались местные жители: «У вас в Москве, в Ленинграде такого нет!» Скворцов попробовал — арбуз был ужасен.

— Ну и гадость,— шепнул он Лиде Ромнич.— Как бы это его потихоньку под стол?

Лида сидела слева от него и добросовестно пыталась совладать с арбузом. Она ответила:

— Мне тоже не нравится, но, наверно, что-то в нем есть, раз люди так хвалят. Я, например, не люблю Шекспира, но не ругаю, потому что его все хвалят, значит, это я чего-то не поняла.

— Я тоже не люблю Шекспира,— сказал Скворцов. Впрочем, он с такой же готовностью согласился бы и любить Шекспира, если бы понадобилось любить.

Справа от него сидела Сонечка Красникова, тоже касаясь его плечом. Она жеманилась и время от времени бросала на него не совсем дружелюбные взгляды. Он ее не видел почти два месяца. Как она изменилась! Не то чтобы пополнила, а как-то огрубела, обозначилась... А главное, до чего же показалась она ему скучной! Он сидел плечом к плечу с обеими соседками, но левому плечу было весело, а правому — скучно.

— Какие все-таки мужчины непостоянные, ужас! — сквозь зубы сказала Сонечка. Она деликатно трогала вилкой холодец, оттопырив мизинец и всем своим видом показывая, что еда — не ее стихия, что, может быть, она и не ест вообще.

— Да, мы известные негодяи,— отвечал Скворцов.— С нами только свяжись.

Слева от него Лида Ромнич усердно резала тупым ножом кусок поросенка, с восхищением глядя на розовую поджаристую корочку. Отрезала, улыбнулась, съела.

— Вкусно? — спросил он, тоже улыбаясь.

— Очень.

Справа его незаметно ущипнули, и он повернулся туда. Сонечка опустила глаза и тихонько сказала:

— Вы думаете, никто не видит, с кем вы теперь ходите, на кого смотрите? Берегитесь, общестственности все известно.

— А пусть известно. Я общестственности не боюсь. Я сам общестственность. Хотите, громко буду говорить? Я все могу.

— Пожалуйста, не кричите, на нас смотрят.

— Пускай смотрят. Я — за гласность.

На другом конце стола шла громкая беседа, несколько, впрочем, односторонняя. Говорил один генерал Сиверс. Он сидел на почетном, председательском месте и подробно рассказывал соседям историю русской военной формы. В его рассказе переливались всеми цветами радуги ментики и доломаны, кивера и чакчиры. Офицеры слушали с любопытством. Должно быть, каждый из них в воображении прикидывал на себя какой-нибудь этакий ментик и лихо закручивал черный ус.

Когда тема была исчерпана, разговор пошел о науке. Завел его майор Красников. Узнав, что на вечере будет генерал Сиверс, он долго гоговился к научному разговору, и теперь его час настал. Пусть все слышат, какой он, Красников, умный.

— Товарищ генерал! Разрешите обратиться по научному вопросу.

— Пожалуйста,— отвечал Сиверс, ловко орудуя ножом и вилкой. — Науки юношей питают.

— Товарищ генерал, я прорабатывал вашу статью насчет аэродинамических коэффициентов. Глубокая статья. Кажется, вы за этот труд получили Сталинскую премию?

— Было дело, было дело.

— В этой статье вами упомянуто про специальный метод профессора Павловича...

— Так точно, упомянуто, а что?

— Глубокий метод. А вы с профессором Павловичем лично знакомы?

— Еще бы, закадычный друг.

— Я, товарищ генерал, осенью еду в Ленинград, так не могу ли я через вас встретиться с профессором Павловичем?

Генерал Сиверс отложил нож и вилку:

— Эва, куда хватили, батенька! Ведь профессор Павлович в тюрьме.

— Где?

— В тюрьме,— отчетливо повторил Сиверс.— Или, как теперь предпочитают выражаться, в заключении.

Красников разинул рот и покраснел. Ну и вляпался! Главное, кто его за язык тянул?

— Товарищ генерал, извиняюсь... не знал.

— А чего извиняться? Дело житейское. От сумы да от тюрьмы...

Испуганные гости, стараясь не замечать неприличия, спешно заговорили кто о чем. Генерал Сиверс взялся опять за нож и вилку.

— Должен заметить, что поросенок отменно хорош.

— Кушайте на здоровечко.— сказала хозяйка. Она стояла у при-
толки и глядела на всех растроганными теплыми глазами. Когда еще такое увидишь: столько гостей, умные разговоры и генерал. Какой человек: поросенка похвалил! Три месяца молоком поила, а вчера зако-
лола, сын Витюшка слезами кричал, жалел поросенка. А ей не жаль: пусть кушает генерал, поправляется.

Было уже много съедено, много выпито, и вечер перешел в то состоя-
ние самодвижения, которое может продолжаться сколь угодно долго. Кое-кто остался за столом, другие разбрелись. Сильно выпившие осве-
жались в сенях; кто-то заснул в летней боковушке. Голову поросенка украсили окурками. Завели проигрыватель, начались танцы. Скворцов проскользнул мимо Сонечки и подошел пригласить Лиду Ромнич, но она отказалась:

— Мне с Теткиным надо поговорить по важному делу. Сначала — с ним, потом — с вами. Хорошо?

— Хорошо, прекрасно! — сказал Скворцов и пошел куда-то присут-
ствовать. Он всегда и везде присутствовал очень активно, и всегда выхо-
дило, что он всем необходим. Вот и сейчас вышло, что без него, как без
рук: двое перепились, надо было их транспортировать, он сразу взял
все в свои руки и организовал.

А Теткин танцевал с Лидой Ромнич. Между ними шел важный раз-
говор.

— Ну вот, Теткин, я и пригласила вас танцевать.

— Лидочка, я в восторге. Лидочка, я так вас люблю, прямо дышать
больно.

— Не врите, Теткин, и не меня вовсе вы любите. а Лору.

— Ну что Лора. Она, конечно, женщина, а все-таки...

— Она вас любит.

— Знаю. Вы думаете, я не ценю? Я даже сам ее люблю, честное
слово. Я это только недавно выяснил. Определенно, люблю.

— Ну, Теткин, как это мило! И очень облегчает мою задачу. Вам
просто необходимо жениться. Годы идут, вот вы уже облысели, а дальше
еще хуже будет: старость, болезни.

— Я еще не совсем облысел,— обиделся Теткин.— Это у меня так,
проплешина.

— Не проплешина, а переплешина. Простите, Теткин, я нечаянно. Важно то, что вы один, всегда один. Некому о вас позаботиться. Смотрите, вот и рубашка на вас грязная.

— Правда, Лидочка, правда, умница. Я и сам об этом начал задумываться.

— Вот видите! А тут рядом с вами будет верный, любящий человек. Жена. Лору я знаю, она очень хорошая.

— Разве я спорю?

— Тогда в чем дело?

— Мать она. Двое детей.

— Так это же отлично: двое детей! Когда еще вы своих вырастите, а тут все готово, двое, да еще такие прелестные: Маша и Миша. Как мячики.

— А вы их знаете?

— Нет, представляю себе.

— И верно, прелестные,— согласился Теткин.

— Молодец! — обрадовалась Лида.— Все так хорошо устраивается!

Вы жёнитесь...

— А что? И женюсь. Факт, женюсь.

— Ладно, по рукам. А теперь, не теряя времени, давайте к ней и...

— Сделать предложение? — по-овечьи покорно спросил Теткин.

— Вот именно.

— Ну, ладно, так и быть. Благословите меня, Лидочка, и я пойду. Руку дайте, на счастье.

Они остановились среди танцующих. Лида дала ему руку, он долго с этой рукой возился — гладил, целовал, а потом вздохнул на всю ночь:

— Прощай, молодость! А все-таки страшновато... Вот если бы вы... Вам бы я руками и ногами предложение сделал.

— Теткин, обо мне нету речи. И вообще я замужем. К тому же я вас не люблю, а Лора любит. Это тоже важно.

— Что верно, то верно,— сказал Теткин и пошел делать предложение.

Лора сидела с Томкой на диване. Увидев Теткина, она засветилась, как розовый фонарь. Томка понимающе блеснула глазами, встала и ушла. Теткин сел на диван и сразу же положил голову к Лоре на колени.

«Только бы не заснул»,— думала Лида. К ней подошел Скворцов.

— Я вижу, операция Теткин — Лора развивается успешно.

— Ой, не сглазьте, я так волнуюсь. Он мне обещал сейчас же сделать предложение. Как вы думаете: сделает?

— Не знаю...

— Вот и я беспокоюсь ужасно.

— Будь что будет. Пойдем танцевать.

— Знаете, душно. Я уже с Теткиным уморилась, я ведь неважно танцую и не очень это люблю.

— Тогда пойдем на улицу, там сейчас здоровая луна.

Он взял ее за руку и повел к выходу. В сенях они переступили через чьи-то ноги, вышли на крыльцо. Луна светила ярким, белым, великолепным светом. И вся ночь была великолепна — высокая, глазастая, бархатная. Каждая соломинка бросала отдельную тень. В окнах, за занавесками, в мутном толевом тумане пошатывались танцующие фигуры. Где-то в этом тумане, возможно, Теткин делал Лоре предложение...

— Хорошо бы! — сказала Лида.— Лучше Лоры ему не найти.

— В этих делах, знаете, решает не «лучше» и «хуже».

— А что решает в этих делах?

— Черт его знает. Но только не разум. Самый умный человек в любви дурак дураком.

— И вы?

— Отчаянный дурак. Но я и вообще-то не очень умен.

— А вас многие считают умным.

— Просто умею притворяться.

— Разве можно притвориться умным? Все равно что притвориться красивым.

— Многие женщины притворяются.

— А знаете, я что хотела у вас спросить... Генерал Сиверс, он что — всегда... такой?

— Всегда. А разве вы его не знаете?

— Нет, только по книгам. Классик. Я даже вообще, к стыду своему, думала, что он уже умер.

— Нет, как видите — в высшей степени жив. Даже поразительно. Ничего не боится. И как это ему с рук сходит? Другому бы за десятую долю... А почему вы спросили?

Лида промолчала.

— Луна-то какая,— сказал Скворцов.

— Великая.

— А все-таки вы что-то хотели еще сказать про Сиверса.

— Да нет... Просто мне пришло в голову — наверно, глупость... Вот вы говорите: ничего не боится. А может быть, он тоже боится где-то глубоко внутри, но не позволяет себе — понимаете? Я как-то глупо говорю, не умею выразить.

— Нет-нет, говорите.

— Отсюда, может быть, и все странности его, клоунада какая-то... Ведь человек не может в себе что-то разрушить — даже страх,— не повредив себя самого... Нет, это все вздор. Я вообще в людях плохо разбираюсь.

— Напротив, очень даже хорошо разбираетесь, и я очень рад, честное слово, я о ваших словах буду думать. Давайте пройдемся по улице, вы будете говорить, а я — думать.

— Нет, знаете, я очень волнуюсь. Пойдем в дом, посмотрим, как Лора?

Душный, прокуренный воздух обступил их, как нечто жидкое. На диване сидела Лора со счастливым и перевернутым лицом. Положив голову ей на колени, младенческим сном спал Теткин. Лида подошла:

— Ну как?

— Предложение сделал, ну буквально руки и сердца. Говорит, лучше тебя не найду. Такая преданная, и двое детей готовых, Маша и Миша, как мячики. Значит, будет он их любить. Так меня растрогал своим отношением, прямо до глубины.

— Поздравляю, я очень-очень рада,— сказала Лида, но как-то задумчиво. Теткин ее беспокоил все-таки.

— Прямо счастью своему не верю,— прошептала Лора,— не может быть, чтобы мне такое счастье...

Тем временем Скворцов беседовал с хозяином дома. Майор Тысячный был пьян и необыкновенно речист. Свое «каскачать» он теперь произносил небрежно: «каскачь».

— Я тебя люблю,— говорил Тысячный,— за то, что ты, каскачь, проходишь.

— Ничего себе комплимент,— отвечал Скворцов.

— Не-ет, ты проходимец,— качая пальцем, настаивал Тысячный.— Согласись, каскать, что ты проходимец.

— А что ты под этим понимаешь?

— Проходимец? Это тот, кто везде, каскать, пройдет. Умный человек.

— Тогда другое дело. Только ты никому не говори, что я проходимец. Люди могут понять тебя превратно.

— Я люблю деловых, каскать, людей,— говорил, не слушая, Тысячный.— Почему меня всякий должен тыкать коленкой, каскать, в одно место? Потому что я, каскать, не проходимец. А ты проходимец. Я тебя люблю. Дай я тебя поцелую.

«Что это их всех несет целоваться? — думал Скворцов.— Никогда не было на Руси такого обычая: в губы целоваться, да еще взасос. Это теперь его выдумали».

Он освободился, утерся, встал из-за стола и по высокому звону в ушах понял, что пьян в дугу, вдрезину, в бога или во что еще там полагается быть пьяным — одним словом, пьян окончательно и бесповоротно. И когда это он успел надраться? Непостижимо.

Генерал Сиверс тоже был пьян, но пьян изящно. Он поискал фуражку, взял свернутый холст и сказал:

— Кажется, мы на пороге того, чтобы потерять образ божий, как говорили наши предки. Разрешите откланяться.

Подскочил Тысячный:

— Уходите, товарищ генерал? Погостили бы еще.

— Не могу, завтра вставать рано. Благодарствуйте. За картину — особенно.

— Проводить вас, товарищ генерал?

— Ни в коем случае. Могу двигаться без посторонней помощи.

Несколько человек с шумом вышли на улицу, свалив по дороге какие-то грабли. Сиверс посмотрел на луну. Очки его вдохновенно блеснули.

— Прекрасная ночь! Знаете что? Я решил. Я пойду домой мазуркой.

— А разве вы умеете мазуркой? — нетвердо спросил Скворцов.

— Нет, но до дому еще далеко, я научусь.

Действительно, генерал двинулся в сторону дома мелкой боковой приплясочкой, отдаленно напоминавшей мазурку. Оставшиеся внимательно следили, как удалялась в лунном свете темная подпрыгивающая фигура, сопровождаемая голубым облачком пыли.

— Что только делается! — вздохнула Лора.

— А что? Прекрасная идея,— закричал Теткин.— Может быть, я тоже желаю пойти домой какой-нибудь этакой румбой.— Он сделал несколько фантастических па.

— Это жалкое эпигонство,— держась изо всех сил, сказал Скворцов. Хорошо, что связную речь он терял в последнюю очередь.

— По домам, по домам,— вытанцовывал Теткин.— Девицы-красавицы, за мной!

Девицы-красавицы — Лора, Томка и Лида — шли за Теткиным, как куры за петухом. Скворцов прицепился было к ним, но Лида его отслала: им — в деревянную, ему — в каменную. Как он добрался до каменной — неясно. Кажется, светила луна, он шел, наступал на свою тень и смеялся. Потом был провал. Каким-то непонятным скачком он вдруг очутился у себя в номере. Соседи спали беззвучным сном трезвенников. Косая, извилистая трещина пересекала стену. Он сел на свою кровать. Кровать заговорила. Она спросила: «А ты как?» — «Ничего», — ответил Скворцов, стянул сапоги, добрался головой до подушки и сразу заснул.

А майор Тысячный, проводив гостей, постоял, сжав губы, у разоренного стола, сказал хозяйке: «Уберешь завтра» — и прошел к себе в горницу. Пьяным он уже не казался. Он поглядел на пустое место, где висели стога, сел за свой рабочий, так называемый письменный стол, отпер ящик и вынул папку. Развязав папку, он взял оттуда лист бумаги и стал писать.

«За сегодняшний вечер,— писал Тысячный,— генерал С. четыре раза проявлял объективизм...»

12

— Все ясно,— сказала Томка и зажмурила правый глаз.

— Ну что тебе ясно? Ровно ничего нет.

— Нет уж, Лида, ты не изображай. Передо мной изобразить трудно, многие пытались — не вышло. Я, ты знаешь, какая чуткая. Верно, Лорка, я чуткая?

— Оставь человека в покое,— ответила Лора. Она сидела с вышивкой на кровати, толстая, погасшая, и не вышивала, а ковыряла иголкой в зубах.

— Не нервируй,— крикнула Томка.— Не перевариваю, когда ковыряют. Ну чего ты переживаешь?

Лора вздохнула:

— Намекал вчера: прогуляемся, а сам вечером с Эльвирой в пойму пошел. И сегодня не видно. Верно, опять с ней.

— Подумаешь, с Эльвирой! Стоит из-за этого ковырять! А ты плюй, вот моя теория. Этим ты его больше приковать сумеешь. Я мужчин знаю, для них хуже всего переживания. Или отношения выяснять. Уже не говоря плакать. Честное слово, я при муже слезинки не выронила. А ты хоть ее видела, эту Эльвиру?

Лора кивнула.

— Красивая хотя бы?

— Спина ничего.

— А лицо?

— Не разглядела. Они так быстро мелькнули — раз, и все. Нет, видно, он с ней на серьезном уровне пошел.

— Он ведь тебе предложение сделал,— напомнила Лида.

— Это не считается. Он же был выпивши. Сделал и забыл.

— Ну, знаешь,— возмутилась Томка,— ты как христианка: не можешь постоять за свои интересы.

— А чего за них стоять? Если любит — сам должен помнить, а не любит — зачем он мне? Сама виновата — поверила. Когда выпивши — он не отвечает.

В дверь постучали.

— Войдите!

Появился Скворцов:

— Здравствуйте, это я.

Сказано это было так, словно своим появлением он должен был сразу, безотлагательно, сию минуту всех ошастливить.

— Лидия Кондратьевна, вы готовы? Я, как видите, в полной парадной форме.

Томка хихикнула: Скворцов был в гражданском и выглядел довольно неприглядно. Помятый белый китель с дырочками от погон, коротковатые спортивные брюки, тапочки на тощих вихрастых ногах. От его обычной военной подтянутости оставалась только зеркальная бритость.

— Тамара Михайловна, вы, я вижу, потрясены моим изысканным туалетом.

— Тоже скажете! В военном вы в сто раз интереснее.

— Алмаз чистой воды сверкает и в простой оправе.

Томка залилась русалочьим смехом.

— Люблю ваш смех, Тамара Михайловна! К сожалению, только вы и цените мое остроумие.

— Идти так идти,— сказала Лида.

— Куда ж вы, бедные, по такой жаре? — спросила Лора.

— В оплот мировой цивилизации — райцентр Лихаревка,— ответил Скворцов.— Боевая задача — ознакомиться с рыночной конъюнктурой и, если удастся, что-нибудь приобрести. А жара самая нормальная — сорок в тени, пятьдесят на солнце. Я, как тощий петух, жары не боюсь, только чаще кукарекаю.

Томка зашлась окончательно.

— Идемте, Павел Сергеевич,— сказала Лида.

— Ну что ж. До свиданья, девочки, побеседовал бы с вами еще, да видите — нельзя. Будьте здоровы!

Дверь закрылась.

— Ревнует,— сказала Томка.— Видела, как нахмурилась?

— А ты зачем его заманиваешь?

— Просто так. Дурная привычка. Надо будет над собой поработать. Дружба, я считаю, выше всего, выше даже любви. А мне майор Скворцов даже не особо как-нибудь нравится, просто симпатичен и не более. Развитый офицер, цитат много знает, и юмор у него есть, я это ценю. Но чтобы что-нибудь такое — нет.

А Скворцов и Лида шли под солнцем, по пыльной дороге в сторону Лихаревки.

— Вы сердитесь? — спросил Скворцов.— Я что-нибудь не то накукарекал?

Лида засмеялась:

— Кукарекайте себе на здоровье. Мне-то что?

— Если что не так, я готов... Только скажите, куда мне меняться, и я изменюсь, честное слово.

— Никуда не надо меняться. Впрочем, нет, забыла: надо. Сегодня вы сказали: «пятьдесят на солнце». Никогда больше так не говорите. Ведь термометр на солнце показывает вовсе не температуру воздуха, а...

— ...свою собственную температуру,— перебил Скворцов,— а он накален солнцем, конвекция, лучеиспускание и те де и те пе. Все знаю. Это я так сказал, для красного словца. Женщины это любят: «пятьдесят на солнце» — и глаза круглые.

— А вы многое говорите для круглых женских глаз...

— Есть такой грех.

Идти было километра два с половиной. Солнце и в самом деле палило жестоко. Дорожная пыль обжигала сквозь подошвы — наверно, в ней можно было испечь яйцо. При каждом шаге из-под ног поднимались пухлые облачка, похожие на разрывы шрапнели.

Сзади послышались ворчание и лязг.

Они отпрянули на обочину. С кастрюльным дребезгом к ним приближался грузовик, а за ним, до половины заслоняя небо, двигалась желто-серая пылевая завеса. Грузовик дохнул раскаленной вонью, завеса надвинулась, солнце исчезло, дышать стало нечем — густая пыль завладела всем. Это продолжалось несколько минут, после чего наступил как бы рассвет — в видимости и дыхании.

— Ну как вы, живы? — спросил Скворцов.

— Ничего. Только на зубах скрипит.

— Да, здешняя лессовая пыль — дело серьезное. Долго не оседает, и вообще... Кстати, какое у вас представление об аде?

Она почти сразу поняла:

— «И только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог?»

— Правильно! — обрадовался он. — Вы, значит, знаете эту песенку?

— Кто ее не знает?

Пошли вперед. «День, ночь, день, ночь мы идем по Африке», — напевал Скворцов. Он втайне любил петь и даже думал, что у него хороший голос, хотя никто, кроме жены, этого мнения не разделял, впрочем, она за последние годы стала колебаться. Когда он пел, то становился сентиментальным, вплоть до щипания в носу... Вот и теперь... «И только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог, отдыха нет на войне солдату...»

— А вы были на войне?

(Этой, видно, тоже не очень понравилось его пение.)

— Был, — неохотно отвечал Скворцов.

— Летчиком?

— Технарем. Техником по вооружению.

— Ранены были?

— Два раза.

— Тяжело?

— Легко. «И только пыль, пыль, пыль»... Фу ты черт, опять машина!

Все повторилось: лязг, вонь, пылевое облако. Отошли, переждали, опять пошли. «И только пыль, пыль, пыль»...

Еще одна машина.

— Куда это они все едут? — спросила Лида, размазывая грязь по потному лицу.

— А на стройку. Видите?

Он указал направо, где виднелись очертания каких-то кирпичных руин. К ним подъехал самосвал, наклонил кузов и высыпал на землю свой груз. Послышался грохот бьющегося кирпича, красный дымок поднялся к небу, самосвал несколько раз качнулся взад и вперед, развернулся и уехал. На стройке не было ни души, только курганами громоздился битый кирпич да шерились брошенные в навал оконные рамы с выбитыми стеклами.

— А что здесь строится?

— По замыслу — баня районного масштаба. Только с водой какая-то неувязка получилась, не ясно, откуда ее вести и кому платить? Пока три ведомства согласовывают вопрос, стройку законсервировали.

— А кирпич зачем возят?

— Бог их знает. Наверно, в целях выполнения какого-то плана. Может быть, плана сдачи утильсырья. Знаете, как у нас собирают утильсырье? Вот нашему научно-исследовательскому институту тоже пришла разрядка: вынь да положь такое-то количество тонн металлолома. А откуда его взять? Все понимают, что глупо, а передоложить никто не хочет. Все-таки вышли из положения: изъяли из общежития железные кровати, автогеном порезали, сдали...

— И вы еще смеетесь?

— А что делать, плакать?

Они как-то несогласно помолчали.

— А может быть, все-таки... передоложить?

— Что вы сказали?

— Ничего, это я так.

— Вот у генерала Гиндина на стройке — каждый кирпич на счету, — сказал Скворцов. — Разбили — взыщут: генерал — со своего подчиненного, тот — с прораба, прораб — с рабочего...

— Значит, можно все-таки что-то сделать?

Пыльная длинная дорога незаметно перешла в такую же пыльную длинную улицу. По обе ее стороны стояли неказистые дома двух сортов: деревянные серые избы и вросшие в землю глиняные мазанки, похожие на грибы. Все окна были наглухо закрыты ставнями, на улице — ни души, ни собаки. Только один какой-то случайный петух торопливо хромал, перебегая улицу и оставляя за собой в пыли четкую цепочку следов. Петух был угнетен и выглядел нездоровым.

— Кстати, тем временем мы с вами дошли до Лихаревки, видите?

— А где же все люди?

— Кто на работе, а кто дома спрятался, ставни закрыл. В такую жару люди без большой надобности на улицу не выходят. Слышите, какая тишина?

И в самом деле — тишина была мертвая, пыльная, убитая. Но вдруг ее нарушил громкий человеческий голос. Он кричал с резким грузинским акцентом:

— Товарищ майор! А товарищ майор! — Из окна дощатого сарая высунулся по пояс красивый седовласый мужчина необычайно благородной внешности — этакий располневший витязь в тигровой шкуре. Он размахивал руками и взывал: — Товарищ майор, иди сюда, кацо!

— Кто это? — спросила Лида.

— А это и есть лихаревский князь, знаменитый Ной Шошиа.

— Моды, моды! — кричал Ной.

— Здравствуйте, Ной Трифонович, — учтиво поклонился Скворцов. — Вы видите, я не один, с дамой.

— И дама бэри! Пить-кушать будэм! Брат приехал из Рустави, родной брат, дзма! Шашлык есть, вино есть! Зурна будэм играть!

— Спасибо, нам нужно на базар, — сказала Лида.

— Какой базар? — Ной даже зажмурился эг отвращения. — Это не базар, а один нуль! Говори, что надо, — все будэт! У Ноя Шошиа все есть!

— Большое спасибо, Ной Трифонович, — сказал Скворцов. — Когда-нибудь в другой раз.

— Вай мэ! — горестно закричал Ной.

Они пошли дальше.

— Вы с этим Ноем Шошиа хорошо знакомы?

— В том-то и дело, что нет. Но один раз я был у него в гостях, и этого достаточно, чтобы он полюбил меня, как родного. Видите, как выходит. У нас: друг — значит, гость. У них наоборот: гость — значит, друг. Удивительный народ.

— А трудно ему, наверно, здесь. Зачем он сюда приехал?

— Кто его знает? Прошлый раз намекал он высоким слогом на что-то особое, на какие-то удары судьбы. Что ж, возможно... Но вот мы, собственно, и достигли цели своего путешествия. Перед нами базарная площадь — так сказать, центр райцентра. Прошу обратить внимание.

Базарная площадь была довольно велика, но как-то неприятно вся покривилась в сторону. На нее выходило несколько магазинов, из которых открыт был только один; у остальных двери были заперты, преграждены брусками и украшены огромными висячими замками. Посреди площади у длинной коновязи жевали черное сено пять-шесть лошадей, запряженных в телеги; они все одновременно, словно по команде, взмахивали хвостами, отгоняя слепней, — какие-то лошадиные автоматы. У запертых дверей магазина «Хлеб» ожидала на солнце кучка женщин в темных одеждах, с кошелками в руках. Все женщины были низко, по самые глаза, повязаны платками, а из-под платков виднелись мертвенные, известково-белые лица, похожие на маски.

— Это косметика, — пояснил Скворцов. — Чтобы не загорать. Мел. мука и еще что-то, чуть ли не зубная паста. Здесь загорелая женщина не котируется, не то что у нас, в Европе.

Посреди площади возвышался крытый рынок. Внутри было пестро от солнечных пятен и сияющих щелей. За столами шла вялая торговля: пять-шесть продавцов, два-три покупателя. Выбор товаров был скромен: мешочки с семечками и самосадом, куски синего, гошего мяса и тут же — пучки кудели, шерстяные носки, упряжь.

— Вот вам и лихаревский частный сектор. Что вас здесь соблазняет? Мясо? Семечки?

Лида отрицательно помотала головой.

— Хотите, я прищенись к курице? Вот увидите, я мастер торговаться.

— Боже упаси!

— Да я не покупать, а просто так. Мне эта курица симпатична.

Курица, облюбованная Скворцовым, сидела на столе, шарообразно нахохлившись и поджав под себя ноги. Рядом с нею стоял старик, совершенно сказочный: коричневый, как пряник, с белой сахарной бородой.

— Здорово, дед! Как торговля? — тоном путешествующего министра сказал Скворцов.

— Какая наша торговля? Вот куру продам, бутылку куплю. Товар — деньги — товар.

Скворцов сразу пооблинял.

— Да ты, оказывается, дед, ученый!

— Культурный, — поправил дед.

— Сколько же ты за свою курицу просишь?

— Тридцатку всего.

— Дорого!

— А ты что, дешево водку продаешь?

— Разве это я продаю?

— А то нет? Ты человек городской, я деревенский. Ты мне водку — я тебе куру.

Курица беспокойно заворочалась, словно понимая, что о ней речь.

— Но-но, Дуська, — прикрикнул дед. — Помалкивай, твое дело маленькое.

— Как вы ее зовете?

— Дуська. Авдотья по-старому. Раньше Дуньки были, а теперь Дуськи. А свинью у меня Варварой зовут. Я не религиозный.

— Ко-ко, — проскрипела курица.

— Что вы сказали? — переспросил Скворцов и легонько шелканул курицу пальцем в лоб.

Произошел небольшой переполох: курица заорала и, хлопая крыльями, попыталась взлететь. Ноги у нее были связаны, и далеко улететь она не могла, но кудахтанья было много. Старик изловил ее, посадил на место и стал увещевать:

— Дуська, не нарушай.

— Шуток не понимает, — сказал Скворцов.

— Очень даже понимает. Только стесняется.

Курица замирала, покрикивая.

— Нервная, — сказал старик. — Питание не удовлетворяет. Местные условия.

— А вы-то сами не местный? — спросила Лида.

— С-под Орла я. А здесь местных нет. Климат очень упругий. Поживет-поживет — и инфаркт. А вы откуда?

— Из Москвы, — ответила Лида.

— В Москве, говорят, снабжение хорошее.

— Ничего.

— А ты почему ж такая худая? Муж не обеспечивает?

— Нет, отчего же,— смутилась Лида.

— Ты ее получше корми. Я тоже одну такую знал, страшная была, как чучел огородный, а муж откормил — стала интересная! Куриный бульон таким — в самый раз! Берешь, что ли, куру? Или так, для культпросвета стараешься?

— Для культпросвета,— признался Скворцов.— Ты уж, дед, меня прости, время у тебя отнял.

— Бог простит. Хотя я не религиозный. Мое почтение.

Они пошли к выходу. Дверь наружу сияла, как печное жерло. На площади было по-прежнему мертво и грубо-солнечно. Те же лошади, автоматически обхлестывающие себя хвостами, те же женщины с заштукатуренными лицами на крыльце магазина «Хлеб».

— Здравствуйте,— сказал, подходя к ним, Скворцов.— Хлеба ждете? А где же Любовь Ивановна?

Женщины слегка оживились.

— Эвона,— сказала одна из них.— Любовь Ивановну еще зимой сняли.

— За что?

— Говорят, за употребление.

— Вот оно что! А кто же теперь хлебом торгует?

— Катька с Троицкого.

— Ну, и как она? Не употребляет?

— Нам что? Нам без разницы.

— Где ж она сейчас, эта Катька? Хочу познакомиться.

— Кто ее знает? Может, на базу ушла, а может, еще куда. Магазин с утра под замком.

— Самое скверное,— сказал Скворцов, отойдя на приличное расстояние,— это полное равнодушие к нарушению законности. «Магазин с утра под замком — и никого это не возмущает. Ждали и еще подождут. Без хлеба-то не проживешь. «Ушла на базу» — поди проверь: то ли она сейчас белье стирает, то ли правда сидит на базе, ждет заведующего, а вместо него — замок.

— И неужели ничего нельзя сделать? — опять болезненно спросила Лида.

— Трудно. И чем дальше от центра, тем трудней. Конечно, если не пожалеть сил, можно добиться, чтобы сняли эту «Катюку с Троицкого». А что толку? Видите, все магазины закрыты, кроме «Лихрайпотребсоюза». Давайте зайдем?

На дверях «Лихрайпотребсоюза» висело написанное от руки объявление:

«16-го и 17-го июля в магазине будут выдаваться дефицитные товары в обмен на задачу яйца гражданами».

— Это интересно,— сказал Скворцов.— Сегодня как раз семнадцатое июля.

Внутри магазина было темновато, пахло сбруей и гуталином. За прилавком восседала крупоплечая женщина в перманенте, с выщипанными бровями. На вошедших она даже не взглянула.

— Как у вас с дефицитными товарами? — громко спросил Скворцов.

— Кончились,— с царственным величием ответила женщина.

— А что же у вас было?

— Сапоги резиновые, тахта, гвозди, часы «заря».

— Ай-яй-яй. досада какая! А я-то как раз собирался приобрести тахту!

— Опять культпросвет? — спросила Лида.

— А сейчас у вас что есть? — не унимался Скворцов.

— Все есть, — ответила продавщица и погрузилась в нирвану.

И в самом деле, в магазине было как будто бы все — и вместе с тем ничего не было. Кому, скажем, пришло бы в голову добровольно приобрести этот мужской плащ, сшитый как будто из кровельного железа? Или розовое платье рубчатого бархата, размер пятьдесят шесть? Или зеркало, волнистое, как стиральная доска? Больше всего в магазине было галантереи: бус, подстаканников, золоченых жуков.

В продуктовом отделе было не лучше: сухой кисель, желатин, ячменный кофе, карамель в бумажках и, разумеется, плодоягодное.

— Да, товары сугубо недефицитные, — сказал Скворцов. — Боюсь, что голодный человек ушел бы отсюда голодным, даже если бы сожрал все на этом прилавке. Разве карамель могла бы его поддержать. Карамель под названием «воетбол», если верить надписи.

Скворцов повысил голос:

— Послушайте, любезная дама, что такое «воетбол»?

— Как что? Коихвета, — с достоинством ответила продавщица.

— Может быть, «волейбол»?

— А там и написано «воетбол». Небось грамотные.

— Хватит, идемте, — сказала Лида.

Они вышли.

— Что-нибудь опять не так? — спросил Скворцов.

— Нет... Просто мне показалось, что вы очень уж на все это смотрите... свысока, что ли... Причем с городского «высока́», не знаю, понятно ли?..

— Очень понятно... Я даже согласен. Постараюсь...

— Ведь московская прописка — не заслуга...

— Все понял, можно не объяснять.

Первый, кого они увидели на площади, был Теткин. Он появился из двери с надписью: «Кафе-ресторан (напитки в состоянии опьянения не подаются)». Шел он необычайно брыкливо и держался не перпендикулярно земной поверхности, а косо, с парадоксальным наклоном вбок. Заметив их, он бурно обрадовался:

— Пашка, Лида! Здорово, братва!

— Привет, — сказал Скворцов самым своим струнчатым голосом. — Судя по заметному углу, который составляет с вертикалью продольная ось твоего тела, напитки в состоянии опьянения вопреки правилам тебе подавались. Или я ошибаюсь?

— Чего? — не понял Теткин, махнул рукой и захохотал. — Слушай, Пашка! Ты один можешь меня спасти! Как ее зовут?

— Кого?

— Девушку, за которой я ухаживаю.

— Лора.

— Да ну, Лору я и сам великолепно помню. Другую. Ну, как ее... Из двадцатого ящика. Ты же ее видел на Новый год.

— Черная, змеиного вида?

— Вот-вот. Как ее зовут?

— Не помню. Не то Элеонора, не то Эмилия. Как-то на «Э».

— Вот и я помню, что на «Э». Вертится-вертится... Может, Эполета?

— Исключено. Женщину так звать не могут. Кстати, Теткин, что такое эполета?

— Отстань. Дело не в этом. Я сейчас весь погружен в то, как ее зовут.

— А на что тебе?

— Видишь, она сюда приехала, я за ней снова примостился ухаживать, два раза сводил в пойму, а как звать — забыл, и спросить неудобно.

— Ничего не скажешь, положение тяжелое.

— Прощайте, братцы, пойду к Ване-Мане, может, он знает.

Теткин побежал прочь, сохраняя и на бегу тот же противоестественный наклон.

— Хорош, — сказал Скворцов. — «Эполета». Надо же выдумать.

— Ее Эльвирой зовут.

— И правда, Эльвира! Теткин, стой!

Но Теткин уже был далеко.

— Что же вы ему не напомнили?

— Лору жалко... Впрочем, может быть, из-за Лоры именно надо было напомнить.

Из открытой двери ресторана пахло чем-то, жаренным на растительном масле. Скворцов повел носом и сказал:

— Пошлая у меня натура. Стыдно признаться, но я уже есть хочу.

— Боже мой! Давно ли вы ели?

— То-то и есть. Друзья говорят, что у меня не аппетит, а хулиганство.

— Псхоже на то. Ну что ж, пойдем обратно в городок.

— Нет. Знаете что? У меня идея. Пообедаем здесь, в злачном месте под чарующим названием «Кафе-ресторан», потом погуляем, познакомимся подробнее с конъюнктурой, а вечером махнем в кино.

— А что там идет?

— Не все ли равно?

— Пожалуй.

В ресторане было дымно и чадно. Официант в полубелой куртке шмыгал между столами, разнеся всем одни и те же котлеты с макаронами на овальных металлических блюдах. Посреди зала сидел тот самый пряничный старик с рынка, хозяин курицы. Он приветственно помахал им вилкой. Рядом с ним зеленела бутылка «московской».

— А, дед! — обрадовался Скворцов. — Продал свою Дуську?

— А как же. Нашелся один дурак такой же, вроде тебя. Сунул ему куру, тридцатку взял и — к Ною.

— А почему он дурак?

— Она ж у меня рыбой кормлена. Умный человек сразу бы отличил. По взору. От рыбной пищи что у птицы, что у человека взор совсем другой.

Сеанс окончился. Публика выходила из клуба. Засветились в темноте светлячки папирос, послышался говор, смех. От толпы одна за другой отделялись пары и, тесно прижимаясь друг к другу плечами, отходили в стороны. Кто-то рванул аккордеон, женский голос закричал песню, другой подхватил, и компания двинулась вдоль улицы, мягко стуча каблуками по пыли. Песня удалялась, с каждой минутой теряя грубость и становясь все нежней и прекраснее. Но вот разошлась толпа, осела пыль и открылось небо, богатое звездами, с лунным серпом посредине.

— Ночь-то какая, — сказал Скворцов. — Посидим, подышим. Не каждый день удается.

Они сели на ступени клубного крыльца. Скворцов закурил, голубой лунный дымок нежным столбиком восходил вверх. У крыльца росло сухое дерево. Вообще в Лихаревке было два дерева, и оба — сухие; одно из них сейчас присутствовало. Ночью дерево выглядело мучеником — с голыми, худыми, заломленными вверх руками.

— Вот, — сказала Лида, — и как же все это странно.

— Что странно?

— Все: и дерево это, и ночь, и мы сами. Вы только подумайте: сидим на каком-то крыльце, за тысячи километров от дома, так, что земля между нами и домом уже существенно закругляется... Там, у нас, еще далеко до захода солнца, а здесь темно и месяц такой необыкновенный...

— Как раз месяц-то самый обыкновенный.

— Что вы! У нас он никогда не лежит так, запрокинувшись, рожками вверх.

Скворцов посмотрел на небо и в самом деле увидел там странно запрокинутый, лежащий месяц. Потом он подумал о том, где сидит, и почувствовал, что сидит на шаре и этот шар ощутимо круглится между ним и Москвой... Поглядел на лицо своей соседки, и оно тоже было странным, голубое от луны.

— Однако нам пора идти, — сказали голубые губы. — И так, наверно, девушки беспокоятся — куда я пропала?

— Еще немножко! Еще не поздно.

Ему хотелось еще посидеть на шаре.

— Ого! По-местному одиннадцать. А завтра рано вставать.

Что она такое говорит? Никакого завтра нет и быть не может. Тем не менее он встал и взял ее под руку. Они пошли в сторону дома. Ни прохожего, ни огня. Луна светила со спины. Впереди двигались на длинных шатающихся ногах две черные соединенные тени. И вдруг — откуда-то музыка. Радио, что ли? Нет, непохоже. Живые голоса. Пели два голоса: высокий тенор и низкий рыдающий бас.

— А, это, наверно, Ной с братом, — догадался Скворцов. — Верно! Вот и Ноев ковчег, и окно светится. А как поют! Давайте послушаем.

В неплотно закрытой ставне светилось оранжевое сердечко. Там, за этим сердечком, бормотала зурна, и два голоса, поддерживая и оспаривая друг друга, пели по-грузински. Какая-то щеголеватая грусть была в этом пении, какое-то праздничное горе... Эх, черт возьми, надо же уметь так горевать!.. Слова были непонятны, кроме одного, которое все повторялось и повторялось в песне: «Тбилисо!» — рыдал один голос, «Тбилисо!» — вызванивал другой...

— Почему «Тбилисо», а не «Тбилиси»? — шепотом спросила Лида.

— Кажется, это у них звательный падеж.

А песня все длилась — это была очень длинная, сложная песня.

«Черт его знает, — думал Скворцов. — Влюблен я, что ли? Нет, непохоже. Вот Верочку я любил. А здесь не то. Здесь просто странно. Странно и хорошо, и именно потому хорошо, что странно».

Шофер Игорь Тюменцев, первого года службы, молоденький, пушистый, желтоклювый, терпеть не мог женщин. А они его любили.

Особенно он терпеть не мог хозяйку деревянной гостиницы — жаркую, черешневоглазую Клавдию Васильевну.

Когда Тюменцев на своем «газике» подъезжал к деревянной гостинице и ждал кого-нибудь, Клавдия Васильевна всегда выкатывалась из

двери, подгрребала к машине и томно ложилась грудью на капот, подпирая полными руками смуглые щеки. Она выразительно смотрела на Игоря Тюменцева и говорила:

— Жарища нынче. Мочи нет. Всю-то я ночь насквозь до утра страдала. И на ту боковину лягу, и на другую — все мне покою нет. Полнота меня душит. Все с себя спокидаю, так и лежу.

Грудь ее, прижатая снизу горячим железом, выступала из глубокого выреза и лезла ему в глаза. Игорь старался не смотреть, но по спине у него ползли мурашки. Он сплевывал потихоньку и молчал.

— А что, ваша жизнь скучная? — поводя глазами, спрашивала Клавдия Васильевна.

— Нет, ничего, — неохотно отвечал Тюменцев.

— И что же вы делаете, Игоречек, когда машину не водите?

— Книги читаю.

— Все книги да книги! Так и молодость отцветет, ничего не увидите.

Книги пускай старые читают.

«Наподдать бы тебе», — думал Тюменцев.

— Скажите, Игорек, почему вы такие неприветливые?

— Голова болит.

— С таких-то лет и голова болит? Нет, старите вы себя этими книгами! В кино пойти или радио послушать, хор Пятницкого — это я сама не имею против. Или на танцы. Я даже на лекцию не возражаю. Недавно в клубе такая лекция была — о любви и дружбе, — очень конкретная лекция. А книги я не обожаю и вам не советую.

Тюменцев молчал. Про себя он думал: «Ишь, ведьмачка толстомя-вая. И не стыдно? Лет, наверно, тридцать пять, а тоже, гуляет. Чем бы такое ей досадить?»

И вот однажды его осенила идея. Целый вечер Тюменцев провозился у машины с какими-то проводочками: зачищал, прилаживал, проверял. Вышло хорошо. Он лег спать, вполне собой довольный. В казарме давали отбой в десять, но Тюменцев приспособился читать втихаря у себя под одеялом, освещая книгу карманным фонариком. Чтобы не так скоро срабатывалась батарейка, он читал не сплошь, а порциями. Блеснет фонариком, схватит быстренько кусок страницы, сколько глаз зацепит, потом закроет глаза и повторяет про себя, переживает.

Сегодня Игорь читал аж до часу. Очень хорошая книжка попала — Виктор Гюго, «Человек, который смеется». Он читал бы и дольше, да совсем села батарейка, и лампочка уже не горела, а тлела малиновой точкой. Он со вздохом погасил фонарик, сунул книгу под подушку, вытянулся и стал думать. В казарме было душно, пахло сапогами, солдатами. Спасибо, койка у него — верхнего яруса — досталась выгодная, недалеко от окна. Из окна иногда подувало чистой прохладой и были видны на темном небе большие строгие звезды. Кругом громко дышали, беззаботно дышали его товарищи-солдаты. А Тюменцев не спал. Он думал о том, что вот уже двадцать второй год живет на свете, а все еще ничего не сделал для человечества. Вспомнил свою родину, рязанское село на берегу узкой речки; вербы, опустившие на воду длинные ветки, как распущенные бабьи волосы; вспомнил детское, прохладное, мятное северное лето и немного затосковал, так, самую малость. Захотелось ему прозябнуть. А здесь, за тридевять земель от родного села, неудобно как-то: земля каляная, словно каменная, так трещинами и расходится. И трава — не трава, а метелки какие-то, и то весной, а к июню все выгорает. Но все-таки и здесь жить можно — работа не бей лежачего: вози себе начальство, ожидай его да читай книжки. Книжек Тюменцев читал много и каждую, прочитав, заносил в список с краткими замечаниями, например: «Буза, время зря потратил», или: «Все-таки, мне кажется, книга

не до конца правдивая, в жизни так не бывает», или: «Хотел бы познакомиться с автором, наверно незаурядный человек. Но с образом Нюры не согласен».

А еще он думал о своем будущем. Пока впереди было еще два года с месяцем действительной. На сверхсрочную он оставаться не собирался. Кончит срок — и прощай портянки, побудки, наряды. Поедет он на север, туда, в прохладу. Соберутся вечером ребята у пруда, гармошка. А он с аккордеоном. Купит, скопит.

Думал он еще и о том, как запишет в свою тетрадь отзыв о «Человеке, который смеется». Даже фразу придумал: «Исключительно правдивая, волнующая книга, хотя эпоха не совсем современна». Хотелось ему еще придумать фразу, в которой было бы слово «в разрезе», это слово он недавно слышал у одного очень культурного лектора и запомнил, чтобы употребить. Но фразы такой у него не получилось, и он просто стал припоминать и воображать, как там, в книжке, все это было. Особенно его поразили компрачкосы, которые людей растили в каких-то особенных кувшинах, и человек вырастал уродом, по форме кувшина. Страшно, должно быть, в таком кувшине сидеть — вот растешь-растешь, не замечаешь и принимаешь форму. Тюменцеву даже не по себе стало, но тут он вспомнил, что у него есть какая-то малая радость, и сообразил: хорошо удалось устройство! Он посмеялся, лег на живот и стал засыпать.

Утром Тюменцев проснулся раньше всех в казарме. Он упруго, на мускулах, спустился с койки, натянул брюки и сапоги, мыться пошел. На дворе было славно и даже прохладно. Тюменцев сладко помылся у длинного умывальника на сорок сосков, облил голову, вычистил зубы, прошел обратно в казарму, тихо заправил койку, чтобы не разбудить напарника, соседа снизу, надел гимнастерку, крепко обхлестнул ею узкие бедра; пояс с надраенной до солнечного блеска пряжкой затянул до потери дыхания. взял «Человека, который смеется» и пошел наружу.

- Тюменцев, ты куда? — окликнул его дневальный.
- Машину проверить, товарищ ефрейтор.
- Вчера крутил-винтил, все до дела не довинтился?
- Старая она, дребезги одни.
- Ну, иди.

Тюменцев направился в гараж. Около гаража по свежей, еще не раскаленной земле важно ходили лиловые голуби. Из степи тянуло тонким, душистым ветром. Тюменцеву на миг не захотелось уходить отсюда, с воли, в тяжело пахнущий соляркой гараж. В такое бы утро... Но тут он запретил себе думать, что хотелось бы ему в такое утро. Он еще ту же обтянул по бедрам гимнастерку, привычным движением поправил пилотку — так, чтобы звездой правую бровь как раз пополам, — вошел в гараж, сел на трехногую скамью и взялся за «Человека, который смеется».

Раннее, еще не злое солнце светило на степь сквозь дымку, но видно было, что день предстоит горячий. Майор Скворцов на «газике» с Тюменцевым в руля подъехал к деревянной гостинице.

— Игорь, подожди, я сейчас.

Скворцов прыгнул с подножки, громко захлопнул за собой дверцу машины и пружинисто, шагая через две, взбежал по четырем ступеням крыльца. В вестибюле было темновато, пахло рыбой. На голом клеенчатом диване, роскошно раскинувшись, спала уборщица Катя. Мелкие перманентные кудряшки осыпали ее розовый лоб, на щеке сладко и влажно краснел рубец от подушки. маленькие черные усики — все в бисеринках пота. «Милая она какая-то, спит», — растроганно подумал

Скворцов. Все ему были сегодня милы: и Тюменцев, и эта Катя. Тюменцев особенно был хорош: серьезный, подтянутый, в строгих ресницах, с малиновым румянцем на пушистых щеках. Скворцов прошел коридором направо и постучал в дверь с номером три.

— Кто там? — откликнулся женский голос. Не она — Лора, вероятно.

— Это я, Скворцов. Лидия Кондратьевна еще не встала?

— Встала, моется. Погодите, сюда нельзя, мы не одеты.

— А что? Мы не кривобокие, — хихикнул другой голос, должно быть Томкин.

— Спасибо, я подожду.

В вестибюле на диване Кати уже не было — лежала только подушка да смятая, умильная, в голубых бабочках косынка.

«Что это я сегодня дураком каким-то, все меня радует», — подумал Скворцов.

Вестибюль был как вестибюль, мрачноватый, с трещинами на неровных, давно не беленных стенах, но ему и этот вестибюль нравился необычайно. И столик в углу — маленький, треугольный, застланный корявой какой-то тряпочкой, и голубые от синьки занавесочки, косо на каждом окне, и ядовито-розовая вата между рамами. Беспokoясь от счастья, не зная, куда себя приткнуть, он стал читать застекленное объявление в багетной рамке. Это оказались «Правила соцсоревнования работников гостиницы «Золотой луч». А он и не знал, что она так называется — все знали гостиницу просто как «деревянную». Правила были подробные, минут на десять внимательного чтения. Каждый пункт четко оценивался в очках. За участие в художественной самодеятельности начислялось 15 очков, за пользование библиотекой — 8 очков, за вежливость и культурное обращение с проживающими — тоже 8 очков. На последнем месте стояло: «Борьба с клопами — 5 очков».

В вестибюль, весело гремя ведром, вошла Катя с глазами, как промытые окна. Вошла и обрадовалась:

— Здравствуйте, товарищ майор! Вы за Ромничей Лидой? Она примываться пошла.

— Слышал.

— А мы вас ждали-ждали, заждались. Давно не были. Девки говорят: посмеяться охота, хоть бы майор тот приехал, с зубом. Скучота у нас, с майором хоть посмеешься.

— Больно мало у вас за клопов начисляют!

— Каких клопов?

— А вот. — Он показал на последний пункт «Правил». — Не читала?

— А ну их, мы и не смотрим. Шестьсот метров норму дали, а тряпок не дают, своими тряпками работаем. У меня последние кончились, старым триком мою, а он не трет, хоть зубами грызи. А клопов на той неделе наметила кипятком шпарить. Да и нет их у нас, один-два когда выползет.

— Ну, а с участием в самодеятельности как у вас?

— Ничего, танцуем.

— Ну, танцуйте, я приду проверю. Дело не шуточное — пятнадцать очков! На одном клопе этого не заработаешь.

— Все шутите... А я с вами, товарищ майор, серьезно мечтала побеседовать. По личному делу.

— Валяй, беседуй.

— Любит тут меня один, не так чтобы очень красивый, но самостоятельный. Пожилой, лет тридцать. Расписаться просит. Идти мне за него или как?

— Или как.

— Ну вот, опять шутите. Я сама посмеяться не против, но тут дело такое... Судьба всей жизни. Надо отнестись ответственно. А вы его знаете, что не советуете?

— Нет, я тебя знаю. Спрашиваешь, идти ли — значит, не любишь.

— Все про любовь говорят, товарищ майор, а я и не знаю, что за любовь за такая. Может, выйду, там и полюблю? Как вы думаете?

— Я тебе, Катя, сказал, как думаю.

Катя зарумянилась и тихонько проговорила:

— Не в молодости счастье. Я бы за такого, как вы, пошла. Ничего, что пожилые, а легкие. Весело с вами.

— Спасибо, Катюша, на добром слове. Я в некотором роде женат.

— Да я не к тому, я просто к примеру. Бывают и пожилые, а веселые. А мой-то не так пожилой, как вы, а скучный. В ухе ковыряет. И говорит больно уж нудно. Слушаю его, и все мне кажется, будто это торжественная часть.

— Умница! Не иди за него. Он тебя заговорит до смерти.

Катя покачала ведром.

— Спасибо, товарищ майор. Учту. А теперь бежать надо мне.

Убежала. «Милая эта Катя,— думал Скворцов.— Ну до чего же милая! Любят меня женщины, а за что? Пустой я человек, вот за что они меня любят. Пустой, легкий».

И вдруг он спиной почувствовал, что счастлив. Так и есть: обернувшись, за спиной у него стояла Лида Ромнич в халатике, худая, загорелая, с полотенцем через плечо. Волосы на висках мокрые, а серьезные серые глаза так и ложатся в душу.

— С добрым утром.

— Здравствуйте.

— Я веселый, я счастливый, меня женщины любят,— скороговоркой произнес Скворцов.— Едем? Я за вами. Машина, Тюменцев — все в порядке. В машине три бутылки квасу, у Ноя достал. Предупреждаю: в поле будет жарко.

— Я не боюсь. Сейчас иду, только оденусь.

— Жду. Жду!

Он подошел к окну. Зеленый «газик» стоял на солнце и, наверное, уже накалился. У руля сидел Тюменцев, пушистый, серьезный до невозможности, а на стуле у крыльца раскинулась в утренней истоме Клавдия Васильевна. Вертя ногой в красной босоножке, она беседовала с Тюменцевым.

— Игорек, и до чего же вы серьезные, просто даже странно. В такие годы и такие серьезные. Разве можно?

— Это я от вас уже слышал,— мрачно отвечал Тюменцев.— Нельзя так много говорить и все одно и то же.

Клавдия Васильевна помолчала, встала со стула и, поигрывая бедром, медленно двинулась к машине.

— А что это, Игорек, ваш майор все сюда, к этой Лиде, как ее, похаживает? Может, муж они с женой, а?

— Нет.

— Просто так, характерами сошлись?

Тюменцев молчал. Майора Скворцова он любил слепо, преданно, целиком. Он не должен был позволять... Он мысленно подбирал в уме ответ — уничтожающий.

— Вы... — начал он, но не закончил.

Клавдия Васильевна подошла вплотную к машине и положила на горячий капот свою большую грудь и голые круглые руки.

Тюменцев незаметно нажал кнопку у окна.

— Ой! — вскрикнула Клавдия Васильевна и подскочила.

— Что с вами, Клавдия Васильевна?

— Будто меня в сердце током ударило! Нет, правда!

— А я думал, вас фаланга укусила.

— Ой, не говори! Не люблю фалангов этих, ужас! Вчера одну на пороге видела: белая, страшная, мохнатая, как покойник. Ночью не сплю, все боюсь, что она в постель ко мне заберется! Думаю, заберется, а мне тут же и конец, потому что сердце у меня большое и очень я их ненавижу.

Клавдия Васильевна, говоря, опять стала приближаться к машине... Тюменцев ждал, собранный, как кошка перед прыжком. Она оперлась грудью о капот... Тюменцев нажал кнопку.

— Ой, мои матушки! — взревела Клавдия Васильевна. — Да это машина твоя, Игорь, током шибает! Что ж ты за ней не смотришь?

— Остаточное электричество. Токи Фуко, — важно сказал Тюменцев.

— Да ну тебя к богу с твоими токами.

Клавдия Васильевна обиделась и ушла в дом. В вестибюле она увидела Скворцова.

— Здравствуйте, товарищ майор! Что же не у нас остановились?

— Дали в каменной.

— У нас лучше, — подмигнула Клавдия Васильевна. — Женского полу больше.

— Вашего полу везде хватает.

— Ну, вот я и готова, — сказала, входя, Лида Ромнич.

На голове у нее была белая, по-монашески повязанная косынка, через плечо — офицерская полевая сумка. Сухие коричневые плечи вылезали из-под лямок ситцевого сарафанчика. Он сразу охватил ее взглядом как-то со всех сторон, от ясных серых глаз до острого мысика выгоревших белых волосков, сбегавшего по выпуклым позвонкам с затылка на спину. Одно плечо облупилось, на нем чисто блестела розовая, новорожденная кожа. Скворцов почувствовал, что он не к месту, чрезвычайной, до глупости умилен.

— Что ж вы так, нагишмя, — сказала Клавдия Васильевна. — Сгорите.

— А у меня в сумке кофточка. Накроюсь, если на солнце.

— Нам пора, едем, — сказал Скворцов. — До свидания, Клавдия Васильевна.

— Счастливо вам погулять.

Было еще не очень жарко, но «газик» раскалился порядочно. Черная гранитовая обивка прямо обжигала.

— Игорь, на седьмой объект.

— Слушаю, товарищ майор.

«Газик» заворчал, запыхтел, рыкнул и тронулся. Дорога запылила. Небо уже начинало сиять сплошным серебряным блеском.

— Жарко, — заметил Тюменцев. — К обеду сорок—сорок два набегит как минимум.

— Ты мне зубы-то не заговаривай, — строго сказал Скворцов. — Видел я из окна твои фокусы.

Тюменцев зарозовел, обмахнулся ресницами и спросил:

— Какие фокусы, товарищ майор?

— Не валяй дурака. Кто тебе разрешил пугательное оборудование на казенную машину ставить? Не вижу я, что ли?

Скворцов нажал кнопку. Раздался легкий треск.

— Товарищ майор, так ведь лезут же... Что мне делать? Я вот кнопку поставил...

— В чем дело? — спросила Лида.

— А вот, видите ли, Тюменцев, наш скромный советский Эдисон, кнопку приспособил, чтобы баб отпугивать. Она прислонится, а он нажмет кнопку, и ее током бьет. Подумаешь, Иосиф Прекрасный с электрооборудованием!

— Виноват, товарищ майор.

— То-то, виноват! Устройство демонтировать сегодня же!

— Есть демонтировать!

— А кого же вы так отпугивали? — спросила Лида.

— Говори, говори, признавайся, — сказал Скворцов.

— Вообще у меня это против разных задумано, но конкретно сегодняшней день я его испытывал на хозяйке гостиницы.

Лида засмеялась.

А в это время в вестибюле гостиницы Клавдия Васильевна говорила уборщице Кате:

— Эту, как ее, Ромнич, я насквозь вижу. В тихом омуте черти водятся. Не успела приехать — шуры-муры. Были бы у меня такие скелеты, постыдилась бы я перед мужиками разнагишаться. Вобла — она и есть вобла.

16

«Газик» бежал по дороге, таща за собою небольшое облако пыли. Кругом была степь — и только одна степь, большая, круглая, плоская, жестко замкнутая ровным, как нитка, горизонтом. Когда дорога меняла направление, степь медленно начинала вращаться, но, вращаясь, оставалась неизменной — такое было все одинаковое со всех сторон. Ни холма, ни крыши, ни телеграфного столба. Солнце, поднявшееся над утренней дымкой, уже набирало силу и властно накладывало на землю тяжелые жесткие лучи. В ответ им каждый камень накалялся и тоже начинал излучать. Горячий воздух восходил кверху стекловидными дрожащими столбами. Вдалеке время от времени вставали, завивались и исчезали маленькие смерчи.

«Степь чем далее, тем становилась прекраснее», — думал Скворцов. Эта строка привязалась к нему сегодня и сопровождала каждую мысль. Он смотрел, изумлялся и постигал.

Местами поперек дороги, серые на сером, лежали змеи. Заслышав машину, они неохотно оживлялись и медленно уползали в сторону. Подрагивание сухих травинок еле отмечало их извилистый путь.

— Смотрите, тушканчик, — сказала Лида.

— Да, здесь их много.

Тушканчик сидел у самого края дороги и дрожал усами. Скворцов тысячи раз видел тушканчиков, но никогда их не разглядывал, а этого разглядел и увидел, какое у него умное маленькое лицо, какие большие печальные глаза, какие круглые трепетные уши, какие спичечные, невесомые ножки. С одного взгляда тушканчик обрисовался весь — от головы до кисточки на хвосте. Степь чем далее, тем становилась прекраснее.

— А это далеко — седьмой объект? — спросила Лида, и он увидел ее глаза, большие и печальные, как у тушканчика. Но отвечать надо было по-обычному:

— Нет, теперь уже недалеко, километров пятнадцать. А что? Устали ехать? Жарко? Хотите квасу?

— Пока нет, спасибо.

«Что бы такое для нее сделать?» — думал Скворцов. Его всегда подмывало действовать. Особенно когда он любил — кого-нибудь или что-нибудь.

— Знаете, что меня удивляет? — спросила Лида. — Что нигде никаких ограждений, часовых, документы не спрашивают. Как же это? Ходи кто хочешь?

— Именно, ходи кто хочешь. Желающих нет.

— А если кто-нибудь случайно зайдет и... пострадает?

— Нет. Кому это может прийти в голову: выйти в степь и... пострадать?

— Ну, местному населению.

— Местное население в степь не ходит, — к собственному удивлению, вмешался Тюменцев и покраснел до подворотничка. — Чего ему в степи надо? Змеи, да тушканы, да тарантулы — больше там никого нет.

Жара усиливалась. Воздух, бегущий навстречу машине, уже не охлаждал, а грел. Небо приобретало неприятный, алюминиевый оттенок. Кругом сновали, мелко танцуя, какие-то серые точки. Лида сначала подумала, что это в глазах, но потом поняла, что точки действительно танцуют.

— Что это за точки в воздухе?

— Мошкá, — ответил Скворцов.

— Мошкa?

— Нет, по-здешнему именно мошкá. «Мошкa» — это что-то невинное, безобидное. «Мошкá» — это бедствие. В поселке, слава богу, нынешний год ее еще не было, а когда нападет — беда. Все в сетках ходят. Иногда грудного везут в коляске — и он в сетке.

Он мучительно ясно видел этого толстого младенца в сетке во всем его смешном величии, но не умел о нем рассказать.

— Почему же она нас не трогает?

— Ее на ходу машины ветром сдувает. Остановимся — увидите. Тронет.

— Мошкá — она даже голубей ест, — снова вмешался Тюменцев. — Тут в Лихаревке у одного пацана голубей разведено, красивые такие, белые, сизые, есть и мохнатые. Когда мошкá — у него голуби эти на крыше сарая так и танцуют, ну просто танцуют. Ножки у них, у голубей, нежные, вот они и танцуют.

Тюменцев спохватился, что слишком много сказал, и умолк. А сказал он много потому, что нежно любил голубей, особенно мохнатых. «После действительной разведки голубей», — это у него было запланировано. Краска медленно отливала у Тюменцева от шеи и ушей. Он раскаивался, что много говорил, и решил молчать уже до конца дня.

Машина подскочила на выбоине, и сразу после этого раздался взрыв. Лида не вздрогнула, только шевельнула глазами:

— Что это?

— Квас взорвался, — сказал Тюменцев. Вот тебе и промолчал.

И точно, под ногами растекалась коричневатая пенящаяся жидкость.

Скворцов полез под скамью.

— Так и есть. Одна бутылка готова. Две еще целы. Выпьем, пока не поздно.

Вторая бутылка взорвалась у него в руках.

— На черта нам такая самодеятельность, — сказал он, отряхиваясь.

Третью бутылку распили втроем, попеременно прикладываясь к горлышку. Горячий квас отдавал не то соляжкой, не то паленой резиной.

— Хорошо, но мало, — сказал Скворцов. — Люблю пить.

— А на седьмом объекте можно будет напиться?

— Черта с два. Воду туда возят в обрез — по литру в сутки на брата. Хочешь пей, хочешь мойся. Большинство предпочитает пить.

Дорога повернула направо, и стало видно на горизонте небольшое пятнышко, похожее издали на корабль.

— А это что?

— А это и есть седьмой объект.

— Знаменитая стенка?

— Она, матушка.

По мере того, как они приближались, очертания большого кораблеобразного сооружения обрисовывались яснее. Скоро стало видно, что это не корабль, а действительно высокая, изогнутая полукругом стена. Она мрачно выделялась в голой степи, грубо сваренная из тусклых, слегка обожженных броневых листов, опертых на циклопические обветренные бревна. На верху стены сидел маленький степной орел. Когда «газик» приблизился, орел развернул крылья и неторопливо полетел в степь. Еще поближе — и стало заметно, что вся стена усеяна небольшими пробоинами, сквозь которые беловатыми глазками посверкивало небо.

В последнюю очередь они увидели стальной цилиндр, подвешенный на тросах в центре подрывной площадки. Не очень большой, но значительный, он мягко поблескивал на солнце синеватым округлым боком. Сразу было видно, что он здесь главный.

— Узнаете свое изделие? — спросил Скворцов.

Лида побледнела под загаром и медленно ответила:

— Узнаю.

— Да вы не волнуйтесь, все будет хорошо.

Не успели они выйти из машины, как на них набросилась мошкa и обсела потные лица. Из деревянной будки вышел коротконогий человек в синем комбинезоне. Лицо его было закрыто черной сеткой. Грудастый, он напоминал женщину в парандже.

— Здравия желаю, товарищ майор, — тонким, осипшим голосом сказал человек в парандже.

— Здравствуйте, — ответил Скворцов, подавая ему руку. — Я вам привез конструктора этой вот игрушки. Знакомьтесь.

— Ромнич, — сказала Лида и закашлялась. Мошкa лезла в рот, в ноздри.

— Капитан Постников, — сказал человек в парандже, не подавая руки. — Сеткой надо одеваться, — прибавил он фистулой.

— Я как раз захватил пару сеток, — сказал Скворцов и вынул из кармана две черные нитяные сетки, похожие на авоськи, но с кисточками по краю. Одну он накинул на голову Лиде, другую себе. Мошкa затаптывала вокруг сеток, искусно маневрируя возле ячеек, но не залетая внутрь.

Сетка странно изменила лицо Лиды Ромнич.

— А знаете, вам идет. Все-таки когда женщины носили вуали, в этом что-то было.

— Вам тоже идет.

Капитан Постников глядел на них с откровенным презрением: тоже, мол, нашли разговор.

— Что у вас тут произошло? — спросил его Скворцов.

— Два подрыва вчера дали. Распределение осколков не соответствует тактико-техническому заданию. Будем браковать изделие.

— Это мы еще посмотрим. К подрыву готовы?

— Так точно. Только переходников нет. Я машину за ними послал, да она чего-то задерживается. Наверно, воду берет. Все-таки жара. Метео сорок три обещало.

Капитан говорил тяжело, трудно, с перерывами, как будто он уже

замолчал, а потом молчать раздумал. Было видно, что ему все осточертело: жара, степь, вся эта канитель с изделием.

— Сколько же придется ждать?

— А кто ее знает? Вы тут, в тенечке, обождите.

Скворцов и Лида отошли в короткую тень будки. От железной крыши так и дышало жаром. Постников пошел на площадку.

— Придется ждать,— сказал Скворцов.— Вот лопухи, забыли переходники доставить.

— А знаете, я люблю ждать.

— Странный вкус. Я как раз терпеть не могу ждать.

— Нет, я люблю. Не везде, конечно, а на полигоне. На полигоне полагается ждать. Это словно часть полигонной службы, вроде ритуала...

— Видно, вы прирожденный полигонный работник. Любите свою работу?

— Очень,— сказала Лида.— Знаете, когда я думаю о своей работе, даже мурашки по спине.

Она повела плечами, морща спину между лопаток.

— Вот это любовь. А по дому не скучаете?

— Нет. То есть, да. Сына хочется на руки взять. Сын у меня, Вовка. Два ему. Хороший мальчик. Кудрявый... А у вас, кажется, тоже сын?

— Вася.

— Сколько ему?

— Полтора.

— А какой он у вас? Расскажите. Я люблю про детей.

— Ну какой? Толстый, белый, увалень, глупый. Глупый, а друг он мне большой, больше всех.

Подошел капитан Постников:

— Машина пришла, товарищ майор. Разрешите готовить подрыв?

— Пожалуйста.

— Попрошу пройти в блиндаж,— просипел Постников, упорно не глядя на Лиду Ромнич.— Покидать блиндаж в ходе подрыва не разрешается.

— Я знаю,— сказала Лида.

— Идите вперед, Лидия Кондратьевна, я вас догоню. Видите блиндаж? Вон там.

Она пошла по тропинке к блиндажу, полевая сумка болталась у ее бедра. Скворцов смотрел вслед, умиляясь ее цапельной долговязости. Этакie бамбуковые ноги, словно бы даже пустые внутри.

Постников кашлянул.

— Дай закурить, капитан,— сказал Скворцов.

— «Беломор» употребляете?

— Очень даже употребляю.

Они откинули сетки и закурили.

— Что же ты, капитан, с нашей дамой так строго, а?

— Не люблю бабья на полигоне. Приедет такая фуфлыга: ах да ох, уши затыкает. И всегда при ней что-нибудь не так. То пиропатрон не сработает, то контакта нет. Я тысячу раз замечал.

— Напрасно. Ромнич не такая. Она уши не затыкает. Она сама — конструктор, полигонный работник. Даже ждать на полигоне — и то любит.

Постников подумал и сказал:

— От женщины, которая таким делом занимается, может вытошнить.

— Ну, зачем уж так. Хорошую женщину никакое дело не испортит. Я даже одну знал женщину — борца. И ничего, славная была женщина.

— Пускай она лучше обо мне заботится,— горячо сказал Постни-

ков, сразу потеряв медлительность.— Моя вон тоже пошла в школу преподавать, а хозяйством ей некогда заниматься. Щи оставит — когда разогрею, а когда холодные кушаю, без аппетита.

— Подумаешь, дело — разогреть! Были бы щи.

Это Постникову не понравилось. Он опять замедлился и сказал:

— Согласно инструкции идите в блиндаж, товарищ майор.

Скворцов спустился в блиндаж. Под землей было, как под водой — полутемно и прохладно. Всей кожей ощущая прекрасную эту прохладу, он полуошущью пробрался к стенке. В глазах плавали радужные круги. Пахло грибами. Когда круги исчезли, он увидел у самого своего лица свисшую с потолка гроздь тоненьких, полупрозрачных поганок. Они росли из щели между бревнами наката и, казалось, должны были висеть вниз головой, но нет: каждая поганка грациозно изгибала тоненькую свою ножку и подымала вверх серую колокольчатую шляпку.

— Смотрите, какие поганочки,— сказала Лида.

— Вижу.

Ему захотелось еще от себя прибавить что-то глупое, вроде «всюду жизнь», но он удержался.

Зазвонил полевой телефон. Скворцов взял трубку.

— Товарищ майор, к подрыву готов,— доложил торжественный голос, совсем непохожий на голос Постникова. Все-таки подрыв — всегда событие.

— Отлично. Давайте.

Раздался сигнал тревоги — несколько колокольных ударов по рельсу,— и снаружи в блиндаж начали просовываться ноги в кирзовых сапогах. Солдаты стали на земляной лестнице, упираясь пилотками в перекрытие. Наступила тишина — особая тишина перед взрывом.

Скворцов с Лидой стояли у смотрового окошка, глядя сквозь расстрексавшееся бронестекло. Стена в отдалении рисовалась темным массивом. Вдруг на ее фоне сверкнул огонь, взметнулась кверху черная земля, и тут же пришел удар. Блиндаж колебнулся, с потолка посыпалась земля, гроздь поганок дрогнула и уронила один колокольчик. Сквозь окошко было видно, как поднятая взрывом земля медленно распускалась большим черным георгином и медленно опадала.

— Все,— сказал Скворцов.— Можно выходить.

Кирзовые сапоги двинулись вверх по лестнице и исчезли в сияющем голубом проеме.

После подземной прохлады зной наверху был ошеломляющим. Казалось, видно было, как скручиваются и вконец погибают сушеные-пересушенные, но еще не до конца сожженные травки.

У полуциркульной стены облаком стояла еще не осевшая пыль. Там, где только что поблескивал стальной цилиндр, ничего не было — ни треноги, ни троса, только горячая яма в пыльной земле. По всей поверхности броневой стены проворно расползлись солдаты в выбеленных солнцем гимнастерках, с зелеными сетками на головах — зеленоголовые муравьи. Цепляясь за веревки, переползая от опоры к опоре, они снимали координаты пробоя и метили их черной краской, передавая друг другу ведро и кисть. Постников мешковато суетился внизу, сипел на крик, командовал и наносил отметки на большой лист бумаги. Лист топорщился коробом у него в руках.

— Придется подождать, пока обмерят. Впрочем, вы любите ждать. Давайте опять в этот самый тенечек.

Короткая тень от будки стала, если возможно, еще короче.

— Присядьте,— предложил Скворцов и растелил на горячей земле газету. Края газеты немедленно загнулись кверху, как будто ее поло-

жили на плиту. Они сели — головы в тени, ноги на солнце. Лида о чем-то размышляла, теребя кисточки на краю своей сетки.

— А знаете, Павел Сергеевич, я почти уверена, что осколки рикошетируют от грунта.

— Не может быть. Есть противорикошетные валы...

— И все-таки рикошеты не исключены.

Она вынула из полевой сумки блокнот и карандаш:

— Погодите, я сейчас прикину.

Она написала несколько строк, прикусила карандаш, задумалась...

— Я могу вам помочь?

— Помолчите, а то собьюсь,— резковато сказала Лида.

Скворцов замолчал и стал смотреть на ее ногу. Тонкая, до блеска отполированная солнцем, даже чуть кривоватая от худобы, чем-то похожая на саблю нога. Он смотрел и думал: «Люблю твою ногу. Люблю твою пыльную, исцарапанную ногу. Люблю все в тебе — красивое и некрасивое, хорошее и плохое, мягкое и резкое. Ничто не имеет отношения ни к чему».

— Ну, так и есть,— сказала Лида.— Все, как я предполагала.

— Рикошеты?

— Конечно. При этом профиле противорикошетных устройств должно наблюдаться восемь — десять процентов лишних пробойн во втором поясе. Смотрите.

— Это что, формула Сабанеева? — спросил Скворцов. Он не очень-то был силен в теории, но некоторые фамилии помнил и при случае мог блеснуть.

— Нет, не Сабанеева.

— Ваша?

— Право, не знаю. Эта формула всегда была.

— Как всегда?

— Это у нас так говорят. Когда стали очень уж приставать с приоритетом...

— Понимаю.

На дорожке появился Постников с бумажным листом. Скворцов и Лида встали:

— Ну как?

— Та же петрушка,— просипел Постников.— Ясно, в конструкции ошибка.

— Это рикошеты,— сказала Лида. Постников глядел сквозь нее.

— Сколько лишних? — спросил Скворцов.

— Девять процентов во втором поясе.

Лида вся вспыхнула, глаза и все:

— Слышали, Павел Сергеевич? Так и по расчету получается: от восьми до десяти процентов! Значит, я права!

«Как идет счастье человеку,— думал Скворцов.— Как она сейчас хороша». Для Постникова она по-прежнему не существовала.

— А и в самом деле похоже на рикошеты,— сказал Скворцов. Постников был непробиваем:

— Валы откапывали согласно инструкции.

— Это сабанеевская инструкция,— светясь, возразила Лида.— Так она же для наших мест, для тяжелого, влажного грунта, а здесь у вас грунт мягкий, пылевой, совсем другая консистенция! Объясните ему, Павел Сергеевич, он меня не слушает.

— Слушай конструктора, капитан.

Постников неохотно оборотился. Лида горячо стала объяснять ему схему рикошета, тыча карандашом в блокнот. Скворцов не слушал, что

она говорит, он просто следил, как менялось у Постникова выражение лица, переходя от презрительного к почтительному.

— Секешь, капитан? — спросил Скворцов.

— Секу.

— А валы придется перекопать, — заключила Лида. — Сделаете новые, по такому вот профилю. — Она вырвала листок из блокнота.

— Есть перекопать, товарищ конструктор.

Скворцов и Лида уходили к своей машине, а Постников смотрел им вслед. Они уезжали, а он оставался. Потом они улетят в Москву, всякие там свои диссертации писать, а он опять же останется. В степи, в жаре, в мошкё. Жара не жара — вкальвай. И всегда так. Приедут, поглядят, покритикуют — и снова к себе, на север. Дождь у них идет. Мостовые блестят, девушки в разноцветных плащах, как розы. Москвичи, сукины дети. Впрочем, она ничего баба. Раздражал его, собственно, Скворцов — болтун, пустопляс. Смеется, зуб стальной. И чего она в нем нашла?

Машина была горячая, как сковорода.

— Игорь, домой.

Тюменцев включил двигатель. «Газик» затрясся.

— Между прочим, Игорь, — заметил Скворцов, — вот что мне в голову пришло, пока я там сидел: почему ты не взял высокое напряжение прямо с трамблера на корпус?

— Такой вариант я рассматривал, он для меня не годится. Этот вариант работает только при включенном моторе. Я тогда на случай не должен мотор выключать. А за пережог горючего тоже не похвалят.

— Эх, — вздохнул Скворцов, — если бы меня так девушки любили, я бы их пугать не стал. Идите ко мне, милые, сказал бы я на твоём месте.

Тюменцев нажал стартер. «ГАЗ-69» забормотал и тронулся в путь. Дорога уходила в степь. Скворцов сказал наконец вслух то, что думал про себя целый день:

— Степь чем далее, тем становилась прекраснее.

17

Еще один день прошел, жаркий и необычайно тяжелый. К вечеру легче не стало. В небе, затянутом плотной дымкой, медленно опускалось тусклое красное солнце с резко обведенным круглым контуром. Воздух не шевелился, скованный неопределенным ожиданием.

В каменной гостинице, раздевшись до трусов, лежали на кроватях Чехардин, Скворцов и Манин. Вернувшись с поля, они не пошли даже купаться, а сразу же легли. В номере было сверхъестественно душно. Накалившиеся за день стены немилосердно излучали жар. Чехардин и Скворцов курили, дым неподвижно висел над каждой кроватью, не смешиваясь с окружающим воздухом. Манин был некурящий и обычно любил пострадать своих сожителей раком, и не каким-нибудь, а нижней губы. Но сегодня он так истомился, что даже о раке забыл.

— Хочу холодного пива, — сказал Чехардин, — чтобы в большой тяжелой кружке, чтобы вся запотела и капельки на боках... Вульгарная московская кружка пива.

— Разговор о пиве в настоящих условиях приравнивается к идеологической диверсии, — отвечал Скворцов.

— А и в самом деле, — невинно сказал Манин, — почему это здешняя торговая сеть не продает прохладительных напитков?

Скворцов засмеялся:

— Эх, Ваня-Маня, святая простота.

— А я и правда не вижу причин.

— Их более чем достаточно,— сказал Чехардин.— Организовать продажу прохладительных напитков в здешних условиях — дело нелегкое. Нужна тара, бочки, емкости, лед, пятое-десятое, вода наконец. А чего ради они будут стараться? Какие рычаги приведут в действие всю эту махину?

— Забота о живом человеке,— ответил Манин и сам застеснялся.

— Вот-вот,— усмехнулся Чехардин.— Очень типично. На словах — марксист, а чуть до дела дойдет — типичный идеалист. Сознание первично, материя вторична, так, что ли?

— Я этого не говорил.

— Простите, я только довел вашу мысль до логического завершения. Забота о живом человеке! Вещь, конечно, полезная, но утверждать, что таким рычагом вы сдвинете проблему снабжения,— значит, быть идеалистом. Помимо заботы о живом человеке нужны другие, экономические рычаги. Нужно поставить торговую сеть в такие условия, чтобы ей было не только душевспасительно, но и выгодно заботиться о живом человеке. Как говорил один мой приятель: «У всякого есть совесть, но надо создать такие условия, чтобы хочешь не хочешь, а она проявлялась».

— Это не наша, это капиталистическая мораль,— искренне страдая, сказал Манин.

— Так я и знал, что вы пустите в ход какой-нибудь жупел. Известный прием: подобрать подходящее к случаю бранное слово — и спор кончен. Нет, вы попробуйте подумать, ей-богу, неплохо иногда подумать!

— Я и думаю, но не вразрез с основными принципами. А вы... ошибаетесь.

— Вполне возможно. Думающий человек не застрахован от ошибок. Это знает каждый, кто когда-нибудь пробовал думать сам.

— Я с вами согласен,— сказал Скворцов.— Рычаги нужны. Помните, я вам рассказывал про ту бабищу из «Лихрайпотребсоюза»? Ее бы каким-нибудь рычагом... Сидит, как царица, и на лице — глубочайшее презрение ко мне, живому человеку...

— Естественное презрение владельца к неимущему.

— Чем же она владеет?

— Как чем? Информацией! Пока существуют дефицитные товары, существуют и владельцы информации. Информации о том, где, какой и в каком количестве появится товар. Эту информацию можно продать, купить, обменять (ты — мне, я — тебе). А власть! Возьмите хотя бы Ноя! Завези в Лихаревку вдоволь спиртных напитков — и лопнет ваш Ной, как мыльный пузырь.

— А я люблю Ноя,— вступился Скворцов.— Что-то есть в нем широкое. Этакая бескорыстная, я бы сказал, любовь к материальным благам. Он ведь не для себя — ему угощать надо.

— Дефицит,— сказал Манин,— явление временное. Конечно, есть еще некоторые трудности, но это болезни роста. Когда мы добьемся подлинного изобилия, небывало высокого уровня производства на душу населения, дефицита не будет.

Чехардин выслушал и сказал задумчиво:

— У буддийских народов есть весьма остроумное устройство — молитвенное колесо. Когда верующему приходит в голову помолиться, ему даже не надо произносить слов, достаточно повернуть колесо.

— А что, я что-нибудь не то сказал? — обеспокоился Манин.

— Наоборот, даже слишком то. То, да не то. Наш дефицит в большинстве случаев обусловлен не бедностью. Мы достаточно богаты для того, чтобы выбрасывать на ветер, уничтожать, гнить огромные материальные ценности. Представьте себе все это в масштабе страны! Несобранные урожаи; зараженные сорняками, гибнущие поля; в огромных количествах производимый никому не нужный ширпотреб... Это все — чистые издержки. А ведь общие принципы разумного управления известны. Экономическая система, как и техническая, должна основываться на принципе обратной связи. В технике мы признаем обратную связь, а в экономике упорно ее отрицаем!

Манин покраснел чуть не до слез и сказал дрожащим голосом:

— Ну уж это... Это я не знаю что... Это какая-то кибернетика.

— Еще один жупел. Сейчас вы обзовете меня апологетом буржуазной лженауки. Слово-то какое: «апологет»...

— А есть еще хуже: «молодчик»,— сказал Скворцов.

— Одно другого стоит.

На этом месте разговор прервался, потому что вошел Теткин, очень веселый, и заорал:

— Ужинать, братцы! Скорей в портки и ужинать! Я по такой жаре ненормально жрать хочу!

Он схватил со стола графин с водой, желтой, как чай, и горячей, почти как чай, хлебнул из горлышка, сморщился, сплюнул, уронил пепельницу, захохотал и удалился, хлопнув дверью так, что посыпалась штукатурка.

— Это он всегда такой жизнерадостный? — осведомился Чехардин.

— Всегда,— ответил Скворцов, натягивая брюки.— Вчера утром он потерял шляпу и по этому поводу хохотал до обеда. Потом нашел шляпу и хохотал уже до вечера.

Манин оделся раньше других и вышел.

— Напрасно вы при нем...— сказал Скворцов.

— А что? Разве он...

— Нет. Просто пай-мальчик, потому и может продать. И не погоньку, а в открытую. Выступит на собрании и начнет в порядке самокритики со слезами на глазах поносить себя самого за то, что вас слушал...

— А ну его к черту, пусть поносит,— рассердился Чехардин.— Чего в самом деле бояться? Двум смертям не бывать...

— Это верно. Только боимся-то мы не смерти, а чего-то похуже.

— Страшна не смерть, а унижение.

— Страшна не смерть, а когда люди от тебя отвернутся.

— Кому что. Между прочим, Скворцов, вы, кажется, думающий человек...

— Не очень.

— Все равно. Так вот, не скажете ли вы мне: чем мы, собственно говоря, живы?

— Странный вопрос. Мы с вами или вообще?

— Мы с вами.

— Ну, работой. Скорее всего работой.

Чехардин усмехнулся:

— Я так и знал, что именно это скажете.

— А вы что скажете?

— Я с вами вполне согласен. Ну, хватит философии — в самом деле пора ужинать.

Внизу у подъезда стояли Теткин и Манин. Теткин кокетливо обма-

хивался найденной шляпой. Сплющенное, раздутое в боках огромное солнце сидело уже на самом горизонте. Духота становилась зловещей.

— А может, не пойдём? — сказал Чехардин, светлыми своими, розовыми сейчас глазами глядя на солнце. — И есть-то не хочется. Ну его к черту, этот ужин.

— Не демобилизовывайте масс! — крикнул Теткин. — Пойдем стройными рядами на трехразовое питание.

Его поддержал Скворцов:

— Придется пойти, в порядке дисциплины.

Пошли. Теткин воинственно шагал впереди. В свете заката его лысина блестела, как помидор.

— Товарищи, вы видите перед собой победителя, — сказал Скворцов. — Не далее как вчера наш доблестный Теткин ходил в пойму с прекрасной незнакомкой, имя которой начинается с буквы «Э».

— Откуда ты знаешь?

— Ха! Вы имете дело со Скворцовым. Моя агентура не дремлет. Я знаю не только о самом факте прогулки, но и о той роковой роли, которую сыграли в ней комары...

— Замолчи ты, пошляк.

— Если бы не комары, — невозмутимо продолжал Скворцов, — напавшие на него и его даму в наиболее ответственный момент, наш Теткин, как честный человек, должен был бы жениться...

Он старался говорить как всегда, но что-то не говорилось ему сегодня, не острилось. Должно быть, духота.

Из столовой пахло застарелым борщом. У входа стояли и бранились толстый повар в колпаке и заведующая товарищ Щукина.

— Бандит ты, а не баба, — говорил повар.

— А я тебя проработаю, — отвечала Щукина.

В офицерском зале никого не было. Пришедшие сели за столик, горячие руки сразу прилипли к клеенке. Скворцов с ужасом обнаружил, что ему не хочется есть — небывалый случай! Это уже последнее дело. Но тут он услышал женский голос, негромкий, с легким переломом на каждом слове, — и понял, что пришла Лида Ромнич. Он не ждал ее сегодня — их группа работала на дальних площадках, у сухого озера. Лида вошла, поздоровалась, и он сразу же полез на седьмое небо, даже есть захотелось. Она села за стол, переставила солонку с места на место, налила себе воды. Все, что она делала, казалось ему необычайно значительным, он следил за ней со вниманием и восторгом, доходящими в своей совокупности даже до какой-то досады. Что-то от него требовалось, но он не знал что. «Ну, посмотри на меня, ну, улыбнись же, ну же», — думал он. Она посмотрела и улыбнулась. Он понес какую-то несусветную чушь, только чтобы она засмеялась. Она засмеялась, но от него все еще что-то требовалось.

Вошел повар, утираясь колпаком:

— Ужинать будем?

— Очень даже будем, — ответил Скворцов.

— Сознательные офицеры в такую погоду не ужинают. Вредно. Мы и то не готовили. Один лапшевник, с обеда не покушали.

— Ну, давайте лапшевник. Пф, духота.

— Не иначе как тридчаточка идет, — сказал повар.

— Что за тридчаточка? — спросил Чехардин.

— Сухойей, — пояснил Скворцов.

— Молчи, — перебил его повар. — Никакой не сухойей. Это в России сухойей, а здесь тридчаточка.

— А почему так называется? — спросила Лида.

— Примета такая. Дует он и дует, и три дня, и три ночи, а как подует три дня и три ночи, то будет надвое: или перестанет, или будет дуть еще месяц, а в месяце тридцать дней, вот и называют тридцаточка. Очень от нее люди томятся. Вредная очень. А вы ужинать выдумали.

— Ничего не поделаешь,— сказал Скворцов.— Мужчина должен быть свиреп.

Подали лапшевник — он был несъедобен: остывший, склеившийся монолит. Ели только Теткин и Скворцов, Теткин даже две порции. После ужина вышли на улицу — там было не свежее, чем в офицерском зале. По горизонту, вспыхивая и переползая с места на место, бродили огни. Это горела степь. Она горела уже несколько дней: где-то на стрельбах подожгли траву, и теперь пожары кочевали по всей округе, их никто не тушил — горела ведь только трава, это никого не беспокоило, кроме змей и тушканчиков.

— Слышите, пахнет дымом? — спросил Теткин.

Пахло не дымом, а чем-то гораздо похуже. Вскоре они вступили в зону нестерпимого зловония: оказалось, что посреди площади лежитдохлая собака.

— Какое амбре! — восхитился Скворцов.

— Эту собачку еще третьего дня машиной задавило,— радостно сообщил Теткин.

Лида Ромнич вдруг рассердилась, даже ноздри задрожали:

— Что за безобразия! Здесь же люди живут! Почему не уберут собаку?

Теткин захохотал:

— Наша общественница развевалась. У нее это бывает.

— Можете жаловаться,— в нос протянул Чехардин.

— И пожалуюсь.

— Генералу Гиндину,— подсказал Скворцов.— Ему как раз сегодня нечего делать.

— Именно, генералу Гиндину! — закинулась Лида.

— Когда же вы к нему пойдете?

— Сейчас.

— А не поздно? — усомнился Манин.

— Что ты, поздно! — ответил Теткин.— У него, как в министерстве, до поздней ночи работают.

— Пойти мне с вами? — спросил Скворцов.

— Нет, я одна,— сердито ответила Лида.

В кабинете генерала Гиндина горела лампа с зеленым абажуром, резко выделившая на столе освещенный круг. Углы комнаты тонули в подводной тени. Со стены пристально глядел большой Сталин с тяжелыми усами, в тяжелой раме, критически поджав полумесяцами нижние веки. Генерал в расстегнутом кителе на голое тело сидел за столом и работал. Тикали часы, вентилятор шевелил листки настольного календаря, и жирные черные цифры все время сменяли друг друга, вызывая ощущение неустойчивости времени. Часы тоже тикали неравномерно: то торопились ужасно, то вдруг замедляли ход и становились почти неслышными.

Гиндину было нехорошо. Он уже принял нитроглицерин, но стеснение в груди не проходило, и железная скованность в левом плече — тоже. Он с жалостью посмотрел на свою жирную седую грудь, заметно вздрагивавшую от толчков сердца, но тут же осадил себя: «Спокойно, Семен, все будет хорошо. Только не распускаться». Пожалуй, разумнее всего

было бы пойти домой и лечь, но дома у него, собственно, не было, а мысль о своем номере с люстрой и картиной «Три богатыря» была ему противна. Он продолжал работать, просматривая документы и останавливаясь на местах, отчеркнутых по полю синим карандашом. Эти привычные «боковички» сегодня тоже казались неприятными, чуть ли не страшными. Он обрадовался, когда вошел ординарец.

— Товарищ генерал, к вам какая-то гражданка добивается.

— Пусть войдет.

Гиндин встал и застегнул китель.

Вошла Лида Ромнич. Генерал удивился:

— Вы? Как приятно! Чем обязан?

Лида прямо взглянула ему в глаза и сказала:

— На площади лежит собака.

— Что это, стихи? — спросил Гиндин.

— Нет. На площади действительно лежит мертвая собака и... пахнет. Лежит уже третий день, и никто ее не убирает. Я решила обратиться прямо к вам.

— И правильно сделали. Садитесь, пожалуйста. Подождите минуточку, сейчас я приму меры.

Лида опустила в глубокое кожаное кресло, мгновенной прохладой коснувшееся ее локтей. Генерал сел за стол и позвонил. Появился ординарец. Гиндин повертел в руках карандаш и спросил:

— А где у нас может быть сейчас начальник КЭЧ?

— Майор только что прошел к себе, товарищ генерал.

— А ну-ка, пригласи его сюда.

— Слушаюсь, товарищ генерал.

Ординарец вышел. Гиндин любезно, наклонив голову, глядел на свою посетительницу.

— Вы не поверите, как я счастлив, что вы зашли ко мне.

— Я зашла... из-за собаки.

— Тогда я счастлив, что умерла эта собака. Иначе я не имел бы удовольствия видеть вас у себя... Но раз уж вы пришли, давайте побеседуем. Может быть, вы в чем-нибудь испытываете нужду? Питание? Помещение? Говорите, я к вашим услугам.

— Нет, спасибо, мне ничего не надо.

— Может быть, хотите переехать в «люкс»? Отдельный номер с видом на пойму. А?

— Нет, спасибо.

— Скажите, а какое вино вы любите?

— Плодоягодное.

— Не шутите, я говорю серьезно.

— В такую погоду — никакое.

— А в прохладную погоду?

— Право, не помню. Это было давно.

— А вы все-таки вспомните.

— Какой вы смешной! Ну, цимлянское.

— Завтра же pošлю самолет за цимлянским.

— Ради бога, не надо.

— Там, в Москве, была одна женщина, — задумчиво сказал генерал, — я ее любил, а она меня нет, вы представьте себе, она меня не любила. Однажды она обмолвилась — просто так, в разговоре, — что обожает розы. Я послал в Крым один из своих самолетов... На следующий день у ее ног были две корзины роз... И знаете, это был единственный случай, когда я увидел в ее глазах искру нежности... Отчего вы улыбаетесь?

— Слишком много.

- Чего?
- Ног и корзин.
- О, да вы умница. С вами на стандарте не проедешь. Виноват — привычка.
- А где она сейчас, эта женщина?
- В Москве. Мы с нею уже давно не встречались. В прошлом году она вышла на пенсию... Понимаете? Моя любовь — пенсионерка... Это смешно?
- В дверь постучали.
- Войдите! — крикнул Гиндин. Вошел офицер с испуганными глазами.
- Товарищ генерал, майор Пряхин по вашему приказанию явился.
- Являются привидения, товарищ майор.
- Виноват. Товарищ генерал, майор Пряхин по вашему приказанию прибыл.
- Так-то лучше. Я хочу познакомить вас с представителем Москвы. Майор Пряхин, начальник КЭЧ. Лидия... Кондратьевна, если не ошибаюсь?
- Лидия кивнула.
- Здравия желаю, — растерянно сказал Пряхин.
- А ну-ка, доложите, товарищ майор, обстановку в гарнизоне по вашему ведомству.
- Все в порядке, товарищ генерал, — настороженно ответил Пряхин.
- А вот представитель Москвы придерживается другого мнения. Пряхин покосился на Лиду Ромнич и промолчал.
- Известно ли вам, товарищ Пряхин, — продолжал генерал, — что на главной площади нашего населенного пункта третий день лежит дохлая собака?
- Лежит, товарищ генерал.
- Так вот, завтра в этом гарнизоне останется кто-нибудь один из вас: вы или эта собака.
- Понял, товарищ генерал. Разрешите исполнять?
- Действуйте, Пряхин.
- Начальник КЭЧ вышел. Лидия поднялась со своего кресла и стала прощаться. Генерал Гиндин удержал ее за руку:
- О, подождите совсем немного, побудьте здесь, я так рад, что вы пришли... Неужели нельзя подарить старому человеку немного радости? Ваше присутствие — как свежий утренний ветер... Впрочем, кажется, это опять «ноги и корзины»...
- Меня ждут, — сказала Лидия, потихоньку вытягивая руку из большой руки генерала.
- Вас ждут, — повторил Гиндин. — Вас ждут такие же, как вы, молодые, сильные, не боящиеся жары... Какое вам дело до старика с его двумя инфарктами? Слава богу, он еще годен, чтобы убрать с площади собаку...
- Генерал улыбался, но глаза были грустные, большие.
- Вам плохо? — спросила Лидия. — Может быть, вызвать врача?
- Нет, я пошутил. Идите к ним, к молодым, идите, прелестная женщина. Идите же...
- Спасибо. Будьте здоровы.
- Не за что. Это вам спасибо. И помните, что бы вам ни понадобилось, какая бы собака ни легла на вашем пути — обращайтесь прямо ко мне.
- Лидия вышла на крыльцо. Ожидающие зашевелились.
- Что-то слишком долго, — засмеялся Теткин. — Впрочем, старик...
- Теткин, не говорите пшшлостей.

- ...На площади какие-то люди уже грузили на тачку собачий труп.
— Вот оперативность! — восхитился Манин.
— Ты еще не знаешь Гиндина! — хвастливо сказал Скворцов.
— И все-таки Гиндин тоже не тот рычаг, — как бы про себя заметил

Чехардин.

У каменной гостиницы стали прощаться.

— Можно, я вас провожу? — спросил Скворцов. Лида как будто была недовольна, и это его мучило.

— Я же не одна, я с Теткиным.

— А я вам, братцы, мешать не буду, — заявил Теткин. — Тем более у меня свидание назначено, я и забыл.

— С Эльвирой?

— Ага. На восемь часов.

— А сейчас уже девять. Кто же так поступает с дамой?

— Ничего, подождет. Не маленькая.

Теткин побежал вперед, а Скворцов с Лидой медленно пошли по улице, обсаженной тощими деревцами. Скворцов рассказывал:

— С тех пор, как посажены эти деревья, здесь сильно упала воспитательная работа. Посудите сами. Раньше деревьев не было, но под них были выкопаны ямы, довольно глубокие. Весной и осенью в них набирается вода. Теперь представьте себе — возвращается человек ночью в состоянии алкогольного опьянения, попадает в яму, а выбраться уже не может. Так и сидит до утра в воде — перевоспитывается...

Лида слушала довольно рассеянно. Она думала про генерала Гиндина. «Какая бы собака ни легла на вашем пути...» Собаки уже нет. А генерал болен, серьезно болен, надо было позвать врача...

Вдруг в мертвой тишине зашевелились, забормотали листья и ударом налетел ветер, горячий, как из духовки. Лида ухватилась за юбку, зажала ее коленями. Волосы у нее взвились и встали дыбом.

— Что это? — задохнулась она.

— Тридцаточка. Повар как в воду глядел.

Горячий ветер дул стремительно, с неистовой силой. Слышалось какое-то потрескивание: это сворачивались от жара опаленные ветром листья. Загрохотал и побежал по асфальту сорванный с крыши лист железа.

— Что ж, идемте, не стоять же здесь до утра, — сказала Лида.

Идти было трудно. Ветер гнал, тащил, выталкивал. Сохли и трескались губы. По земле с шорохом бежали сухие листья, сломанные ветки. Неподалеку сорвало с места двухстворчатую будку и прибило к забору.

— Держитесь за меня, — предложил Скворцов. — Хотите, я вас понесу?

— Нет, не хочу.

Рядом с деревянной гостиницей лежал с корнем вывороченный столб с оборванными проводами.

— Вот вы и дома. Значит, завтра в восемь ноль-ноль я за вами заеду. Испытывать будем сиверсовские игрушки. Предупреждаю, в поле будет тяжело, если ветер останется на том же уровне.

— А при таком ветре испытания не отменяются?

— Здесь они не отменяются ни при какой погоде. Может быть, посидите дома? Это же не ваши изделия.

— Нет, поеду.

— Смотрите. Итак, до завтра.

— До завтра.

Он держал ее за руку. Между ними свистал горячий ветер.

— До завтра.

— До завтра.

Она вошла в свой номер — там было темно, — шелкнула выключателем, свет не зажегся. Лора заворочалась на кровати, вздохнула и стала пить воду громкими глотками. Томка подняла лохматую голову:

— Поздно, Лидочка, поздно. Опять с майором загулялась?

Лида не отвечала.

— Ну как, объяснился?

— Вечно глупости. Слушать тошно.

Над крышей свистело. Дом покряхтывал под гнетом ветра. Лида молча разделась и легла. Простыня была тяжелая, она отбросила ее и лежала, прислушиваясь к торопливому стуку сердца. Какая-то тревога была во всем, и ей казалось, что майор Скворцов все еще держит ее за руку. Она подула на пальцы, но ощущение не проходило. «До завтра, — повторила она, — до завтра». А что такое «завтра»? Бред.

— Ой, девочки, — жалобно сказала Томка, — я больше совсем не могу этот климат переносить, бог с ними, с командировочными, жили без телевизора и еще поживем. Правда?

— И я хочу домой, — ответила Лора. — Так мне здесь все надоело, глаза бы не смотрели... По ребятам соскучилась. Бабушка у нас не так, чтобы очень любящая. Тем более Теткин... Пока я надеялась на личную жизнь...

Лора заплакала.

— Не психуй, — прикрикнула Томка, — и так жара, а тут еще твои переживания, совсем сбесишься.

— Тридцаточка, — сказала Лида.

В комнату кто-то вошел. Томка взвизгнула:

— Ай, девчата, кто-то сюда прется!

— Не пугайтесь, девушки, это я, — сказал вошедший голосом Теткина.

— Батюшки, а я без ничего, — закричала Томка.

— А я на вас и не смотрю. Чего я тут не видал?

— Что вам нужно? — строго спросила Лида, натягивая простыню.

— Пожрать, пожрать, — забормотал Теткин и открыл шкаф. — Я помню, здесь у вас что-то было. Не могу жару переносить — просто до ужаса аппетит развивается.

— Теткин, — сказала Лида, — берите на верхней полке хлеб, огурцы и убирайтесь.

— А соль?

— Обойдетесь без соли.

Теткин повздыхал, поскребся, взял что-то из шкафа и ушел.

— А я-то, дура, вся обмерла, как он вошел, — сказала Лора.

Ночью генерала Сиверса разбудил женский плач. Плакали внизу; это походило на ссору, на разрыв. Женщина негодовала, попрекала, жаловалась. Возможно, она была не права, но все же этот плач доходил до сердца. Потом началась ходьба. Кто-то топал, отворял и затворял двери, двигал вещи. Нечего сказать, нашли время! Сиверс в досаде закутал голову простыней, но тут же ее скинул — было очень жарко. По улице проехала машина, лежащие дымящиеся столбы света ударили в окна и скользнули мимо. Машина остановилась у подъезда, кто-то в нее как будто садился, наружная дверь несколько раз хлопнула. Очень это было долго. В конце концов машина уехала, ходьба прекратилась. Сиверс перевернул подушку сухой стороной вверх, лег на другой бок и попытался заснуть. Как бы не так! Гостиница воевала со сном множеством звуков. На разные голоса свистал ветер. Сконные рамы вздрагивали

и дребезжали. Крыша гроыхала железом. Казалось, что весь «люкс» со своими багетами и фикусами не стоит на месте, а мчится с ветром в тартарары.

Он повернул выключатель — света не было, зажег спичку и посмотрел на градусник. Тридцать шесть. Попробуй засни.

А главным образом мешали спать мысли. Во-первых, взрыватель. С этим взрывателем (второй вариант) явно было что-то не так. Пожалуй, стоило все-таки оставить по-старому. Был и еще один возможный вариант, но его надо было обдумывать днем, на свежую голову. Сиверс хорошо знал эти ночи, битком набитые техникой. Ничего путного из них никогда не получалось.

А кроме того, лезли в голову еще и другие, совсем уже праздные мысли, но он им не давал ходу, попросту давил их в себе.

Чтобы не думать, он стал развлекаться со своей памятью. Удобная игрушка — всегда под рукой. У генерала Сиверса была необыкновенная память, не память, а анекдот. Все это знали. Он и сам понимал, что чем-то непохож на других людей — чем-то наделен и чем-то обделен. Наделен — ясно чем. А чем обделен? Вот это не совсем ясно. Возможно, простотой, легкостью. Как они, другие, это умели: забывать и идти вперед! А он не мог. Иногда он ощущал свою память, как камень на шее. Но в часы бессонницы она была незаменима: ее можно было включить по произволу и показывать самому себе разные картинки. Вот и сегодня он решил вспомнить день за днем июль двадцать девятого года. Да, именно тот июль. Нелегкая задача, но выполнимая, если не отвлекаться.

Первое июля. Приехал Борис. Были с ним в главной геофизической. Смотрели шаро-пилотные данные. Обедали дома. Марфа Ивановна подала, кажется, гуся. Да, именно гуся, потому что Борис сказал: «Гусь — глупая птица; на одного — много, на двух — мало». Усидели гуся вдвоем. После обеда Борис ушел. Позвонил Лиле. «Александр Евгеньевич, как хорошо!» Протяжный, изумленный голос, особенно прелестный полным отсутствием буквы «р»: «Как ха-а-шо!» Вечером долго считал, был счастлив. Лег спать поздно, под утренний птичий гвалт.

Второе июля. Поездка с Лилей на острова. Солнце, влажная зелень, Лилю белое платье с зелеными бликами. Голубые глаза в черной оправе. В этот день, кажется, впервые отчетливо подумал: «Жениться». Не то чтобы хотелось жениться, нет, хотелось чего-то большего, неизмеримо другого, но выразить это почему-то можно было только женитьбой. Да, именно грусть была тогда и смиренная мысль: «Ничего не поделаешь, надо жениться». Ей об этом ничего не сказал.

Третье июля. На полигоне. Стреляли. Любимый запах пороха. Кучность ничего. Придумал новый и простой способ вводить поправку на ветер. Сказал Борису. Тот сначала поднял на смех, потом стал прислушиваться. Решили делать планшет. Тот самый планшет — любимое детище молодости. Вернулся поздно. Позвонить, не позвонить? Спит уже. Не позвонил: завтра.

Назавтра позвонил с утра. «Что-нибудь случилось?» — «Ничего, просто захотел услышать ваш голос». — «Ну, как я -ада». Разговор недолгий. Кончил говорить — поцеловал трубку, дурак.

Двенадцатое июля. Сделал предложение. Помог случай. Лиля впервые пригласила к себе — пошел. «Мама, знакомься: Александр-Евгеньевич Сиве-с, мой д-уг». Друг! Чуть не сбежал. Ничего, обошлось. И мама оказалась хорошая: седая, полная, но стройная, благородная, с Лилиными глазами. Пили чай. Смотрел по сторонам: бедно живут. Чувствовал себя виноватым. От смущения острил, как болван: «Чай не волка, много не выпьешь». Потом стал уходить, долго прощался. Лиля вышла провожать в переднюю. Сказал ей: «Все боялся на вас жениться,

пока не увидел Нину Викторовну, а теперь уже не боюсь. Старейте, пожалуйста...» Лиля заплакала...

После двенадцатого июля отвлекся, сбился со счета, осталась Лиля. Сначала далеко, потом ближе, потом совсем близко. Восхищенные, нерассуждающие глаза. Лиля беременная, Лиля кормящая, Лиля отяжелевшая, Лиля седая. Нет, он хорошо сделал, что женился. Ему вынул счастливый билет: женщина-джентльмен. А главное, никогда не просила его помолчать, воздержаться. Все просили, а она — нет. Счастливый билет. Он мысленно поклонился судьбе за этот билет. Потом все запуталось. Они с Лилей оказались уже не на островах, а на заливе, в яхте, и с ними — все трое сыновей, молодец к молодцу. Лиля была их ровесница, и он тоже — почти их ровесник, но все же это были их сыновья — его и ее. Яхта шла, лавируя против ветра, ежеминутно меняя галс, и на каждом развороте Володя-рулевой кричал: «Гóловы!» — все пригибались, и над головами, скрипя, перекидывалось с одного борта на другой тяжелое бревно, несущее парус. Яхта ложилась набок и черпала бортовую воду. Вода почему-то была горячая. Это и еще тягостное ощущение ежеминутно проносающегося над головой бревна сообщало сну напряженный, неблагоприятный смысл. Сиверс отлично знал, что спит, но, как это бывает, не мог проснуться. К счастью, ему позвонили с работы. Телефон висел тут же, на мачте. Он встал. Бревно ударило его в висок, он умер и проснулся. И точно, звонил телефон. Сердце все еще неприятно билось. Сиверс взял трубку:

— Слушаю.

— Товарищ генерал, докладывает майор Скворцов. Прошу извинения за беспокойство. Я с десятой площадки. Тут у нас все готово. Прикажете начинать или сами подъедете?

— Ах ты черт, проспал. Начинайте без меня. Только второго образца не трогайте. Сам приеду.

— Есть, товарищ генерал!

Трубка звякнула. Сиверс оделся и подошел к окну. У подъезда ждала машина. Воздух был мутен от несущейся пыли. Высаженные вдоль улицы тонкие деревья, низко наклоненные друг за другом, сучили голыми, обглоданными ветками. Одно деревцо лежало с вывернутыми корнями. Откуда-то примчался газетный лист, прильнул на мгновение к подошве дерева и побежал дальше, разорванный надвое. Какая-то крупная птица, махая крыльями, тщетно силилась лететь против ветра, но двигалась в обратную сторону, хвостом вперед.

Сиверс взял со стола фуражку. Под ней оказалась телеграмма. Он распечатал ее и прочел: «Положение не угрожающее подробности письмом». Что за чертовщина? Он внимательно исследовал телеграмму: из Ленинграда, отправлена вчера, в 10.00. Конечно, Лилька. Кто же еще способен на такую глупость? Чтобы не поддаваться страху, он рассердился. Вот бестолковая баба! «Подробности письмом!» Как была смолodu дурехой — так и осталась. Придется съездить на почту, позвонить. Он еще раз перечел телеграмму, сунул ее в карман и спустился по лестнице. Отвратительно скрипучие ступени. Внизу стояла дежурная Зина. Увидев его, она сразу же в голос заплакала, как это делают в театре: «явление пятое».

— Что такое? — спросил Сиверс.

— С Семеном Миронычем инфаркт. Ночью в госпиталь увезли.

— Час от часу не легче!

— Я и говорю. Все от ветра от этого. Хулиганство: дует, как из печки. Я молодая, здоровая и все равно томно. А Семен Мироныч — сами знаете какой: тучный да слабый...

Зина вновь зарыдала с театральными эффектами.

— Извиняюсь, товарищ генерал. У меня натура впечатлительная и переживающая.

— А где Мирон Ильич? — нетерпеливо спросил Сиверс.

— Там, в больнице. До чего же он сына любит, просто роман. Нет, он Семена Мироныча не переживет. Прямо за ним в могилу.

— Да что вы Семена Мироновича заживо хороните? Он же еще не умер.

— Помрет, как дважды два. С третьего инфаркта еще никто не жил. Вот у меня собственный дядя...

Сиверс не дослушал. Зина продолжала рассказывать, обращаясь в пространство:

— Врачей четыре комиссии...

Дверь в номер Гиндина стояла открытая. Он заглянул туда. Ада Трофимовна, гладко причесанная, убирала комнату, сухо стучая щеткой. Сиверс поклонился ей — она отвернулась.

Он вышел. Дверь подъезда вырвалась у него из рук и замоталась, ударяя ручкой в стену. Ветер был все такой же горячий. В машине спал шофер, положив голову на баранку. Сиверс открыл дверцу, шофер проснулся и поднял лицо — щетинистое и умученное, со вмятиной на подбородке.

— Извиняюсь, товарищ генерал. На десятую?

— Сперва в госпиталь, потом в Лихаревку, на почту, потом на десятую.

Гарнизонный госпиталь размещался на окраине городка, в нескольких деревянных бараках с толевыми крышами; на некоторых крыши уже подались, вздулись и похлопывали на ветру. Офицерский барак был на вид поприглядней других, опрятно покрашенный розовой краской. На крыше у него визжал и мучился флюгер.

Сиверс вошел. Потный врач в коротком бабьем халате и синих военных брюках вытянулся, руки по швам:

— Здравия желаю, товарищ генерал.

— Как Семен Миронович?

— Некротический участок передней стенки миокарда... — начал врач.

— Жив? — грубовато перебил Сиверс.

— Так точно. Сейчас непосредственной опасности нет. Ввели кардиамин, камфору, строфантин с глюкозой внутривенно...

— Увольте, батенька, я по-вашему не разумею. Он в сознании?

— Так точно.

— Видеть его можно?

— Сейчас узнаю.

Врач скрылся за белой, матово застекленной дверью и почти сразу появился опять:

— Генерал вас просит. Но должен предупредить: разговоры, переживания — все это противопоказано.

— Понял вас.

Посреди палаты стояла одна кровать с высоким кислородным баллоном у изголовья. Гиндин лежал на спине, до пояса накрытый простыней, мучительно утонув плечами и затылком в груде высоко взбитых подушек. Выпуклый живот, четко обрисованный простыней, чуть заметно поднимался и опускался. Лицо Гиндина трудно было узнать: до того уменьшились в размерах и значительности все его черты. Лежал другой человек. Что-то даже детское прорезалось в этом лице — взгляд. «Не жилец», — подумал Сиверс. Гиндин с усилием приподнял бледную, очень чистую стариковскую руку и указал на стул в ногах кровати. Сиверс сел.

— Что ж это вы, Семен Миронович, не вовремя хворать задумали?

— Виноват,— ответил Гиндин слабым свистящим, но бодрым голосом. «Жилец»,— с облегчением подумал Сиверс, а вслух сказал:

— Молчите-молчите, вам вредно говорить.

— Нет, это вам вредно говорить, но по другой причине.

— О чем это вы?

— Да о вашем выступлении третьего дня. Забыли?

— Ахти! Вам уже донесли?

— А как же. Поступил сигнал.

— Так я же там ничего особенного не сказал. Ну так, самую малость.

— А ну-ка, по тезисам.

— Что бишь я там говорил? Ну, сказал, что приоритет русской науки во всех без исключения областях никакими разумными доводами не может быть обоснован и должен рассматриваться как акт веры — auto da fe.

— А еще?

— Ну, сделал небольшое отступление в область истории...

— Вот-вот. За такие отступления...

— Понимаю. Учту. Грешный человек, люблю потрепать языком. Нет-нет, а и сморозишь какую-нибудь жеребятину. Ну да ничего авось. Бог не выдаст, свинья не съест.

— Съест и не поперхнется.

— Предсказывать тут нельзя. Это, знаете, вне логики — мистика, вещь в себе. Важней всего бодрость соблудности в любых обстоятельствах. Знаете, был у меня приятель, Гоша Марков. Посадили его еще до войны. Что делать? Сел. Без семьи, холостой — отчего не сесть? Они ему: «Подпиши». — «Помилуйте, говорит, как же я подпишу, коли это неправда? Меня маменька еще в детстве учила не врать, и крепко выучила. Рад бы, а не могу». А сам смеется. Даже полюбили они его там, а в зубы ткнули раза два, не больше. И, представьте себе, дали ему всего восемь лет. Я вот тоже надеюсь.

— Дай вам бог,— улыбнулся Гиндин.

— Главное, чтобы не подписать. Ну, я, пожалуй, пойду, вам покой нужен.

— Постойте. Я что-то хотел вам сказать. Именно вам. Забыл. Нет, вспомнил. Завидую вам. Хорошей завистью. Вашим трем сыновьям. У меня дочери. Не тот товар.

— Вам нельзя разговаривать, Семен Миронович.

— Мне уже все можно. Даже коньяк. Помните «мартель»? Я рад, что пил с вами «мартель».

— И я рад.

— Теперь идите. Буду спать.

Гиндин закрыл глаза. Сиверс прикоснулся к его руке и вышел. В коридоре врача не было. Сиверс заглянул в кабинет. На топчане, закрыв лицо руками, сидел и раскачивался папа Гиндин. Он плакал и что-то говорил себе в руки.

— Мирон Ильич,— негромко сказал Сиверс.

Старик протестующе замотался всем телом.

— Мирон Ильич, будем надеяться...

Папа Гиндин заплакал в голос, и Сиверс узнал тот негодующий женский плач, который разбудил его нынче ночью. Он постоял немного и вышел.

Ветер встретил его в штыки. Полный мусора, он нес теперь уже и небольшие камешки. По кузову машины стучало, как будто шел град.

Шофер ухитрился опять заснуть. Сиверс открыл дверцу и сел с ним рядом. Шофер испуганно проснулся.

— Ничего-ничего,— сказал Сиверс,— прошу прощения, что разбудил. Сам, грешным делом, люблю поспать в рабочее время. Особенно на ученых советах. Золотой сон!

— Виноват, товарищ генерал!

— А вы не стесняйтесь. Так вот, я говорю, спать на ученом совете — самое милое дело! Только не надо распускаться: носом клевать, изо рта пузыри пускать и так далее. Есть у нас один офицер, Лихачев Андрей Михайлович. До чего же ловко спит! Картинка! Сидит прямо, четко, по струночке, глаз за очками не видно, ни храпу, ни свисту... А другой — развалится, размякнет да еще носом высвистывает...

Шофер обиделся:

— Не поспишь ночью — будешь высвистывать! Я вот сегодня часу не поспал. Только вернулся с ездки, лег — вызывают. Генерала Гиндина в госпиталь везти. Свез. Чем отдохнуть — за кислородом гоняли, двести километров туда-обратно. Темень, пылища — ничего не видать. Хуже, как буран. Назад ехал — заблукал в степи. А тут еще сменщик заболел. Будешь высвистывать.

— Да я не про вас совсем, к слову пришлось. Простите великодушно.

Шофер совсем помрачнел:

— На почту?

— Пожалуйста.

Машина тронулась. Град камешков барабанил по кузову. В Лихачевке вся пыль поднялась в воздух — не было видно неба. Дорожные колдобины обнажились. Машина страдальчески подсакивала и дребезжала.

— Старая небось? — спросил Сиверс.

— Да нет, какое старая, сорок тысяч всего. Здесь машина, как и баба, рано старится. Вот и жинка моя, как приду домой — плакать: загубил ты мою молодость, через климат я старухой стала в двадцать семь лет. Говорю: что делать, если запчастей для женщин промышленность не выпускает? Смеюсь, а она плачет. Как три сестры: в Москву да в Москву.

Сиверс был рад, что шофер сменил гнев на милость. Он спросил:

— А жена москвичка?

— Урожденная. Теперь локти кусает. Мать у нее в Москве, тетка. Квартира приличная, дом к сносу назначен. Жить бы да жить.

— А нельзя?

— Какое там. Прописки нет. За прописку, говорят, большие тысячи заплатить надо. У меня больших тысяч нет. А если б и были, так надо знать, кому сунуть. На это тоже наука нужна.

— Ерунда какая,— сказал Сиверс с отвращением.

— Вот и я говорю: ерунда,— быстро согласился шофер.— Не может быть, чтобы при нашем государственном строе за взятку прописывали. Это не гоголевское время. Вот на работу возьмут — тогда и пропишут. К примеру, вашей московской организации шоферы нужны?

— Я ленинградец.

— Ленинград тоже не плохой город. Город-герой.

Машина вильнула, обходя в пыли какое-то препятствие.

— Видите,— сказал шофер,— какое у нас тут кораблевождение. В таких условиях жить — огромное терпение иметь надо. Что летом, что зимой. Зимой еще хуже. Степь голая, ровно как плешь, и ветер по ней так и хлещет. Не разберешь, где дорога, где нет — один черт. А осенью?

Грязища — океан. Как вы думаете, товарищ генерал, будет здесь когда-нибудь жизнь, как у людей, или не будет?

— Думаю, будет.

— Хорошо бы,— сказал шофер.

Машина подъехала к почте. Сиверс вышел, держась за фуражку. Молодая почтальонша с веселыми, обведенными пылью глазами выходила на улицу с тяжелой сумкой через плечо. Она помахала ему рукой:

— Товарищ генерал Сиверс! А вам опять телеграмма! Ну, любят же вас в Ленинграде, прямо завидки берут!

Сиверс расписался в рвущейся на ветру разносной книге и прочел телеграмму: «Звягинцев советует немедленно возвращаться тчк целую Лиля».

Уф, отлегло. Значит, дело не в детях. Он сличил две телеграммы — утреннюю и эту,— вторая отправлена на час раньше первой. Видно, Лилька послала эту, потом побоялась, что буду беспокоиться, и приписала «Положение не угрожающее». Вот глупая баба! От таких приписок кондрашка может хватить. Но в чем все-таки дело? А, неважно. Главное, с детьми ничего не случилось — это главное.

Он вошел в здание почты и обратился в окошко, за которым стучал аппарат:

— Пожалуйста, срочный разговор с Ленинградом.

Высунулась патлатая девушка и прокричала:

— Сколько раз говорить надо! Москву, Ленинград не соединяем. Повреждение на линии.

20

— Внимание... Огонь!

Секунда тишины — и нарастающий свист, постепенно переходящий в шелковый шелест.

Снаряд пролетел мимо цели и упал далеко в степи. На месте взрыва выросло пылевое облако, быстро сдутое в сторону ветром.

— Опять мимо! Вот паразитики! — крикнул майор Скворцов. — Теткин, черт тебя подери, руки у тебя или задние конечности шимпанзе?

— А я виноват? — огрызнулся Теткин. — Я по всем правилам наводил. Согласно теории.

— А как ты, великий теоретик, вводил поправку на ветер?

— Ясно как — по Сиверсу.

— Может, в обратную сторону отложил?

Теткин негодуя фыркнул.

— Такой ветер учесть нельзя,— вмешался Джапаридзе. — Он ни в какие правила стрельбы не укладывается.

— Сказал бы я тебе, кто ты такой, да при дамах неудобно.

Дамы — Лора Сундукова и Лида Ромнич — сидели тут же на снарядных ящиках. Лора с фотоаппаратом через плечо и штативом у ноги воевала со своим платьем, которое все норовило раздуться. Лида Ромнич была в брюках. Она сидела спокойно, сложив ладони между колен и слегка согнув длинные, мальчишеские ноги.

— Сраму-то! — продолжал Скворцов. — Приедет генерал Сиверс: «А ну-ка, братцы, что вы тут без меня сделали?» — «По тушканчикам стреляли, товарищ генерал». Нет, хватит. Следующий раз навожу сам. Тоже мне специалисты, интеллигенты занюханые.

Лида Ромнич медленно поглядела на него и опустила глаза. «Эх, сфальшивил», — подумал Скворцов. Впрочем, не беда. Впереди еще целых четыре дня, он еще исправится. Сейчас для него всего важнее было

попасть в самую точку. Навести и попасть. Он попадет. Он всегда верил в свою удачу, и она его, в общем-то, не подводила.

— Готовить следующий,— приказал он.

Горячий ветер дул порывами, сохраняя направление, но меняя скорость. Под ветром бурьян в степи весь полег, прижавшись к земле, еле шевеля иссохшими пальчиками. Сквозь мутную мглу наверху солнце проклевывалось, как воспаленный, нехороший глаз. Невдалеке от стрельбовой площадки сидел на земле самолет-мишень, тупорылый и обреченный, черными крестами размеченный на убой. От ветра он был закреплен на расчалках. Расчалки натягивались и звенели, самолет рвался, как животное на цепи. Солдаты готовили очередной выстрел под наблюдением ведущего инженера — тощего верзилы с медным равнодушным лицом.

— Готово, товарищ майор,— доложил ведущий.— Сами наводить будете или как?

— Сам,— ответил Скворцов.— Тряхнем стариной.

Ну, теперь держись. Он посмотрел в окуляр прицельной трубки. В поле зрения отчетливо был виден перевернутый самолет с небом внизу, черный крест на борту фюзеляжа и паутинное перекрестие оптики. Надо попасть в черный крест, прямо в сердцевину черного креста. Взять поправку на ветер. Ветер по метео — тринадцать—пятнадцать метров в секунду. Он прикинул поправку в уме и стал осторожно перемещать перекрестье, попеременно вращая рукоятки горизонтальной и вертикальной наводки. Кажется, навел.

— Внимание... Огонь!

Опять нарастающий свист и шелковый шелест. Потом тупой удар. Снаряд попал в самолет. Взрыва не было.

— Тьфу ты, пропасть, взрыватель отказал! — крикнул Скворцов.

— Куда ж ты угодил, босяк? — спросил Теткин.

Скворцов взял бинокль. В районе черного креста пробоины не было. Куда же, черт возьми, делся снаряд?

— А вот он! — крикнула Лора.

И в самом деле, у корня правой плоскости, в зоне топливных баков, торчал снаряд — маленький и черный, крестообразным хвостом наружу.

— Снайперская стрельба,— захохотал Теткин.

— А ну тебя,— отмахнулся Скворцов. Он внимательно вглядывался в точку попадания. Над ней потихоньку поднималось синее курящееся облачко.

— Горит, что ли? — спросил Теткин.

— А кто его знает. Кажется, горит.

— Отчего ему гореть, когда взрыва не было? — спросил Джапаридзе.

— При ударе иногда загорается.

— Не видал.

— Ты, брат, много чего не видал. Молодо-зелено, толсто-бело,— сказал Теткин.

Джапаридзе, сильно похудевший и загоревший за последнее время, обиделся и замолчал.

Скворцов смотрел в бинокль. Облачко разрасталось. У его корня полыхнул крохотный оранжевый язычок.

— Похоже на пожар.

— Угораздило же тебя,— попрекнул Теткин.— В самые баки! Туда надо было в последнюю очередь.

— Благодарю за ценное указание.

Скворцов злился.

— А горючее в баках есть?

— Остатки. Опасно не горючее, а пары. При такой температуре...

— Да, разнесет всю плоскость к чертовой матери. Эх, жалко. Другой мишени-то не дадут.

— Не нуди.

Скворцов был огорчен и раздосадован. Он не привык к неудачам, а тут еще...

— Что же, рванет он в конце концов или не рванет? — нетерпеливо спросил Теткин.

— Только на нервы действует,— пожаловалась Лора.

Ведущий спокойно выбрал себе ящик, сел и закурил, искусно заклонив ладонями огонь.

Скворцов глядел в бинокль. Облачко рассеивалось и вскоре совсем исчезло. Снаряд торчал из обшивки, на вид совершенно безвредный. Огня не было видно.

— Пожар как будто самоликвидировался,— сказал Скворцов.— Все-таки еще немного подождать придется.

Прошло минут десять. Все смотрели на самолет, как на кормильца. Он не подавал никаких признаков чего бы то ни было.

— Ну что же, товарищи,— сказала Лида Ромнич.— Надо принять какое-то решение.

— Давайте ударим еще разок по фюзеляжу,— лихо предложил Теткин.— Я на этот раз наведу — пальчики оближете. У меня сформировалась новая теория.

— А обмер повреждений? — обиженно спросил Джапаридзе.— Как хотите, лично я обмерять не пойду. Снаряд в каждый момент может взорваться. Большое спасибо.

— Пойду извлеку его и обезврежу,— сказал Скворцов.

— Извлеки сначала себе голову,— сердито ответил Теткин.

— Пустяки. При точной работе — никакого риска. Я с каждым снарядом на «ты».

— Не советую,— сказал Джапаридзе.— Ничем не оправданное нарушение правил безопасности. Правильно я говорю, товарищ Мешков?

— Со своей стороны санкционировать не могу,— ответил ведущий,— а впрочем, дело ваше.— Ему было все равно.

— Что же нам, по правилам безопасности, спать ложиться? — возмутился Теткин.

— Дело ваше, а то можно и по домам.

Теткин плюнул. Скворцов поправил фуражку, закрепил под подбородком ремень, бросил папиросу, взял ломик и зашагал в сторону самолета.

— Пашка, ты сдурел? — завопил Теткин.

Лора ахнула и схватила за руку Лиду Ромнич.

— Сумасшедший, чего он делает? Останови, у тебя на него влияние.

— Павел Сергеевич...

Скворцов шел к самолету прямо и четко, держа перед собой ломик, как маршальский жезл. Лида следила за ним, сжав губы и руки. Он все шел. До самолета было не так далеко, а он все шел. «Что ж это такое? — думала она.— Что ж это такое?» Она укусила свой палец, у самого ногтя, не чувствуя боли. В эту минуту Теткин захохотал, хлопнул себя по колену и ринулся вслед за Скворцовым:

— Пашка! погоди! Я с тобой!

Лора вскрикнула. Скворцов шел, не оборачиваясь. Теткин вприпрыжку догонял его и что-то кричал, размахивая руками. Они почти поравнялись с самолетом, когда произошел взрыв.

Сверкнуло пламя, и сразу же место, где стоял самолет, заволкло дымом и пылью. Из черного облака неправдоподобно медленно подни-

мались рваные лоскутья обшивки и столь же медленно падали. Лора закричала заячьим криком. Все побежали в ту сторону. В дыму появилась человеческая фигура. Она медленно, как бы колеблясь, задвигалась и стала на колени.

— Кóлюшка! — кричала Лора. — Кóлюшка мой!

Лида бежала впереди всех. Упругая степь словно подкидывала ее ноги. В горле было горько и горячо. Дым рассеивался. Стало видно самолет — он горел горизонтальными струящимися языками. На земле лежала одна фигура, возле нее на коленях стояла другая. Лежал Теткин, стоял Скворцов. Лида остановилась, дрожа от прерванного бега. Теткин лежал навзничь, с закрытыми глазами. На голубой рубашке сбоку растекалось красное страшное пятно.

— Ранен, — сказала Лида. — Серьезно?

— Не знаю, — отвечал Скворцов, повернув к ней чужое, испачканное землей лицо. — Я же его не звал.

— Вы-то целы ли?

— Вполне.

Подбежала Лора. Она упала на землю рядом с Теткиным.

— Кóлюшка, — кричала она. — Кóлюшка!

Тут Теткин открыл один глаз и сказал:

— Кóлюшка — это не человек, а рыба.

— Жив, дорогой мой, жив! — запричитала Лора. Теткин закрыл глаз.

— Ну, хватит, — сказала Лида. — Надо его осмотреть. Давайте сюда нож.

Скворцов подал ей перочинный ножик. Она разрежала голубую рубашку Теткина сверху донизу. Шелк резался с противным скрипом. Теткин снова открыл один глаз, сказал: «Паразиты, моя лучшая тенниска» — и опять закрыл. Лида осмотрела рану. Небольшое отверстие под ребром — наверно, осколок снаряда. Крови много. Она вытирала ее косынкой, может быть, не надо было, но она вытирала, косынка намочла, пальцы склеились.

— Немедленно госпитализировать! — кричал Джапаридзе.

Ведущий инженер Мешков стоял тут же, руки в карманах комбинезона, с медным равнодушным лицом.

— А вы чего стоите? — закричала на него Лида. — Есть у вас, черт возьми, походная аптечка?

— Есть.

— Так давайте ее сюда, да поживее!

Мешков затрусил за аптечкой. Кровь все текла. Принесли аптечку. Лида зубами распечатала бинт и сделала перевязку. Лора помогала ей и все приговаривала:

— Осторожней, ему же больно.

Теткина понесли к машине. Перепуганный Тюменцев помог устроить раненого на заднем сиденье. Ноги не укладывались.

— И я с ним, и я! — кричала Лора.

Голову Теткина положили к ней на колени.

— Кóлюшка, Кóлюшка, — повторяла она. Теткин открыл на этот раз оба глаза и сказал ей:

— Не ори, дура. В чем дело? Ну, женюсь я на тебе, женюсь обязательно.

Лида с аптечкой в руках села рядом с Тюменцевым. Машина тронулась и скоро скрылась из виду.

— Я же предупреждал: не надо рисковать, — сказал Джапаридзе.

— Молчи, убью, — ответил Скворцов.

Ведущий пошел к телефону сообщать начальству о ЧП — чрезвычайном происшествии.

Скворцов вспомнил, как девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года, будучи дежурным по части, он щегольски докладывал начальнику: «Товарищ генерал, за время моего дежурства случилось чрезвычайное происшествие: победоносно закончилась Великая Отечественная война». И как просто седой генерал, подавая ему руку, ответил: «Здравствуйте».

Дорастет ли он когда-нибудь до простоты? Или так и умрет старым щеголем?

Самолет горел на ветру рьяно и радостно. Куски пылающего металла отрывались от него и летели в степь. Красота огня, бегущая красота огня. Скворцов смотрел на любимый огонь и чувствовал себя пустым, виноватым, брошенным судьбой. Он сбивчиво думал: «Был бы жив. Ничего мне не надо. Был бы жив. Чтобы нашел шляпу и хохотал уже до вечера».

— Кто-то сюда едет! — крикнул Джапаридзе.

По дороге двигалось пыльное облако — шла серая легковая машина.

— Достанется тебе по первое число.

Скворцов молчал.

Машина подошла к площадке. Из нее вышел генерал Сиверс. Скворцов подошел к нему, взяв под козырек:

— Товарищ генерал, докладываю обстановку. Испытания начались в девять ноль-ноль местного времени. Израсходовано шесть снарядов первого образца. Пять выстрелов оказались незачетными, так как попадания в мишень получить не удалось. Последний, шестой выстрел дал попадание. Стрельба производилась по фюзеляжу, но, из-за неудачно взятой поправки на ветер, попадание произошло в район баков. Взрыватель не сработал. Видимых признаков пожара не было. Чтобы сохранить ценную мишень, принял решение извлечь и обезвредить снаряд. Попытка не удалась. Произошел самопроизвольный взрыв, по-видимому в результате нагревания. Самолет воспламенился. При взрыве ранен старший научный сотрудник Теткин. Отправлен в госпиталь машиной. Доложил майор Скворцов.

Генерал Сиверс посмотрел на догорающий самолет и сказал:

— Вот зас...цы.

21

Первое августа. Последний день командировки. Вылет в девять тридцать Москвы.

Майор Скворцов кончил укладывать вещи. Нехитрое дело: бритвенный прибор, эспандер, трусы, две колоды карт, одеколон, мыло — вот и все. Главное, ничего лишнего. Чемодан маленький, как портфель.

Не забыть побриться перед отъездом. Он позвонил на метео:

— Как у вас с погодой?

— Нормально. Пять — семь метров в секунду.

— Полеты разрешены?

— Так точно.

Значит, летим. Все в порядке. Времени вагон.

...В самолете будет холодно, я накрою ее и себя чехлом от мотора и будем сидеть плечом к плечу до самой Москвы. А дальше? Там видно будет.

Скворцов начал бриться. Он, не торопясь, взбил мыльную пену в тазике (он любил, чтобы много пены), намылился, взял бритву и провёл по щеке. В дверь постучали.

— Войдите.

Вошла Лида Ромнич. Он вздрогнул и порезался.

— Вы? — сказал он, опуская бритву.

Она молча глядела на него. Какой же он странный — с пеной до самых глаз. А глаза — серьезные, в лохмах ресниц. Красивые. По пене — извилистая красная дорожка.

— Вы, кажется, порезались.

— Это ничего. Простите.

Он взял вафельное полотенце, вытер лицо, так и стоял, с полотенцем в руках.

— Павел Сергеевич, дело в том... Я сегодня не лечу. Прислали продление командировки. Сейчас еду в поле. Пришла попрощаться.

Он стоял, постепенно бледнея, и вдруг сказал:

— Любимая, что же нам-то с вами делать, а?

— А ничего, — быстро ответила Лида. — Ничего нам с вами делать не надо.

— Верно, — сказал Скворцов. — Делать нам с вами, пожалуй, нечего.

— Ну, вот. Мне сейчас пора ехать, и я вас больше не увижу, так давайте прощаемся.

Он взял ее за руку и посмотрел в глаза.

— Нечего, нечего, — сказала она. — Нечего вам на меня смотреть.

— Ну, будьте здоровы.

— И вы.

Лида сбегала с лестницы, села в «газик» и хлопнула дверцей:

— На десятую, пожалуйста.

— А товарищ майор? — спросил Тюменцев.

— Он не едет. Он сегодня в Москву улетает.

— Как же так? А я не знал.

Тюменцев даже побледнел под своим пухом и повторил:

— Как же так?

— А вот так. Поедемте.

Тюменцев медлил, что-то искал у себя под ногами и вдруг спросил:

— А вы не имеете против, если я зайду с товарищем майором попрощаться?

— Пожалуйста. Я подожду.

Тюменцев постучался в номер.

— Войдите.

Майор Скворцов стоял с полотенцем в руках.

— А, это ты, Игорь. Так ведь еще рано. Через полчаса поедем.

— Товарищ майор, меня на десятую разнарядили. Вас, наверно, Букин повезет.

— А ты что?

— Проститься зашел. Извиняюсь, товарищ майор.

— Да, да. Проститься. Очень хорошо, что зашел. Садись, Игорь.

— Некогда, товарищ майор.

— Пстой. Папиросы возьми.

— А как же вы, товарищ майор?

— Обойдусь. Бери, бери.

Тюменцев взял папиросы.

— Будешь в Москве — заходи, звони. Вот тебе адрес, телефон.

Тюменцев бережно сложил бумажку и сунул ее за борт пилотки.

— Разрешите идти, товарищ майор?

— Иди. Всего тебе. Будь здоров. Руку давай.

Они попрощались за руку. Тюменцев вышел.

По дороге на десятую площадку он был молчалив. Нет, не так хотел бы он попрощаться с майором. А как? Он и сам не знал. Он вел машину и придумывал варианты. Вот как он должен был сказать: «Товарищ майор, вы такой человек, прямо редкий человек. Если бы все люди у нас были такие, можно было бы строить коммунизм». А майор ответил бы: «Спасибо, Игорь. И я тебя полюбил. Хотел бы я иметь такого сына. Желаю тебе больших успехов в учебе и личной жизни». Нет, так бы майор не сказал. Он бы сказал по-другому...

И всю дорогу Тюменцев маялся, придумывая свой разговор с майором Скворцовым, но так и не придумал.

А Лида Ромнич смотрела в степь: она лежала кругом, истерзанная огнем и солнцем, расстрелянная, замученная, потерявшая облик земли.

Ефрейтор Букин довез его до аэродрома. Скворцов вышел из машины и присоединился к группе ожидающих. В центре ее стоял генерал Сиверс, а перед ним, навытяжку, — поленький капитан с красными ушами.

— Паа-слуш-те, капитан, — говорил Сиверс врасстяжку, с каким-то даже гвардейским акцентом, — вы знаете, какая разница между мужчиной и женщиной?

Капитан, на мгновение озадаченный, что-то сообразил и расплылся:

— Знаю, товарищ генерал.

— Да нет, что за пошлость. Кроме той элементарной разницы, о которой вы сейчас подумали, есть еще одна, более существенная. Знаете вы ее?

— Никак нет, товарищ генерал.

— Так знайте. Разница в том, что мужчина застегивается слева направо, а женщина — справа налево. Теперь поглядите на себя и наглядно убедитесь, что вы — женщина.

Капитан усталился на свой двубортный китель, растерянно пошевеливая то правой рукой, то левой.

— Экой вы бестолковый, — сказал Сиверс и перестегнул ему китель на другую сторону. — Советую заучить, где правая сторона, а где левая. Поняли?

— Понял, товарищ генерал.

— И больше никогда так не застегивайтесь. Вы же называется: офицер. Уважение к форме — часть воинской доблести. Вам когда-нибудь говорили о русской воинской доблести?

Капитан оживился:

— Мы, наследники Суворова...

— Ясно. Идите и больше не грешите. Прошаю вас, наследник Суворова.

Капитан отошел. Началась посадка в самолет — на этот раз он был полупассажирский, отапливаемый, с четырьмя мягкими креслами в передней части салона. Сиверс немедленно сел в кресло. Скворцов остановился рядом:

— Здравия желаю, товарищ генерал. Разрешите сесть?

— Пожалуйста, буду рад. А, это вы, майор Скворцов, лихой стрелок по самолетам? Здравия желаю. Протоиерей энского собора благодарит причт за brave и хватское исполнение обязанностей.

Скворцов сел.

— Ну как ваш раненый? — спросил Сиверс.

— Поправляется. Через неделю обещают выписать.

— Это вам посчастливилось. Могло быть хуже.

— Слава богу, обошлось. Даже в некотором роде все к лучшему. Лору Сундукову знаете? Сразу после госпиталя хотят расписаться.

- Это такая толстенная?
- Да, она.
- Хорошая женщина. А знаете, о чем я сейчас думал? Вспоминал Державина. Помните оду Державина на смерть Суворова?
- Не помню.
- Надо помнить. Ода называется «Снегирь».

Что ты заводишь песню военну,
Флейте подобну, милый снегирь?

И дальше:

Сильный где, быстрый, смелый Суворов?
Северны громы в гробе лежат!

Отличные стихи. Какова аллитерация: «Северны громы в гробе лежат!» Тухачевского вот тоже нет. А какой был полководец! Сворцов смутился, не зная, что отвечать.

Самолет взревел, двинулся по летной дорожке, некоторое время мягко подпрыгивал, потом оторвался от земли и полетел.

Сиверс сидел с закрытыми глазами. Два других кресла оставались свободными. На боковых сиденьях разместились попутчики-офицеры: кругленький капитан, наследник Суворова, вероятно москвич (для здешнего полноват), и два других, без сомнения здешних, — оба коричневые, высушенные, с резкими белыми морщинами у глаз. Один постарше, угрюмоватый майор, а другой лейтенант, с белой улыбкой. Он никого из них не знал. Ну, и хорошо, что не знал. Хорошо, что один.

Сворцов взял газету, но ему не читалось. Моторы гудели, самолет подныривал и выравнивался, каждый раз чуть меняя тембр рева. За окнами была какая-то облачная чушь — смотреть не на что. Он опустил газету и стал думать. Мысли были очень длинные — каждая в час длиной.

Например, он думал об Игоре Тюменцеве, видел его лицо сзади вполоборота, когда он сидит за рулем: пушистую щеку и умный голубой глаз с девчачьими ресницами. Эх, нескладно получилось... Парень пришел попроситься. Надо было поговорить, порасспросить... Он жалел, что так вышло, а главное, эта жалость длилась. Обычно он не думал много над своими промахами. Он как-то убежден был, что жизнь бесконечна и каждая ошибка исправима. А сегодня понял, и даже не понял, а кожей почувствовал, что жизнь конечна, очень даже конечна, и в ней всякое лыко в строку. Незаданный вопрос. Несказанное слово. Или сказанное, но не то.

Потом он стал думать про Теткина, который, слава богу, уже поправляется, а если бы погиб, то это была бы вина — ух, какая вина! И что, в сущности, результат для оценки вины не так уж важен — вина есть вина, и никуда не денешься. По смежности с Теткиным он вспомнил про генерала Гиндина, лежавшего в том же госпитале, и от души пожелал ему здоровья и долгой жизни. Он еще не знал, что генерал Гиндин сегодня умер, и в Лихаревке сейчас только и разговоров, что об этой смерти.

И, конечно, больше всего он думал о Лиде Ромнич. Даже не думал, а просто представлял себе, как она стоит там одна на своих длинных ногах, становясь с каждой минутой все дальше и дальше, все меньше и меньше...

— Товарищ майор, вы не спите? — тихонько спросил голос.

Сворцов вздрогнул и открыл глаза. Над ним стоял круглолицый и красноухий, правильно застегнутый капитан.

— Мы тут пультку сообразили, просим вас четвертым,— шепотом сказал он, покосился на спящего генерала и плутовски прикрыл один глаз.

— Отчего же, всегда готов.

Скворцов встал, отряхивая с себя мысли. Он подошел к откидному столику, где уже тасовали карты два коричневых офицера, которых он в Лихаревке признал «здесьними». Впрочем, сейчас уже было ближе до Москвы, чем до Лихаревки. В Москве они сразу станут «не здесьними». А он сам? Сам он везде был «здесьним» — такая жизнь.

Полненький капитан сдал карты. Скворцов посмотрел на свои и обмер: десять трэф на руках! Что-то невероятное.

— Десять трэф,— сказал он и бросил карты веером на стол.

— Вот это начало! — восхитился капитан.— Вам, товарищ майор, должно быть, в любви не везет.

— Да, не повезло-таки. Ну, теперь, братцы, берегись: я в азарт вошел.

— Тасуй — сдавай,— пробурчал майор. Скворцов сдал карты.

— Раз.

— Пасс.

— Два.

— Два мои.

...Игра шла. Скворцову везло — карта к нему так и перла. В общем, ему было не плохо. Только мешало сознание, что он слишком много, неприлично много выигрывает. Как он ни рисковал, выигрыш все рос. Угрюмоватый майор только кричал. Капитан начинал нервничать, а лейтенант все улыбался белыми зубами. Они играли, пока самолет не приземлился.

— Москва, товарищи, дальше не повезем,— объявил командир корабля, выходя из рубки.

Скворцов встал и широко потянулся:

— Слышали? Москва. Спасибо за компанию.

— А расписать? — ревниво спросил угрюмоватый.

— Не надо. Все равно я вас всех обыграл.

— Игра есть игра,— солидно заметил полненький.

— Ха! Вы меня разве не знаете? Я — знаменитый самолетный шулер Скворцов. Слыхали?

— Это шутка, товарищ майор? — спросил капитан.

— Какая шутка? Я шутить не люблю. Ну, приветствую вас.

Скворцов бодро отковырял, взял свой чемоданчик и пошел к выходу. Он спустился по трапу и ступил на московскую землю. Прежде всего его удивила трава — густая, сочная, интенсивно зеленая. Потом солнце. Какое же это было мягкое, прохладное, невинное солнце!

Офицеры спускались следом. Последним шел генерал Сиверс. Скворцов взглянул на него снизу вверх и поразился трагической худобе его щек. Но когда генерал сошел вниз, это впечатление исчезло. Сиверс как Сиверс: очки, четкость, ирония.

— Товарищ генерал...— начал Скворцов.

— Ась? — отозвался Сиверс, глядя на него сбоку.

— Вас, вероятно, машина встречает?

— Машина? Нет, не встречает. Я, знаете, имею обыкновение ездить на городском транспорте. Без помпы. Честь имею кланяться.

Сиверс прикоснулся к фуражке, повернулся по-военному и быстро пошел вперед легким, чуть приплясывающим шагом. С ним вместе уходил вопрос, который Скворцов должен был задать ему, но не задал...

Простой человеческий вопрос: «Что с вами?»

А несколько минут спустя Скворцов уже ехал домой в автобусе. Миновали зеленые пригороды с дачными домиками, с прудами и утками, с телевизорными антеннами, и вот уже Москва обступила его. Огромный город мчался мимо, отражаясь в зеркальцах множества машин. Люди шли, толкая друг друга, обгоняя друг друга, задерживаясь на перекрестках, и как же их было много! Скворцов смотрел на все это со смешанным чувством отчуждения и узнавания.

Вот и дом его. Он вошел в подъезд. На стене детским почерком было нацарапано: «Инка выдра, она выбржала». Он узнал эту надпись и рассмеялся. Инка, о которой шла речь, теперь давно выросла, учится в институте, а подъезд все не отремонтировали.

Шагая через две ступеньки, он поднялся на четвертый этаж. Молодец, организм,— ни одышки, ничего. Спасибо тебе, организм. Он вынул связку ключей, отделил один, отпер дверь, вошел.

— Кто там? — спросил женский голос.

— Это я,— ответил Скворцов. В прихожую вышла жена — маленькая, пухлая, с гладко зачесанными назад волосами. Выпуклые глаза сияли ребячьей радостью. Изумленно глядя ему в щеку, она вытерла руки фартуком и сказала тонко, на одном дыхании:

-- Побрился, поторопился, порезался.



СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

★

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

* * *

Две тыщи... Новой только эры!
Что не случилось с той поры?
Забылись нравы, страны, веры,
Земля стара, и мы стары.

Так что оставим мы в наследье
Векам, идущим нам вослед?
Ведь до конца тысячелетья
Осталось вовсе мало лет.

Оставим свары и угрозы,
А к ним, без счета и числа,
Неразрешенные вопросы,
Незавершенные дела.

Но за открытую дорогу
К другим, счастливым временам
Простится хоть не все, но много
Тебе, и мне, и вместе нам.

Грешим не главным и не славным,
Но в самом главном мы правы,
И знаем мы, что в этом главном
Земля нова и мы новы.

* * *

Аминь, рассыпьтесь, горести и грусть!
Гляжу на женщин, кланяюсь знакомым,
От ветра шурюсь, в облака смотрюсь
И верю прапрадедовским законам.

Земля встает в извечной новизне,
На черных ветках лопаются почки,
Являя людям, птицам и весне
Прославленные клейкие листочки.

А на бульваре — легковейный дым,
Адамы те же и все те же Евы,

Со всех сторон к избранникам своим
Спешат навстречу ласковые девы.

Тверда земля и тверд небесный кров,
Прозрачно небо и прозрачны души,
Но не уйти от неких странных слов,
Вгнездились в память, натрудили уши.

Нейтрон, протон, нейтрино, позитрон...
С усмешкой вспомнишь неделимый атом! —
Не зная верха, низа и сторон,
Метут метелью в веществе разъятом.

Доверясь новонайденным словам,
Дробясь на миллионные частицы,
Мой глупый мир всю трещит по швам
И цельность сохранить уже не тщится.

С былых понятий сорвана узда,
И кажется, все в мире стало дробно,
А надо мной вечерняя звезда
Сияет целомудренно и скромно.

К звезде опять стремятся сотни глаз,
И что им позитроны и нейтрино,
Раз на Тверском бульваре в этот час
Все неделимо, цельно и едино.

Так пусть все встанет на свои места,
Как прежде, воздух станет просто — воздух,
Простой листвою останется листва,
Простое небо будет просто в звездах.



ВИКТОР АСТАФЬЕВ

★

ЯСНЫМ ЛИ ДНЕМ

Рассказ

И в городе падал лист. С тополей — зеленый. с лип — желтый. Липовый легкий лист разметало по улицам и тротуарам, а тополевый лежал кругами возле деревьев.

Сергей Митрофанович шел по тротуару и слышал, как громко стучала его деревяшка в шумном, но в то же время будто и притихшем городе. Шел он медленно, старался деревяшку ставить на листья, но она все равно стучала.

Каждую осень его вызывали из лесного поселка в город, на врачебную комиссию, и с каждым годом разрасталась в его душе обида. Дело дошло до того, что молча терпевший с сорок четвертого года все эти никому не нужные осмотры Сергей Митрофанович сегодня спросил у врача:

— Не отросла еще?

Врач поднял голову и с недовольством глянул на него.

— Что вы сказали?

Непривычно распаяясь от давно копившегося негодования, Сергей Митрофанович повторил громче:

— Нога, говорю, не отросла еще?

За соседним столом обернулась медсестра, заполнявшая карточки, и подозрительно уставилась на Сергея Митрофановича, всем своим видом давая понять, что место здесь тихое и если он, ранбольной, выпивший или просто так буянить вздумал, она поднимет трубку телефона, наберет 02. Нынче милиция не церемонится, она тебя, голубчика, моментом острижет. Нынче смирно себя вести полагается. Но заметив, что инвалид тут же сник, не знает, куда деть глаза и дрожащие руки, медсестра взглядом победителя обвела приемный зал, напоминавший скудный базаришко.

— Можете одеваться, — сказал Сергею Митрофановичу врач. Он снял очки и начал протирать стекла полой халата.

Деревяшка и одежда Сергея Митрофановича лежали в углу. Пустая кальсонина болталась, стегая тесемками по стульям и вытопанной ковровой дорожке, расстеленной меж столами, когда прыгал он меж ними, будто сквозь строй. Телу непривычно было без деревяшки, и Сергей Митрофанович, лишившись противовеса, боялся — не шатнуло бы его на какой-нибудь стол, и не повалил бы он там чернильницу, и не облил бы чей белый халат или полированный стол.

До угла он добрался благополучно, опустил на стул и глянул в зал. Комиссия занималась своим делом. Он понял, что этим людям привычно все тут и никто ему в спину не смотрел. Врач, последним осматривавший его, что-то быстро писал.

Сергей Митрофанович облачился, приладил деревяшку и подошел к столу. Врач все еще писал. Он оторвался на секунду, кивнул на стул и даже ногою пододвинул его к Сергею Митрофановичу. Но садиться Сергею Митрофановичу не захотелось. Он терпеливо ждал. Тянуло скорее выйти отсюда и закурить.

Он стоял и думал о том, что год от года меньше и меньше встречается на комиссии старых знакомых — инвалидов, вымирают инвалиды, а распорядки все те же. И сколько отнято дней из без того укороченной жизни такими вот комиссиями, осмотрами, хождениями за разными бумагами и ожиданиями в разных очередях...

Врач поставил точку, промокнул ученической голубой промокашкой написанное и поднял глаза.

— Что же вы стоите? — И тут же извиняющимся тоном доверительно пробормотал: — Писанины этой, писанины!..

Сергей Митрофанович взял справку, свернул ее вчетверо и положил в бумажник, неловко держа при этом под мышкой новую, по случаю поездки в город взятую кепку. Он надел кепку, но тут же торопливо стянул ее и молча поклонился.

Врач редкозубо улыбнулся ему, развел руками — что, мол, я могу поделывать? Такой закон. Сергей Митрофанович вымученно улыбнулся ему в ответ, как бы сочувствуя, вздохнул протяжно и пошел из зала, радуясь тому, что все кончилось до следующей осени.

А до следующего года всегда казалось далеко.

На улице он закурил. Вытянул папироску, зажег и попенял самому себе: «Уж если поднял голос, так не пасуй! Закон такой! Ты, да другой, да третий, да все бы вместе сказали, где надо, — и переменили бы закон. Он что, из камня, что ли, закон-то? Так ведь и горы сносят...»

По пути на станцию он завернул в магазин, купил три персика в прозрачном пакете, а потом зашел в кафе «Спутник», взял две порции сосисок, стакан киселя и устроился за столом без клеенки, но чистым и гладким, в паутине светлых полосок.

За одним столом с Сергеем Митрофановичем сидела патлатая девочка, тоже ела сосиски и читала толстую книгу с линейками, треугольниками, разными значками и нерусскими буквами. Она читала не отрываясь и в то же время намазывала горчицей сосиску, орудовала ножом и вилкой, припивала чай из стакана и ничего не опрокидывала на столе. «Ишь, как у нее все ловко выходит!» — подивился Сергей Митрофанович.

С потолка кафе свисали полосатые фонарики. Стены голубые, и по голубому так и сяк проведены полосы, а на окнах легкие шторы — тоже в полосках. Голубой мягкий полумрак был кругом, шторы шевелились ветерком и разбивало ими кухонный чад.

«Красиво! Прямо загляденье!» — Сергей Митрофанович поднялся и сказал:

— Приятно вам кушать, девушка.

Она оторвалась от книжки, рассеянно посмотрела на него.

— Ах, да, да, спасибо! Спасибо! — И прибавила еще: — Всего вам наилучшего! — И тут же снова уткнулась в книжку, шаря вилкой по пустой уже тарелке.

Дверь в кафе стеклянная и узкая. Два парня в одинаковых светлых, не по-осеннему легких пиджаках открыли перед Сергеем Митрофановичем дверь. Он засуетился, заспешил, не успел поблагодарить ребят.

А по улице все кружило и кружило лист. Бегали молчаливые машины, мягко колыхались троллейбусы с еще по-летнему открытыми окнами, и ребятишки в еще не потрепанной форме шли из школы.

Устало приковылял Сергей Митрофанович на вокзал, купил билет и устроился на тяжелой скамье с закрашенными, но все еще видными буквами «М.П.С.» и стал ждать поезд.

С пригородной электрички вывалила толпа парней и девчонок. Все в штанах, в одинаковых куртках заграничного покроя, стрижены коротко, и где парни, где девки — не разберешь сразу. В корзинах у кого с десяток грибов, а у кого и меньше. Зато все наломали охапки рябины и у всех были от черемухи темные рты. Навалился на мороженое молдняк.

«И мне мороженого купить, что ли? А может, выпить маленько?» — подумал Сергей Митрофанович, но мороженое он есть боялся — все ангина мучает.

«Война это, война, Митрофанович, по тебе ходит», — повторяла его жена. Вспомнив о жене, Сергей Митрофанович, как всегда, помягчел душой и незаметно от людей пощупал карман пиджака. Жена его Паня любому подарку рада. А тут персики! Она и не пробовала их сроду. «Экая диковина! — скажет. — Из-за моря небось привезли?!» И спрячет их, а потом ему же и скормит.

В вокзале прибавилось народу. Во главе с пожилым капитаном ввалились стриженные парни в сопровождении девчат и заняли свободные скамейки. Всем места не хватило, и Сергей Митрофанович пододвинулся к краю, освобождая место подле себя.

Парни швырнули на скамейку тощий рюкзачишко, спортивный мешок со шнурком, сумочку с лямками. Вроде немецкого ранца сумка, только неукладистее и нарядными картинками облепленная.

Трое парней устроились возле Сергея Митрофановича. Один будто из кедра вытесанный, в шерстяном спортивном костюме. Второй — как вылупленный из яйца желток: круглый, яркий. Он все время потряхивал головой и хватался за нее — чуба ему доставало. Третий — небольшого роста, головастый, смиренный. Он в серой туристской куртке, за которую держалась кучерявенькая девчонка в короткой юбке с прорехою на боку.

Первого, как потом выяснилось, звали Володей, он был с гитарой и верховодил среди парней. С ним тоже пришла девушка, хорошо кормленная, в голубых брюках, в толстом свитере, спускавшемся до середины бедер. У свитера воротник, что хомут, и на воротник этот ниспадали отбеленные, гладко зачесанные волосы. С рыжим, которого все звали Еськой, а он заставлял звать его Евсеем, пришли сразу четыре девчонки. Одна из них, судя по масти, сестра Еськина, а остальные — ее подруги. Еськину сестру ребята называли «транзистором», должно быть за болтливость. Имя третьего паренька узнать труда не составляло. Кучерявенькая девушка в розовой тонкой кофточке по делу и без дела твердила: «Славик!.. Славик!..»

Среди этих парней, видно, из одного дома, а может, из одной группы техникума, вертелся приبلудный в этой компании паренек в клетчатой кепке и в рубашке с одной медной запонкой. У него еще был малинового цвета шарф, одним концом заброшенный за спину. Лицо у парня переменчивое, глаза цепкие, смысленные, и Сергей Митрофанович сразу определил — это блатняжка, без которого ну ни одна компания российских людей обойтись почему-то не может.

Капитан как привел свою команду, так и примолк на дальней скамейке, выбрав такую позицию, чтоб можно было все видеть, а самому оставаться незаметным.

Родителей пришлось на вокзал мало, и они потерянно жались в углах, втихомолку смахивали слезы, а ребята были не очень подпитые, но вели себя шумно, независимо.

— Новобранцы? — на всякий случай поинтересовался Сергей Митрофанович.

— Они самые! Некруты! — ответил за всех Еська-Евсей и махнул товарищу с гитарой: — Володя, давай!

Володя ударил по всем струнам пятерней, и парни с девчонками грянули:

Черный кот, обормот!
В жизни все наоборот!
Только черному коту и не везе-о-о-от!..

И по всему залу вразнобой подхватили:

Только черному коту и не везе-о-о-от!..

«Вот окаянные!» — покачал головой Сергей Митрофанович.

Не пели только Славик и его девушка. Он виновато улыбался, а девушка залезла к нему под куртку и притаилась.

К «Коту», с усмешкой правда, присоединились и родители, а «Последний нонешний денечек» никто не ревел. Гармошек не было. Не голосили бабы, как в проводины довоенных лет, новобранцы не пластали на себе рубахи и не грозились расщепать любого врага и диверсанта.

С «Кота» ребята перешли на какую-то вовсе несуразную дрыгалку. Володя самозабвенно дубасил по гитаре, девки и парни перебирали ногами.

Чик-чик, ча-ча-ча!
Чик-чик, ча-ча-ча...

Слов уже не понять было, и музыки никакой не улавливалось. Но ребятам и девчонкам хорошо от этой песни. Они смеялись, выкрикивали, дергались, даже Володина деваха стучала тувелькой о тувельку, и, когда волосы ее, стеклянно отблескивающие, сползали городьбою на глаза, она откидывала их нетерпеливым движением головы за плечо.

Капитан ел помидоры с хлебом, расстелив газету на коленях, и ни во что не вступал. Не подал он голоса и тогда, когда парни вынули поллитровку и принялись пить из горлышка. Первым, конечно, приложился тот, в кепчонке. Пить из горлышка умел только он, а остальные больше дурачились, делали ужасные глаза, взбалтывали водку в поллитровке. Еська-Евсей приложился к горлышку и сразу же бросился к вокзальной емкой мусорнице, а у Славика покатались слезы, как только хватил он глоток водки. Славик разозлился и начал совать своей девушке бутылку.

— На! — (Девушка глядела на него со щенячьей преданностью и не понимала, чего от нее требуется.) — На! — Славик слепо и настойчиво совал ей поллитровку.

— Ой, Славик!.. Ой, ты же знаешь... — залепетала девушка. — Я не умею без стакана.

— Дама требует стакан! — подскочил Еська-Евсей, вытирая слезы с разом посеревшего лица. — А ну! — подал он команду приبلудному пареньку в кепчонке.

Тот послушно метнулся к ранцу Ески-Евсея, выудил из него белый стаканчик с румяной женщиной на крышке. Эта нарисованная на сыре «Виола» женщина походила на кого-то или на нее походил кто-то. Сергей Митрофанович глянул и засек глазами Володину деваху — она!

— Сыр съесть! — отдал распоряжение Еська-Евсей, — тару даме отдать! Поскольку она...

Она не может без стакан! —

подхватили ребята. Им, видать, все равно, что петь и как петь.

Володя дубасил по гитаре, но сам веселился как-то натужно и делая вид, что не замечает своей барышни, все-таки отыскивал ее глазами и тут же изображал безразличие на лице.

— Ску-у-сна-а! — завопил приبلудный парень, обсасывая с пальца сыр, и добавил словцо.

— Ну, ты! — резко повернулся к нему Славик.

— Славик, Славик! — застучала кулаками в грудь Славика девушка, и он отвернулся, заметив, что капитан, хмурясь, поглядывает в их сторону.

— Хохма, братва, хохма! — повизгивал паренек, будто и не услышав Славика.— Этот сыр, ха-ха.— начал рассказывать он, вперед всех смеясь.— Передачку в родилку... Жинки новорожденные глядят — на крышке красotka румяная... И нама-азалися-а-а-а!.. Крем, думали-и-и!..

Девчонки взвизгнули, даже Володина барышня захохотала. Молнии пошли по ее свитеру и воротник заколотился под накипевшим подбодком.

— А ты-то, ты-то че в родилке делал? — продираясь сквозь смех, спросил Еська-Евсей.

— Знаю че,— потупился парень и начал крутить кисточку шарфа.— Аборт!

Девчата разом стихли, отвернулись, краснея, а Славик вскочил со скамейки, но девушка уцепилась за полу его куртки.

— Славик! Ну, Славик! Он же шутит!..

Снова послушно оплыл Славик и уставился в зал поверх головы своей девушки, проворно порхнувшей под его куртку, будто под птичье крыло.

Стаканчик меж тем освободился и пошел по кругу.

Володя выпил половину из стаканчика и откусил от шоколадной конфеты, которую успела сунуть ему Еськина пламенно-яркая сестра. Затем Володя молча держал стаканчик у носа своей барышни.

— Ты же знаешь, я водку не могу,— жеманно морщилась она.

Володя держал протянутый стаканчик, и скулы у него все больше твердели, а брови, черные и прямые, поползли к переносью.

— Серьезно, Володенька... Ну, честное пионерское...

Он не убирал стаканчик, и деваха приняла его двумя музыкальными пальчиками.

— Какой ты! Мне же плохо будет...

Володя никак не отозвался на эти слова. Девушка сердито вылила водку в крашенный рот. Девчонки захлопали в ладоши. Володя сунул в растворенный рот своей барышни остаток конфеты, сунул, как кляп, и озверело задубасил по гитаре.

«Э-э, парень, не баские твои дела...» Сергея Митрофановича потянули за рукав и отвлекли. Славина девушка поднесла ему стаканчик.

— Выпейте, пожалуйста, за наших ребят... И... за все, за все! — Она закрыла лицо руками и, как подрубленная, пала на грудь своего Славика.

Он упрятал ее под куртку и, забывшись, стал баюкать и раскачивать.

«Ах ты, птичка-трясогузка!» Сергей Митрофанович поднялся со скамьи, стянул кепку и сунул ее на лавку.

Володя прижал струны гитары. Еська-Евсей, совсем осоловелый, обхватил руками сестру и всех ее подруг. Такие всегда со всеми дружат, но неосновательно. Придет время — схватит Еську-Евсея какая-нибудь баба-жох и всю жизнь потом будет шпынять, считая, что спасла его от беспутства и гибели.

— Что ж, ребята,— начал Сергей Митрофанович и прокашлялся.— Что ж, ребята... Чтoб дети грому не боялись! Так, что ли?..— И, пересиливая себя, выпил водку из стаканчика, в котором белели и плавали лохмотья сыра. Он даже крякнул якобы от удовольствия, чем привел в восхищение приبلудного.

— Во дает! Это боец! — воскликнул тот и доверительно, по-свойски кивнул на деревяшку: — Ногу-то где оттяпало?

— На войне, ребята, на войне, — ответил Сергей Митрофанович.

Он не любил рассказывать о том, как и где оторвало ему ногу, а потому обрадовался, когда объявили посадку,— разговор о ноге отпал сам собою.

Капитан поднялся с дальней скамьи и приказал следовать за ним.

— Айда и вы с нами, батя! — крикнул Еська-Евсей.— Веселая будет! — дурачился он, употребляя простонародный уральский выговор.— Отцы и дети! Как утверждает современная литература, конфликта про-меж нами нету...

«Грамотные, холеры! Языкастые! С такими нашему хохлу старшине не управиться было бы. Они б его одним юмором до припадков довели...»

Помни свято,
Жди солдата,
Жди солда-а-та-а-а, жди солда-а-ата-а-а...

Уже как следует, без кривляния пели ребята и девушки, за которыми гащился Сергей Митрофанович. Все шли, обнявшись. Лишь Володина барышня отчужденно шествовала в сторонке, помахивая спортивным мешком на шнурке, и чувствовал Сергей Митрофанович, если б приличия позволяли, она бы с радостью не пошла в вагон и поскорее распрощалась со всеми.

Володя грохал кулаком по гитаре и на барышню совсем не смотрел.

Сергей Митрофанович увидел на перроне киоск, застучал деревяшкой, метнувшись к нему.

— Куда же вы? — крикнул Еська-Евсей, и знакомцы его приостановились.

Сергей Митрофанович помаячил: мол, идите, идите, я сейчас.

В киоске он купил две бутылки заграничного вермута, другого никакого вина тут, кроме шампанского, не было, а трату денег на шампанское он считал бесполезной.

Он поднялся в вагон. От дыма, гвалта, песен и смеха оторопел было, но заметил капитана, и вид его подействовал на бывшего солдата успокоительно. Капитан сидел у вагонного самовара, шевелил газету пальцами и опять просматривал весь вагон.

— Крепка солдатская дружба! — гаркнули в проходе стриженные парни, чокаясь стаканчиками.

— Крепка, да немножко продолговата!

— А-а, цалу-уете-есь! Ночь коротка! Не хватило-о-о!

И тут же запели щемяще-родное:

Ночь коротка,
Спят облака...

«Никакой вы службы еще не знаете, соколики! — усмехнулся Сергей Митрофанович.— Ничего еще не знаете. Погодите до места! Это он тут, капитан-то, вольничать дает. А там гайку вам закрутят! До последней резьбы!»

Старая фронтовая песня стронула с места его душу, и он поспешил к ребятам, чтобы не впасть окончательно в унылость.

— Володя! Еська! Славик! Где-ка вы? — Сергей Митрофанович приостановился и прислушался, будто в лесу.

— Тута, тута! — раздалось из-за полка, с середины вагона.

— А моей Марфуты нету тута? — спросил он, протискиваясь в тесно запруженное купе.

— Вашей, к сожалению, нет, — отозвался Володя. Он поугрюмел еще больше и не скрывал уже своего худого настроения.

— Вот, солдатики! Это от меня, на проводины... — Сергей Митрофанович с приступом поставил бутылку на столик.

— Зачем же вы расхodoвались? — разом запротестовали ребята и девчонки, все, кроме прибудного парня, который, конечно же, устроился возле окна, успел еще добавить, и кепчонка совсем сползла на его глаза, а шарф висел на крючке, утверждая собою, что это место занято.

— Во дает! — одобрил он поступок Сергея Митрофановича и цапнул бутылку. — Сейчас мы ее раскур-рочим!..

— Штопор у кого? — перешибая шум, крикнула Еськина сестра.

— Да на кой штопор! Пережитки! — подмигнул ей юркий парень и, как белка скорлупу с орешка, содрал зубами позолоченную нахлобучку и затем просунул пальцем пробку в бутылку.

Довольный собою, оглядел он компанию и подмигнул Еськиной сестре. Он лип к этой девке, но она с плохо скрытой брезгливостью отстранялась от него. И когда он все же изловчился и лапнул ее, обрезала:

— А ну, убери немытые лапы!

И он убрал, однако значения ее словам не придал и как бы ненароком то на колено ей руку клал, то повыше, и она пересела подальше.

На перроне объявили: «До отправления поезда номер пятьдесят четыре остается пять минут. Просьба к пассажирам...»

Сергея Митрофановича и парня в кепке оттиснули за столик разом повскакавшие ребята и девчонки. Еська-Евсей обхватил сеструху и ее подруг. Они плакали, смеялись, Еська-Евсей тоже плакал и смеялся. Девушка в розовой кофточке намертво вцепилась в Славика, повисла на нем и вроде бы отпустить не собиралась. По ее и без того размытому лицу катились крупные, как у ребятенка, слезы, оставляя на кофточке серые полоски. Глаза у девчонки были излажены под японочку, и краску слезами разъело.

— Не реви ты, не реви! — бубнил сдавленным голосом Славик и тряс девушку за плечо, желая привести в чувство. — Слово давала. Не буду реветь...

— Ла-адыно-о-о, не бу... лады-но-о-о...

— Во дают! — хохотнул парень в кепке, отторгнутый от компании. — Небось того... Мокнет, теперь... засвербило...

Сергей Митрофанович не слушал его, а глядел на Володю с барышней, и жалко ему было Володю.

— Служи, Володя. Храни родину... — приткнулась барышня крашевыми губами к Володиной щеке и стояла, не зная, что дальше делать. Часто и нервно откидывала она белые волосы.

Бросив на вторую полку руки, Володя глядел в окно вагона и ничего не говорил.

— Вова, ты пиши мне, если желание появится, — сказала барышня и обернулась на публику, толпящуюся в проходе вагона. — Шуму-то, шуму!.. И сивухой отовсюду прет!..

— Все! — разжал губы Володя. Он повернул свою барышню и повел из вагона, крикнув через плечо: — Все! Парни!

Ребята с девушками двинулись из вагона, а Славикова девчонка вдруг села на скамейку.

— Не пойду-у-у...
— Че ты? Че ты?! — Славик коршуном налетел на нее. — Позоришь, да? Позоришь?..

— И пу-усть...
— Обрюхатела! Точно! Жди, Славик, солдата! — ерзнул за столиком парень. — А может, солдатку!..

— Доченька, доченька!.. — потряс за плечо совсем ослабевшую девушку Сергей Митрофанович. — Пойди, родная, походи, попрощайся ладом... А то проревешь дорогие-то минутки, потом жалеть будешь.

Славик благодарно глянул на Сергея Митрофановича и, как больную, повел девушку из вагона.

«Во все времена повторяется одно и то же, одно и то же, — подпершись руками, горестно думал Сергей Митрофанович. — Разлуки да слезы, разлуки да слезы...»

— Может, трахнем, пока нету стилиг? — предложил парень в кепке, которого угнетало одиночество, и зябко потер руки.

— Выпьем, так все вместе.

Поезд тронулся. Примчался Славик, взгромоздился на столик, просунул большую свою голову в узкий притвор окна.

Поезд убыстрял ход и, как в прошлые времена, бежали за ним девушки, женщины, матери, махали отцы и деды с платформы, а поезд все набирал ход. Спешила за поездом Еськина сестра с разметавшимися рыжими волосами и что-то кричала на ходу. Володина барышня немножко прошла рядом с вагоном и остановилась, плавно, будто лебяжьим крылом, помахивая рукою.

Дольше всех за поездом гналась Славикова девушка. Узкая юбка мешала ей бежать. Она спотыкалась, пытаясь поймать руку Славика.

— Упадешь! Упадешь, говорю! — кричал ей в окно Славик.

Поезд дрогнул на выходных стрелках, изогнулся дугой, и девушка розовогрудой птичкой улетела за поворот.

Славик мешком повис на окне. Руки его вывалились за окно и болтались, голову колотило о толстую раму.

Ребята сидели потерянные, смиренные, совсем не те, что на вокзале. Все молчали. Даже блатняжка притих и не ерзал за столом.

По вагону пошла проводница, начала подметать и ругаться. Плыл в открытые окна табачный дым. Вот и ребра моста пересчитали вагонные колеса. Переехали реку. Начался дачный пригород и незаметно растворился в лесах и перелесках. Поезд пошел без рывков и гудков, на одной скорости, и не шел он, а ровно бы летел уже низко над землею с деловитым перестуком, настраивающим людей на долгую дорогу.

— Славка! Слав!.. — не выдержал Еська-Евсей и потянул товарища за штаны. — Так и будешь торчать до места назначения?

Изворачиваясь шеей, Славик вынул из окна голову, втиснулся в угол и натянул на ухо куртку.

Сергей Митрофанович встряхнулся, взял бутылку и сказал, отыскивая глазами стаканчик из-под сыра:

— Что ж вы, черти, приуныли? На смерть, что ли, едете? На войну? Давайте-ка лучше выпьем, поговорим, споем, может. «Кота» я вашего не знаю, а вот свою любимую выведу.

— В самом деле! — Еська-Евсей зашевелился и сдернул куртку с уха Славика. — Ну, ты че? Володь! Ребята! Человек же предлагает. Пожилой вон, без ноги...

«Парень ты, парень, — глядя на Славика, вздохнул Сергей Митрофанович. — Ничего, все перегорит. Не то горе, что позади, а то, что впереди...»

— Его не троньте пока, — сказал он Еське-Евсею и громко добавил,

отыскивая измятый, уже треснутый с одного края стаканчик:— Пусть вам хороший старшина попадетя.

— Пойдите! — остановил его очнувшийся Володя.— У нас ведь кружки, ложки, закусь — все есть. Это мы на вокзале пофасонили.— Он усмехнулся совсем трезво.— Давайте, как люди.

Выпивали и разговаривали теперь, как люди. Пережитое расставание сделало ребят проще, доступней.

— Дайте и мне! — крикнул Славик. Расплескивая вино, захлебываясь им, выпил, с сердцем отбросил стаканчик и снова натянул на ухо куртку.

Опять пристали ребята насчет ноги. Дорожа их дружелюбием и расположением, стал рассказывать Сергей Митрофанович о том, как, застигнутые внезапной танковой атакой противника в лесу, не успели изготовиться артиллеристы к бою. Сосняк стеною вздымался в гору, высокий, прикарпатский. Сектор обстрела выпиливали во время боя. Два расчета из батареи пилили, а два разворачивали гаубицы. С наблюдательного пункта, выкинутого на опушку леса, торопили, но сосны были толсты, пилы всего две и топора всего четыре. Работали без рубах, мылом покрылись, несмотря на холод. С наблюдательного пункта по телефону ругались, и угрожали, и наконец завопили:

— Танки рядом! Сомнут! Огонь на пределе!

Нельзя было вести огонь и на пределе, надо бы свалить еще пяток другой сосен впереди орудий. Да на войне часто приходилось переступать через нельзя.

Повели беглый огонь.

Снаряд из того орудия, которым командовал Сергей Митрофанович, ударился в сосну, расчет накрыло опрокинувшейся от взрыва кургузой гаубицей, а командира орудия, стоявшего поодаль, подняло и бросило на землю.

Очнулся он уже в госпитале, без ноги, оглохший, с отнявшимся языком.

— Вот так и отвоевался я, ребята.

— Скажи, как бывает! А мы-то думали...— начал Еська-Евсей.

Славик высунул нос из куртки, тарашился на Сергея Митрофановича. Глаза у него ввалились, опухли от слез, голова почему-то казалась еще больше.

— А вы думали, я ногой-то амбразуру затыкал?

— А жена? Жена вас встретила нормально? — подал голос Володя.— После ранения, я имею в виду.

— А как же? Конечно, нормально. Приехала за мной в госпиталь, забрала. Все честь честью.— Сергей Митрофанович пристально поглядел на Володю.

Ему и в голову не приходило, чтобы Паня не приняла его. Да и в госпитале не слышал он о таких случаях. «Самовары» — без рук, без ног инвалиды — и те ничего такого не говорили. Может, таились?

— Баба, наша русская баба, не может бросить мужа в увечье. Здорового может, сгульнуть, если невтерпеж, может, а калеку и сироту спкинуть — нет! Потому как баба наша во веки веков человек! И вы, молодцы, худо про них не думайте. А твоя вот, твоя,— обратился он к Славику,— да она в огонь и в воду за тобой...

— Дайте я вас поцелую! — пьяненько взревел Славик и притиснулся к Сергею Митрофановичу. А ему захотелось погладить Славика по голове, да не решился он это сделать и лишь растроганно пробормотал:

— Ребятишки вы, ребятишки! Так споем, что ли, орел? — обратился он к Володе. — Детишек в вагоне нету?

— Нету, нету,— загалдели новобранцы.— Почти весь вагон нашими занят. Давай, батя!

По голосам и улыбкам ребят Сергей Митрофанович догадался, что они его считают совсем захмелелым и ждут, как он сейчас затынет «Ой, рябина, рябинушка» или «Я пулеметчиком родился и пулеметчиком помру!».

Поглядев сбоку на парней, он едва заметно улыбнулся и мягко начал грудным, глубоким голосом, так и не испетым в запасном полку на морозе, где он был ротным запевалой:

Ясным ли днем
Или ночью угрюмою...

Снисходительность, насмешливые взгляды — все это разом стерлось с лиц парней. Замешательство, пробуждающееся внимание появилось на них. Все так же доверительно, ровно бы расходясь в беседе, Сергей Митрофанович повел дальше:

Все о тебе я мечтаю и думаю...

На этом месте он полуприкрыл глаза и, не откидываясь, а со сложенными в коленях руками сидел, чуть ссутулившись, раскачиваясь вместе с бегущим вагоном, и совсем уж тихо, на нутряной какой-то струне, притушив готовый вырваться из груди крик, закончил вступление:

Кто-то тебя приласкает?
Кто-то тебя приголубит?
М-милрой своей назовет?..

В голосе его, без пьяной мужицкой дикости, но и без вышколенной лощенности, угадывался весь характер, вся его душа — приветная и уступчивая. Он давал рассмотреть всего себя оттого, что не было в нем хлама, темени, потайных закоулков. Слушая Сергея Митрофановича, человек переставал быть одиноким, ощущал потребность в братстве, хотел, чтоб его любили и он бы любил кого-то.

Не было уж перед ребятами инвалида с осиновою деревяшкой, в суконном старомодном пиджаке, в синей косоворотке, застегнутой на все пуговицы. Залысины, седые виски, морщины, так не идущие к его молоджавому лицу, и руки в царапинах и темных проколах уже не замечались.

Молодой, бравый командир орудия с орденами и медалями на груди виделся ребятам.

Да и сам он, стоило ему запеть эту песню, невесть когда услышанную на пластинке, переиначенную им в словах и в мотиве, — видел себя там, в семье своего расчета, молодого, здорового, чубатого, уважаемого не только за песни и за покладистый характер.

Еще ребята, слушавшие Сергея Митрофановича, изумляясь, думали о том, что надо бы с таким голосом и умением петь ему не здесь. Но никто не разбрасывается своими талантами так, как русские люди. Сколько их, наших соловьев, испелось на ямщицком облучке, в солдатском строю, в пьяном застолье, в таежном одиночестве, позатерялось в российской глухомани? Кто сочтет...

Только случай, только слепая удача зачерпнет иной раз из моря русских талантов одну-другую каплю.

Но как он все-таки редок и изменчив, этот самый случай!

...Постукивали колеса. Сергей Митрофанович, кончив песню, сидел в той же позе, вытянув деревяшку под столик, и руки, совсем не похожие на его голос, в заусеницах, проколах и царапинах, покоились все так же

меж колен. Лишь бледнее сделалось его лицо и видно стало непробритое под нижней губой да глаза его были где-то далеко-далеко.

— Да-а,— протянул Еська-Евсей и тряхнул головою, ровно бы отбрасывая чуб. Рыжие, они все больше кучерявые бывают.

Заметив, что в разговор собирается вступить приبلудный, и заранее зная, чего он скажет: «У нас, между прочим, в колонии один кореш тоже законно пел про разлуку и про любовь»,— Сергей Митрофанович глянул в окно и хлопнул себя ладонями по коленям.

— Что ж, молодцы, я ведь подъезжаю.— И застенчиво улыбнулся.— С песнями да с разговорами скоро доехалось. Давайте прощаться.— Тут он почувствовал, как тянет полу пиджака, спохватился: — У меня еще одна бутылка! Может, раздавите? Я-то больше не хочу.

— Не надо. У нас есть,— придержал его руку Славик.— И деньги и вино. Лучше домой унесите.

— Дело ваше. Только я ведь...

— Нет-нет, спасибо,— поддержал Славика Володя.— Привет от нас жене передайте. Правильная она у вас, видать, женщина.

— Худых не держим,— простодушно ответил Сергей Митрофанович и, чтоб наладить ребятам настроение, добавил: — В нашей артели мужик один на распарке дерева работает, так он все хвалится: «Я какой человек! Я вот пята жену додѣрживаю и единой не обиживал...»

Ребята засмеялись, пошли за Сергеем Митрофановичем. В тамбуре все закурили. Поезд пшикнул тормозами и остановился на небольшой станции, вокруг которой клубился дымчатый пихтовник. Даже в скверике росли пихты, и возле одной из них на длинной веревке пасся старый пегий конь.

Осторожно спустившись с подножки, Сергей Митрофанович утвердился на притоптанной мазутной земле, из которой выступал камешник. Поезд, словно бы того и дожидавшийся, почти незаметно для глаза двинулся. Сергей Митрофанович приподнял кепку.

— Мирной вам службы, ребята!

Они тесно стояли за спиной проводника и смотрели на него, а поезд все убустрял ход, электровоз глухо стучал колесами в пихтаче, за станцией, дробили на стрелке вагоны, и скоро электродуга плыла уже над лесочком, высекая синие огоньки из отсыревших проводов. Когда исчез последний вагон и стало совсем уж тихо, Сергей Митрофанович повторил:

— Мирной вам службы, ребята!

В глазах ребят он таким и остался: на деревяшке, с обнаженной, пробитой сединою головой, в длинном пиджаке, оттянутом с одного боку бутылкой, а за спиной его — маленькая станция с названием Пихтовка.

Попутных не попалось, и все хотя и привычные, но долгие для него четыре километра Сергею Митрофановичу пришлось ковылять одному.

Пихтовка оказалась сзади и пихты тоже. Они стеной отгораживали вырубку и пустоши. Даже снегозащитные полосы были из пихт со спленными макушками. Прель и темень устоялась под ними.

Осенью сорок пятого по вырубкам лесок только-только еще поднимался, елани были всюду, болотистые согры, испятнанные красной клюквой да брусникой. Часто стояли разнокалиберные темные стога с прогнутыми, как у старых лошадей, спинами.

Осень тогда ведренней нынешней выдалась. Небо просторней было, даль солнечно светилась, понизу будто весенним дымком все подернулось.

А может быть, все нарядней и ярче казалось оттого, что он возвращался из госпиталя, с войны, домой. Ему в радость была каждая тра-

винка, каждый куст, каждая птичка, каждый жучок и муравьишка. Год провалявшись на койке с отшибленной памятью, языком и слухом, он наглядеться не мог на тот мир, который ему сызнова открывался. Он еще не все узнавал и слышал, говорил заикаясь. Вел он себя так, что не будь Паня предупреждена врачами, посчитала бы его рехнувшимся.

Увидел в зарослях опушки бодяк, затем ястребинку, козлобородник, бородавник, пуговичник, яковку, череду — не вспомнил, огорчился. Все они, видать, в его нынешней памяти походили друг на дружку, потому как цвели желтенько.

— Кульбаба! Кульбаба! — вдруг заблажил он и ринулся на костылях в чашу, запутался, упал, лежа на брюхе сорвал худой, сорный цветок, нюхать его взялся.

— Кульбаба! Узнал? — подтвердила Паня и сняла с его лица паутину. Он еще не слышал паутины на лице, запахов не слышал.

Остановился подле рябины и долго смотрел на нее, соображая. Розетки на месте, а ягод нету.

— Птички, птички склевали, — пояснила Паня.

— А, п-птички! — просиял он. — Ры-рябчики?

— Рябчики, дрозды. До рябины всякая птица охоча, ты ведь знаешь?

— З-знаю.

«Ничего-то ты не знаешь!» — горевала Паня, вспоминая последний разговор с главврачом. Врач долго, терпеливо объяснял, какой уход требуется больному, что ему можно пить, есть, какой ему нужен покой, и все время ровно бы оценивал Паню взглядом. Будто между прочим врач поинтересовался насчет детей. И она смущенно сказала, что не успели насчет детей до войны. «Да что горевать? Дело молодое...» — «Очень жаль», — сказал врач, спрятав глаза, и после этого разговор у них разладился.

В пути от Пихтовки до поселка она все поняла: и слова врача, жестокое их значение, тут только и дошли до нее во всей полноте.

Но не давал ей Сережа горевать и задумываться. У речки напал на черемуху, хватал ее горстями.

— С-сладко!

— Выстоялась. Как же ей несладкой быть?

Он пристально поглядел на нее. Совсем недавно, всего месяца три назад, Сергей стал чувствовать сладкое, а до этого ни кислого, ни горького не различал. Пане неизвестно, что это такое. И мало кому ведомо. На лице его появилась болезненность, и Паня догадалась, что его контуженная голова устала, и заторопила его. Еще раз, но ненастойчиво он показал ей на перевитый вокруг черемухи хмель, и она утомленно объяснила:

— Жаркое лето было. Вот и нету шишек. Нитки да листья одни. Хмелю сырость надо.

Он обвис на костылях, а она пожалела, что послушалась его и не вызвала подводу. Часто садились отдыхать возле стогов. Он мял в руках сено, нюхал. И взгляд его оживлялся. Сено, видать, он уже чуял по запаху.

На покосах свежо зеленела отава. Блекло цвели погремки и кое-где розовели бледные шишечки позднего клевера. Небо, отбеленное по краям, было тихое, ясное. Предчувствие заморозков угадывалось в этой призрачной тишине.

Ближе к поселку Сергей Митрофанович ничего уже не выспрашивал, суетливо перебирал костылями, часто останавливался.

Поселок с пустынными огородами на окраинах выглядел голо и сиротливо среди нарядного леса. Дома в нем постарели, зачернились, да

и мало осталось домов. Мелкий лес вплотную подступал к домам. Подзарос, запустел поселок. Не было в нем шума и людской суетни. Даже и ребятишек не слышно. Только постукивал в глуби поселка движок и дымила наполовину сгоревшая артельная труба, утверждая собою, что поселок все-таки жив и идет в нем работа.

— М-мама? — повернулся Сергей Митрофанович к Пане.

— Мама все гляденья, поди, проглядела. Давай я тебе помогу в гору-те. Давай, давай!..

Она отобрала у мужа костыли, почти взвалила его на себя и выволокла в гору, но там костыли ему вернула, и по улице они шли рядом, как полагается.

— Красавец ты наш ненаглядный! — заголосила Панина мать.— Да чего же они с тобой сделали, ироды ерманские-е?!

Зятя она любила не меньше, а показывала, что любит больше дочери. Он стоял перед ней худенький, вылежавшийся в душном помещении, и походил на блеклый картофельный росток из подпола.

— Так и будете теперича друг на дружку глядеть? — прикрикнула Паня.

Старуха расцеловала зятя увядшими губами и, помогая ему подняться на крыльцо, жаловалась:

— Заела она меня, змея, заела... Теперь хоть ты дома будешь.— И у нее заплясали губы.

— Да не клеви ты мне солдата! — уже с привычной домашней снисходительностью сказала Паня, глядя на мать и на мужа, снова объединившихся в негласный союз, который у них существовал до войны.

Всякий раз, когда приходилось идти от Пихтовки в поселок одному, Сергей Митрофанович заново переживал свое возвращение с войны.

Меж листовника темнели таившиеся до времени ели, пихты, насаянные сосны и лиственницы. Липы вперегонки с хвойняком настойчиво тянулись ввысь, скручивали ветки, извертывались черными стволами, но места своего не уступали.

И стогов на вырубках поубавилось — позаросли покосы. Но согры затягивало трудно. Лешишко на них чах и замирал, не успевши укрепиться.

По косогорам испекло инеем поздние грибы. Шапки грибов съехали набок. В озеринки падала прихваченная черемуха и рябина, капелью решетила воду.

Через какое-то время снова начнется заготовка леса вокруг Пихтовки, а пока сводят старые березники. До войны березы не рубили. Когда прикончили хвойный лес, свернули участок лесозаготовителей и открыли артель по производству мочала и фанеры.

Сергей Митрофанович работал пилоправом, а Паня в мокром цехе, где березовые сутунки запаривали в горячей воде и потом разматывали, как рулоны бумаги, выкидывая сердцевины на дрова.

Свернув с разъезженной дороги на тропу, Сергей Митрофанович пошел вдоль речки Каравайки. Когда-то водился в ней хариус, но лесозаготовители так захлामीли ее, что мертвой сделалась Каравайка. По сию пору гнили в ней бревна, пенья, отбросы. Мостики на речке просели, дерном покрылись. Густо пошла трава по мостам, в гнилье которых уж и плодились — только им тут и способно.

Тропинка запетляла от речки по пригорку к огородам с уже убранной картошкой. В поселке, установленное на клубе, звучало радио. Сергей Митрофанович прислушался. Над осенней землей разносилась нерусская песня. Поначалу Сергею Митрофановичу показалось — поет женщина, но когда он поднялся к огородам, то различил, что поет мальчишка, и поет так, как ни один мальчишка еще петь не умел.

Чудилось, сидел этот мальчишка один на берегу реки, бросал камешки в воду, думал и рассказывал самому себе о том, что он видел, что думал, но сквозь его бесхитростные детские думы просачивалась очень уж древняя печаль.

Он подражал взрослым людям, этот мальчишка. Но и в подражании его была неподдельная искренность, детская доверчивость к его чистому, еще не захватанному миру.

— Ах ты, парнишечка! — шевелил губами Сергей Митрофанович. — Ах ты, парнишечка! Из каких же ты земель? — Он напрягся, разбирая слова, но не мог их разобрать, однако все равно было боязно за мальчишку, думалось — сейчас вот произойдет что-то непоправимое с ним, накличет он на себя беду, и Сергей Митрофанович старался дышать по возможности тихо, чтоб не пропустить тот момент, когда еще можно будет ему помочь.

Сергей Митрофанович не знал, что мальчишке уже ничем не поможет. Вырос мальчишка и затерялся, как вышедшая из моды вещь, в хламе эстрадной барахолки. Слава яркой молнией накоротке ослепила его жизнь и погасла в быстротекучей памяти людей.

Радио на клубе заговорило словами. А Сергей Митрофанович все стоял, опершись рукою на огородное прясло, и почему-то горестно винился перед певуном-парнишкой, перед теми ребятами, которые ехали слушать в незнакомые места, разлучившись с домом.

Оттого, что у Сергея Митрофановича не было детей, он всех ребят чувствовал своими, и постоянная тревога за них не покидала его. Скорее всего получилось так потому, что на фронте он уверил себя, будто война эта последняя и его увечья и муки тоже последние.

Не смогли сделать, как мечталось. Он не смог, отец того голосистого парнишки не смог. Все не смогли. Война таится, как жар в зачете, и землю то в одном, то в другом месте огнем прошибает.

Оттого и беспокойно на душе. Оттого и вина перед ребятами. По радио однажды выступал какой-то заслуженный старичок. Чего только не городил он! И не ценит-то молодежь ничего, и старших-то не уважает, и забыла-то она, неблагодарная, чем ее обеспечили, чего ей понастроили...

«Но что ж ты, старый хрен, хотел — чтоб и они тоже голышом ходили! Чтоб недоедали, недосыпали, кормили бы по баракам вшей и клопов? Почему делаешь вид, будто все хорошее детям дал ты, а худое к ним с неба свалилось? И честишь молодняк таким манером, ровно не твои они дети, а какие-то подкидыши?..»

До того разволновался Сергей Митрофанович, слушая старика, что плюнул в репродуктор и выключил его. Но память и совесть не выключишь.

«Корить и куражиться над молодняком — это проще простого. Они вскормлены нами и за это лишены права возражать. Кори их. Потом они начнут своих детей корить. Так и пойдет сказка про мочало без конца и без начала. А вот дорости бы до того, чтобы дети уважали старших не только за хлеб... Вот это бы дело было! И волчица своим щенятам корм добывает, иной раз тоже жизнью жертвует. Щенята ей морду лижут за это. Чтоб и нас облизывали? Так зачем тогда молодым о гордости и достоинстве толковать? Сами же внушаем и сами же притужальник уст-раиваем!..»

Паня вернулась с работы и поджидала Сергея Митрофановича. Она смолоду в красавицах не числилась. Смуглолицая, скуластая, с руками, рано познавшими работу, она еще в невестах выглядела бабой. Но прошли годы, отпвели и завяли в семейных буднях ее подруги, за которыми когда-то наперебой бегали парни, а ее время будто не коснулось. Лишь

поутихли, смягчились глаза, пристальней сделались, и лицо ее уже не круглилось, щеки запали и обнажили крутой, не бабий лоб с двумя морщинами, которые, вопреки всем женским понятиям о красоте, шли ей. Без надсадности делающая любую работу, как будто беззаботно и легко умеющая жить, она злила собою плаксивых баб.

«Нарожала б ребятишек кучу да мужик не мякиш попался бы...»

Она никогда не спорила с бабами, в рассужденья насчет своей жизни не пускалась. Муж ее не любил этого, а что не по душе было ему, не могло быть по душе и ей. Она-то знала: все, что в ней и в нем хорошего, они переняли друг от друга, а худое постарались изжить.

Старуха копалась в огороде, вырывала редьку, свеклу, морковь, недовольно гремела ведром. Дом восьмиквартирный, и огорода каждому жильцу досталось возле дома по полторы сотки. Постоянно роясь в огороде, Панина мать тем самым доказывала, что она не даром ест хлеб.

— Да ты никак выпивши? — спросила жена, встречая Сергея Митрофановича на крыльце.

— Есть маленько, — виновато отозвался он и впереди Пани вошел в кухню. — С новобранцами повстречался, вот и...

— Ну дак че? Выпил и выпил. Я ведь ниче...

— Привет они тебе передавали. Все передавали, — сказал Сергей Митрофанович. — Это тебе, — сунул он пакетик Пани, — а это всем нам. — Поставил красивую бутылку на стол.

— Гляди ты, они шорохovitые, как мыша! Их едят ли?

— Сама-то ты мыша! Пермьяк — солены уши! — с улыбкой отозвался Сергей Митрофанович. — Позови мать. Хотя постой, сам позову. — И, сникши головой, добавил: — Что-то мне сегодня...

— Митрофаны-ыч! Ты чего это? — Паня быстро подскочила к нему и подняла за подбородок лицо мужа, заглянула в глаза. — Разбередили тебя опять? Разбередили... — И заторопилась: — Я вот что скажу, послушай ты меня — не ходи ты больше на эту комиссию. Всякий раз как обваренный ворочаешься. Не ходи, прошу тебя. Много ли нам надо?..

— Не в этом дело, — вздохнул Сергей Митрофанович и, приоткрыв дверь, крикнул: — Мама! — И громче повторил: — Мама!

— Чего тебе? — недовольно откликнулась старуха и звякнула ведром, давая понять, что человек оца занятой и отвлекаться ей некогда.

— Иди-ка в избу.

Панина мать была когда-то женщиной компанейской, попивала, и не только по праздникам, а теперь изображала из себя святую постницу. Явившись в избу, она увидела бутылку на столе и заворчала:

— С каких это радостей? Вторую группу дали?

— На третьей оставили.

— На третьей. Они те вторую уж на том свете вырешат...

— Садись давай, не ворчи.

— Есть когда мне рассиживаться... Овощи-те кто рыть будет?

Панина мать и сама Паня много лет назад уехали из северной усольской деревни, но говор пермьяцкий так и не истребился в них.

— Сколько там и овощи-то! Четыре редьки, десяток морковки! — сказала Паня. — Садись, приглашают дак.

Старуха побренчала умывальником, под села бочком к столу, взяла бутылку с ярко размалеванной наклейкой.

— Эко налепили на бутылку-те! Дорого небось?

— Не дороже денег, — возразила Паня, как бы поддерживая мужа в вольных расходах.

— Ску-у-усна! — сказала Панина мать, церемонно выпив рюмочку, и Сергей Митрофанович вспомнил, как парень в кепке обсасывал сыр с пальца. — Ты че жмешша, Паранька? — рассердилась старуха. — И где-

то куружовник маринованный есть, огурчики. У нас все есть! — гордо стукнула она кулаком в грудь и метнулась в подполье.

После второй рюмки она сказала:

— На меня не напасешша, — и ушла, оставив мужа с женой наедине.

Сергей Митрофанович сидел в переднем углу, отвалившись загылком на стену, прикрыв глаза. Деревяшка, вытертая тряпкой, сушилась на шестке русской печи, и без нее было легко ноге, легко телу.

Убрав лишнее со стола, Паня подсела к мужу, обняла его:

— Спел бы хоть. Редко ты петь стал.

— Слушай! — открыл глаза Сергей Митрофанович, и где-то в глубине их разглядела Паня боль. — Я ведь так вроде бы и не сказал ни разу, что люблю тебя?

Паня вздрогнула, отстранилась от мужа, и по лицу ее прошел испуг.

— Что ты! Что ты! Бог с тобой!..

— Так вот и проживешь жизнь, а главного-то и не сделаешь.

— Да не пугай ты меня-а!

Он нашарил ее, притиснул к себе. Затылок жены казался под ладонью детски-беспомощным. Паня утихла под его рукою и лица не поднимала, стеснялась, видно.

Потом она ласково провела ладонью по его лицу. Ладонь была в мозолях, цеплялась за непробритые щеки. «Шороховитые», — вспомнил он. Паня уютно припала к его плечу.

— Родной ты мой, единственный! Тебе чтоб все счастливые были, да как же это устроить-то?

— Старенькие мы с тобой становимся, — чувствуя под рукою заострившиеся позвонки ее спины, чуть слышно произнес Сергей Митрофанович.

— Ну уж...

— Старенькие, старенькие, — настаивал он и, отстранив жену, попросил: — Налей-ка по последней. Выпьем с тобой за всех нас, стареньких. — И сам себя перебил: — Да нет, пусть за нас другие, коли вспомнят. А мы с тобой за ребяташек. Едут где-то сейчас...

Паня проворно порхнула со скамьи, налила рюмки с краями, когда выпили, со звуком поцеловала его в губы и прикрылась после этого платком.

— Эко вас, окаянных! — заворчала старуха в сенях. — Никак не на милуются! Ораву бы детишков — некогда челомкаться-то сделалось бы!..

У Сергея Митрофановича дрогнули веки, сразу беспомощным сделалось лицо его, непробритое на впалых щеках и под нижней губой, — ударила старуха в самое больное место.

«Вечно языком своим долгим болтает! Да ведь что? — хотела сказать Паня. — Детишки, они пока малы — хорошо, а потом видишь вот — отколупывать от сердца надо...» Но за многие годы она научилась поднимать, что и когда говорить надо.

— Наплевай ты на нее! Пой лучше. Может, на душе полегчает.

Сергей Митрофанович посидел, зажав в горсть лицо, и тихо, ровно бы для себя, запел:

Соловьем залетным
Юность пролетела...

Паня слушала, слушала и заткнула рот платком. Она сама не понимала, почему плачет, и любила в эти минуты своего Сергея так, что скажи он ей сейчас — пойди и прими смерть, и она пошла бы и приняла бы смерть без страха, с горьким счастьем в сердце.

Не отнимая рук ото рта и плохо видя его сквозь слезы, Паня причитала про себя: «Ой, Митрофанович! Ой, солдат ты мой одноногий!..

Так, видно, и не избыть тебе войну до гробовой доски. Где твоя память бродит сейчас? Запахали окопы-те, хлебом зарóстили, а ты все тама, все тама...»

— Еще тую. Про нас с тобой.

— А-а, про нас. Ну давай про нас:

Ясным ли днем
Или ночью угрюмою...

И снова увидел Сергей Митрофанович перед собой стриженных ребят, нарядную зареванную девчущку, бегущую за вагоном. Эта песня была и про них.

Старухи на завалине слушали и сморкались. Панина мать жалостно рассказывала в который уж раз:

— В ансамблю его звали, он, простофиля, не дал согласия.

— Дак и то посуди, кума: если бы все по асаблям да по хорам, кому бы тогда воевать да робить?

— Неправильные твои слова, Анкудиновна. Воевать и робить всякий может. А талан богом даден. Зачем он даден? Для дела даден.

— Талан у каждого человека есть, да распоряженье на него не выдано.

— Вот у меня талан был — детей рожать...

— Этих таланов у нас у всех излишек.

— Тиша, бабы, слушайте.

Но просудачили песню старухи. Подождали они еще, позевали и, которые крестясь, а которые просто так, разошлись по домам.

На поселок опустилась ночь. Из низины, от речки тянуло по ложкам изморозью, и скоро на траве выступил иней. Начало выбелять огороды, отаву на покосах, крыши домов. Стояли недвижные леса, и цепенел на них последний лист.

Шорохом и звоном наполнится утром лес, а пока над поселком плыло темное небо с яркими игластыми звездами. Такие вызревшие звезды бывают лишь осенью.

Покой был на земле. Спали люди. И где-то в чужой стороне вечным сном спал орудийный расчет, много орудийных расчетов. Отяжеленная металлом и кровью многих войн, земля безропотно принимала осколки, глушила собою отзвуки битв, но в теле старого солдата война жила неизбежно. Он всегда слышал ее в себе.



ПУБЛИЦИСТИКА

В. МОЕВ

★

ВОКРУГ АВТОМОБИЛЯ

Дата рождения советского автомобиля приходится на тот же знаменательный день 7 ноября, когда наша страна празднует годовщины Октябрьской революции. Это красноречивая связь, хотя по возрасту наше автостроение на семь лет моложе советского строя: оно ведет летоисчисление от 7 ноября 1924 года, когда вместе с демонстрацией по Красной площади прошли первые десять грузовиков «АМО-Ф-15», собранные накануне и еще не просохшие после ночной окраски.

В нынешнем юбилейном году автостроители и автотранспортники могут отчитаться в пройденном ими большом пути и больших успехах. Однако дело не только в парадном рапорте. Самое значительное в том, что теперь начинается новый, поворотный-ответственный этап автомобилизации страны.

Первые контуры этого этапа четко очерчены нынешней пятилеткой; они куда сложнее и масштабнее, чем это было в предыдущих планах. Речь идет о качественном изменении самого развития автостроения. Автомобиль будет играть роль несравненно более значительную, чем прежде, и в жизни страны, и в жизни каждого из нас.

Поэтому-то и небезынтересно оглянуться на пройденный путь и подумать о месте автомобиля в сегодняшней и завтрашней жизни.

НАЧАЛО

Десять амовских грузовиков 1924 года подвели в своей области итог восстановления хозяйства в самые первые годы советской власти, когда рабочие возвращались с фронтов гражданской войны к покинутому производству и налаживали его заново, чувствуя себя теперь уже его хозяевами. Не сразу наладилось руководство хозяйственным организмом страны, но в каждой его клеточке пробуждалась жизнь и устремлялась навстречу большой политике Советского государства.

Так было, в частности, и на заводе Московского автомобильного общества. В той, правда, разнице, что самого завода фактически еще не существовало. В Тюфелевой роще была лишь начатая и брошенная Рябушинскими на полдороге стройка цехов. Еще меньше продвинулось дело на строительстве других мелких автозаводов (в Ярославле, Нахичевани и других).

В дореволюционной России вообще не было своего автостроения, так что нечего было и восстанавливать. Рабочим АМО пришлось сначала достраивать завод, и вот в 1924 году они смогли начать выпуск грузовиков. В последующие три года здесь и на Ярославском заводе сделали примерно тысячу автомобилей. Понятно, что это никак еще не определяло нашей программы автостроения.

Восстановление касалось всех сторон экономики более или менее равномерно. Хозяйство страны оживало в своем традиционном облике, со свойственными ему пропорциями. Большевики понимали, что это восстановленное хозяйство сохраняло все черты хозяйства старой России, но они не собирались мириться с этим.

К концу восстановительного периода, после XIV съезда партии, страна вооружилась принципиально новой программой хозяйствования. Она предусматривала полную реконструкцию своей экономики. Основу новой политики составлял ленинский курс на индустриализацию, на форсированное развитие тяжелой промышленности, средств производства.

На что в этих условиях могло рассчитывать новорожденное автостроение? Что было для него вероятнее — крутой подъем или медленное становление?

Теперь нам кажется, что и спрашивать-то было нечего — когда ответ известен, все давние вопросы выглядят легкими. Автомобили обжились среди нас так, будто присутствовали сроду. И, конечно, трудно вообразить время, когда их не было, а был вопрос: нужны ли они?

До этого страна была знакома только с привозными машинами по большей части «роскошного» класса — в свое время их выписывали для себя богачи. Автопарк отличался такой пестротой, что каждая модель была в среднем представлена лишь четырьмя машинами. Всего автомобилей в стране насчитывалось тогда около восемнадцати тысяч, причем добрая треть их была уже скорее железным ломом, а остальные чаще ремонтировались, чем ходили.

Любопытно, может быть, вспомнить, что в начальном варианте первого пятилетнего плана, в так называемой «госплановской пятилетке», автомобильное дело сколько-нибудь существенного отражения не нашло. Любопытно не как напоминание о давнем упущении — перед госплановскими работниками тогда впервые поднялась гора куда более важных проблем, — а как выразительное свидетельство тогдашней сложности и неясности самого вопроса.

Вопрос оставался открытым и спорным до тех пор, пока, после глубокого осмысления, правительство в ряде решений не выразило новую, целостную программу в области автостроения.

Летом 1927 года на страницах «Правды» завязалась горячая дискуссия, вызванная статьями Н. Осинского под названием «Американский автомобиль или российская телега?». Впервые столкнувшиеся тогда мысли об автомобилизации нашей страны до сих пор интересны.

«Запальщик» дискуссии Н. Осинский — видный государственный деятель, в то время возглавлявший ЦСУ, а затем и добровольное общество «Автодор», — стоял за широкий размах дела, за то, чтобы через десять—пятнадцать лет «посадить на автомашину каждого рабочего и крестьянина СССР». Однако нашлись оппоненты, которые, напротив, советовали не спешить — на том основании, что рано, мол, с нашим бездорожьем заводить автомобили, да и темный русский мужик до них пока не дорос. Но несостоятельность этих аргументов обнаружилась тут же. В «Правду» пошла масса писем, в которых читатели писали, что голосуют за технику безоговорочно, рассказывали, как машина прокладывает дорогу к мужицкому сердцу. «Автомобиль строит дороги», — хорошо и точно откликнулся, например, голос из маленькой Тотьмы, отвечая тем самым на вопрос о пресловутом бездорожье.

Сложнее оказалось разобраться в другом: если строить машины, то какие, сколько, зачем?

Н. Осинский считал, что главное — наладить массовый выпуск легковых машин для личного пользования, без этого-де — при ставке только на общественный транспорт — автомобилизация останется на бумаге; образец для подражания — Соединенные Штаты. Да и что за автомобилизация, спрашивал Н. Осинский, без выпуска легковых машин, если во всем мировом производстве именно они составляют львиную долю, а все прочие — несущественную добавку? Вывод напрашивался сам собой: либо надо начинать, как все, либо не браться вовсе.

Перспектива «посадить на автомашину каждого рабочего и крестьянина СССР» выглядела, конечно, заманчиво. Верно говорилось и о дешевых машинах в США. Но тот же самый пример заставлял и задуматься.

Как раз в те годы газетчики проводили обследование среди владельцев машин среднего американского города. Для этого и город выбрали с названием Мидлтаун (буквально — «средний город»). Машины оказались у половины опрошенных рабочих. А заглянув к ним в дом, обследователи растерялись: половина владельцев машин уютилась в лачугах без всяких удобств. В нашумевших записках «Сегодня и завтра» сам Генри Форд хвастал, что фунт его машины стоит дешевле фунта бифштекса, и в его неожиданной параллели реклама машины тускнела перед признанием дороговизны жизни.

Действительность тех лет в США демонстрировала кривизну буржуазного прогресса. Случай послал в автостроение инженерный и организаторский гений Форда — казалось бы, что плохого? Но дальше заработал механизм наживы и перекошил, опрокинул с ног на голову все естественные понятия об улучшении жизни. Машина оказалась для людей доступнее ванны, а к уверенности в завтрашней работе, ночлеге и ужине они не продвинулись ни на шаг. Остались безработица и все прежнее бремя житейских тягот.

Для буржуазных условий все это было в порядке вещей, но Россия для того и совершила революцию, чтобы покончить с такой кривизной. Советская власть в первую очередь заботилась о разрешении насущных, фундаментальных проблем социального обеспечения, о том, чтобы дать каждому работу и уверенность в будущем, открыть доступ к образованию, предоставить бесплатное медицинское обслуживание, позаботиться о жилье. Отдать деньги на легкое автостроение — означало отрывать их от первых нужд ради пятых.

Вот почему наша страна избрала новый, непривычный для мировой практики путь: начать широкую автомобилизацию, но центр тяжести ее перенести на грузовые автомобили.

Теперь и это решение нам кажется естественным. Страна была озабочена подъемом производительных сил и потому, понятно, автомобиль взяла тоже в его самой производственной роли. Но в этой логике опять сбрасывается со счетов фактор времени. Разумеется, как тактический маневр, решение было единственно верным. Но чтобы пойти на это, надо было сначала осознать, я бы даже сказал, открыть, что хозяйству потребуется масса грузовых машин. Это и было сделано нашей молодой хозяйственной наукой.

Почему же надо было именно «открыть»? Не слишком ли это сильно сказано? Попытаемся хотя бы мимоходом заглянуть в историю становления автомобиля.

Незадолго до его пришествия произошла первая транспортная революция: появились железные дороги. Они скоро зарекомендовали себя новыми и надежными грузовозами, так что дальнейшие инженерные заботы о грузовой технике временно отступили в тень. В одной Англии, кажется, только кое-где доживали свой век первые паровые автомобили. Вторично, с двигателем внутреннего сгорания, автомобиль родился уже после железных дорог и стал расти как экипаж сугубо пассажирский. Первые «бензиновые тележки» строились чаще открытыми, иногда трехколесными и больше напоминали будущие мотоциклы. Новый, бензиновый франко-германо-американский автомобиль начал свою карьеру в первой весовой категории и набирался сил и солидности постепенно.

В начале столетия, впрочем, существовали уже и грузовики, — после первой мировой войны лорд Керзон успел даже провозгласить «победу моторов Согласия над германскими железными дорогами». Но нигде еще общественную мысль не направляло предвидение того, что завтра одних железных дорог станет мало, что появится много работы и для грузовых машин. Никто еще крупно не ставил на них, заглядывая вперед.

Наша страна сделала это, и обоснованность расчета подтверждалась чем дальше, тем больше. Скоро спрос на грузовики начал быстро расти в хозяйстве

всех развитых стран. После войны даже в далекой от социализма Японии выпуск грузовиков долго преобладал над легковыми машинами, правда, легковое автомобилестроение тоже шло там все годы вперед большими шагами... Уже в 1937 году СССР вышел по производству грузовиков на первое место в Европе и уступал только Соединенным Штатам. Таков был смысл автомобильной политики тех лет. Но страна отдавала себе отчет и в том, что это не более чем временная политика ограниченных возможностей. И тут надо еще раз вернуться к легковым машинам.

Говоря теперь о прошлом, мы нередко ограничиваемся указанием на своеобразие принятого курса, и только. Тогда недостает полноты картины, неверно представляется, будто с «признанием» грузовиков тень небрежения в свою очередь легла на легковые машины, как на пустык или даже вредную роскошь. В действительности ничего похожего не было. Никому не приходило на ум выдавать необходимость за добродетель.

Напротив, для своего времени и легковым машинам отводилось в общем выпуске известное место. «Правда» своими выступлениями стремилась развеять навивное и довольно тогда распространенное заблуждение, будто машина — «буржуазный» экипаж, в который стыдно садиться сознательному рабочему. На ее страницах отмечалось, что куда «буржуазнее» гнаться в моделях за дорогостоящей импозантностью, что накладно везде держать служебных шоферов, а надо, чтобы все учились водить машины и осваивались с их присутствием. Началась огромная и плодотворная работа «Автодора».

Все это как раз теперь, может быть, особенно полезно припомнить. Потому что, делая гораздо больше машин, чем когда-либо, собираясь делать и того больше, мы позабыли само слово «автомобилизация». Вспомнить же о нем стоит, и не ради придачи делу кампанейского оттенка, а потому что автомобилизация — это очень широкий процесс. Помимо производства, она связана со многими другими сторонами жизни и для успеха требует своего общественного настроения, руководства мыслями, вкусами, всей суммой неотвратимо идущих перемен в укладе нашей жизни.

* * *

В ряде правительственных актов 1928—1930 годов дела дорожного и автомобильного строительства получили уже новое освещение, определились и общая хозяйственная линия, и рабочие задания на первую пятилетку.

Было решено без промедления приступить к строительству нового автозавода в Нижнем Новгороде (Горьком) с выпуском ста сорока тысяч машин в год, реконструировать производство (И. А. Лихачев говорил: «Пришить пальто к пуговице») на Московском автозаводе так, чтобы он давал двадцать пять тысяч машин, и расширить выпуск тяжелых грузовиков до десяти тысяч в год на Ярославском заводе.

Сравнения ради стоит напомнить, что автомобильная политика в дореволюционной России определилась в 1915 году намерением построить шесть мелких заводов с общим производством в десять тысяч машин в год. Но какое же тут сравнение? Та Россия заведомо ставила себя в арьергард автомобилизации, потому что в 1912 году Форд продал уже тридцать четыре тысячи машин, в Европе работали заводы, дававшие по десять—двадцать тысяч автомобилей каждый.

Строительство, намеченное первой пятилеткой, сразу вело к образованию новой и значительной отрасли промышленности, в которой предпочтение было отдано строительству комбинатов, где каждый обладает всем положенным в устройстве набором производств.

Автостроение знало уже и другой способ организации производства: с помощью цепочки заводов, один из которых делает, скажем, только моторы, другой — шасси, третий — кузова, а четвертый, например, ведет чистую сборку. Касаться достоинств такого разделения труда, как и всякой специализации, едва ли надо, они общеизвестны. Но всякое преимущество одновременно и обяывает, а специа-

лизация обязывает в первую очередь к четкой координации в звеньях, к высокой организации производственных взаимоотношений. В этом направлении перед молодой советской экономикой лежало мало освоенное поле, можно даже сказать чуть ли не самое бугристое поле, на котором до сих пор порядочно помех для четкой специализации.

Много и других причин предопределяло обращение к форме комбинатов, она возобладала и запечатлелась на самом внешнем облике заводов.

Нынешней зимой мне представился случай увидеть Горьковский автозавод лежащим как на ладони. Так он открывается с крыши ТЭЦ, места в своем роде примечательного. Отсюда заводом любовались, когда он был только что построен. Здесь, судя по стихам, к Демьяну Бедному пришли известные строки об автогиганте — «сказке — из железа и бетона».

Картина осталась впечатляющей по сей день.

В том, как безошибочно, с геометрической точностью сходились линии корпусов, четко вырисовывалась сама идея комбината. Затрудняясь объединить многоголикое производство иначе, его сцементировали инженерно. Экономика приняла форму конструкций.

Здесь думалось и о том, какая сложная работа была у строителей огромного завода. Решение строить мелкие заводы не годилось, потому что означало отсталость. Для обращения к специализированным заводам не созрели условия. Форма комбината подходила больше всего, но выдвигала и новое осложнение — массу работ, связанных в один узел.

Я зашел в заводской музей разузнать о подробностях строительства. Там оказалось много любопытных документов, и мне довелось познакомиться с увлекательной рассказчицей Клавдией Никитичной Шагановой, которая строила завод и работала на нем всю жизнь.

К. Н. Шаганова шла с экскурсией десятиклассников. Когда кто-то из ребят не понял выражения «коза» (надо или не надо напомнить?) — были такие носилки для кирпича), она очень интересно рассказала об этой самой «козе», о том, какая тяжелая была тогда работа и как ставились фанерные бараки, чтоб не повалило ветром.

В 1929 году на месте автозавода до самой Оки лежала болотистая низина, поросшая осиновым редколесьем. Когда в эту почву опустили заделанный в свинец пакет с актом о начале строительства, болоту противостояли силы довольно скромные.

Если посчитать технику, то был десяток экскаваторов — их ковши все вместе вдвое уступали одному современному; еще были тачки, лопаты и те самые «козы» — носилки. Самый большой заводской пресс — «гамилтон» — с его многотонными частями монтировали без крана, хотя по срокам даже быстрее положенного.

Был небольшой круг специалистов, впрочем высокой квалификации, был костяк рабочих из Нижнего и Сормова, а остальные — деревенский народ, никогда не видавший ни стройки, ни автомобиля (есть фотография: около «форда» стоят с котомочками, один взялся за нательный крест). Шутка сказать, у восьмидесяти восьми процентов работавших на заводе образование было начальное, а то и вовсе не было.

Можно понять, отчего иностранные специалисты, озираясь на строителей и стройку, пожимали плечами. Вчуже глядя, силы казались слабоваты. А ведь построили заводище, да притом всего за семнадцать месяцев! Нам хорошо известны те подлинные силы, которые действовали и здесь, и на других стройках пятилеток, — народный героизм, помощь страны, соревнование, большевистская страсть. И все же вообразить, как это все построили, трудно. Может быть, трудно потому, что для силы духа не придумано единиц измерения.

Двадцать девятого января 1932 года с горьковского конвейера торжественно свели первую машину. Началась без передышки следующая полоса напряже-

ния — налаживали производство, обучали строителей заводским профессиям, вводили брак, тянули выпуск к проектной мощности.

Этот год для всей страны стал первой ступенькой к широкому производству автомобилей. Еще в 1931 году было сделано всего четыре тысячи машин, а тут сразу — двадцать четыре тысячи, на следующий год дошло почти до пятидесяти тысяч, а в 1938 году выпуск перевалил за двести тысяч машин. Шло время решительного, многообещающего подъема автостроения, и думается, причиной этому в равной степени служили самоотверженный труд и глубоко осмысленная хозяйственная линия.

ПЯТИЛЕТКА ЗА ПЯТИЛЕТКОЙ

Война, причинившая огромный ущерб всей нашей стране, тяжело сказалась и на автостроении. Московскому автозаводу пришлось эвакуироваться, Горьковский сильно пострадал от регулярных бомбежек. Производство переключалось на боевую технику, выпуск легковых машин остановился совсем. Вместе со всем народом автостроители делали самое необходимое в тылу и сражались на фронте.

За время войны по выпуску автомобилей страна оказалась отодвинутой к уровню 1934 года. А если вспомнить, что крупное производство машин существовало у нас всего с 1932 года, то окажется, что пришлось еще раз начинать очень издавна. Но от военной отметки производство стало уходить быстро. В 1948 году оно уже превзошло довоенный уровень и продолжало набирать высоту. Всего за послевоенное время автостроители дали стране больше девяти миллионов машин.

К подробному разговору о количественной стороне выпуска машин мы вернемся дальше, в связи с планами новой пятилетки. А прежде того стоит остановиться на важных качественных переменах в автомобильном деле, которые знаменовали решение одних проблем и возникновение других.

* * *

Послевоенное восстановление и развитие хозяйства дало сильный толчок к расширению автостроительной географии.

После эвакуации Московского автозавода на Урале возникло новое производство грузовиков «УралЗИС» (позже «Урал»). В 1945 году началось строительство самого крупного из послевоенных — Минского автозавода. В начале пятидесятых годов приступили к работе автомобильные предприятия в Ульяновске, Львове, Кутаиси, Одессе, Павлове. Новые адреса прибавлялись и дальше: Жодино, Могилев, Кременчуг, Рига, Ликино... Стало уже трудно перечислить все, называя даже только заводы, известные по готовой продукции. А ведь одновременно росли и смежные, и вспомогательные, и прочие производства.

Какими же росли молодые автомобильные заводы? Возникал ли каждый «на голом месте»? Обретали ли они знакомую форму комбинатов или развивались иначе? Односложный ответ на это дать трудно.

Чаще всего предприятия рождались в тесной связи с заводами-ветеранами. Нередко им поручалось дублировать сборку существующих массовых моделей, или производство таких моделей передавалось сюда полностью, «на зубок» новорожденному.

Вывоз сборки с головного предприятия и распределение ее по разным местам — серьезное требование автостроительной экономики. Как ни парадоксально, но транспортные машины нетранспортабельны. Стоит погрузить колеса на колеса — и получается громоздко, неплотно, накладно. Недаром еще старый Форд держался принципа: производство — ближе к сырью, сборку — ближе к потребителю. Выгода такого разделения вполне оправдывает устройство сборочных пунктов «насовсем», а не только для закваски новых самостоятельных заводов.

В характере же наших молодых автосборочных производств как раз стало обнаруживаться много строптивой тяги именно к самостоятельности. На них появлялись свои конструкторы (повод всегда находился: дали новую модель — дотянуть, дали старую — модернизировать), и скоро — порой замечательно скоро! — из заводских ворот уже показывалась машина с собственной маркой.

Так, Львовский автобусный завод в драматическом соперничестве с предложенным ему автобусом «ЗИЛ-155» за два года в головокружительном темпе создал, отладил и двинул в серию автобус «Львов», который вскоре же привез Гранпри из Брюсселя. Из Латвии явился автобусик «Спридитис» (в переводе — «мальчик с пальчик»). В Ульяновске на базе «ГАЗ-69» выросли принятые нарзахват фургончики «УАЗ». Грузинские автостроители, начавшие со сборки грузовых «ЗИЛ-150», выдвинулись с «колхидами». А в Белоруссии случилось даже подобие дуплета. Минский автомобильный завод, получив для разгона ярославские семитонки, создал в ряду своих марок «МАЗ-525» и перебросил его производство в Жодино. Тут Белорусский автомобильный завод на смену «дареной» модели вывел блистательную стаю своих грузовозов, родоначальник которых «БелАЗ-540» привез золото и из Брюсселя, и с юбилейной выставки в Лейпциге. Нынче впервые отправился за рубеж сорокатонный самосвал, и тоже награда — в Лейпциге.

Не правда ли, выразительный оборот дела? И далеко не такой простой по природе. Здесь ничего нельзя сбросить со счетов, начиная от естественного хода совершенствования конструкций (на всех заводах они улучшались!) и кончая добрым соперничеством («сами можем не хуже!»). Но не служило ли подоплекой всего и предопределением успеха нечто общее, главное? Думается, такой подосновой была потребность хозяйства в разных машинах и производственное преимущество отдельного выпуска разных машин.

Тут мы касаемся новой стороны автостроительной специализации. Уже говорилось о том, что первые заводы были комбинатами, то есть сами себе готовили все узлы и агрегаты. Притом они были и универсальными комбинатами. Как в Москве, так и в Горьком делались в тесном соседстве и грузовики, и автобусы, и легкие машины. Именно этот порядок и стал изменяться первым. От заводоветеранов отпочковывались прежде всего производства, специализированные по выпуску. Разделение проводилось, конечно, вполне сознательно, но, вероятно, недостаточно энергично, решительно. Поэтому получила благоприятную почву и инициатива «снизу», со стороны молодых производств. Задуманное как сборочное, специализированное в операционном смысле, такое производство вставало на собственные ноги. Одновременно менялся его профиль: от операционной специализации переходили к специализации по типу машины, остро нужной хозяйству.

Автостроительная специализация (пока у нас неглубокая) заметнее сказывалась в том, что разные заводы выпускали разные машины, нежели в развитии принципа долевого участия в их производстве. Это и понятно. Ко второму пути зовет лишь экономическая целесообразность, желание снизить себестоимость изделий, повысить их качество, а по первому пути ведет потребность хозяйства в разных машинах, точно отвечающих своему назначению, — то есть прямая производственная нужда, которая всегда «первее» экономической.

Из этого, однако, едва ли правильно было бы сделать однозначный вывод для автостроительной политики. Опасно было бы забыть, что обе стороны специализации тесно связаны. Одна вызывает и другую либо расшатывается сама. За наглядностью попробуем обратиться к примеру двух заводов, одного молодого, а другого ветерана. Куда ведет их дальнейшее развитие?

Горьковский автогигант, отпочковавший от себя некогда Московский завод малолитражек и Павловский автобусный, вступил как бы в новую стадию. Вмешав в себя, как семечко, целую автостроительную отрасль, комбинат, по дальнейшему сходству с тем же самым семечком, стал «прорастать», выпускать побегов производств, образующих уже настоящий отраслевой куст. Из его лона вышли

Заволжский моторный завод, Арзамасский завод запасных частей, под его эгидой строятся, чтобы получить самостоятельность, заводы коробок скоростей, пресс-форм, задних мостов. Движение к поагрегатной специализации — самое явное.

А что тем временем происходит на белорусской земле, с молодым «БелАЗом»? Оказывается, нечто противоположное.

Тщанием совнархоза завод предназначался для производства сверхтяжелых грузовиков. Чтобы обеспечить их выпуск, специализированному предприятию придали более полутысячи заводов — поставщиков узлов и деталей. Проект полностью освобождал БелАЗ от собственных заготовительных, вспомогательных, ремонтных служб. Кажется, задумано было неплохо. И что же? Теперь директор И. Р. Сидорович сокрушается: «Оборвали нам руки-ноги».

И вот специализированное предприятие начало разбухать. Оно принимает к себе от поставщиков то одно, то другое новое производство — радиаторов, фильтров грубой очистки, штампов, нормалей... Причем принимает и скорбя и радуясь. Здесь с наболевшей решимостью говорят: «Могли бы — завтра же начали бы сами лить металл».

Вот уже и металл лить, только что не руду добывать. На одном полюсе завод-ветеран освобождается от целых производств, а на другом молодой завод стремится их заполучить. Отчего этот тревожный контраст?

Думаю, никто не заподозрит руководителей завода, дающего новейшую технику, растущего, как на дрожжах, в отсталости мышления или особом пристрастии к натуральному хозяйству. Причина иная.

Производственные связи с завода тянутся чаще всего не к самостоятельным специализированным предприятиям, а к соответствующим базам (заготовительным, агрегатным и т. п.) на других заводах, ведущих выпуск и собственных законченных машин. Из-за этого кооперативные поставки очень ненадежны, неустойчивы. Мало что достигается здесь и дисциплинарными мерами. После усиления ответственности за кооперативные поставки заводы предпочитают вовсе уклоняться от кооперации.

Значит, выход один: самостоятельные специализированные предприятия — поставщики узлов и агрегатов. Они все нужнее в автостроении, и их надо создавать, если мы не хотим, чтобы молодые автозаводы вынужденно подвигались к облику комбинатов.

* * *

В военные годы, когда автостроительное производство сокращалось, шел глубокий процесс возмужания конструкторской мысли.

Что послужило тому причиной? Обогастило ли взгляды близкое знакомство с разнородной и разноплеменной военной техникой? Или сказалось вдохновение, прилившее с победой? Должно быть, все разом.

Во всяком случае в первых же послевоенных моделях — новая степень зрелости. Особенно хороши оказались машины Горьковского автозавода — грузовая «ГАЗ-51» и легковая «Победа». Грузовик, знакомый, должно быть, каждому, выстоял в производстве двадцать один год. Его пример оставляет позади и знаменитую фордовскую «золотую» модель «Т». Что касается «Победы», то ее достоинства еще известней. Можно разве заметить, что она продолжает производственную жизнь в польской «Варшаве», а оригинальность конструкции («Победа» была первой в мире машиной с единым объемом кузова, без приставных крыльев) стала общей нормой.

Новыми удачами ознаменовалась и широкая смена моделей в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов. Советское автостроение отличали особо высокие достижения в надежности, долговечности, работоспособности техники и удобство ее обслуживания.

Отечественные машины стали встречать все больше одобрения и внутри страны, и за рубежом — на выставках, ярмарках, в автомобильных салонах, во время пробегов и наконец в самой международной торговле. В 1956 году появилось

всесоюзное объединение «Автоэкспорт», его связи с миром стали быстро множиться. Вывоз автопродукции стал одной из крупнейших статей советского экспорта.

По мере успехов поднимались и требования к конструированию. Наша страна присоединилась к международной патентной Парижской конвенции, — одно это обязывает конструкторов к творческому соперничеству со своими зарубежными коллегами. Это чревато большими последствиями как для самого конструирования, так и для связанной с ним технической политики.

Начать с внешней, заметной стороны. Журналистам еще памятли времена, когда на любом заводе в первую очередь звали посмотреть, что готовится нового. Теперь двери воспетых в стольких репортажах «творческих лабораторий» все чаще стали перед посторонними прикрываться. И объясняется это просто: для международного признания авторства требуется, чтобы разработка новых идей совершалась без оглашения.

Когда я недавно был на Горьковском автозаводе, моему спутнику фоторепортеру М. Муразову куда как хотелось сфотографировать новую, подготавливаемую в подарок пятидесятилетию Октября легковую машину. Но ничего не вышло. Ее вообще почти не было видно, она затерялась среди остальных чужеземцев.

Но бог с ними, с мелкими репортерскими огорчениями. Куда важнее сложности там, за закрытыми дверями.

В новых условиях у конструктора — три дороги. Он может нечто изобрести, тогда работа удостоится авторского свидетельства и может быть запатентована в других странах, она — «патентоспособна». Или конструктор может в общей работе использовать как частность удачное чужое решение; если оно зарубежного производства, придется тогда купить лицензию. Наконец остается и третий путь, когда ничего не изобретено, но не предвидится и расходов на покупку заимствованного. Работа, говорят, «патентно чиста».

Ясно, что три этих пути и ожидаемые на каждом результаты весьма разнятся. И на последнем пути особенно много внутренних сложностей, противоречий.

Словечки «патентная чистота» сделались весьма ходовыми на страницах самой неспециальной, широкой прессы. Часто ими воздают хвалу конструкторским стараниям. А между тем оснований для гордости здесь может и не быть. «Патентная чистота» двусмысленна. За ней может стоять добросовестная работа, и за ней же может невозбранно присутствовать рутинная. Вот, пожалуй, — настоятельно никому не рекомендуется заниматься изобретением велосипеда, а ведь если притащить на комиссию какой-нибудь ветхий «Латвело», его признают абсолютно чистым в патентном отношении. В чем дело? Оказывается, по истечении некоторого срока давности «чистота» распространяется на все бывшие новинки. Это, конечно, не значит, что отсталость обязательно всюду, где «патентная чистота». И все же неразборчивые восторги вокруг нее излишни. Ведь и в критериях ценности конструкции «патентная чистота» отвечает лишь скромному минимуму. Она есть то, что есть — знак, что у чужих порохов не заняли, но и своего не выдумали.

В сравнении с этим так ли плохо другой раз занять порохов, оплатив лицензионный счет? Техническое творчество — не стихотворное, здесь слабое слово из песни вполне удобно выкинуть и нередко выгодно заменить его купленным сильным словом. Валюта? Да, конечно, но в конструкции она утверждает более высокое достижение техники.

Теперь все чаще обращаются к этому пути. Так делают фирмы, покупающие у нас, например, лицензии на производство силикальцита или установок непрерывной разливки стали, так поступили мы, приобретя лицензию «Фиата-124» (кстати, в его конструкции заложено, кажется, около двухсот патентов и многие в свою очередь были куплены итальянцами у других стран). Другой раз лицензию бывает выгодно купить еще и потому, что это сэкономит силы конструкторов, которые вместо того, чтобы тратить энергию в поисках вариантного решения, смогут заняться поисками в новом, неизведанном направлении.

Все это так. Однако самым желательным остается максимум ярких, оригинальных, «патентоспособных» решений. Они — подлинное назначение творчества, и они же — готовый продукт, торговый обмен которым между народами становится все оживленнее. Тут мысль выступает уже в непосредственно производительной роли. Еще не соединяясь с заводским процессом, с материалом, идеи приносят готовый товар. Законченное и рентабельнейшее производство товара — вот что в современных условиях может уже стоять за туманной вывеской «творческая лаборатория».

Естественно поэтому задуматься: а какая организационная форма лучше подходит конструкторскому производству? Та ли, что постепенно сложилась, или уже иная?

Нынешняя вызывает немалые нарекания. Конструкторов, тесно связанных с производством, она обременяет множеством мелочных, нетворческих обуз и хлопот. В качестве живой иллюстрации мне вспоминается обстановка бесед с главным конструктором Белорусского автозавода Э. Л. Сироткиным. Два дня мы встречались для разговоров, и два дня главного конструктора (главного!) преследовал, как гоголевская «красная свитка», несуразный «лист 16 миллиметров», завезенный на завод вместо другого, нужного. Лист требовал перепроверок в чертежах, может быть, чисто производственных поправок. И он зудел и зудел по телефону, собирал вокруг себя консультации — словом, явно воровал у инженеров время. Редкостный случай? Скорее правило. Многие конструкторы оценивают аналогичные потери времени в пятьдесят и больше процентов.

Другая беда существующей организации — малолюдность конструкторских коллективов. А в связи с тем, что они возникают на все новых и новых заводах, идет и дополнительное дробление сил. При такой системе возможны и параллелизм и разногласия в работах, но самым неприятным остается все же малосилие перед современными задачами. Коллектив в сто — полтораста проектировщиков и чертежников — разве это много, когда в иных зарубежных фирмах одних художников-конструкторов насчитываются сотни? Причем характерно: заводов в такой фирме может быть много, а конструкторский центр обыкновенно один.

Не подвергает ли время сомнению саму нашу привычку к тому, чтобы место конструкторов обязательно было рядом с заводууправлением и с главным конвейером?

К мысли, что новые требования перерастают сложившуюся организацию конструкторской службы, приходилось уже обращаться и прежде. В последнем опыте как раз попробовали освободить заводских конструкторов от подчинения своему предприятию. Проба, однако, успеха не имела. Первое, что нужно конструкторам для нормальной работы, — своя экспериментальная база, а в том опыте они скорее обеднели, нежели разжились.

А новый путь все же надо искать. Нынче в разговорах с конструкторами приходится слышать об идее крупных конструкторских центров, специализированных по классам машин, и, конечно, с сильной экспериментально-производственной базой. Главное, что может напугать предприятия в таком решении — вдруг «сверху» пойдут сырые модели? Это и должна предотвратить своя производственная база. Как на удачный пример часто показывают на авиационное конструирование. И в самом деле, здесь многому можно было бы поучиться.

Специалистам, конечно, видней, как лучше для дела, но ясно, что нужно искать пути концентрации и усиления конструкторских коллективов, передать им больше прав, ответственности и самостоятельности, как это и положено в отрасли, производящей высокие ценности.

* * *

В последнее десятилетие произошел и еще один важный сдвиг в автомобильном деле — оформилась самостоятельная автотранспортная отрасль народного хозяйства.

Оформилась теперь? А как же было раньше?

В начале нашего автостроения, как замечалось уже, ориентация на массовый выпуск грузовиков была большим новшеством. Можно ли требовать, чтобы тогда же сразу выяснилось и то, как лучше организовать работу машин?

Существовал железнодорожный, водный, воздушный транспорт, а автомобильного, как такового, не было.

Готовые машины непосредственно передавались различным ведомствам, заводам, стройкам.

Тот же порядок начал восстанавливаться и после войны. Новые машины расходились по десяткам тысяч адресов, к десяткам тысяч ведомственных владельцев. И редко где автомобилями собиралось больше десятка кряду. В карликовых хозяйствах обслуживались они полукустарно и использовались, как придется.

Между тем с войны остался и другой опыт — когда машины, собранные в специальные части, совершали серьезную массированную работу. Достаточно напомнить пример ленинградской ледовой «дороги жизни» — прообраз совсем иной организации дела.

Этот опыт не забылся совсем. Продолжить его очень старались, например, московские автотранспортники. В 1950 году они наладили централизованную перевозку кирпича, и позволительно сказать, что это был первый кирпич, который лег в основание дальнейшей большой работы.

По решению XX съезда партии по всей стране началось объединение машин в крупные самостоятельные автохозяйства и объединение этих автохозяйств в самостоятельную обслуживающую отрасль. К 1963 году закрылись десятки тысяч мелких гаражей и уже почти половина автопарка страны сосредоточилась в новых, хозрасчетных автомобильных предприятиях. Развертывание автотранспортной отрасли пошло дальше, и трудно переоценить важность и далеко ведущие следствия этого процесса, едва ли не самого значительного для судеб автомобилизации.

Молодая отрасль выделилась живостью, свободой от инерции привычек, интересом к техническому и экономическому прогрессу. Случайно ли, что именно автотранспортники (особенно столичные) среди первых повели те эксперименты, которые подготовили нынешнюю экономическую реформу в промышленности? Думается, не случайно.

В руках новых хозяев оказалась большая сила. Крупные автопредприятия впервые смогли создать современные, механизированные базы технического обслуживания машин. В итоге в Москве, например, из каждых ста машин стали ежедневно выходить на работу девяносто четыре, тогда как прежде таких набиралось пятьдесят—шестьдесят. Стала меняться и сама работа машин на линиях. Появились экономические рычаги против встречных перевозок, порожних пробегов, кружных маршрутов. В общей работе все большая доля уходила к централизованным перевозкам грузов. Отсюда одновременно и снижение транспортных расходов, и рост перевозок, рост производительности машин.

Но плоды оказались и богаче того. Углубился экономический анализ грузовых потоков вообще, а в результате обнаружилось, что их лучше было бы поделить между разными видами транспорта. В частности, совсем неудовлетворительным оказалось распределение объема работы между автомобилями, с одной стороны, и железными дорогами, с другой.

В 1965 году (уже после ряда исправительных мер) оказалось все же, что железные дороги перевезли около пятисот миллионов тонн грузов на расстояние до ста километров. Пятьсот миллионов тонн — это недалеко от четверти всех железнодорожных перевозок, а сто километров — минимальный радиус действия, в котором все преимущественно (в скорости, стоимости) сохраняются за автомобилями. По зарубежной практике видно, что машины смело соперничают с железными дорогами в перевозках даже на триста—четырееста километров. Однако в 1964 году на расстояние до трехсот километров по нашим железным дорогам переправилось миллиард семьдесят миллионов тонн грузов, то есть около половины (сорок четыре процента) всех перевозок. Говоря об этих грузах, доктор тех-

нических наук профессор Д. П. Великанов замечает в «Известиях Академии наук СССР»: «Возможно, что значительную их часть было бы эффективнее перевозить автомобильным транспортом».

Отчего же грузы пошли не лучшим путем?

Половина ответа — что слаб был автотранспорт. А другая половина — что сильны были железные дороги. А сила солону ломиг...

Железные дороги выдвинулись на доминирующую транспортную роль еще в ходе довоенной реконструкции народного хозяйства. При огромной территории страны расчет на них был абсолютно верным. Он привел к выдающимся успехам. Наши рельсовые магистрали стали выполнять такую колоссальную работу, рядом с которой все, что делал прочий транспорт, кажется детской подмогой.

Однако в этом исключительном превосходстве проявились и свои теневые стороны. Железнодорожный транспорт заразился чем-то вроде экономического зазнайства. Предприятия и теперь еще часто жалуются, что он слишком глух к «чужим» интересам.

Железные дороги претендовали на особое положение. Само название ведомства — Министерство путей сообщения — говорило как будто о старшинстве. Действительно, бывший НКПС играл некогда роль объединенного комиссариата, руководя, кстати, и автотранспортным делом. Дальше название сохранилось по инерции, а сам рельсовый транспорт, прежде лишь опережавший развитие безрельсового, начал и затенять его.

Характерно, что в том самом 1956 году, когда уже говорилось об укрупнении автохозяйств, железнодорожное руководство выступало за развитие у себя и даже за утверждение в Уставе железных дорог тех самых «короткопробежных» перевозок, которые отроду суждены машинам. Та же политика выражалась в системе тарифов. Можно назвать примеры, когда для коротких перевозок по железной дороге устанавливались цены ниже себестоимости работ, в то время как на автотранспорте эти цены неизменно держались много выше себестоимости. Автомобили давали большие накопления, но отпугивали клиентов, железные дороги притягивали их — порой в убыток государству.

Так слабость автотранспорта, с одной стороны, и ведомственное давление железных дорог, с другой стороны, в немалой степени способствовали диспропорции их развития.

Теперь хозяйственные выводы из этого сделаны в самом полном объеме. Новая Программа партии выдвинула идею создания единой транспортной системы. В ее масштабах общие государственные интересы всегда могут оставаться главным мериллом, а раз так, достойное место в общем ряду займет и автомобильный транспорт.

Обращение к строительству единой транспортной системы становится рубежом, к которому привели все итоги нашего пятидесятилетнего транспортного развития.

И ЕЩЕ НАЧАЛО

В плане нынешней пятилетки предусмотрено увеличить производство автомобилей к 1970 году примерно до полутора миллионов штук, в том числе выпуск легковых машин довести до семисот—восемисот тысяч. Таким образом, план требует, чтобы за пять лет производство всех автомобилей выросло в два с лишним раза: легковых машин — почти в четыре раза, и остальных (в основном грузовиков) — больше чем в полтора раза.

Внушительность этих цифр останавливает внимание сразу. И чем дольше вдумываешься, тем больше новизны и отличия от прошлого открывается за ними. По всем графам и параграфам вместо плавного примыкания нынешнего ко вчерашнему прослеживается излом, перерыв постепенности. Задания пятилетки по автостроению вторят не букве и даже не духу предшествующих планов, а словно совсем иному, новому голосу. Какому же?

Пятилетка послевоенного восстановления 1946—1950 годов характеризовалась высокими темпами роста автостроения. Но с 1950 года они определенно и значительно снизились; любопытно, что выпуска легковых машин это не затронуло, но тем заметнее сказалось в производстве грузовиков. В целом автостроение уже не казалось прежней боевой, энергично развивающейся отраслью хозяйства.

Этого замедления роста нельзя, конечно, объяснить только «слабой» работой или невыполнением планов. Дело в том, что уже планы отводили автостроителям весьма скромное место. К автостроению словно бы охладела сама хозяйственная политика.

Каковы же причины? Ведь до войны, например, при самых стесненных обстоятельствах в автостроение направлялись крупные, концентрированные и дальноточные вложения. Постройка Горьковского автозавода, коренная реконструкция Московского, а в замыслах (по решениям XVII съезда партии) сооружение еще двух автозаводов-«стотысячников» в Уфе и Сталинграде и третьего завода с годовым производством двадцать пять тысяч тяжелых грузовиков. Отчего же так изменился подход к делу?

Не касаясь пока деталей, следует сказать, что и здесь проявились известные недостатки в руководстве экономикой страны — те недостатки, к преодолению которых партия стала прилагать много сил начиная с XX съезда. Дали знать себя и издержки субъективистского подхода к хозяйствованию, проявления волюнтаризма и администрирования, осужденные на октябрьском, мартовском и сентябрьском Пленумах ЦК и на XXIII съезде КПСС.

Восстанавливая и творчески развивая ленинские принципы руководства экономикой, партия в своих решениях с особой силой подчеркивала, что хозяйственная политика, любые оценки того или иного явления должны обязательно исходить из анализа жизненных, объективных обстоятельств. В этом смысле излишне было бы преувеличивать роль административных эффектов. Ведь в экономике всегда действуют объективные законы и закономерности; они могут быть учтены или не учтены хозяйственной политикой, могут быть даже истолкованы ею вкривь, но и тогда, даже в основе превратного толкования, остается все же некоторая возбудившая его объективная сущность.

Попробуем найти объективную первопричину и в данном случае. Нам представляется, что такая первопричина была, и она уже здесь упоминалась — правда, в другой связи. Это серьезный пробел в специальной организации автотранспорта.

Не характерно ли прежде всего то, что темпы сбавило именно и единственно грузовое автостроение? Изначальная ставка на грузовики была правильной: работы для них в хозяйстве все прибавлялось. Но, с другой стороны, эта растущая работа как бы ускользала из поля зрения. Во множестве ведомственных хозяйств машин были единицы, большой работы они не тянули, а потому причислялись к подсобному, второразрядному транспорту. Та же худая слава распространялась на автомобили вообще, а с этого облачка тень падала уже и на автостроение — оно ведь производит эту малосильную подсобную технику.

Впрочем, психология, смутные тени — все бы еще куда ни шло. Но машины в самом деле работали неважно. Оглядываясь в прошлое, начальник Главмосавтотранса И. Гоберман привел однажды в этой связи такую арифметику. Мало того, что из каждых ста машин на работу ежедневно выходило не больше шестидесяти. Оказывается, в течение семи часов из этого количества действовало только половина машин. Значит, тридцать из ста? Нет, из тридцати машин — минус еще половина, занятая порожними рейсами. В полном же смысле работало, стало быть, всего пятнадцать машин из сотни, то есть одна седьмая парка, а шесть седьмых бездействовало. Приблизительно так было всюду.

Под давлением таких фактов вполне могло появиться сомнение: стоит ли закладывать в автостроение по-прежнему крупные средства? Стоит ли нагнетать сюда новые средства, когда шесть седьмых продукции потом бездействует? Легко

представить, что, преломясь в чем-то сознании, малоприятные факты могли обесценить весь курс на автомобилизацию, принятый некогда с большими надеждами.

Можно, разумеется, возражать, что напрашивался не такой, а совершенно иной вывод — придать автотранспорту свою, органичную структуру, налаживать его работу, а не взыскивать с автостроения за чужие грехи. Совершенно верно. Только разговор уже обращается на новый предмет — на хозяйственную политику. Нашей же целью пока что было другое — попытаться назвать объективные обстоятельства, с которыми хозяйственной политике пришлось встретиться.

Форма ведомственного, разобщенного использования грузовых машин, думается, как раз и затормозила ход автомобилизации и ослабила эффект, на который по праву можно было рассчитывать. Первыми среди индустриальных стран оценив перспективность грузовиков, быстро выйдя по их производству на второе место в мире, мы лишились части эффекта, потому что не сразу нашли для новой техники оптимальную и органичную для нее организацию работы. А тем временем и в других странах число грузовиков стало расти, накапливался и опыт, так что со временем он оказался на пользу и нам самим.

XX съезд партии принял меры для решительного исправления автотранспортных дел. С организацией крупных автомобильных хозяйств в том же самом пятилетии (1956—1960 годы), когда рост выпуска машин был наименьшим, стали уже заметно возрастать перевозки и перевозочная работа автомобилей. Стало отчетливо видно, что наличных сил автотранспорта далеко не достаточно для охвата работ, на которых он экономичнее другого транспорта. На очередь встала потребность в новом подъеме автостроения, и пятилетка его предусмотрела.

Пятилетний план не стал вторить букве и духу прежнего планирования, но он воспринял сумму всех качественных перемен, совершившихся в автомобильном деле.

* * *

Пристальное внимание партии к вопросам экономики на протяжении ряда последних лет привело не только к практическим мерам по исправлению хозяйственных несоответствий, но и к творческому развитию самих принципов советского хозяйствования, утверждению новых методов и направлений. Глубокие изменения претерпевает и политика автомобилизации страны в целом. Можно сказать, что закончился один этап автомобилизации страны и начинается новый этап — со своей собственной концепцией автомобилизации.

Новый курс автомобилизации, каким он рисуется уже в заданиях пятилетки, свободен от прежней стесненности.

Его также характеризуют высокие темпы, но им сопутствуют уже и очень большие абсолютные величины прироста и выпуска. Так, в течение пяти лет среднегодовое прибавление выпуска составит больше полутораста тысяч машин, а всего за пять лет их будет сделано больше пяти миллионов — это столько же, сколько крупнейший наш Горьковский завод выпустил за все годы своего существования, или больше половины всего отечественного производства в послевоенный период.

Высокие темпы развития возвращаются к грузовому автостроению. Годовой выпуск грузовиков (чтобы быть точным, выпуск всех машин, кроме легковых) через пять лет увеличится на двести тысяч штук, тогда как предыдущее увеличение их выпуска на такую величину заняло шестнадцать лет (1949 год — двести тридцать тысяч, 1965 год — четыреста пятнадцать тысяч).

И все же самую яркую отличительную черту нового курса мы еще не назвали. Если некогда масштабы и самый облик автомобилизации определялись по существу грузовым автостроением, то теперь параллельно с ним самые высокие темпы получает и легковое автостроение. Выпуск легковых машин намечено в среднем увеличивать на сто десять тысяч штук ежегодно. При таком ходе дел к 1970 году будет делаться уже семьсот—восемьсот тысяч легковых машин. В частности, сре-

ди них тогда будет триста пятьдесят тысяч «москвичей», сто пятьдесят тысяч «запорожцев», семьдесят пять тысяч «волг». Все больше машин станет затем давать и новый завод в Тольятти.

Таким образом, дальнейшая автомобилизация страны пойдет по обоим важнейшим направлениям.

В том, что так выдвигается легковое автостроение, нет и тени внезапности или произвольности. Необходимость этого назревала постепенно. Теперь, опираясь на возросший экономический потенциал страны, учитывая рост производственного, потребительского, экспортного спроса на легковые машины, пятилетка ввела тенденцию в открытое русло закономерности.

Вряд ли надо говорить, скольким интересам — производственным, общественным, личным — отвечает массовый выпуск легковых машин. Но хочется остановиться на одной стороне экономической целесообразности его в нынешних условиях — вернее даже, на одной черте времени, образа жизни, сообщающей выгоду легковому автостроению,

Эта черта — туризм.

Упоминание о нем может показаться здесь неожиданной мелкой частностью, но не оттого ли только, что наше сознание порой слишком мешкает соединять понятия заново, в лад с их новой жизненной связью? Вот и мысль о туризме придется отыскивать где-то на обочине памяти, где слабо отпечаталось занятие чудачков и недорослей, бредущих всем школьным классом в ближнюю рощу. А между тем то, что названо здесь туризмом (названо, может быть, не слишком точно, но подходящего слова пока не придумано), обозначает крупное явление нашего времени. Для людей с ним связана большая часть препровождения своего досуга, а для экономики — область высоких доходов, сфера разнообразного обслуживания, вступившая в контакт с разными отдаленными вещами и с экономичностью легкового автостроения тоже.

Туризм, путешествия становятся неотъемлемой чертой современного образа жизни. Подсчитано, например, что житель Европы проезжает теперь за год больше, чем в прошлом веке проезжал за всю жизнь. Потоки туристов подводят твердый материальный расчет, настоящую рентабельность под такое прежде бесцельное занятие, как охрана памятников старины, они же делают доходной красоту природы, и они же, думается, повышают окупаемость легкового автостроения.

Если некогда источником государственных накоплений через автомобиль могли быть только прямые наложения (например, на цену), то теперь машина сама «облагает» владельца, отправляя его путешествовать. И делает она это исправнее рекламной конторы. Обследования в Ленинграде и Таллине показали, например, что на далекие отпускные поездки приходится добрая половина годового пробега индивидуальных машин. Черство, «бухгалтерски» говоря, дать человеку колеса — значит сделать его путешественником. А в путешествиях, как видим, его машина проведет половину всего пробега и тут, в обслуживании, станет прямым орудием дохода, который никак не стоит сбрасывать со счетов автостроения.

Соответственно темпам, заданным пятилеткой внутри автостроения, наша страна примерно в 1969 году переступит некий специфический порог: легковых машин в общем выпуске станет больше, чем всех остальных.

Существует мнение, что по удельному весу легковых машин в выпуске можно судить об «уровне» автомобилизации в целом. Согласно такому взгляду к автомобильно развитым странам причисляются только те, где выпуск легковых машин преобладает.

Несмотря на лестный шанс попасть в разряд «развитых», хочется сказать, что само «измерение» это представляется весьма условным, я бы сказал — тенденциозным. В двадцатых годах таким образом пытались третировать хозяйственную политику Советской страны, начавшей как раз с грузового автостроения. Ради

этой цели дело и представлялось таким образом, будто в автомобилизации существуют две стадии и «низшую» означает грузовое направление, а «высшую» — легковое. Между тем вся история говорит об обратном порядке: «высшая» стадия повсеместно начиналась раньше, чем «низшая». Да иначе и не могло быть, потому что грузовой автомобиль поднялся на ноги позже легкового.

Может показаться, что если не сразу, то со временем у «стадийной» точки зрения появился резон. Выпуск грузовиков хоть и начал всюду расти, однако производство легковых увеличивалось еще быстрее. И действительно, в любой стране наступает момент, когда выпуск легковых берет верх. Но о чем это говорит? Только о том, что производственная сфера, впитывающая грузовики, значительно уже, чем область потребительского спроса на легковые машины. Стало быть, вряд ли стоит говорить о стадиях, но можно и нужно говорить о разной в каждом случае потребности на продукцию и разных производственных силах (вероятно, даже разной их организации) для удовлетворения спроса на грузовые или легковые машины.

При этом одно направление расходится с другим все больше. Если уж прибегать к сопоставлениям, то их придется делать в совершенно другой плоскости. Работа грузовых машин нас больше интересует в общей связи с железнодорожным, водным или воздушным транспортом. А к легковым машинам протягиваются некоторые аналогии с телефоном и телевизором. И это естественно: первый ряд техники все глубже вращается в ткань чистого транспорта, второй тяготеет к родству со средствами связи. Чем дальше — мы уверены, — тем больше будет значить это различие.

А для хозяйственной политики оно важно уже и теперь. Знаменательно, как по-разному говорит о грузовых и легковых машинах план пятилетки. В первом случае специально подчеркивается, что увеличить надо выпуск автопоездов, прицепов, машин повышенной проходимости, облегченного и увеличенного тоннажа, специальных грузовиков. Требования расчленены, они далеко ушли от образа «типичного» грузовика с квадратной кабиной и бортовым кузовом. Его теснит гвардия разных бензо-, лесо-, цемента-, панеле-, трубо-, молоко- и прочих «возов». Потребность в глубокой специализации составляет главную тенденцию развития грузовой машины.

Тут в свою очередь берут начало многие сложности и проблемы, ждущие разработки. Поскольку облик грузового автотранспорта определяется пестрым составом грузов, а объемы, соотношения этих грузов в хозяйстве непрерывно меняются, от грузового автостроения требуется, видимо, и особая организация, способная к большой гибкости, тесным контактам с «грузообразующими» отраслями, другими видами транспорта и т. д. Хозяйственная политика поэтому представляется здесь делом большой тонкости.

Что касается легкового автостроения, то здесь закон — большие тиражи при малом числе моделей. С учетом массовости поточного производства, которому обеспечен довольно стабильный и однородный спрос, в пятилетке предусмотрено строительство Волжского автозавода с проектной мощностью выпуска на шестьсот тысяч машин в год.

Едва ли можно сказать, что расчлененная специализация составляет значительную черту развития легковой машины. Вместе с тем у окружающей ее хозяйственной политики достаточно своих собственных, особых забот. Здесь и поиск оптимальных типажей моделей, где маленькая ошибка с массовым выпуском разрастается, как под увеличительным стеклом. Здесь забота об эстетическом совершенстве моделей. Здесь и способная вызвать целую революцию проблема нового двигателя: ведь в течение пяти—десяти лет определенно появятся на арене электромобили, и прежде всего как легковые, городские машины. К грузовым машинам это новшество придет позже.

Словом, каждое из двух направлений автостроения обретает все больше самостоятельности и несходства.

Разумеется, как легковые, так и грузовые машины, выйдя из заводских ворот, возбуждают целый ряд общих проблем, решать которые призвана общая политика автомобилизации. Такая широкая политика не могла появиться сразу в законченном виде. Но производственный план пятилетки — важный сигнал к тому, что пора уже деловито заняться ее разработкой по всем направлениям.

Думается, при таком понимании политики автомобилизации в ней еще хватает белых пятен. Так, например, мало освоена область организации и безопасности движения. Для изучения ее еще в тридцатых годах был создан специальный научно-исследовательский институт, но постепенно он распался. И рассказывают, что, когда на одном из недавних совещаний в который раз зашла речь о воссоздании подобной организации, сдерживающим мотивом послужило... то, что нет нужных специалистов. Получается некий порочный круг.

Серьезной помощи следует ждать от статистических и социологических исследований, посвященных автомобилю, его месту в жизни и влиянию на нее.

Просто напрашивается продолжение и той замечательной работы, которую в свое время начинал «Автодор», — популяризация автомобиля, распространение автомобильной грамоты, обучение правилам вождения, уличный движения и т. д.

Невозможно даже назвать в этой статье те многочисленные задачи и аспекты, которые ставит автомобилизация, да вряд ли целесообразно делать это бегло. Поэтому попытаемся остановиться всего на двух проблемах, которые нам представляются особенно острыми, — автодорожном строительстве и существовании машин в городе.

КОЛЕСО И ДОРОГА

По сведениям археологии, колесо и дорога не нашли общего языка от рождения. Колесо будто бы изобрели египтяне, а строить дороги первыми придумали жившие на другой стороне Земли древние ацтеки, хотя о колесе они не имели понятия.

Поистине эта складка ацтекской цивилизации достойна удивления, если не зависти. Надо же было так случиться, что остальной цивилизованный мир, пройдя сквозь тысячелетия, понастроив армаду механизированных средств передвижения, все еще не сумел в достатке обеспечить их дорогами, не говоря уже о каком-либо опережении в дорожном строительстве.

Колесам оказалось трудно обрести надежную почву потому, что дорожное строительство, при видимой бесхитростности, было и остается едва ли не самым хлопотным и дорогостоящим направлением земной инженерии. Давным-давно оценив этот неутешительный факт, конструкторская, инженерная мысль прилагала много усилий, чтобы посредством новых изобретений как-нибудь обойти дорожное строительство или воспользоваться готовыми дорогами — водой, воздухом.

Разительное исключение из общего правила представляет лишь железнодорожный транспорт. Это единственный в своем роде случай, когда, создавая новое средство сообщения, конструкторская мысль настояла на органическом слиянии колеса и дороги в одно транспортное целое. И не потому ли шествие железных дорог по земле было столь победным и стремительным?

Железные дороги и по сей день остались единственным видом транспорта, который располагает магистралями, отдельными от всех прочих и к тому же глубоко специализированными.

Из технического опыта железных дорог их меньший брат — автотранспорт — может извлечь для себя много полезных уроков. Но любопытно напомнить и о другом. Ведь тесная связь колеса и дороги воспринималась и как изъян железнодорожного транспорта, как слабость, от которой вроде бы и обещало освободить новое изобретение — автомобиль.

Именно с рождением машин ожили соблазнительные надежды разъезжать по земле, не особенно заботясь о дорогах. Взгляды на автомобиль как на везд-

ходную технику оказались поразительно живучими и дают о себе знать до настоящих дней.

Мне вспоминается, например, разговор, происходивший несколько лет назад с главным инженером одного угольного карьера в Кузбассе. Вполне серьезно и даже с подобием расчетов он уверял, что бить машины (так прямо и говорил: «бить») на вывозке угля дешевле, выгоднее, чем строить дороги. В этом случае речь шла о производственных, или, как говорят, «технологических», дорогах, но сходная готовность жертвовать машинами вместо того, чтобы обзаводиться дорогами, встречается еще очень часто.

Такую страну, как наша, с ее огромной территорией, обеспечить дорогами особенно трудно. Строительство их ведется из года в год и на большом протяжении. За послевоенный период прибавилось уже более двухсот тысяч километров автодорог с твердым покрытием — в десять с лишним раз больше, чем построено на железнодорожном транспорте. Одновременно вырастали и требования к дорогам. Значительное количество грунтовых путей выбывало из обихода, их место занимали надежные магистрали с современными покрытиями.

Однако строительство новых дорог все же не успевало полностью восполнять убыль старых, так что общее протяжение наших дорог несколько сократилось. О «вымирании» примитивных грунтовок жалеть, конечно, не приходится, но беда в том, что новое строительство не поспевало за новыми потребностями и даже за ростом наличного автопарка. Это видно хотя бы из того, что интенсивность дорожного движения в послевоенное время росла на семь—четырнадцать процентов в год, а годовой прирост дорожной сети составлял не более четырех процентов. По некоторым подсчетам из-за бездорожья в Российской Федерации ежедневно простаивает до шестидесяти тысяч совершенно исправных автомобилей. А ведь шестьдесят тысяч машин — это почти весь прирост нового выпуска в прошлом году.

Данные Государственного комитета по науке и технике оценивают ежегодный ущерб из-за недоразвитой транспортной сети более чем в три миллиарда рублей. Заместитель министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР С. П. Артемьев однажды отмечал, что дороги с твердым покрытием не удовлетворяют половины потребностей Федерации. Или еще два факта. По расчету ленинградских градостроителей, для подгона инженерно-дорожной оборудованности города требуются дополнительные, сверхплановые средства в размере шестидесяти миллионов рублей. Если учесть, что за год строителями «Лендормоста» осваивается примерно десять миллионов рублей, то, значит, чистых шесть лет труда надо, чтобы только наверстать упущенное. А на Всероссийском совещании дорожников в 1965 году говорилось даже, что на ликвидацию потерь от бездорожья при существующих темпах строительства потребовалось бы пятьдесят—шестьдесят лет.

Разумеется, «перспектива» здесь не выступает в своем буквальном значении, а служит лишь мерой факта. Что же касается действительного будущего и связанных с ним забот, то они как раз обязывают к изменению объемов и темпов дорожного строительства, к решительному хозяйственному повороту в этой области.

Здесь стоит вернуться к удачной формулировке того рабкора «Правды», который в 1927 году написал, что «автомобиль строит дороги». Действительно, с этим родом транспорта получается только так. И самый убедительный пример того — Соединенные Штаты Америки. Ныне страна широкой автомобилизации, она ведь начинала некогда с классического бездорожья, родственного быломu русскому. На рубеже нашего века американские фермеры бросали зимовать на дороге фургоны, застрявшие в осенней грязи; Генри Форд забраковал английский тип автомобилей, потому что дорог его отечества они не выдержали бы. Но вот дороги принялись строить сами американские автомобили. Интересно понаблюдать, как это у них получалось.

Отнюдь не «сразу», как теперь иногда представляется, дорожное строитель-

ство США пошло семимильными шагами. Если сопоставить годовые выпуски машин с ростом длины дорог, между ними обнаружится отчетливая количественная взаимосвязь. Едва ли случайно, что еще некоторое время дорожное строительство нарастало довольно плавно, а потом вдруг произошел настоящий взрыв. И случился он — заметим это — не раньше, чем ежегодное производство автомобилей перевалило за миллион штук — рубеж, которого мы достигнем как раз в текущей пятилетке.

Были ли и там в свое время крупные хозяйственные потери из-за дорожного неблагоустройства? Несомненно (кстати, они и ныне в США составляют ежегодно крупные суммы). Однако некоторое время и там экономика мирилась с убытками, мирилась до поры, до времени, пока возросший автопарк не гарантировал высокую прибыльность дорожного строительства.

Советская экономика чужда духу голого меркантилизма и погони за одной прибылью. Однако нам далеко не безразлично, как окупаются хозяйственные вложения. Больше того, политику этих вложений мы стремимся строить с расчетом на максимальный экономический эффект. А дорогам его сообщает развитый автотранспорт.

В заданиях пятилетки предусмотрено построить до 1970 года шестьдесят три тысячи километров автодорог с твердым покрытием. Значит, ежегодно будет прибавляться примерно тринадцать тысяч километров, а это величина того же порядка, что прибавлялась и в предшествующие годы. Таким образом, особого упора на дорожное строительство нынешняя пятилетка еще не делает. А между тем теснота на дорогах станет заметно ощутимей. Если прежде интенсивность движения ежегодно росла на семь—четынадцать процентов, то теперь, по оценке специалистов, она будет увеличиваться еще значительно: на двадцать—двадцать пять процентов в год.

Из этого надо по меньшей мере сделать вывод, что следует искать и вовлекать в дело дополнительные и внутренние резервы расширения и эффективности дорожного строительства. Таких резервов, нам кажется, на сегодня еще немало.

Строительство автодорог ведется в стране разными хозяевами и финансируется из разных источников. Сюда направляют средства — и само государство путем централизованных вложений, и многие промышленные отрасли, строящие дороги для собственных нужд, и органы местной власти, располагающие с 1958 года особыми двухпроцентными отчислениями с доходов автохозяйств, промышленных предприятий, совхозов, колхозов, организаций и учреждений. Эта «многоукладность» нередко сопровождается данью ведомственным и местническим интересам. Дороги ложатся «где густо, где пусто», конфигурация их складывается без должного учета общехозяйственных нужд. Поэтому уже четкая координация действий между заинтересованными сторонами обещает дополнительный эффект, — как принято говорить, за те же деньги.

Однако это лишь «меньшая половина» дела. А еще полезнее, как представляется, поискать новые источники финансирования дорожного строительства да, кстати, присмотреться внимательнее к существующей их системе. Почему она именно такова, как есть? Из связи с какими хозяйственными обстоятельствами выросла? И сохраняются ли эти обстоятельства в целостности или претерпевают изменения?

Последнее предположение верно и, как нам представляется, очень многозначительно.

Нынешняя система обеспечения дорожного строительства сложилась прежде всего под влиянием прежнего порядка использования машин, когда каждое производство и ведомство эксплуатировало автомобили порознь. Это система тех условий, когда самостоятельной, обслуживающей автотранспортной отрасли еще не существовало.

Кто ездил по дорогам? Машины колхозов, заводов, ведомств и пр. Кто выигрывал непосредственно, если окружающие местные дороги росли и благоустрои-

вались? Те же колхозы, заводы и ведомства. Так что вполне резонно в 1958 году они были обязаны отчислять по два процента своих доходов на дорожные нужды. Привлечение местных сил и средств к дорожному строительству в годы семилетки заметно дало себя знать. Несмотря на то, что прямые государственные ассигнования на дорожное строительство почти прекратились, планы его в семилетке были не только полностью осуществлены, но и перевыполнены.

Значит, с передачей забот о дорогах по местным адресам был найден принципиально верный метод финансирования. Однако уже теперь он требует углубления и нового экономического обоснования.

Ведь клиентура дорог стала меняться. Мы обратились к созданию автотранспортной отрасли, к организации крупных автомобильных хозяйств общего пользования, с одной стороны, и к упразднению мелких собственных гаражей у ведомств и предприятий — с другой стороны. Начавшись в промышленности, эта коренная перемена стала распространяться и на сельское хозяйство. Последовало правительственное решение об организации государственных автомобильных хозяйств системы «Сельхозтранс», на которую возлагаются все внешние пассажирские и грузовые перевозки, которые нужны колхозам и совхозам.

Кто теперь ездит по дорогам все чаще, а чем дальше, тем полнее будет на них господствовать? Автотранс. Кто получает хозяйственную прибыль от перевозок и эксплуатации дорог? Опять автотранс. Предприятия, колхозы и пр. будут все чаще обращаться к услугам автотранспорта, оплачивая их, естественно, по специальным тарифам. У них таким образом растет новая статья расходов, а вместе с изъятием машин исчезает шанс на получение своего дохода от дорог.

На какой же экономической основе смогут в дальнейшем сохраняться двухпроцентные «подорожные» отчисления? Она, по-видимому, исчезнет.

На предприятиях это особенно чувствуют в связи с распространением хозяйственной реформы. Мне вспоминаются недоумения на этот счет, которые приходилось слышать от главного экономиста волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь» А. Г. Карпова и работников других предприятий, перешедших на новую систему. Им кажется странным сохранение дорожных начетов на прибыль.

Естественно спросить: разве не более обоснованным по тенденции был бы постепенный перенос дорожных расходов на счета автотранспорта? С его стороны, кстати, недаром можно уже видеть шаги во встречном направлении. Так, например, министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог Узбекской ССР И. Стрельцов рассказал на страницах печати о намерении республики полностью отказаться от государственных ассигнований на дорожное строительство. «В качестве источника финансирования, — писал он, — устанавливается единый процент отчислений от собственной прибыли, получаемой Министерством автотранспорта и шоссейных дорог республики от всех отраслей его деятельности».

Понятная заинтересованность. Наверняка нам надо привыкать видеть в лице автотранса самого состоятельного и заботливого опекуна дорожного строительства. Может быть, даже единственного опекуна?

На подходах к широкому строительству дорог и в период, пока не наступила еще самая горячая пора, надо разобраться и с тем, какие шоссе и магистрали нам нужны. Исторический разрыв между автоколесом и дорогой вызвал серьезную задержку роста знаний о самом специфически-автомобильном полотне, его поверхности, конфигурации, оборудовании и тому подобном. В научно-технических воззрениях многие из таких пробелов остаются еще не заполненными, а заполняются отнюдь не «самоочевидными» истинами. Так что не следует больше полагаться на представления о хорошей дороге «вообще». Известно, например, каких сил стоила некогда Германии прокладка ее знаменитых, прямых, как стрела, автострад, а потом выяснилось, что правильная, «хорошая» прямизна дорог усыпляет водителей и ведет к авариям. Лучше, оказывается, дороги плавно-извилистые, вписанные в ландшафт.

А что и насколько выгодней и безопасней: одно полотно со встречным движением или отдельные полосы; общие или отдельные магистрали для грузовых и легковых машин; те ли покрытия, которые долговечнее, или те, которые дешевле? Во многих случаях в этих спорах еще не родилась истина.

На разборе автодорожных проблем силами специалистов надо бы теперь особенно сосредоточить внимание, используя весь собственный и зарубежный опыт, чтобы к началу широкого строительства важнейшие принципиальные ответы были готовы и возведены в ранг обязательных и обоснованных нормативов. Что получается в ином случае, можно видеть хотя бы на таком свежем примере, как Московская кольцевая дорога. Поскряжничали с оборудованием, сэкономили метр на ширине проезжей части, а спустя всего несколько лет наступила поучительная расплата. Уже небезопасны обгоны, уже приходится думать, не ограничить ли скорость... или не расширить ли полотно.

Современные дороги способны стоять десятилетиями без всякого нового прикосновения, с таким расчетом их и надо строить. А потому перед началом большого строительства уместна фундаментальная подготовка. Временем для нее и одновременно контрольным сроком завершения, нам кажется, как раз следовало бы считать текущую пятилетку.

МАШИНЫ В ГОРОДЕ

По-видимому, с городами, особенно крупными, связан один из самых сложных аспектов автомобилизации. И аспект этот нельзя считать частным или второстепенным хотя бы потому, что градообразование и рост городов играют огромную роль в современной жизни всего человечества.

Если обратиться к крупным городам мира с их высокой концентрацией машин, может показаться, что автомобилизация вообще приносит больше неприятностей, чем отрады. Автомобили там подобны джину, вырвавшемуся из бутылки. Они переполняют проезды, так что скорость сообщения (особенно в часы «пик») падает до пешеходной, создают шум, бензиновый угар. Под колесами машин в городах мира ежегодно гибнут десятки тысяч людей. Все это слишком хорошо известно, и вряд ли надо здесь обращаться к статистике.

Хорошо известны и общественные, социальные корни многих издержек автомобилизации на Западе. На них указывают крупные зарубежные специалисты. Так, например, английский советник по вопросам уличного движения Г. Алкер Трипп, опираясь на многолетние наблюдения и анализ дорожных происшествий, в которых пострадало больше двух миллионов человек, пишет: «И то, что мы оказались лицом к лицу с современной неурядицей, является в значительной мере результатом свободы, предоставленной частным интересам». Да, власть собственности доводит транспортно-городские проблемы до крайнего обострения. Но важно видеть, что именно и как именно обостряется.

Весьма наглядным может быть пример Соединенных Штатов, страны классической автомобилизации. Опыт США в конструировании, массовом производстве и обслуживании машин заслуживает серьезного внимания. Но на его фоне особенно выделяется и крупная (даже «роковая», по выражению одного американского автора) ошибка в автомобилизации городов, отчетливо отмеченная печатью буржуазной идеологии.

Речь идет о шумном, многие годы державшемся общественном курсе, который превозносил автомобиль, чуть ли не обожествляя его как магический символ благополучия, предмет, якобы сообщающий человеку особое достоинство. Подразумевалось, что люди, не владеющие машиной, принадлежат ко второму сорту, а к первому относятся лишь «мотокентавры», обладающие сотней лошадиных сил. Сначала индивидуальные машины в американских городах начали было успешно вытеснять прочий общественный транспорт. На них стало совершаться до девяноста процентов городских поездок, но это и привело к кризису.

Дорогие транспортные реконструкции в городах стали оборачиваться копеечным эффектом. Мало того, специальные компетентные комиссии в разных странах, проведя много расчетов (для Вашингтона, Лидса, Ньюбери и других городов с населением от десятков тысяч до миллионов человек), пришли к обескураживающим выводам. Как говорилось, например, в заключении по Вашингтону, дорожная сеть, рассчитанная на сообщение только автомобилями, «вряд ли осуществима даже с инженерной точки зрения, а с планировочных позиций о ней вообще не может быть и речи».

В США все чаще и определеннее стали связывать спасение от «транспортного паралича» с развитием общественного, массового транспорта.

Справедливость, правда, требует сказать, что в этом общем хоре звучат порою и несогласные голоса: одни требуют полного изгнания машин из города, другие предлагают стереть само традиционное лицо городов, и пусть люди за двести—триста миль ездят работать в столбы-конторы, захлестнутые поэтажно петлями магистралей. Смело? Скорее экстравагантно.

Наша страна, как известно, давно предпочла преимущественное развитие общественного городского транспорта. На Западе тогда пренебрежительно кивали в нашу сторону: «Бедность!» Теперь, после противоположного зарубежного опыта, стало особенно ясно, что не бедность в первую очередь определила наш курс, а передовая общественная политика. Бедность же выражалась в другом — в том, что у нас не было возможности дополнить массовый городской транспорт легковыми автомобилями, тогда как со временем такая возможность появилась.

Однако есть ли наряду с возможностью и необходимость? Если автомобили не в силах обеспечить городское сообщение без помощи общественного транспорта, то, может быть, общественный транспорт в состоянии удовлетворить потребности города без помощи автомобилей? Да или нет? И если нет, какова оптимальная доля участия легковых машин в городских перевозках? Не поведет ли их распространение к тому же злу, что на Западе? И вообще: как, на основе чего можно строить гипотезу оптимального насыщения наших городов легковым транспортом?

При видимой «отвлеченности» это отнюдь не праздные вопросы. От ответа на них зависит и перспективная и каждодневная хозяйственная политика. И достойно сожаления, что до последнего времени вопрос «машина в городе» почти не пользовался вниманием, а если и затрагивался специалистами, то с крайней робостью. В литературе последних лет рекомендовалось даже считать перспективным оптимумом величины от семи до восемнадцати машин на тысячу жителей. Получается, что Москва (двенадцать машин на тысячу жителей) близка к полному насыщению, а Таллин (триста тридцать пять тысяч жителей, семь тысяч машин) уже вдвое «перенасыщен». Сама робость, может, и станет понятной, если вспомнить некоторые пренебрежительные разговоры вокруг легковых машин. Но что же говорить о «перспективности», если мысль по рукам и ногам связана однодневной конъюнктурой?

Предубежденность против машины рождалась у руководителей городов также и из нежелательности дорожно-инженерных реконструкций. Однако их требует и развитие общественного транспорта, и многие соображения о благоустройстве городского общежития. Недаром в последние десять—пятнадцать лет все же состоялся широчайший пересмотр градостроительной теории и практики, стала кристаллизоваться новая, современная концепция градостроения. И коль скоро этот пересмотр широко обусловлен, коль скоро он тесно связан с транспортом вообще, стоит еще раз оценить место, которого просит и заслуживает в городе легкой автомобиль.

В этой работе много не только инженерных, технических, но и общественных аспектов, она должна учитывать поступь коммунистического строительства, должна опираться на глубокие социологические прогнозы соответствующих специалистов.

Сейчас разрабатывается Генеральный план развития Москвы до 2000 года. Градостроители столицы полагают вероятным насыщение города до полутора-

ста — двухсот машин на тысячу жителей. При этом не все думают одинаково, и поскольку утверждение генплана остается впереди, споры продолжаются.

Авторы одного из конкурсных проектов центра столицы (руководитель коллектива Б. Оськин) прямо заявили о «бесперспективности дальнейшего использования автомобильного транспорта». Почему? Потому что предвидят насыщение до пятисот машин на тысячу жителей (то есть они ожидают, что, не считая детей, инвалидов и некоторых специфических групп населения, машиной обзаведется каждый), а такого насыщения, как уже говорилось, не выдержит никакая дорожно-транспортная сеть. Из чего же исходит сама гипотеза? Очевидно, только из одного: каждый машину захочет и каждый заведет.

Другие авторы-москвичи говорят, что «гипотеза количества автомобилей в городе может строиться на вероятности допуска той или другой группы населения к управлению транспортными средствами». Ограничение самоочевидное. Но дальше опять выходит, что здоровый-то обязательно заведет собственный выезд. Но откуда такая гранитная уверенность? В обоих случаях у будущего горожанина почему-то ожидаются исключительно индивидуалистические мотивы, а не общественные; соображения чистого обладания машиной, а не пользования ею.

В сравнении с этими примерами выигрывает — благодаря глубине разработки — гипотеза, отраженная в Генеральном плане развития Ленинграда, который в прошлом году был утвержден правительством. В разработке этой гипотезы участвовали многие ленинградские специалисты, а подробное толкование ей дали работники «Ленпроекта» А. Пиир, В. Намзер, А. Дынкин, В. Жуковская.

Ленинградцы тоже начинали с «чистой доски»; готовое решение взять было неоткуда. Я видел — в рабочих бумагах А. Дынкина чего только не было: выдержки из Маркса, переписка с таллинским социологом автомобилем И. Пихлаком, конспект американской «Социологии городов», рефераты статей из «Вопросов философии», «Мировой экономики и международной политики» и т. д., результаты обследования среди ленинградских автовладельцев и даже популярная книжка Г. Волкова «Эра роботов или эра человека?». Материал собирался по крупицам, гипотеза тщательно вынашивалась и, нам кажется, заслуживает популяризации.

Ленинградцы исходили прежде всего из того известного положения, что всякая экономия сводится к экономии времени, что предоставление человеку максимума свободного времени составляет одну из фундаментальных задач нашего строительства. А раз так — значит, задача любого транспорта — экономить время поездок, причем экономить и по сравнению с другими видами транспорта. Не правда ли, пока почти азбучные истины? Но ведь азбуку для того и учат первой, чтобы никогда уже не забывать и... послушаем, впрочем, дальше.

«Всегда ли массовый общественный транспорт окажется в будущем Ленинграде самым скорым?» — спросили у себя градостроители. Ведь известно, что после достижения некоторого уровня новое развитие массового транспорта не окупает себя: частые остановки, пересадки, движения по сложным маршрутам затягивают поездки. Кроме того, за некоторым пределом рывком подсакивает и цена необходимых сооружений. Поэтому, зная перспективу развития массового транспорта, ленинградцы стали выяснять, не окажется ли легковая машина временами быстрее. Будущий город поделили на шестьдесят небольших районов, выявили и обчислили на ЭВМ все возможные связи-поездки со всеми возможными целями (на работу, за покупками, на прогулку и т. д.). И вот оказалось, что в семнадцати процентах поездок более скорым окажется автомобиль. Только в семнадцати процентах случаев, но и не меньше того. А это соответствует насыщению в сто пятьдесят—сто шестьдесят машин на тысячу жителей. Этой величиной и были определены соответствующие цифры генплана — по сооружению стоянок, пунктов обслуживания, гаражей и т. п. Добавим для наглядности, что насыщение в сто пятьдесят—сто шестьдесят машин на тысячу жителей аналогично положению в Нью-Йорке, но заблаговременная забота может застраховать нас от тамошних неурядиц.

Гипотеза ленинградцев интересна многими посылками, слитным учетом социальных, широкоградостроительных и узкотранспортных факторов. Нова уже постановка вопроса, при которой машины в город не то что «допускаются» под напором автолюбительских желаний, а приглашаются — для выполнения полезной и нужной обществу работы. С другой стороны, гипотеза не ждет от горожан и слепой автомании, не подозревает их в намерении обзаводиться во что бы то ни стало своей машиной, не сообразуясь с тем, как удобнее — с ней или без нее.

Этот расчет построен не только на предвидении роста индивидуальной морали, но и с учетом «коммунистичности» развития общественного транспорта. Он ведь тоже должен меняться, обзаводиться удобствами, привлекательностью и, если хотите, серьезной конкурентоспособностью перед индивидуальным автомобилем. Это предопределяется тем же самым генпланом. Парк и движение общественного транспорта в Ленинграде рассчитаны таким образом, чтобы даже в часы «пик» — время недолгого, но грозного утроения нагрузки — на квадратный метр пола транспорта приходилось не более двух человек. Это значит, например, что в автобусе смогут сидеть все, за исключением нескольких человек. А ведь мы выбрали самый неблагоприятный режим, ситуацию, по поводу которой известный физик и философ, лауреат Нобелевской премии Д. Томсон замечал, что это, «пожалуй, самый серьезный недостаток нашей цивилизации».

В наших условиях общественный транспорт будет приобретать и другие достоинства — например, станет со временем бесплатным. Отразится ли это на автовлладении? Несомненно. Власти некоторых штатов США считают, что удалось бы умерить рост автопарка (и с выгодой в расходах), если бы предоставить регулярным пассажирам право бесплатного проезда в автобусе. Однако в буржуазных условиях провести эту меру вряд ли возможно. У нас же она осуществится как естественный, закономерный акт.

Наконец и последнее: есть еще один глубокий смысл ленинградского упора на работу легковых машин, а не на характер владения ими. Ведь и владение с ходом прогресса будет накапливать черты, переходные к коммунистическим.

Для перспективных расчетов это обстоятельство кажется особенно важным. В самом деле, если и в сегодняшней практике бесплатный автобус с точки зрения общественных расходов порой дешевле обслуживания массы индивидуальных автомобилей, то надо предвидеть время, когда так же выгоднее окажется держать в городе парк автомобилей общего пользования, нежели нести расходы, связанные с излишним распространением собственных машин. Тогда еще раз скажется колоссальная разница между буржуазным и социалистическим обществом. В наших условиях чем дальше, тем менее справедлив будет знак равенства между общественным и массовым транспортом, потому что общественными будут становиться и автомобили. А тогда, при активном обращении, их потребуется в городе куда меньше. Вот почему в перспективе то же число — сто пятьдесят машин на тысячу жителей — вовсе не означает, что большая часть населения категорически «отлучается» от машины. Насыщение обретет со временем иной смысл и эффект.

Для генеральных планов городов, думается, уже и теперь небезынтересно посчитать, какое количество общественных автомобилей могло бы удовлетворить нужды города при наличии для дальней связи скоростного внеуличного транспорта. И не дополнит ли это саму гипотезу насыщения наших городов автомобилями?

Так или иначе, работы специалистам остается еще немало. С другой стороны, то, что уже сделано, выяснено, может питать сегодняшнюю хозяйственную политику. Для нее важен вывод, что весь городской транспорт — и автомобили тоже — составляет одну связную, сообщающуюся систему, в которой за общественным транспортом всегда сохраняется возможность влиять на развитие индивидуального транспорта. Поэтому в наших условиях, думается, преувеличены опасения, что автомобилизация городов обязательно грозит худом. Досадны поэтому и бытующие исподволь взгляды, будто неудобство содержания автомобилей в городе играет некую положительную роль, сдерживая распространение машин.

Ставка, как говорится, не на ту лошадь. Не искусственные препоны на пути автомобиля, а развитие общественного транспорта составляет подлинно хозяйственный рычаг регулирования городской транспортной системы в целом.

Из этого напрашиваются два вывода, связанные часто на практике с содержанием работ. Первый вывод: общественный транспорт заслуживает основательной заботы и опасно мириться с его отставанием — с тем, например, что в часто упоминаемом здесь Ленинграде первая очередь работ, входящая в пятилетку, обеспечена средствами только наполовину; с тем, например, что генпланы развития ряда украинских городов до 1980 года подразумевают снижение скорости автобуса, не ждут ее роста у трамваев и лишь движение троллейбусов обещают за пятнадцать лет ускорить на... один километр в час. Тут уж действительно возможно одно из двух: либо чрезмерное повышение «акций» автомобиля, либо — что всего вероятнее и ближе — безнадежные потери жителями массы времени.

Второй вывод: рядом с массовым транспортом и автомобилем пора ставить в городах не только «на прописку», но и «на довольствие», развивая сферу их обслуживания, которая, кстати, никогда и нигде еще не была бесприбыльной. На подходе — уже в текущей пятилетке — значительное пополнение легкового автомобильного парка, к приему его следует готовиться заранее. Чем дальше, тем больше будет машин, и чтобы они хорошо нам служили, надо и о них хорошо позаботиться.



Е. ГНЕДИН

★

НЕ МЕЧ, НО МИР

(Заметки о становлении советской дипломатии)

I

Начало моей сознательной жизни совпало с началом революции. Ее зарницами освещены первоначальные впечатления, навсегда врезавшиеся в память и заложившие основы моего мироощущения. Одно из них — впечатление лета 1920 года. Я был у друзей моей покойной матери, профессиональных революционеров, в их скромной кремлевской квартире — тогда в Кремле было еще немало обитателей — и слушал беседу гостей — польских и немецких коммунистов. Вдруг в комнату стремительно вошел, почти вбежал, еще один гость, известный деятель международного рабочего движения, и воскликнул: «Он предложит полякам лучшие границы, чем они сами требуют!» Всем было ясно, что «он» — это Ленин. Было бы ясно, даже если бы мы не догадались, что новый гость пришел прямо от него. Именно он, Ленин, мог принять такое решение. Тогда, должно быть, и зародилось мое собственное представление о внешней политике социалистического правительства, о ее главных чертах — дальновидности, широте и гуманности.

В ту пору я еще не был осведомлен о конкретных обстоятельствах дела. Через несколько лет я узнал подробности: речь шла о некотором улучшении границ новой Польши по сравнению с так называемой «линией Керзона», о чем председатель советской делегации К. Х. Данишевский объявил на первом же заседании советско-польской конференции в Минске. В этом акте принципы интернационализма сочетались с обеспечением интересов Советского государства¹.

В тот летний день я был взволнован тем, что оказался как бы причастным к историческому событию, и жаждал новых впечатлений.

Выйдя из Троицких ворот Кремля, я направился ко Второму дому Советов, размещавшемуся тогда в гостинице «Метрополь». Я прошел мимо обелиска, на котором были по указанию Ленина выгравированы имена великих утопистов и революционеров от Кампанеллы и Лаврова до Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Потом я миновал нынешний Музей Ленина — здание бывшей Московской городской думы, на фронтоне которого была вырезана тяжеловесная надпись: «Революция — вихрь, отбрасывающий всех, ему сопротивляющихся!» В боковом флигеле «Метрополя» тогда находился Народный комиссариат иностранных дел. Я вошел внутрь, никем не остановленный, поднялся по лестнице на несколько этажей, прошел по коридору и заглянул в одну из комнат. Внезапно туда же из смежной двери вошел человек без пиджака, в жилете, и что-то возбужденно и быстро сказал сидевшим в комнате людям. С радостным изумлением я узнал Чичерина и, хотя никто не обратил на меня внимания, понял, что буквально «зашел слишком далеко».

¹ См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 51, стр. 249, 442.

На улице я оказался в часы летних розовых сумерек. В это время каждый день можно было, стоя у здания «Метрополя», слушать, как на другой стороне площади старик флейтист исполняет лирическую мелодию. Уличное движение было столь ничтожным, что оно лишь изредка заглушало звук флейты. Обычно люди замечают, как после уличного шума и грохота поражает тишина в каком-либо строгом и чинном кабинете, но тогда у меня было обратное впечатление: в здании кипела жизнь, а на улице царил прохладная тишина. Но я знал, что это обманчивая тишина, ведь я сам только недавно прибыл из глубины страны, где все сдвинулось с места и еще шли бои гражданской войны. Отзвуком бури в стране было кипение мыслей в Кремле и в Доме Советов, в центре пустынного города, который и тогда уже был мировой столицей в не меньшей степени, чем сейчас, когда через площадь проносятся колонны машин, от ГУМа к ЦУМу шагают толпы людей и трудно услышать не то что звук флейты издалека, но и голос человека, стоящего рядом...

Два года спустя я был зачислен в штат Народного комиссариата иностранных дел. Я был тогда еще студентом. Но и позднее никто не спрашивал у меня диплома об окончании высшей школы — ни через две недели, когда я стал помощником заведующего отделением, ни через два года в связи с назначением заведующим торгово-политическим отделением, ни через полтора десятка лет, когда мне доверили пост заведующего отделом печати НКВД СССР. Говорю я об этом, разумеется, не для того, чтобы осведомить читателя о своем образовательном цензе, а чтобы показать, как на заре советской дипломатии формировались ее кадры. В моем рассказе речь будет идти не об индивидуальной судьбе, а о коллективе, который тогда не мог пополняться иначе, как по при знаку доверия. Квалификация пришла потом, по ходу дела.

Нет четкой грани между внешней политикой государства и его дипломатией. Обычное определение гласит, что дипломатия есть деятельность по защите мирным путем интересов и прав государства, средство для достижения целей его внешней политики. Но можно ли отделить средство от цели?

Мне хотелось бы рассказать о том, как отбирались и выковывались средства, как формировались стиль и методы советской дипломатии. Но поскольку борьба за внешне-политические цели составляет самое содержание дипломатической деятельности, я, естественно, должен связать свое изложение с основными проблемами советской внешней политики, с ее программными документами. Разумеется, я не могу строить свои размышления только на собственном весьма скромном опыте, но я хотел бы выходить за его рамки только тогда, когда этого требует полнота изложения.

II

В первые годы революции дипломатические кадры представляли своеобразный, можно сказать боевой, коллектив. Уже в 1922 году, когда в центральном аппарате НКВД работало шестьсот человек, легко было уловить, что этот аппарат — смешанного состава. В коридорах и кабинетах большого серого здания на углу Кузнецкого моста и нынешней улицы Дзержинского можно было встретить бывших матросов, и рабочих петроградского завода «Сименс — Шуккерт», и бывших латышских стрелков; они входили в состав того отряда, которому в дни Октября было поручено занять царское министерство иностранных дел. Некоторые из них участвовали под руководством матроса Н. Г. Маркина в раскрытии секретных архивов царской дипломатии, после того как уполномоченный по зарождавшемуся Наркоминделу И. А. Залкинд, прибыв с «Красносельского фронта», получил несколько связок ключей от перепуганного графа Татищева.

Занялись дипломатической работой бывшие подпольщики и политические эмигранты, направленные в НКВД, потому что побывали за границей, в Европе или Америке, и знали какой-нибудь иностранный язык. Участники гражданской войны, совершившие подвиги на Дальнем Востоке или в Центральной Азии, становились знатоками и проводниками нашей политики мира и дружбы в отношении стран Востока. Я застал уже за активной работой юристов-международников «старшего поколения» (сорокалетние); все

большую роль играли люди с высшим образованием помоложе, а вслед за ними — начинающая молодежь, впрочем, уже успевшая побывать на фронтах гражданской войны.

Всех этих разных людей объединяло глубокое убеждение в историческом значении дела, в котором они участвуют, и увлечение новым поприщем деятельности. Если искать общую формулу для характеристики молодого дипломатического аппарата, то правильно всего сказать, что он состоял из революционной интеллигенции.

Всякому пытливому человеку знакомо радостное ощущение новизны впечатлений на ранних ступенях его жизни. Юноша, совершающий первые шаги в своей профессиональной деятельности, наталкивается на трудности и делает открытия, которым позже не придает значения. Но в обычных условиях такой начинающий самостоятельную жизнь молодой человек окружен людьми, уже имеющими профессиональные знания и опыт, он знакомится с определенной рутинной. Иначе обстояло дело в условиях революционного перелома в жизни общества. В течение ряда лет участники строительства государства разных возрастов встречали новые трудности, делали новые открытия. Это полностью отнесится и к работникам советской дипломатии.

Новизна была двоякого рода. Для большинства работников НКВД (МИД) СССР новым, незнакомым делом была самая дипломатическая деятельность, проблемы, с нею связанные, и дипломатическая техника. И что еще важнее — самые принципы внешней политики были новыми; новыми были методы их применения и строившийся заново аппарат. Первоначально совершенно новой была и форма дипломатических документов, поскольку первые ноты Советского правительства представляли собой и по существу и по форме апелляцию к народам через головы правительств.

Пожалуй, единственной группой работников, продолжавших в новой роли прежнюю деятельность, были советские дипкурьеры. В большинстве своем это были люди, ведшие опасную и ответственную партийную работу до революции и продолжавшие вести ответственную и опасную работу после революции.

Надо указать еще на одну своеобразную и неповторимую черту советского дипломатического аппарата «первого призыва».

После победы революции в России впервые в истории не отдельные лица или группы людей, а все участники революционной борьбы в Европе, Азии и Америке сочли своим кровным делом охрану интересов одной определенной страны — революционной России. Известно, как много иностранных коммунистов и беспартийных иностранных рабочих сражались в рядах Красной Армии. Менее известно, какую помощь получила на первых порах советская дипломатия от борцов европейского рабочего класса. Естественно, что их помощь могла быть особенно ценной там, где требовалось знание европейских языков и общественной жизни европейских стран. Эти товарищи, подобно русским большевикам, считали себя «оборонцами» с октября 1917 года. В этом отношении, быть может, особенно яркой и символической фигурой был Юлиан Мархлевский. Поляк по национальности, один из крупнейших деятелей польского рабочего движения, виднейший деятель германского революционного движения, вместе с Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург основавший «Союз Спартака», из которого выросла Германская коммунистическая партия, Мархлевский был одним из первых активных советских дипломатов, в труднейших условиях представлявший интересы России на разных участках — от Финляндии до Японии.

В то время как русские контрреволюционные эмигранты, кичившиеся своим патриотизмом, на деле участвовали во вторжении иностранных армий на территорию родной страны, организовывали террористические акты против советских дипломатов (убийство В. В. Воровского в Лозанне, П. Л. Войкова в Варшаве, Т. И. Нетте в Лазви), интернационалисты разных стран вместе с русскими патриотами самоотверженно работали и рисковали жизнью во имя укрепления нового Российского государства, а в дальнейшем — Советского Союза. И многие годы интернационалисты, которые были действительно патриотами социалистической России, понимали, что самый лютейший противник их дела — это та часть русской эмиграции, прежде всего монархической, которая связала свою судьбу с иностранными правительствами и даже разведками, как, например, некоторые руководители белогвардейской газеты «Возрождение». Советские дипломаты, находившиеся на граничных постах, буквально ежедневно сталкивались с происками

белоэмигрантов. Коллизия между советскими патриотами-интернационалистами, с одной стороны, и врагами революционной страны из числа русских политических эмигрантов, с другой,— явление, существенное для понимания условий деятельности молодой советской дипломатии и психологии дипломатических работников того времени, о котором я говорю¹.

Аналогия между начальным периодом самостоятельной жизни человека и начальными этапами деятельности советской дипломатии предполагает именно процесс становления и развития. Постепенно формировался стиль работы, и постепенно формировалось понимание работниками советской дипломатии их задач. На разных этапах и в связи с различными проблемами мы убеждались в необходимости постоянно решать комплексную задачу: не отступая от принципов интернационализма, то есть внимания к правам и интересам всех народов и трудящихся масс, всемерно обеспечивать интересы своего Советского государства. Не то чтобы «в новизне слышалась старина», хотя такая возможность не исключена полностью. Но новое как раз заключалось в том, что именно осуществление революционных принципов внешней политики и международных отношений обеспечивало охрану исконных интересов России, а в дальнейшем и других республик, вошедших в состав Советского Союза. Речь шла, конечно, о тех интересах и исторических задачах, в отношении которых советская власть признавала свою преемственность и ответственность.

Становление и рост — это такой процесс, когда происходят перемены, наблюдаются критические точки в развитии и переломные моменты в деятельности отдельных лиц и аппарата в целом. О таком важнейшем переломе говорил Г. В. Чичерин, касаясь влияния на него первых контактов с Лениным во внешней политике: «Для всех нас перелом от прежних взглядов подпольной революционной партии к политическому реализму стоящего у власти правительства был чрезвычайно труден...»

Эта мысль была высказана в мае 1924 года, через шесть лет после того, как в 1918 году накануне Бреста состоялся тот разговор Чичерина с Лениным, который дал толчок эволюции, им отмеченной.

Не случайно Г. В. Чичерин упомянул о «переломе» в связи с брестскими переговорами. Ведь именно в Брестском мире воплотился политический реализм Ленина в области внешней политики. Такая реальная политика была возможна только на основе революционного оптимизма и интернационализма. Ленин уступил пространство и выиграл время, потому что знал, что время было союзником молодого Советского государства. Таким образом, Брестский договор может служить иллюстрацией того, что политический реализм не равнозначен узкому, прагматическому отношению к действительности, упрощенному и робкому подходу к событиям, учитывающему только обстоятельства данного момента. Нет, реализм ленинской дипломатии строился на умении смотреть далеко вперед, опираясь при этом на продуманный анализ исторического развития.

Самый перелом, о котором говорил Чичерин, не был единовременным актом, а длился годы. Он проходил по-разному у разных людей. Эта проблема не была столь уж острой для тех, кто пришел в аппарат после Генуэзской конференции, то есть после 1922 года, а таких скоро стало большинство. Эти товарищи сразу включились в работу государственного аппарата, руководимого партией, уже несколько лет находящейся у власти.

Тем не менее бесспорно, что становление советской дипломатии — это динамический и сложный процесс. Политика эволюционировала, и люди эволюционировали.

¹ Разумеется, я не отрицаю расслоения в эмигрантской среде и ничуть не желаю умалить значение перелома, происшедшего в части русской и украинской эмиграции уже в связи с борьбой против фашизма в Испании и особенно когда грянула Великая Отечественная война. Лучшие представители русских за рубежом и молодое поколение к концу тридцатых годов — это совершенно другая социальная прослойка и другое общественно-политическое явление, нежели белая эмиграция первых лет существования советской власти. Между участниками интервенции в России и бойцами интернациональных бригад в Испании и русскими, украинскими, грузинскими участниками французского Сопротивления лежит пропасть.

Постоянной целью советской внешней политики было обеспечение мира между народами. Но средства не могли быть одинаковыми, а важнейшим средством была сама дипломатия. За пятьдесят лет она прошла путь от борьбы за прекращение первой мировой войны к борьбе за предотвращение третьей мировой войны. Цели ее не изменились, и это — важнейший исторический факт, но обстановка резко изменилась, и это тоже немаловажный исторический факт!

Однако здесь я попытаюсь обрисовать ход развития в пределах ограниченного срока, примерно в период между первой и второй мировыми войнами.

Известно, что первым документом нашей внешней политики был декрет о мире от 8 ноября 1917 года. В этом историческом документе были воплощены одновременно и чаяния всего человечества, измученного мировой войной, и революционные стремления его передовой части. Источником, питавшим советскую внешнюю политику и деятельность советской дипломатии, была Октябрьская революция — событие мирового масштаба. И вместе с тем это событие положило начало новой внешней политике одной великой страны — Российского государства.

Декрет о мире, приведший к практическим результатам только почти через полгода, при заключении Брестского мира, и окончательно реализованный только после побед Красной Армии над белыми армиями и интервентами, был прочитан по-разному разными людьми. Для крестьян в солдатских шинелях Декрет о мире был неотделим от Декрета о земле: мир означал, что можно вернуться к своей земле, можно получить землю, отобрать ее у помещиков и богатеев! Для передовых рабочих и революционной интеллигенции прекращение империалистической войны означало начало социальной революции не только в России. Через месяц после принятия Декрета о мире, 11 декабря 1917 года, «Правда» писала: «Мир — это не только предварительное, основное, самое важное условие для залечения ужасных ран, нанесенных варварским мечом империалистической войны; это — величайшее орудие социальной революции...»

Теперь нам ясно, какая скрывалась за этими словами историческая мудрость — они выражали понимание того, что прекращение войны, предотвращение войны есть непременное условие для социальных преобразований, в том числе и наиболее революционных. Тот, кто в наше время отвергает эту мысль, тем самым безответственно отвергает неопровержимые уроки истории. Но когда речь идет о самой истории, о событиях прошлого, то надо учитывать, что мир и революция были равноправными и тесно связанными понятиями для очень многих, в том числе и работников дипломатии.

Мог ли я, уже став сотрудником дипломатического ведомства, вовсе забыть, как весело стало у меня на душе, когда три года назад я услышал, что лежавший рядом со мной в цепи боец сказал другому: «Теперь мы мировую буржуазию держим в руках!» В произведении моего любимого поэта я в революционные годы прочел известные слова: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!» Теперь эти строки воспринимаются как многократно повторявшаяся частушка, а тогда в них звучал голос революционного народа. Но Александр Блок в том же январе 1918 года, когда он написал «Двенадцать», выразил музыку революции и в других незабываемых словах:

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз — на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

Не хотелось бы, чтобы эти поэтические строки прозвучали для читателя диссонансом в статье о дипломатии. Во всяком случае приведенные стихи Блока соответствуют тому содержанию, которое многие из нас вкладывали в борьбу за мир.

Напомню, что на первом году существования советской власти, говоря о Брестском договоре, Ленин сказал: «...трудящиеся классы требовали мира, нуждаясь в отдыхе для работы, организации социалистического хозяйства, для собирания и укрепления сил, надорванных мучительной войной»¹. Замечательно, что глубоко человеческое слово «отдых» прозвучало вновь, когда через год Ленин обратился к руководителям венгер-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 524.

ской революции: «...всякую возможность хотя бы для временного перемирия или мира надо обязательно использовать, чтобы дать отдых народу»¹.

Когда советский народ наконец завоевал себе право на отдых и на труд, общие задачи советской внешней политики обрели совершенно конкретные очертания борьбы за охрану мирного труда в нашей стране. Но этим не снимались и не разрешались вопросы, касавшиеся практической деятельности дипломатии. Важность политического реализма при решении этих вопросов становилась все очевиднее, о чем свидетельствуют слова Г. В. Чичерина о трудности перелома.

Надо сказать, что облик Г. В. Чичерина, его манера говорить и размышлять вслух, присущие ему богатейшие литературные и философские ассоциации — все это на первый взгляд как будто не соответствовало обычному представлению о «реалистическом политике». Я был в годы общения с Чичериным — это надо оговорить — еще очень молодым и не слишком реалистично мыслящим человеком. Когда Чичерин сидел перед длинным столом, заваленным книгами, газетами и журналами, и, теребя русую бородку (такую характерную для старого русского интеллигента), цитировал по немецки на память «Фауста» и вовлекал своего молодого посетителя в интереснейший диалог, то казалось порой, что мне посчастливилось говорить с видным русским философом или литератором. Такое впечатление бывало особенно острым, если до ночного приема (как известно, Чичерин работал по ночам) я, сидя в своем маленьком кабинетике с балконом, слушал, как этажом ниже нарком играл Моцарта. Но на мою долю выпало большее счастье, чем только общение с высококультурным человеком. Передо мной находился опытный и трезвейший политик, всегда готовый выдвинуть и обосновать смелые и глубоко практические идеи. От впечатления, полученного в ночной беседе — по сути случайной и, вероятно, бывшей для Чичерина чем-то вроде отдыха или развлечения, — не оставалось ничего, когда я знакомился с политическими директивами наркома или с какой-либо из его многочисленных записок, которые утром находили на своих столах работники НКВД. Чичерин успевал за ночь ознакомиться с уймой дел, продумать уйму проблем и к утру ставил новые и конкретные вопросы перед своими сотрудниками. Чичерин вовсе не был ни «рассеянным профессором», ни благожелательным философом — он бывал весьма четок и язвителен. В каком-то смысле о Чичерине-политике можно было бы сказать словами Пастернака о Ленине: «Он был как выпад на рапире...»

Многие годы ярким и последовательным выразителем политического реализма в руководстве советской дипломатией был М. М. Литвинов. Активный участник революционной борьбы большевиков и нелегальной работы до Октября, близкий соратник Ленина, убежденный и последовательный интернационалист, М. М. Литвинов был государственным деятелем в самом высоком значении этого слова. Он был подлинным руководителем и организатором дипломатического аппарата со всеми его новыми чертами и методами. Вместе с тем именно Литвинов был целеустремленным и инициативным борцом за осуществление политики мирного сотрудничества между государствами с различными общественными системами. Теперь порой забывают, что во всех своих важнейших выступлениях перед советской аудиторией и на международной арене Литвинов использовал ленинский принцип мирного сосуществования как ключ для определения и объяснения конкретных шагов и решений советской дипломатии. Когда гитлеровская Германия стала основной угрозой для мира и, следовательно, для мирного сосуществования, М. М. Литвинов подчинил всю свою дипломатическую деятельность пресечению фашистской угрозы, нависшей над всеми народами. В своей речи при вступлении СССР в Лигу Наций 18 сентября 1934 года он назвал неотложной задачей организацию мира в противовес организации войны. В период, непосредственно предшествовавший началу второй мировой войны, в деятельности М. М. Литвинова воплотилось в исключительно сконцентрированной форме сочетание интернационализма, защиты дела прогресса во всем мире с охраной кровных интересов Советского государства.

Мне кажется, что обобщенные черты советской дипломатии были и личными чертами М. М. Литвинова. Эти черты — твердая убежденность в правоте той идеологии, которую он защищал, скрупулезное внимание к государственным интересам и в боль-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 354.

шом и в малом, отсутствие позы, демократичность делового человека и как внешнее проявление этих свойств — точность и немногословие. Этот умнейший человек был немногословен, потому что ценил слово, и каждое его слово имело вес. И при всем этом Максим Максимович был необычайно жизнерадостным человеком...

Политическому реализму, естественно, чуждо догматическое мышление. В годы становления советской дипломатии обычным было оживленное обсуждение возникавших проблем. Происходили споры, и притом не только между работавшими рядом товарищами, но и между подчиненными и руководителями. Чичерин сам заводил длинные беседы, принимая сотрудников, и добивался всестороннего, следовательно неизбежно дискуссионного, освещения проблем. Литвинов не пускался в длительные разговоры, но всегда явно одобрительно относился к тем, кто имел собственное мнение и его открыто защищал даже вопреки мнению, высказанному самим Максимом Максимовичем.

Деятельность советской дипломатии была связана с острой политической борьбой и вместе с тем была отмечена неповторимым своеобразием. В аппарате, находившемся на стыке между революционной страной и капиталистическим окружением, особенно явно ощущалась необходимость твердой и последовательной защиты интересов государства наряду с пониманием того, что эта борьба совпадает с делом общественного прогресса в других странах.

Ленин очень внимательно следил за становлением советской дипломатии, заботливо опекал ее. Он считал, что в этой области достигнут серьезный успех. Он писал об этом в своих последних работах. В статье «Как нам реорганизовать Рабкрин» Ленин, обосновывая свои предложения, писал: «...Рабкрин получит таким путем столь высокий авторитет, что станет, по меньшей мере, не хуже нашего НКВД»¹. В декабре 1922 года Ленин писал о советском дипломатическом аппарате: «...этот аппарат исключительный в составе нашего государственного аппарата... этот аппарат уже завоевал себе (можно сказать это смело) название проверенного коммунистического аппарата...»².

К сожалению, многих работников этого отмеченного похвалой Ленина аппарата в конце тридцатых годов постигла трагическая судьба.

Как сказано, государственные задачи, которые приходилось в прошлом решать и изучать работникам советского аппарата, были новыми не только для молодежи, но и для старшего поколения. Но более того, многие из этих вопросов были новыми в абсолютном значении этого слова, ибо их раньше вообще никто не ставил и не мог ставить. Молодые советские дипломаты росли в такой атмосфере, когда новаторство было не просто лозунгом или пожеланием, а реальной необходимостью.

Я говорю о молодых или начинающих дипломатах так, словно они все были самостоятельными деятелями. Нет, мы не были деятелями, вершившими государственные дела, но мы были самостоятельны в своей работе. Рядовые работники государственного аппарата, и в частности Наркоминдела, не определяли политику, они строго выполняли директивы партии, но на заре советской дипломатии им зачастую приходилось самим сочинять законы, потому что сформулированных законоположений еще не существовало. Работники НКВД в течение многих лет должны были не применять или истолковывать договоры, а разрабатывать их на совершенно новых основаниях. Сначала разрабатывались мирные договоры с соседними государствами, потом консульские соглашения и торговые договоры, притом в еще небывалых условиях монополии внешней торговли.

Бесспорно, дело не обходилось без ошибок и даже курьезов. Вот один из примеров. Пришлось издать специальный циркуляр, в котором говорилось: «Из практики НКВД видно, что т.т. Полномочные представители по заключению с иностранными государствами международных договоров... оставляют при делах представительства подписанные подлинники акты... Прошу в будущем товарищей Полномочных представителей немедленно по подписании ими заключаемых договоров отсылать подлинники таковых в НКВД...»

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 43, стр. 384.

² Там же, стр. 381.

Я разыскал этот циркуляр в старом «Вестнике НКВД», так как вспомнил, как мы в 1922 году получали тексты договоров, которые частично были для нас открытием.

Конечно, это были крайние проявления самостоятельности дипломатических представителей. Но я хочу подчеркнуть, что после того, как крайности были изжиты, самостоятельность и инициативность считались высшей добродетелью наших дипломатов.

Разумеется, и в первые годы было ясно, что плодотворная работа дипломатического аппарата не могла строиться, как принято говорить, на «голом энтузиазме», на абстрактной революционности и стремлении к новаторству как самоцели. Обеспечение государственных интересов и преемственности в этой области требовало изучения истории русской дипломатии, истории отдельных проблем — и тех, что получили разрешение в прошлом, и тех, которые не были решены царской дипломатией. Надо было усвоить и научиться использовать международно-правовые нормы, общепринятые дипломатические формы и наконец освоить служебную технику.

В этом случае не требовалось особого новаторства. Но дело в том, что в те времена для выходцев из рабочей среды и среды трудовой интеллигенции новинкой были обычные навыки государственного служащего. Новым было для нас то, что сейчас привычно, вплоть до канцелярской терминологии. Нам казалось странным, что надо расписываться при уходе и приходе, как будто мы работаем по принуждению, а не по убеждению. Первоначально новостью было и то, что руководитель на разных ступенях служебной лестницы «накладывает резолюцию» и за этой резолюцией может скрываться интересное дело или неприятность. Словом, надо было осваивать то, что Ленин однажды назвал «обрядами делопроизводства».

Ленин писал так: «Во всей области общественных, экономических и политических отношений мы «ужасно» революционны. Но в области чиновничества, соблюдения форм и обрядов делопроизводства наша «революционность» сменяется сплошь да рядом самым затхлым рутинерством»¹.

Возмущение Ленина «затхлым рутинерством» связано с тем, что его крайне тревожили любые проявления бюрократизма, как это ясно видно из его последних писем и статей. В частности, он видел рутинерство и бюрократизм не только в канцеляршине, но и в беспорядочности и медлительности, в самочинных действиях и в несоблюдении разумных правил государственной деятельности. Он и с этой точки зрения внимательно следили за условиями работы дипломатического аппарата. Можно привести несколько примеров за один 1921 год. Так, он в двух записках поддержал жалобу Г. В. Чичерина по поводу того, что «Малый Совет народных комиссаров» принял решение «о порядке ввоза и хранения английских товаров» без выслушивания делегированного НКВД тов. Штейна, причем Ленин особо обратил внимание на то, что представитель НКВД просидел в приемной с трех до девяти часов.

В том же году Ленин отдал специальные указания в связи с тем, что Московский комитет послал в командировку работника НКВД без согласования с наркомом. Ленин сообщил Чичерину, что предложил «...провести через Политбюро точное положение о правах МК и о том, что без согласия Вашего снимать людей (в широком смысле слова «снимать») МК не вправе»².

Нет сомнения, что в отношении Ленина к НКВД определенную роль играло личное доверие и уважение к руководителям дипломатии. Литвинов уже около двух десятков лет был близким сотрудником Ленина. Отношение Ленина к Чичерину в послеоктябрьский период можно иллюстрировать хотя бы следующим отзывом: «Чичерин — работник великолепный, добросовестнейший, умный, знающий. Таких людей надо ценить. Что его слабость — недостаток «командирства», это не беда. Мало ли людей с обратной слабостью на свете!»³.

Та «обратная слабость», о которой говорил Ленин, то есть избыток «командирства», вовсе не исключала рутинерства и бюрократизма. Поэтому для формирования стиля и методов, в частности, дипломатического аппарата решающим было то, что вся

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 400.

² Там же, т. 53, стр. 32, 33, 268, 433.

³ Там же, т. 50, стр. 111.

общественная жизнь была пропитана стремлением к преобразованиям и поисками новых путей в любой области деятельности.

В этой связи я хотел бы сказать несколько слов о том, какое влияние на нас оказывало искусство в описываемые годы. Я сошлюсь на свои, конечно субъективные, впечатления о театральной жизни Москвы.

Художественный театр искони был храмом искусства для русской интеллигенции. Но в двадцатых годах, при всем нашем преклонении перед этим театром, его спектакли (особенно до постановки «Бронепоезда» В. Иванова) не были созвучны с нашим настроением. Для меня, например, стимулом в моей работе бывало посещение театра Вахтангова, а позднее театра Мейерхольда. Мой молодой современник видел и верил, что раздвинулись рамки жизни и истории, что в открывшемся перед его взором пространстве бушуют человеческие массы,— и он больше отзывался на революционное искусство театра Мейерхольда с открытой сценой и многоступенчатой площадкой, как бы составляющей часть зрительного зала и всей страны.

Речь идет, конечно, не о прямом воздействии произведений искусства на стиль нашей работы, и дело не во внешних формах (сказанное о театре Мейерхольда — только иллюстрация). Но наше мироощущение, естественно, формировалось и характером нашей политической и практической деятельности, и искусством. Вспоминается, как в 1923 году во время демонстрации в ответ на английский ультиматум («ультиматум Керзона»), демонстрации, в которой участвовал аппарат НКВД в полном составе, когда толпа демонстрантов залила всю площадь Свердлова, Маяковский, возвышаясь на каменной тумбе у Большого театра, точно памятник самому себе, читал громовым голосом «Левый марш». А ведь эта демонстрация была важным актом внешней политики! Вспоминаются и бурные полемические вечера поэзии в Политехническом музее. Тот, кто присутствовал на этих встречах, не думал в этот момент о своих профессиональных делах, а был увлечен поэзией и новыми открытиями именно в этой сфере. Но на другое утро после вечера поэзии он с удвоенной силой принимался за свое собственное дело.

Мне кажется, что есть немало общего между процессом становления нашей молодой дипломатии и процессом становления художника: освоение воспринятых из прошлого задач и приемов дополняется созданием новых форм для воплощения нового содержания.

III

Обрисовав в общих чертах «средство», предназначенное для претворения в жизнь внешнеполитических целей Советского правительства, я хотел бы теперь сказать о том, какие задачи пришлось решать в период становления и развития советской дипломатии. Пожалуй, следует оговориться, что я коснусь в первую очередь тех сфер дипломатической работы, с которыми сам в большей или меньшей мере соприкасался. Я отдаю себе отчет в известной субъективности моего изложения и, признаюсь, считаю это естественным и неизбежным.

Внешнеполитические задачи, обусловленные выходом из войны, решались всей страной. Но были и специфические задачи, которые встали именно перед дипломатией Советской страны. Одна из них — возвращение военнопленных. Впрочем, и эти задачи были связаны с общей борьбой за международное признание советской власти. Начало этому делу было положено успешно завершёнными переговорами М. М. Литвинова в Копенгагене. Окончательное возвращение всех военнопленных потребовало ряда сложных переговоров, соглашений, согласованных с иностранными властями инструкций, для составления которых нужен был обширный арсенал международно-правовых приемов и юридических аргументов. Пожалуй, именно на этой почве впервые революционная энергия большевиков, направленных на дипломатическую работу, сомкнулась с опытом и знаниями образованных юристов и специалистов по дипломатической технике.

Аналогичный характер имели вопросы, связанные с демаркацией (установлением на месте) границ. Они приобрели особое значение, когда были заключены мирные договоры с государствами, получившими самостоятельность после Октябрьской революции. Демаркация новых границ была далеко не просто техническим мероприятием, а важным политическим актом. В мирных договорах был воплощен последовательный

интернационализм ленинской внешней политики. Однако успешная демаркация границ с соседними государствами стала окончательно возможна лишь в результате укрепления оборонной мощи Советского государства, положившего предел попыткам антисоветских сил нарушать наши границы на западе и на востоке.

Дипломатия искони должна была решать правовые проблемы, а примерно с конца XIX века и сложные экономические вопросы. Поэтому можно было бы сказать, что никакой особой новизны не было в том, что молодая советская дипломатия сразу оказалась перед необходимостью вплотную заняться юридическими и экономическими проблемами. Но ведь впервые в истории надо было решать правовые вопросы, связанные с выходом революционной страны из мировой войны. Впервые надо было закрепить в международном плане «равноправие двух систем собственности», как сказано в постановлении ВЦИК после Генуэзской конференции.

Есть определенная историческая закономерность в том, что полпредами (послами) первой Российской республики, а затем Советского Союза были большей частью образованные марксисты. Имена некоторых из них — В. В. Воровского, Л. Б. Красина, И. М. Майского, П. Л. Войкова — сейчас хорошо известны. Но есть и забытые имена активных деятелей советской дипломатии в период ее становления и развития; назову только некоторых: Л. М. Карахан, Н. Н. Крестинский, В. С. Довгалевский, Я. З. Суриц, Л. М. Хинчук, А. А. Трояновский. Многие из наших крупных дипломатов были и крупными практическими деятелями в области экономики: Н. Н. Крестинский был наркомом финансов, Л. Б. Красин — наркомом внешней торговли, В. С. Довгалевский — наркомом почт и телеграфа (так тогда называлось Министерство связи), Л. М. Хинчук — замнаркома внешней торговли, А. А. Трояновский — первым председателем Госторга.

Мне придется ограничиться лишь перечислением имен. Мое изложение стало бы и слишком обширным и поверхностным, если бы я попытался осветить процесс развития нашей дипломатии на примере деятельности наших заграничных представителей.

Итак, возвращаюсь к характеристике центрального аппарата НКВД СССР, который из флигеля гостиницы «Метрополь» переехал в большое серое здание на углу Кузнецкого моста и улицы Дзержинского.

В двадцатых годах привилась терминология, отчасти сохранившаяся и позже: деление центрального дипломатического аппарата на две части — политические отделы и экономическо-правовой и консульский отделы. Такое деление имело реальные основания. Но за этими обозначениями скрывалось и то, что в сознании многих работников аппарата еще существовал водораздел между политической революционной борьбой и повседневной работой по защите внешнеполитических интересов государства. Конечно, большую роль играло то обстоятельство, что в так называемых политических отделах в начальный период работали недавние профессиональные революционеры, а в экономическо-правовом отделе первоначально сосредоточились специалисты по международному праву. Но эти товарищи были вовсе не безыдейными «спецами», а политически мыслящими людьми, относившимися к общим задачам советской дипломатии с не меньшим интересом и чувством ответственности, нежели чисто политические работники, долго проявлявшие недоверие к «интеллигентской прослойке». Теперь, когда подведены итоги деятельности и жизни большинства дипломатических работников того времени, можно определенно сказать, что недоверие было необоснованным, да и вообще различия между отдельными человеческими характерами имели второстепенное значение, главным была объединившая всех преданность общему делу.

Весь период между двумя войнами экономическо-правовым отделом заведовал А. В. Сабанин. Этот юрист-международник после Октября перешел из дореволюционного министерства иностранных дел в Народный комиссариат иностранных дел. Очевидно, в нем говорил патриотизм русского человека, верившего в то, что советский строй принесет благо России. То, что бывший царский дипломат всю жизнь оставался предан Советскому правительству, подтверждается всей его работой и наконец через много лет его реабилитацией.

А. В. Сабанин старался приспособиться к стилю советского учреждения, хотя и сохранил навыки старой школы; когда этот элегантный человек со смуглым лицом и острой бородкой, несколько похожий на последнего царского министра иностранных

дел Сазонова, на ходу здоровался с младшими сотрудниками, то порой казалось, что его рука случайно упала в подставленную ладонь. Сабанин оказал особенно большие услуги советской дипломатии, когда она делала первые шаги, когда надо было облекать в принятую правовую форму акты новой внешней политики, когда Советское государство постепенно включалось в уже существовавшую систему международно-правовых связей. В более поздние годы Сабанин играл меньшую роль; его, естественно, оттеснили новые люди, которые мыслили не только юридически, но и экономически,—одним словом, были последовательными марксистами.

В двадцатых годах заместителем Сабанина был марксист и большевик Е. Б. Пащуканис, который прокладывал новые пути в правовой науке и практике. Этот замечательный человек отличался редкой ясностью и убедительностью суждений, подчеркнутой скромностью и какой-то особой мужественностью, свойственной глубоко принципиальным людям.

Правовой частью экономическо-правового отдела ведал ныне здравствующий Е. В. Рубинин, который пришел в центральный аппарат после чисто политической работы в Средней Азии, а в дальнейшем был активным сотрудником М. М. Литвинова и занимал важные дипломатические посты и в центральном аппарате, и за границей. Экономической частью ведал человек острого ума Г. Н. Лашкевич, подобно Сабанину перешедший после Октября из старого дипломатического аппарата в НКВД. Таков же был жизненный путь Н. П. Колчановского и В. В. Егорьева. Все эти товарищи стали ценными экспертами, на которых опиралось руководство дипломатией. Но только Н. П. Колчановский до конца своих дней оставался в составе дипломатического аппарата. Надо еще назвать М. А. Плоткина, талантливого юриста, работавшего с громадным увлечением и подъемом вплоть до того дня, когда его деятельность была прервана.

Я вспоминаю товарищей, которых я знал на протяжении многих лет и встречался с ними при разных обстоятельствах. Но сейчас они предстают перед моим мысленным взором на заре их деятельности. Они шагают по длинным коленчатым коридорам здания НКВД на Кузнецком мосту, взбегают легко по лестнице. На третьем этаже в шестом подъезде в двух бывших барских квартирах расположился экономическо-правовой отдел. В кухне с плиточным полом и в примыкающей к ней «комнате для прислуги» помещалось пятое торгово-политическое отделение. Там можно было застать сразу четырех работников в области внешней торговой политики: того, кого мы называли «дедушкой советской торговой политики»,— тридцатилетнего Б. Е. Штейна, первого заведующего экономическим отделением А. Я. Канторовича, помощником и преемником которого стал я, и Б. Д. Розенблюма, будущего авторитетного и блестящего эксперта по вопросам внешней торговой политики.

Б. Е. Штейн был первым автором теоретических работ по торговой политике Советского государства. Его книга о Генуэзской конференции есть в личной библиотеке Ленина в Горках. Вдумчивый и наблюдательный, всегда доброжелательный и чуть ироничный, весьма работоспособный и дисциплинированный, Б. Е. Штейн стал одним из активнейших советских дипломатов не только в качестве посла в Финляндии и Италии, но и в качестве одного из наших постоянных делегатов в международных организациях, в Лиге Наций, а позднее как эксперт делегации в ООН. Он скончался в 1961 году. Штейн хотел писать мемуары; то, что он был лишен возможности выполнить свое намерение,— большая потеря для историков и исследователей.

Но в то время, о котором здесь идет речь, и Б. Е. Штейн, и его товарищи были далеки от мысли о писании мемуаров. Все еще было впереди — и радости, и успехи, и разочарования.

Хотелось бы яснее сказать о таком ярком и привлекательном человеке, каким был А. Я. Канторович. Образованный экономист и превосходный журналист, знаток английского языка, английской истории и литературы, Анатолий Яковлевич одновременно специализировался в дальневосточных проблемах. Позднее он работал в Пекине, выступал защитником советских граждан в китайском суде. Уйдя на научную работу, А. Я. Канторович получил звание доктора наук за исследование «Америка в борьбе за Китай». Мне известно, что А. Я. Канторович начал свою политическую деятельность в дни Октябрьской революции, когда его из Смольного направили в качестве комиссара

на фронт под Петроградом. Мне тяжело думать о том, как закончилась его деятельность и жизнь...

Однако пора перейти к самому опыту решения экономических проблем. Как известно, они тесно переплетались с важнейшими вопросами внутренней политики.

IV

Принято цитировать слова Ленина о том, что нельзя «выделять» внешнюю политику «из политики вообще или тем более противопоставать внешнюю политику внутренней»... Эта цитата изымается из той работы Ленина, в которой он доказывал, что «...империализм есть «отрицание» демократии вообще, всей демократии...»¹. Когда речь идет о связи именно советской внешней политики с внутренней, то уместнее было бы опираться хотя бы на статью «Лучше меньше, да лучше», составляющую как бы часть политического завещания Ленина. Связь между внешней и внутренней политикой предстает перед глазами с поразительной отчетливостью при чтении статьи, в которой, отвечая на вопрос: «Можем ли мы спастись от грядущего столкновения с... империалистическими государствами?»,— Ленин в пределах трех страниц называет и международные факторы, такие, как противоречия в стане империализма и растущее народно-освободительное движение в Азии, и одновременно в прямой связи с этим формулирует задачи экономического строительства, индустриализации, формулирует важнейшую мысль о необходимости пересечь «на лошадь крупной машинной индустрии» и все в той же связи развертывает программу обновления государственного аппарата, настаивает на важности борьбы с бюрократизмом².

Внешняя экономическая политика тесно переплеталась с задачами внутренней и тогда, когда капиталистические правительства пытались задушить Страну Советов «костлявой рукой голода», когда надо было прорвать экономическую блокаду, и тогда, когда осуществление первых пятилетних планов требовало широкого импорта заграничной техники и возможности оплачивать ее советским экспортом.

Мы начинали строить свою внешнюю экономическую политику в таких условиях, когда внутренний торговый оборот почти не существовал. Рынки в Москве то появлялись, то исчезали, как сыпь на теле больного. Наша внешняя торговая политика стала развертываться, когда во времена нэпа рынки уже воспринимались как румянец здоровья. Москва уже не была такой пустынной, как после окончания войны с Польшей; на Кузнецком мосту, на Петровке и в Столешниковом переулке магазины бойко торговали, суетились покупатели и продавцы, но царившая там атмосфера не всегда стимулировала ту работу мысли, которая происходила в государственных учреждениях, возвышавшихся среди стихии нэпа как крепости. Мы ездили из одной «крепости» в другую на заседания в одноконном экипаже (машин было маловато, зато у НКВД имелась конюшня). Во время этих поездок по городу я часто остро чувствовал несоответствие между тем миром, в каком я жил и работал, и тем, который шумел вокруг меня. Я имею в виду не распространенные тогда антинэповские настроения, а наши раздумья, сущность которых можно было бы выразить в определенной формуле: как сочетать социалистические командные высоты в экономике с рыночными отношениями? Теперь у нас есть ответ на этот вопрос, но дался он нелегко.

Деятельность советской дипломатии в области экономических связей была одним из важных рычагов, с помощью которых усиливались государственные регуляторы внутри страны.

Нэп сопровождался рядом мероприятий, создававших базу для внешней торговли. Так, в 1922 году был введен червонец, то есть начался переход к твердой валюте. Налаживалась железнодорожная и почтовая связь. Велись переговоры о концессиях, наши торговые делегации выехали за границу. Большую активность развивало наше торговое представительство в Берлине, возглавляемое Б. С. Стомоняковым, позднее деятельным заместителем нарккома иностранных дел.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 93.

² См. там же, т. 45, стр. 403—406.

Еще в конце 1920 года были заключены союзные договоры между самостоятельными республиками, подготовлявшие образование Советского Союза. Тогда в своих замечаниях о значении федерации советских республик Ленин указывал, что их объединение необходимо: надо отстоять республики против враждебного окружения; советским республикам нужен экономический союз; кроме того, этот процесс отражает прогрессивную «...тенденцию к созданию единого, по общему плану регулируемого пролетариатом всех наций, всемирного хозяйства как целого...»¹.

Связывая объединение советских республик с теоретическим анализом тенденций мирового развития, Ленин выводил из этого же анализа и программу действий советских республик на международной арене. Напомню некоторые пункты из составленной Г. В. Чичериным «пацифистской программы» (выражение Ленина), предложенной советской делегацией на Генуэзской конференции в 1922 году: созыв международного конгресса по решению главных международных проблем; создание Всемирным конгрессом технических комиссий для осуществления программы экономического возрождения; помощь слабым государствам; планомерное мировое распределение нужных товаров для осуществления программы восстановления; постройка сверхмагистрали Лондон—Москва—Пекин; привлечение колониальных народов к решению международных вопросов на основе полного равноправия; участие рабочих организаций в международных совещаниях².

Кроме приведенных социально-экономических пунктов, советская делегация выдвинула, как известно, и требования всеобщего разоружения и запрещения средств массового уничтожения (задолго до создания атомной бомбы...).

Все это происходило сорок пять лет назад! Но ведь каждый из этих пунктов, как порознь, так и все вместе, можно, внося небольшие изменения, учитывающие прогресс техники, предложить в качестве программы действий ООН. Сверх того, благодаря изменению соотношения сил на международной арене советская программа 1922 года стала реальной задачей во второй половине XX века. Таково требование равноправного участия теперь уже бывших колониальных народов в решении международных вопросов или требование об участии рабочих организаций в обсуждении международных дел. Теперь западноевропейские коммунистические партии настойчиво добиваются реализации этого требования, в частности применительно к «Общему рынку» шести европейских держав.

Экономическая программа, положенная Советским правительством в основу его политики мирного сосуществования между странами с различными общественными системами, оказывается также такой программой, за которую рабочие партии и организации борются и в пределах самой капиталистической системы. Снова подтверждается та мысль, что принципы и методы советской внешней политики могут и должны строиться на сочетании интернациональных задач с интересами Советского государства.

Программа экономического сотрудничества, развернутая советской дипломатией в Генуе, не была принята капиталистическими правительствами. Но она легла в основу дальнейшей деятельности советской дипломатии. Ведь эта программа соответствовала как нашим внешнеполитическим целям, так и задачам нашей внутренней экономической политики.

Воплощением общей тенденции мирового развития, о которой говорил Ленин, был, конечно, переход к плановому хозяйству в самой Советской стране. Внешняя торговая политика строилась в соответствии с этими идеями. Узловым моментом было осуществление монополии внешней торговли.

Любопытное явление: мы были энтузиастами монополии внешней торговли и шаг за шагом вместе с работниками Наркомата внешней торговли добивались ее воплощения в жизнь, защищали ее от разнообразных атак капиталистических правительств и капиталистических объединений,— и тем не менее мы были далеки от стремления к бюрократической централизации. Те самые работники, которые при переговорах с ино-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 164.

² См. там же, т. 45, стр. 34—40.

странными дипломатами и торговыми делегациями рьяно защищали права советских органов монополии внешней торговли, вместе с тем считали естественной деятельность организаций, самостоятельно выступавших на мировом рынке. Нас увлекали небывалые перспективы планирования экономики, и вместе с тем нам было чуждо представление о всеобъемлющем жестком регулировании сверху, и мы видели в бюрократизме величайшее зло.

Г. В. Чичерин очень интересовался деятельностью на мировом рынке Нефтеиндиката. Я по его поручению посещал заседания правления Нефтеиндиката, и он иногда вызывал меня, чтобы осведомиться, как обстоят дела на мировом нефтяном рынке. Известно, что борьба за нефть имела тогда острый политический характер, с ней были связаны противоречия между всевластными мировыми монополиями и широкие анти-советские планы этих же монополий. Я по мере сил следил за ходом этой борьбы, но этим дело и ограничилось. Вероятно, не хватало опыта. К тому же сильно нервничавшие старые коммерсанты, работавшие в правлении синдиката, кажется, вообразили, что я являюсь наблюдателем вовсе не от дипломатического ведомства.

V

О гибкости советской дипломатии и вместе с тем о ее верности своим общим принципам свидетельствует различие между экономической политикой в отношении стран Востока и стран Запада.

В то время как при переговорах с крупнокапиталистическими странами наша дипломатия неколебимо стояла на позициях строгой монополии внешней торговли, в отношениях с азиатскими странами изыскивались способы, при помощи которых можно было бы, не нарушая принципа, дать национальной буржуазии этих стран возможность вести дела с советскими организациями. Широкая система соответствующих мероприятий была проведена прежде всего в отношениях с Ираном, а также Афганистаном и самостоятельно существовавшим тогда Синьцзяном. А в договоры с западными государствами включалась специальная оговорка о том, что на них не распространяются особые условия и льготы, предоставляемые Советским правительством странам Азии.

Наша экономическая политика в отношении стран Азии была как бы вторым этапом восточной политики, закрепившим исторические достижения первого этапа. (Разумеется, я говорю об этапах условно, а не в качестве элемента канонической схемы.) Огромная популярность нашей политики на Востоке с первых дней Октябрьской революции может служить интересным примером силы идеи. Самый факт отказа Советского правительства от привилегий, навязанных странам Азии, привилегий, за сохранение которых цепко держались все крупные державы, кроме Советской России, стал широко известным во всех уголках Азии. Он не только привлек сердца к Москве, но совершил переворот в странах, еще находившихся под колониальным гнетом. Англия — один из организаторов интервенции четырнадцати держав — была вынуждена в двадцатых годах занять в Азии позицию обороны. Тогдашний руководитель британской империалистической политики лорд Керзон заявил в октябре 1920 года о положении в Азии: «Мы должны попытаться создать острова в океане, мирные уголки в хаосе, тихие пристани в условиях бури». А в 1921 году тот же Керзон, докладывая в палате лордов об ослаблении позиций Англии в Иране, признался, что смотрит на положение в Персии «с чувством разочарования, почти отчаянья». Тем временем в самой Персии (Иране), как рассказывал нам, вернувшись оттуда, энтузиаст нашей восточной политики помощник заведующего отделом Ближнего Востока В. П. Осетров, бытовала легенда о том, что большевики — это великаны, пробившие через горы путь в Азию.

Восточная политика была излюбленной областью интересов Г. В. Чичерина. В этом его увлечении были черты романтики. Однажды он мне, молодому работнику аппарата, не занимавшемуся восточными делами, прочел вдохновенную лекцию о возможной роли «просвещенного абсолютизма» в Афганистане как ступени в прогрессивном развитии страны. За внешней формой несколько романтического отношения к быстрым переменам

в Азии скрывалась по существу проищательная оценка перспектив борьбы против колониализма.

Великобритания вынуждена была обороняться и отступать в Азии, и это уже свидетельствовало, что соблюдение принципов революционного интернационализма ничуть не противоречило государственным интересам нашей страны. Благодаря бескорыстной и великодушной политике, способствовавшей раскрепощению угнетенных народов, Россия достигла такого влияния в сопредельных странах Азии, о котором дореволюционная дипломатия не могла и мечтать. Не кто иной, как бывший министр иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюков в двадцатых годах, откликаясь на протест Советского правительства по поводу проискв Англии и Франции на Ближнем Востоке, признал, что Советское правительство действует в соответствии с истинными интересами России. Он же в те годы одобрительно отзывался о тактике А. А. Иоффе во время переговоров с Японией, в частности относительно ухода Японии с Сахалина. Конечно, советская дипломатия не нуждалась в одобрении Милюкова, тем более что мы вкладывали в свою деятельность иное содержание, чем хотел бы Милюков, и я здесь ссылаюсь на его высказывания для иллюстрации все той же мысли о том, что советская дипломатия успешно решала комплексную задачу, сочетавшую интересы пролетарского интернационализма с интересами рабоче-крестьянского государства.

Следовало бы показать, как еще до победы китайской революции советская дипломатия в союзе с революционными силами Китая претворяла в жизнь идею интернационализма, одновременно защищая интересы и права своего государства и его граждан против происков и наскоков генеральских и реакционных клик. Но освещение такой важной области невозможно вместить в рамки этих заметок.

Несколько слов хочу сказать о роли экономики во взаимоотношениях с Японией в период между двумя войнами. Такие понятия, как лес, нефть, рыба, занимали важнейшее место в дипломатической переписке. Переговоры по этим вопросам были необыкновенно сложными и затяжными. М. М. Литвинов посвятил им много времени и сил. Он проявлял по ходу этих переговоров большую выдержку, но однажды обычно сдерживаемая им темпераментность прорвалась, и он обнаружил свое раздражение. Я до сих пор не знаю, была ли его вспышка, которую я вспоминаю, проявлением естественного возмущения уловками японской дипломатии того времени или просто сознательным тактическим приемом.

Не было такого этапа в нашей политике по отношению к Японии, на котором не приходилось бы искать приемлемое и стабильное урегулирование вопросов о рыболовстве в дальневосточных водах. В 1923 и 1924 годах возникли конфликты на этой почве, острый конфликт произошел в 1928 году, когда выросшие и окрепшие вместе со всей страной советские хозяйственные организации расширили объем своей деятельности. Японские дипломаты лишь постепенно примирились с тем фактом, что советская дипломатия твердо стоит на страже законных прав советских организаций в соответствии с важными позициями нашего государства на Дальнем Востоке. Японские предприниматели убедились, что защита нами наших экономических интересов и прав не связана ни с захватническими намерениями, ни со стремлением ущемить интересы японского рыболовства. Но как много понадобилось времени для того, чтобы наши дальневосточные соседи поняли, что агрессивные действия в отношении СССР не могут иметь для них благоприятных результатов и что, наоборот, мирное сотрудничество с Советским Союзом может быть весьма плодотворным. Собственно говоря, этот урок в достаточной степени усвоен и претворяется в жизнь только после окончания второй мировой войны.

В этот период из сферы деятельности советской дипломатии еще были исключены обширные районы мира: Индия и Цейлон в Азии, вся Африка и значительная часть Латинской Америки. Какой путь пройден от того времени до наших дней, когда нет такой независимой страны на любом континенте, которая не ценила бы дипломатических, экономических и культурных связей с Советским Союзом! Выход на историческую арену «третьего мира» колоссально расширил диапазон деятельности советской дипломатии.

VI

Одно время некоторые из нас усматривали противоречие между внешнеполитическими маневрами, особенно компромиссами, и незабываемым тезисом о коренной противоположности, разделяющей Советскую страну и капиталистический мир. Эти сомнения были поводом для тех бесед и даже споров между молодыми работниками, о которых и говорил в начале этого очерка. Тогда можно было услышать упрощенные рассуждения, будто задача «догнать и перегнать», вдохновлявшая всех нас, чуть ли не исключает внешнеполитические компромиссы. Теперь уже ясно, что попытки противопоставить лозунг «кто кого» политике мирного сосуществования — плод незрелости политической мысли или даже прямого авантюризма, пример которого — политика группы Мао Цзэ-дуна в Китае.

Взаимоотношения между Германией и СССР в период между 1922 и 1933 годами свидетельствуют о том, что возможно не просто мирное сосуществование, но и сотрудничество между странами с различными социально-экономическими системами, несмотря на то, что эти различия, а вернее противоположности, давали себя знать чуть ли не на каждом шагу. Ведь советско-германские отношения и в этот период вовсе не были идиллическими и развивались стьюдь не прямолинейно. Но они развивались в интересах обеих стран, хотя и были лишены устойчивости.

Такое отсутствие устойчивости и постоянства было (да, пожалуй, и остается) типичной чертой политики капиталистических правительств по отношению к Советской стране. Руководителям советской дипломатии нужны были крепкие нервы и твердая вера в успех своего исторического дела, чтобы сохранять выдержку и последовательность, не отступать от выбранного направления, в то время как иностранные правительства то и дело отступали от собственного внешнеполитического курса. Вместе с тем советской дипломатии надо было иметь в резерве альтернативу, продуманный вариант иных политических ходов, если в той или иной капиталистической стране резко изменится политическая конъюнктура. Эта проблема — выбора альтернативы — имеет огромное историко-исследовательское и практическое значение. Но я не в состоянии на ней останавливаться: это особая тема, изложение которой должно быть достаточно подробным, конкретным и документальным.

Период становления советской дипломатии совпадает с периодом постоянных зигзагов в политике европейских государств в отношении Советского государства; порой преобладали экономические интересы, порой — антисоветский авантюризм.

Напомню несколько исторических фактов.

В 1926 году нами была предложена Франции широкая программа урегулирования спорных вопросов, были даже учтены интересы мелких держателей довоенных займов. В феврале 1926 года начались перспективные переговоры, а в середине того же года они были сорваны с приходом к власти Пуанкаре. Еще в течение года шла переписка, предпринимались с нашей стороны разнообразные шаги, пока в сентябре 1927 года не были подведены итоги и доказана ответственность тогдашних деятелей капиталистической Франции за то, что не удалась попытка полной нормализации советско-французских отношений. Тем не менее дальнейшее развитие франко-советских отношений, при всей их сложности, показало, что историческая преемственность сочетается с новыми, современными задачами; из исторической преемственности вытекает отсутствие противоречий между государственными интересами Франции и СССР, их общая заинтересованность в том, чтобы германский шовинизм не стал угрозой для европейского мира, а современная обстановка создала новую и прочную основу для франко-советского сближения.

Другой пример непостоянства буржуазной дипломатии — политика Англии по отношению к СССР. Когда практически мыслящие английские политики ранее, чем другие европейские правительства, пошли на то, чтобы признать де-факто Советское правительство, то такая политика была оформлена в виде временного торгового соглашения. Но когда брала верх вражда по отношению к Советской стране, то обязательно наносился удар по экономическим интересам. Пресловутый «ультиматум Керзона» в

1923 году, продиктованный враждой к социализму, был связан и с чисто империалистическим стремлением распространить деятельность британского торгового флота на русские территориальные воды. Отпор, который был дан Великобритании в 1923 году, происходил в обстановке сильнейшего революционного энтузиазма, а по своему практическому значению представлял собой твердую защиту суверенитета и международных позиций государства.

А в 1924 году буквально за три-четыре месяца круто изменился характер наших отношений с Англией. В августе 1924 года с правительством Макдональда были подписаны общий и торговый договоры, в которых фиксировалось равноправие двух систем собственности, а в ноябре эти договоры были отклонены консервативным правительством. Через три года консерваторы порвали дипломатические отношения с СССР. Это враждебное выступление сочеталось с вылазкой против экономических связей с СССР и против монополии внешней торговли; именно такой смысл имел полицейский налет на советскую торговую организацию «Аркос» в Лондоне.

Но в 1927 году налет на торговые организации СССР в Лондоне уже не мог сорвать международного признания принципа монополии внешней торговли. Оно было закреплено после «фронтального столкновения», каким были переговоры о торговом договоре с Германией. Заключение этого договора в октябре 1925 года означало победу принципа монополии внешней торговли, его внедрение в международную практику. Торговый договор с веймарской Германией открыл широкие перспективы в экономических отношениях между СССР и Германией. Он был вехой в политике мирного сосуществования.

Проблемы экономических связей с Германией впервые встали во весь рост после заключения Рапалльского договора. Уже в 1922 году была создана специальная комиссия из ученых и юристов-международников для подготовки торгового договора. Седовласые «самураи», как их шутя прозвали молодые работники, передавали нам свой опыт, иные чистосердечно, как профессор В. Э. Грабарь, а иные с иронической небрежностью. Но скоро оказалось, что опыт знатоков экономических отношений царской России и Германии явно устарел. Устарел опыт торговой практики и конфликтов между связанными с европейской биржей русскими капиталистами и помещиками, с одной стороны, а с другой — германским крупным капиталом и прусскими аграриями. Появились новые классовые интересы. Позиции разоренной революционной России по отношению к буржуазной Германии были значительно сильнее и независимее, нежели в прошлом позиция богатой Российской империи. Поэтому вскоре пришлось отказаться от того, чтобы в подготовке торгового договора с Германией опираться на «исторические прецеденты».

Очевидно, методы советской внешней торговой политики могли вырабатываться только на практике, то есть в спорах и боях. И это было нам по душе. Важные «авангардные бои» происходили «на переднем крае» — в Берлине, где впервые после окончания гражданской войны зашла речь о постоянных торговых связях. Вот тогда таран монополии внешней торговли и вклинился в аморфную массу буржуазного торгового мира.

Об уроках советско-германских отношений мне хочется рассказать подробнее, потому что в известной мере я был их непосредственным очевидцем. Я уже говорил, что отсутствие устойчивости в отношениях СССР и Германии определялось в первую очередь зигзагами германской политики. Противопоставление «западной» и «восточной» ориентации отражало колебания между самостоятельной политикой, хотя бы и в интересах буржуазной Германии, и политикой блока с другими империалистическими державами. Так обстояло дело уже на самом первоначальном этапе мирных советско-германских отношений. В феврале 1922 года, касаясь затяжки в советско-германских переговорах, Литвинов писал: «Это объясняется не только западническим уклоном Ратенау, но и надеждами Германии на получение от нас при посредстве Англии и Франции более выгодных условий для работы в России, чем при непосредственных переговорах. Пока эти надежды не изжиты, пока немцы не убедятся окончательно в нашей твердости не только по отношению к ним, но и к союзникам... до тех пор... переговоры вряд ли сдвинутся с мертвой точки». А 17 апреля того же года Литвинов

телеграфировал из Генуи в Москву: «Наши полуприватные переговоры с Верховным советом (с Англией и Францией.— *Е. Г.*) вселили тревогу в души немцев, и Ратенау ни жив ни мертв прибежал к нам вчера и предложил не сходя с места подписать то самое соглашение, от которого он уклонился при нашем проезде в Берлине».

Телеграммы Литвинова, отделенные одна от другой кратким сроком, раскрывают две важнейшие черты советской дипломатии. Одна из них — твердость в защите коренных интересов государства, и притом не демонстративная неуступчивость, сдобренная демагогическим задором, а твердость, вносящая ясность в положение и расчищающая путь к обоюдовыгодному соглашению. Другая черта — маневренность, учитывающая соотношение сил и противоречия среди партнеров по переговорам, и опять-таки не спекуляция на противоречиях и не отступление от принципов, а такая маневренность, которая в конечном счете ведет к практическим результатам без принципиальных уступок.

Так изо дня в день, из года в год воплощалась во взаимоотношениях с Веймарской республикой политика мирного сосуществования. В пору «рапальской весны» германскую политику представлял в Москве немецкий националист, отпрыск древнего дворянского рода граф Брокдорф-Ранцау — дальновидный человек, умевший мыслиг в широких масштабах, прозванный «красным графом»; тогда в длинных ночных беседах между Г. В. Чичериним и Ранцау и при других контактах между советской и германской дипломатией дружественный тон и понимание «общности интересов» давали возможность ликвидировать острейшие конфликты, которые неизбежно возникали по причинам по сути дела постоянного характера.

Но и позднее, когда Локарнские договоры и американские капиталовложения в германскую экономику подготовили почву для сотрудничества между германскими и мировыми монополиями, когда немецкие крупные банки и фирмы пытались (стараясь это широко не оглашать) создать единый фронт и выработать с английскими и французскими банками общую тактику в борьбе против советской монополии внешней торговли и, более того, против осуществления пятилетних планов, когда германский министр иностранных дел Штресеман «балансирует» между Западом и Востоком, разъясняя при этом в доверительном письме сыну бывшего германского кайзера, что «баланс» получится в пользу Запада, — даже тогда удавалось преодолевать трудности и конфликты, руководясь здравым смыслом и экономическими интересами. Пыталась ли германская буржуазия вкушать плоды относительной стабилизации капитализма, искала ли на начальной стадии экономического кризиса 1929 года средств спасения от банкротства — она неизменно должна была считаться с таким фактором, как советская политика мирного сосуществования. А советская дипломатия со своей стороны имела возможность обеспечить интересы социалистического строительства при самых различных международно-политических ситуациях.

Именно в этом заключается урок, который можно извлечь из истории советско-германских отношений между 1922 и 1933 годами. Экономические связи развивались, политические соглашения сохраняли силу, хотя вовсе не были сняты противоречия и трудности, обусловленные рядом неизменных факторов, в частности таких, как вражда германских монополий к социалистическому строю, их тяготение к антисоветскому сговору с западными капиталистическими группировками и вытекающая из противоположности социальных систем противоположность в оценке важнейших процессов и событий современности.

Известно, что мирное сосуществование между СССР и Германией стало невозможным, когда немецкое буржуазное общество окончательно впало в состояние фашистского варварства, потенциальный реваншизм принял оголтелые формы открытой подготовки, а затем развязывания войны, а вражда к социализму превратилась в открытое стремление к уничтожению социалистического государства. Между Германией и СССР образовалась пропасть, через которую фактически нельзя было перебросить никакие мосты.

В этих новых условиях сложнейшие задачи встали перед советской дипломатией. В известном смысле то были для нее трагические годы. Трагизм ситуации лучше воспринимается, если он воплощен в человеческих образах. Следовало бы написать драму,

в которой столкнулись бы такие действующие лица, как целеустремленный злодей, занесший над миром меч и обреченный погибнуть от меча, маниакальный упрямец с зонтиком в руках — английский премьер Невиль Чемберлен, шедший навстречу полному банкротству своей политики, приведший на край катастрофы свою страну, спасенную от фашистского меча тем государством, против которого он направлял этот меч. И лицом к лицу с ними — советский государственный деятель, прекрасно понимавший и козни, и историческую обреченность обоих игроков судьбами народов, но лишенный возможности тут же остановить роковой ход событий. Пьеса с такими действующими лицами была бы сильнее шекспировской и античной трагедии Рока.

Здесь не место предаваться воспоминаниям о периоде, предшествовавшем 1939 году. Но об одном эпизоде я расскажу. Он в свое время привлек внимание журналистов и дипломатов, а сейчас упоминается в зарубежных исследованиях и порой неправильно истолковывается. В июне 1938 года корреспондент американского агентства представил в отдел печати НКВД телеграмму, в которой, опровергая слухи о советско-германских переговорах, ссылаясь на «московские источники» (я, разумеется, цитирую по памяти), категорически опровергал самую возможность каких бы то ни было переговоров между СССР и Германией. Из опубликованных после войны мемуаров и документов видно, что этот шаг был специально подготовлен антисоветскими кругами. Тогда я этого не мог знать, но задержал телеграмму, так как считал, что содержащееся в ней категорическое заявление, с одной стороны, может в Берлине служить дополнительным аргументом для активизации антисоветской политики, а с другой — в Лондоне может быть использовано как свидетельство того, что нет надобности заранее договариваться с СССР об отпоре Германии (дело было до Мюнхена). На другой или на третий день я по указанию М. М. Литвинова изложил вторую часть представленной мне телеграммы в таком смысле, что СССР благожелательно отнесся бы к предложениям Германии, содействующим всеобщему миру, и отклонил бы всякое предложение, направленное во вред всеобщему миру.

Вопреки проискам тех, кто в те годы распускал слухи о тайных контактах между советской и германской дипломатией, и вопреки рассуждениям тех, кто пытался создать впечатление, будто бы Литвинов очертя голову вел безнадежную политику окружения Германии, считаю своим долгом засвидетельствовать, что тогдашний глава советской дипломатии, последовательно стремясь к организации коллективного отпора агрессору, распознавал происки мюнхенцев (еще до мюнхенского соглашения) и не закрывал путь для возможных маневров советской дипломатии, отнюдь не помышляя о каких-либо тайных переговорах с Германией или иных шагах, которые могли бы помешать образованию антигитлеровской коалиции.

Мы знаем, что такая коалиция в конце концов была создана и одержала победу над фашистскими захватчиками. Разгромив агрессора, Советский Союз вновь предложил народам не меч, но мир.

VII

Обозревая в целом процесс становления и развития советской дипломатии, мы, естественно, не можем не видеть больших количественных и качественных изменений.

За период между двумя войнами географическая сфера деятельности советской дипломатии колоссально расширилась. Сначала эта сфера распространялась в основном на государства, граничащие с Россией. Даже отношения с будущими союзными республиками до 1922 года относились к области дипломатической деятельности. Затем советская дипломатия включила в орбиту своей наибольшей активности страны, граничащие со всем Советским Союзом. Завязались дружественные отношения с восточными соседями, постепенно нормализовалось положение в Восточной Европе. В дальнейшем установились отношения с центральноевропейской державой — Германией, со скандинавскими странами, а затем почти со всеми странами Западной Европы. На Дальнем Востоке постепенно завязались дипломатические отношения с Японией и Китаем. Наконец через шестнадцать лет после Октябрьской революции сфера нашей дипломатической деятельности распространилась на Западное полушарие.

Именно в том году, когда фашизм пришел к власти в Германии и эта страна стала угрозой всеобщему миру, в результате переговоров Литвинова и Рузвельта были установлены дипломатические отношения между СССР и США. Тем самым были созданы предпосылки для мирного сосуществования и даже сотрудничества между двумя мировыми державами.

Дипломатические отношения между СССР и США облегчили образование антигитлеровской коалиции в условиях мировой войны. После ее окончания американские империалисты сорвали сотрудничество с СССР в условиях мира. Но те тенденции мирового развития, о которых говорил Ленин и из которых он, в частности, исходил, выдвигая широкую программу мира на Генуэзской конференции,— эти тенденции не ослабли, а усилились. Поэтому программа мирового сотрудничества в области техники и экономики и теперь сохраняет полную силу, особенно в условиях происходящего ныне научно-технического переворота и глобальной связи, охватившей планету и околоземное пространство. Об этом говорил недавно применительно к Европе А. Н. Косыгин, выступая в английском парламенте.

Реализация обширной программы в мировом масштабе предполагает сотрудничество в интересах мира между СССР и США. Но для этого нужно, чтобы на другом полюсе международных отношений — в США — возобладало дальновидное и здоровое понимание задач, стоящих перед человечеством и перед государственными деятелями во второй половине XX века.

Воистину и в области внешней политики количество переходит в качество. Переход от обеспечения мира в Восточной Европе к борьбе за мир и безопасность во всей Европе поставил советскую дипломатию перед новыми задачами гораздо большего масштаба, чем прежде. А борьба за мир на всей планете имеет уже совершенно новое содержание и новое качество. Провозглашенная М. М. Литвиновым в тридцатых годах формула — «мир неделим» — приобрела новое значение в наши дни. Новое содержание и смысл приобрела и внешняя политика мирного сосуществования. «Агрессивный курс империализма был подорван активной внешней политикой социалистических стран, последовательно осуществляющих принцип мирного сосуществования государств с различным общественным строем, политикой, проводимой со все большим размахом, особенно после XX съезда КПСС», — говорится в Заявлении Конференции европейских коммунистических и рабочих партий, происходившей в апреле нынешнего года.

Расширилось и углубилось само понятие интернационализма. Под пролетарским интернационализмом понимается солидарность международного рабочего класса и его партий, но сверх того интернационализм предполагает равенство всех наций — больших и малых, внимательный учет и во внутренней и во внешней политике интересов всех наций и народов. Долгое время интернационализм был идеей, пробивавшей себе путь к массам, потом он стал действительностью в определенных территориальных и социальных рамках. В пору современной научно-технической революции и по мере усиления той тенденции к созданию всемирного хозяйства как целого, о которой писал Ленин, интернационализм становится идеей, отражающей объективный ход событий. Мир неделим — и это не лозунг, а объективный факт. То, что вторая мировая война охватила всю землю, не опровергло тезиса о неделимости мира, а, наоборот, в трагической форме подтвердило его справедливость. То обстоятельство, что не удалось предотвратить вторую мировую войну, никак не может служить основанием для того, чтобы фаталистически ориентироваться на неизбежность третьей мировой войны, тем более что это была бы уже не война, а мировая ядерная катастрофа.

Только люди, преступно безразличные к делу спасения человечества от катастрофы, могут относиться к политике мирного сосуществования как к некоему тактическому маневру, а то и как к утопии. Эта политика не утопия, потому что ее реализации добивается великая советская держава, добиваются страны социалистической системы, народы всего мира.



ДИАЛОГ ИСТОРИКОВ

Переписка А. Тойнби и Н. Конрада

В десятом номере «Нового мира» за 1966 год была напечатана рецензия профессора А. Монгайта на книгу академика Н. И. Конрада «Запад и Восток». Познакомившись с этой рецензией, содержащей характеристику взглядов автора книги, английский историк профессор Арнольд Тойнби написал Н. И. Конраду письмо, касающееся важных проблем исторической науки, а также говорящее о некоторой эволюции его собственных научных воззрений. Копия письма была любезно направлена профессором Арнольдом Тойнби в редакцию «Нового мира» с пометкой, предоставляющей редакции право опубликовать его на страницах журнала. Со своей стороны такое же право предоставил редакции и академик Н. И. Конрад, познакомив нас с копией своего ответного письма А. Тойнби.

Автор письма, присланного из Лондона, профессор Арнольд Тойнби (род. 1889) — один из наиболее известных современных зарубежных историков. Главный труд его жизни — вышедшее на протяжении почти тридцати лет (1934—1961) двенадцатитомное «Исследование истории». Широкой популярностью на Западе пользуется изданное огромными тиражами и переведенное на многие языки двухтомное изложение первой половины этого труда, сделанное Д. Соммервеллом. Труды А. Тойнби, написанные после второй мировой войны, в значительной своей части касаются проблем современного общества. В Советском Союзе работы А. Тойнби не переводились. Однако характеристике его воззрений и полемике с ним посвящено немало публикаций, и читатель, который заинтересуется взглядами английского историка, сумеет найти обширный материал для ответа на свои вопросы. Напомним при этом, что одна из самых кратких энциклопедий в поисках наиболее сжатой характеристики мировоззрения А. Тойнби останавливается на следующей фразе: «Он полагает, что течение истории более зависит от факторов психологических, нежели от материальных». Такая фраза не может, конечно, исчерпать всю систему его взглядов, однако говорит об очень существенной их стороне и притом показывает, насколько далек А. Тойнби от марксистской исторической науки, дающей верный ключ к пониманию явлений общественной жизни. Вместе с тем публикуемое нами письмо со всей очевидностью показывает, что английский ученый, несмотря на свой почтенный возраст, не утратил склонности к живым поискам и к переоценке некоторых своих взглядов, что и привело его, в частности, к следующему заявлению: «Наибольший вред, который Америка принесла западной цивилизации, выразился в ее фанатической нетерпимости к коммунизму». В этом смысле несомненный интерес представляет и его попытка завязать непосредственный диалог с одним из представителей советской исторической науки.

Академик Николай Иосифович Конрад (род. 1891) — выдающийся востоковед, основатель советской школы японоведения. Его перу принадлежат: ряд исследований по истории культуры Японии, Китая, Кореи, многочисленные монографии, а также переводы произведений японской и китайской классики. В культурной истории Востока VIII—XII веков Н. Конрад увидел черты, подобные признакам той эпохи, какую в истории Европы XIV—XVI веков называют «эпохой Возрождения». Исследованиям связей между отдельными литературами, определению общности и различий в историческом процессе развития литератур у разных народов посвящены статьи, составившие книгу «Запад и Восток», изданную Н. И. Конрадом в прошлом году.

В ответе академика Н. Конрада профессору А. Тойнби также отражены непрекращающиеся поиски, незавершенные исследования, и к некоторым важным положениям автора письма редакция никак не может присоединиться, считая их достаточно спорными,— например, к оценке Н. И. Конрадом экзистенциализма в его отношениях с «позитивистскими умонастроениями XIX века», к интерпретации автором детерминизма и др.

Однако весь этот диалог, содержащий в себе обширный материал для раздумий и споров и проникнутый глубокой тревогой обоих ученых за судьбы мира и культуры, может послужить началом большого разговора не только по специальным вопросам исторической науки, но и по самым насущным вопросам современности.

Поэтому мы и сочли полезным познакомить наших читателей с обоими письмами.

ПИСЬМО АРНОЛЬДА ТОЙНБИ

Лондон.

25 января 1967.

Дорогой д-р Конрад!

Мой коллега по институту любезно перевел мне рецензию в «Новом мире» (№ 10, 1966) на Вашу книгу «Запад и Восток». В этой рецензии есть абзац, касающийся главы «О смысле истории», в котором Вы, между прочим, упоминаете о моем взгляде на этот предмет.

Конечно, это только косвенный способ ознакомления с Вашей книгой. Именно поэтому я сейчас и пишу Вам в надежде установить непосредственный личный контакт с Вами. По рецензии в «Новом мире» я ясно увидел, что в Вашем лице я встречаю благородно мыслящего критика.

Но у меня сложилось впечатление (возможно, что я ошибаюсь, так как пока что я знаком с Вашей критикой только из вторых рук), что мои взгляды дошли до Вас не вполне точно. Если бы они были именно такими, какими Вы их воспринимаете, я сам критиковал бы их, и притом в значительной степени,— в Вашем же духе. Однако мне представляется, что Вы и я сходимся во взглядах на дела человеческие в большей степени, чем Вы предполагаете,— если только я понял Вас правильно. Коснусь лишь нескольких пунктов. Я буду весьма признателен Вам, если Вы ознакомитесь с ними и в удобную минуту напишете мне, если у Вас найдется на это время.

1. Вы делаете мне честь, сопоставляя меня со Шпенглером. Я восхищаюсь им — смею сказать, как и Вы,— за гениальность, которая сказывается во многих вспышках его интуиции. Я также согласен с ним во взгляде на историю до ее нынешнего момента (это важная оговорка) как не на единый поток, движущийся сквозь века и охватывающий все человечество, а как на ряд отдельных одновременных потоков. Я думаю — опять в согласии со Шпенглером,— что этот составной поток минувшей истории может быть понят только на основе синоптического взгляда — «сравнительного метода», — потому что до нашего времени эти отдельные, местные, циклы событий не сливались в единый поток, который и мог бы стать предметом единого всеохватывающего повествования. В этом отношении и Шпенглер и я, по-видимому, согласны с Вами, если рецензия верно воспроизводит Вашу концепцию независимого возникновения идентичных явлений, например Ренессанса, на идентичной ступени исторического развития различных обществ.

2. В то же время я кардинально расхожусь со Шпенглером в двух важных пунктах, впрочем, взаимосвязанных. В отличие от Шпенглера я — не детерминист и поэтому (я искренне убежден в этом) не догматик. Я полагаю, как и он, и, как я думаю, Вы, что, когда мы окидываем взором то, что мы знаем о прошлом, мы наблюдаем известные закономерности, единообразие и повторяемость (я называю их «моделями»). Я объясняю их (допускаю ради аргументации, что не ошибаюсь, обнаруживая такие «модели») как результат единообразия человеческой природы — особенно ее иррационального, эмоционального, подсознательного «слоя» — того самого, в котором столько новых открытий совершено уже на протяжении на-

шей жизни. Однако я не думаю, что «модели» событий, которые можно рассматривать как реально происшедшие в прошлом, были роковым образом предопределены некими свойствами человеческой природы. Я не думаю также, что им, «моделям», роковым образом суждено было повторяться — даже если действительно некоторые из них (например, война, революция, возрождение, подъем и упадок цивилизации) и повторялись в прошлом много раз. И главное, я не думаю, что «модели», которые повторялись очень часто в прошлом (например, войны), в силу этого непременно должны повторяться и впредь — как ни трудно для человеческих существ изменять своим привычкам.

В этом решающем пункте — в том, что я не детерминист, — я расхожусь со Шпенглером и согласен с Вами (если я правильно воспринял Ваш взгляд на историю). Во время как подсознательный уровень человеческой природы общ для человечества и по крайней мере некоторых других разрядов живых существ, две отличительные способности принадлежат только человеческой природе (они взаимосвязаны) — это сознательность и способность, которую нам дает сознательность, сделать выбор. (Я прибегаю к терминологии нашего практического опыта, не вторгаясь в философский вопрос о свободе воли.) Конечно, мы, человеческие существа, только частично свободны. Например, мы, как и другие организмы, поднявшиеся над уровнем амебы, подвержены смерти и ограничены сроком своей жизни. Все-таки я думаю, что наша свобода выбора достаточно велика, чтобы быть решающей для судьбы нашего рода. Например, ныне вступив в атомный век, мы обладаем выбором между уничтожением нашего рода (и, может быть, даже и превращением нашей планеты в лишенную любых форм жизни) и улучшением нашего образа жизни на этой планете — улучшением и для личности и для общества — на протяжении тех двух миллиардов лет, в течение которых наша планета, по предсказаниям астрономов, будет пригодна для человеческого обитания.

Теперь я перехожу к тем единствам, в пределах которых я различаю отдельные, местные, потоки, какими протекала история вплоть до нашего времени.

Как Шпенглер, я думаю, что такие единства в масштабах цивилизаций куда более важны, нежели единства в масштабах нации. Хотя моя работа начала печататься через целых шестнадцать лет после выхода в свет первого издания «*Der Untergang des Abendlandes*»¹, я еще тогда пришел к мысли о необходимости думать в масштабах цивилизаций. Это была моя реакция на представление об истории в масштабах нации. Я пришел к заключению, что видеть историю в масштабах национальных объединений — значит видеть ее неправильно, потому что мне стало ясно, что ни одно национальное объединение не является самодовлеющим. Цивилизации, как мне представлялось, более приближались к «монадам» в понимании Лейбница. Я пришел к способности мыслить в масштабах цивилизаций благодаря изучению истории древней Греции, которая заставляет нас думать о греческом обществе и цивилизации как о целом, а не как об отдельных греческих общинах — Спарте, Афинах и т. п. Предприняв попытку открыть, сколько существовало цивилизаций, я взял историю древнегреческой цивилизации как своего рода образцовую модель. Меня справедливо критиковали за то, что я втискивал факты истории других цивилизаций в это греческое прокрустово ложе, и я признал эту ошибку в двенадцатом томе своего труда «Исследование истории». Я озаглавил этот том «Пересмотры», он мог Вам не попасться на глаза.

Я также понял, в процессе работы над этой большой книгой, что родословная «высших» религий — особенно религий проповеднических (например, буддизм, христианство, ислам) — включает в себя в каждом случае более чем одну цивилизацию, так что и цивилизации, как и нации, не были истинными монадами. Это заставило меня почувствовать, что структура даже прошлой человеческой истории менее «монадна», чем я предполагал, когда думал, что открыл действительные «монады» истории в форме цивилизаций.

¹ О. Шпенглер. «Закат Европы»,

Теперь я полагаю, что монадная структура прошлой истории человечества (настолько, насколько она действительно была монадной) обусловлена прежней недостаточностью человеческих связей. Человеческие существа нуждаются во взаимном общении, чтобы реально осознавать общую им человечность и, следовательно, быть способными жить вместе как члены одной семьи. Только на нашем веку так называемое «уничтожение расстояний», которое началось с приручения первого осла и постройки первой лодки, дошло до такой степени, что впервые открыло перед человечеством возможность слиться в единое общество.

Мы сумеем, смею надеяться, сохранить много из местного и культурного разнообразия (например, в области поэзии), даже подчиняясь всепоглощающей унификации, но достижение единства стало сейчас необходимым в таких вопросах жизни и смерти, как контроль над атомной энергией, организация производства и распределения продовольствия, необходимого, чтобы прокормить стремительно возрастающее народонаселение.

Впрочем, наука и техника сами по себе — силы морально нейтральные. Использование их и есть та сфера, в которой мы, человеческие существа, несомненно, обладаем свободой выбора. В атомный век в нашей власти сделать последний выбор — уничтожить себя или объединиться, впервые в истории, во всемирном масштабе. Со времени изобретения атомного оружия мы все еще вели себя так, как будто продолжаем существовать в доатомном веке. Мы все находились во власти своего национализма, и некоторые из нас не удержались от вступления в войну с так называемым «обычным» вооружением, несмотря на страшный риск «эскалации».

И тем не менее я оптимист, так же как, насколько я понял из рецензии в «Новом мире», и Вы. Я надеюсь, что мы не начнем мировой атомной войны и что шаг за шагом мы будем перерастать в единое человеческое общество. У нас уже были некоторые личности, которые стали героями для всего человечества: например, советские и американские космонавты (вызывающие всеобщее восхищение великолепным сочетанием смелости и мастерства), папа Иоанн XXIII, президент Кеннеди. Благодаря телевидению, радио и авиации человека теперь могут видеть и слышать его сородичи — люди на всем земном шаре.

Если мне удастся, как я надеюсь, вступить в контакт с Вами и если Вы сообщите мне наиболее удобный для Вас адрес, я пошлю Вам экземпляр своей книги «Перемены и привычки», вышедшей в сентябре 1966 года, в ней я утверждаю практическую реальность того, что человечество обладает свободой выбора, включая сюда и силу, достаточную для того, чтобы покончить со старыми привычками в том случае и тогда, когда они становятся губительными.

С наилучшими пожеланиями

искренне Ваш А. Тойнби.

ПИСЬМО Н. И. КОНРАДА

Дорогой д-р Тойнби!

Ваше письмо доставило мне большую радость. И не только потому, что в нем содержатся важные для меня, как и для всех, кто занимается историей человеческого общества и созданной им культуры, разъяснения Ваших нынешних исторических взглядов, но и потому, что оно свидетельствует, что Вам не безразлично, как представляют ученые моей страны Ваши концепции мирового исторического процесса и как они их оценивают. Скажу, что и нам не все равно, как Вы, столь прославленный историк, относитесь к нашим мыслям по этим же вопросам. Время, в котором мы с Вами живем, важность вопросов, затронутых в Вашем письме, и дружеский тон самого письма побуждают меня ответить Вам и откровенно, и может быть, несколько излишне пространно.

Но прежде всего прошу Вас принять к сведению, что я в своей работе, рецензию на которую Вы прочитали, вовсе не ставил своей задачей критиковать

Вас. В своей книге я лишь один раз упомянул Ваше имя — только потому, что не мог не сказать о крупнейшей работе по интересующим меня вопросам, вышедшей в такой исключительный момент истории, как наше время. Точно так же я отнюдь не отождествлял Вас со Шпенглером. Говоря об эсхатологических настроениях, появившихся в последнее время у некоторых историков, я работу Шпенглера отнес к этим настроениям безоговорочно, Вашу же — с большими оговорками. Я тогда действительно, как Вы и предположили, еще не знал двенадцатого тома Вашего огромного труда, Ваших «Пересмотров», как Вы этот том назвали, но и в предшествующих частях я почувствовал, что Вы историк иного склада, чем Шпенглер. Теперь, после получения Вашего письма, я с удовлетворением увидел, что мое чутье тогда меня не обмануло.

Но оставим Шпенглера, перейдем к существу дела. В своем письме Вы сооблаговолили разъяснить нам Ваши нынешние научные позиции. Позвольте же и мне в ответ разъяснить Вам, почему я, как и многие мои коллеги в нашей стране, придаю такое большое значение вопросам изучения цивилизации, или, как мы говорим, культуры, поскольку она составляет основу того, что именуют цивилизацией. Мне кажется, что такое обоюдное разъяснение научных позиций позволит нам лучше понять друг друга, а в научном общении такое взаимное понимание — самое важное.

Историю культуры можно изучать, так сказать, «академически» — устанавливать, что было, когда и как возникло, когда и почему менялось или совсем исчезало; можно изучать и философски — размышляя над всем этим процессом, над его смыслом. Разумеется, у нас, как и в других странах, делается и то и другое. Но у нас есть еще и то, чего, может быть, нет — во всяком случае с такой остротой — у вас: нам нужно изучать историю мировой культуры, нужно — практически, жизненно.

Наша революция поставила перед нами задачу создания не только исторически нового общественного строя, но и соответствующей ему системы культуры. Эта система должна быть единой для всего нашего общества и в то же время учитывать, что каждый народ, входящий в наш Союз, имел и имеет свою собственную культурную традицию, а многие из этих народов имеют и свою особую, большую, длительную культурную историю.

Попробуем пройти по границам нашего Союза, останавливаясь при этом лишь на больших участках — отдельных республиках. На самом дальнем конце нашего Востока мы видим Бурятию, а культура бурятского народа в своем прошлом была самым непосредственным образом связана с культурой Монголии, а через нее — и с культурой Тибета. В Средней Азии находятся Таджикистан, Туркменистан, Киргизстан, Узбекистан, Казахстан. Культура этих республик и прежние времена, особенно в Средние века, входила в круг культуры иранских и тюркских народов Среднего Востока, а через них переплеталась с культурой Северо-Западной Индии, в Древности — даже с культурой Кушанского царства, а через Бактрию — и с культурой эллинизма. Я не говорю уже о сложном переплетении культур иранцев и тюрков с культурой арабов.

Перейдем к Закавказью. Вот тюркский Азербайджан: кроме всех указанных связей, в его истории свою роль сыграли и связи с соседней Грузией и Арменией; что же касается культуры грузинского и армянского народов, то, как Вы знаете, она в прошлом неотделима, особенно в Армении, от культуры иранской, тюркской, арабской, от культуры всего христианского Востока, а через него — и Византии, а в Древности — и латинского мира.

Передвинемся с Кавказа в Европу. Вот Украина, в прошлом Киевская Русь: в этом прошлом она в аспекте культуры была частью обширного региона, в который входили не только восточные славяне, но и славяне южные, а частично и западные. Культура Белоруссии, как и ее история, в прошлом переплеталась с историей и культурой Литвы и Польши. Культура Литвы исторически связана с культурой русского и польского народов. Латышский народ в своем культурном развитии связан как со славянскими, так и германскими народами. Эстонцы — с куль-

турой и славян и скандинавов. Я не говорю уж о культуре народа русского, которая и прямо и опосредствованно уже давно связана с культурой большей части мира. Таким образом, в русле культуры нашей страны слились самые различные культурные потоки. Может быть, отчасти и этому мы обязаны тем особо острым чувством единства человечества, которое, в частности, проявилось и в моей работе «Запад и Восток».

Учтите и еще одно обстоятельство: стихи, например, Рудаки или Саади для наших таджиков — совсем не принадлежность истории литературы или предмет снобистского смакования старой поэзии. Нет, эти стихи знают, знают как самый простой, обыденный факт, и знают не только историки литературы или снобы, но и простые люди. И не только знают: сами слагают стихи по образцам Рудаки и Саади. Вот в Грузии недавно, как Вы, полагаю, слышали, отмечалось восьмисотлетие «Витязя в тигровой шкуре». Я проехал в эти дни по многим местам этой страны и видел, что строфы из этой поэмы живут и сейчас. Этим я хочу сказать, что в русле нашей нынешней культуры не только влились многие культурные потоки, но и влились на очень различных уровнях. Именно поэтому построение единой культуры — культуры социалистического общества — в нашей стране стало задачей не только большой исторической важности, но и огромной трудности.

Мы с самого начала хорошо понимали, что единство культуры в стране, где столько различных народов со столь различными путями своих культур, не может выражаться в единообразии. Каждый народ должен иметь свою культуру — свою национальную культуру, и в то же время своя национальная культура у каждого народа должна составлять часть общей культуры советского общества — культуры социалистической.

Но для того, чтобы такую культуру создавать, необходимо было ответить на два вопроса: что понимать под национальным в культуре и что считать в ней социалистическим? И вот при изучении возможного ответа на первый вопрос мы обратились к истории культуры вообще и на этом пути, естественно, встретились и с Вашими работами в этой области. И не только потому, что в них дан огромный, тщательно обработанный фактический материал, но и потому, что в них чувствуется разум человека нашей сложной эпохи. Позвольте поэтому коснуться некоторых вопросов, особенно важных для нас, которые затронуты именно в Вашем письме.

Первый вопрос — о «единицах» истории. Мы знаем — и Вы напоминаете об этом в Вашем письме, — что Вы отказались от мысли видеть «единицы» истории, ее монады, как Вы удачно выразились, в «нациях». Отказаться от этой мысли заставила Вас, как Вы пишете, история древней Греции: Вы увидели, что монадой истории тогда не могла быть ни история Афин, ни Спарты — никакого отдельного полиса. Не касаясь здесь вопроса о правомерности применения термина «нация» к обществу Афин или Спарты, я вполне согласен с Вами в том, что исторической монадой тогда была вся Эллада: она была тогда в целом единой. Это единство Вы назвали «цивилизацией». Как востоковед, я мог бы сказать Вам, что так же должен поступить и историк Китая VIII—III веков до нашей эры. Класть в основу исторического процесса «нацию Ци», «нацию Чу», «нацию Цинь», «нацию Вэй», то есть китайских Афин, Спарты, Фив, Коринфа, видеть именно в этих «нациях», как сказали бы Вы, но не сказали бы мы, монады истории, было бы ошибкой, хотя все эти китайские царства, как в Элладе отдельные полисы, разумеется, имели и свою собственную историю каждая. Но все они составляли некое сложное единство — единство цивилизации, если применить тут Ваш термин.

Вы пишете, что потом Вы обнаружили, что и единичность отдельных цивилизаций сомнительна. Вы усмотрели — и это было совершенно справедливо, — что такие великие миссионерские религии, как христианство, буддизм и ислам, охватывали целый ряд цивилизаций, то есть соединяли их в новом единстве. Так у Вас родилась мысль об иной монаде исторического процесса. Можно было бы продолжить Вашу мысль. Всматриваясь в ход мирового процесса, мы видим, что в некий момент этого процесса мир распался, как принято говорить, на два лагеря — ка-

питалистический и социалистический. И каждый из них в какой-то мере также действует, как некая монада истории. Значит, признаком монадности в этом случае может служить и то, что мы называем социально-экономической системой. Не так ли?

В наше время известной исторической монадностью в какой-то мере обладают и так называемые «развивающиеся страны», что означает возможность видеть признаки монадности и в общем уровне социально-экономического и культурного развития.

Вы пишете, что Вас справедливо критиковали за то, что Вы в прокрустово ложе древнегреческой истории укладывали истории других обществ. Дорогой коллега, такая критика была бы справедлива только в том случае, если бы Вы историю какого-либо средневекового общества укладывали на ложе истории общества Древности или общества Нового времени. Историю средневековой Франции действительно нельзя сопоставлять с историей древней Греции, но с историей средневековой Японии сопоставлять можно. Не только можно, но и нужно: хотя бы для того, чтобы обнаружить то неповторимое, единичное, что было у каждого из этих двух народов и что можно увидеть и оценить только на фоне общего с кем-нибудь другим. Только общее это следует искать не вообще, а в рамках аналогий строго исторических. Мне кажется, что монадность существует, но она не дана раз и навсегда в какой-либо определенной сумме признаков; она меняется в ходе истории, то есть она сама глубоко исторична. В этом, кстати сказать, убеждает так обстоятельно обрисованная Вами история мировых цивилизаций, как Вы тогда — в годы написания своей «A study of history» — воспринимали историю человечества. Так не лучше ли нам именно в этой меняющейся истории и искать эти исторические монады, также меняющиеся?

Но если что-то меняется, то, значит, есть и это «что-то». Общество меняется, но оно всегда остается обществом.

Изучающий культуру не отделяет вещи от их хозяина; не может отделять то, что создано, от того, кто это создал: создал же все человек, общество. Поэтому первую задачу, которую я, как и Вы, вижу в исследовании мировой культуры вообще, это поиски действительной культурно-исторической монады: этнической и вместе с тем общественной — своей для каждого этапа истории, то есть меняющейся в своей общественной природе и даже в какой-то мере и в этнической.

Вам, может быть, известно, что в наших исторических и социологических работах мы часто оперируем такими категориями, как племя, народность, нация. Мы тут имеем в виду три исторических облика, в которых выступает отдельная этническая единица в процессе своей исторической жизни, своего развития. В наше время господствующей формой такой этнической общности является нация.

Существовали раньше, существуют и теперь различные мнения о сути этих социологических категорий. Несомненно, природу их еще надо изучить. Но все же обратиться к этим категориям заставила нас сама история. Согласитесь, что германцы — те, которые описаны Тацитом, не те, что германцы Средних веков. Франки времен Карла Великого — не те, что французы времен Людовика XIV. А эти различия определяли многое и в культуре — во всяком случае в ее сферах, ее границах, не говоря уже о содержании. Ведь даже языковые границы в Средние века были иные, чем в Новое время. Иною была и степень проницаемости сфер этих языков. Иными были и границы культуры, самый характер этих границ. Факт изменения социологической характеристики данного общества открывается, как нам кажется, самой историей. Культуру же создает общество, и понять то, что им создается, без понимания его собственной социальной природы невозможно. Вот поэтому-то я и считаю задачу определения для каждой большой поры культурной истории ее социальной монады поистине первостепенной.

А вот вторая задача — изучение человеческого состава каждой монады. Общество состоит из отдельных людей, и в каждом социологическом типе общества они, эти люди, — свои, особые, несущие в себе признаки

этого типа. Возьму для примера общество средневековое, когда социологической монадой была, как многие у нас считают, народность. Человек этой эпохи предстает перед нами как воин-дружинник, как рыцарь, как брат монастырской общины, как мастер цеха, член гильдии, синдик городской коммуны, как член сельской общины, общины местного божества, как молодец из разбойничьей шайки, как писец или хронист, как бакалавр, магистр и доктор университета, алхимик и астролог, лекарь и гадатель, как певец на поэтических состязаниях в Вартбургском замке или в Хэйанском дворце, в Нюрнберге и в Сакаи, как рапсод или шошуды. Один из моих коллег — историков Переднего Востока недавно обрисовал нам быт и нравы знаменитой Нисибийской академии, чем показал нам не только образованность того времени, но ее человеческую среду, ее представителей. Другой коллега некоторое время назад обрисовал нам литературный Герат того времени, когда этот город был одним из центров культуры в этой части мира, продемонстрировав этим, как нужно говорить о литературе — не отвлеченно, а человечески-конкретно.

Таковы две первые задачи исторического культуроведения. Третья — раскрытие в культуре каждой эпохи системности.

Конечно, Вы можете сказать: если вы говорите о раскрытии черт системы — значит, вы считаете а priori, что культура каждой эпохи представляет не сумму явлений, а их систему? Да, это так. Без каких-либо постулатов обойтись трудно.

Все же этот постулат не выдуман: он сложился на основе вполне конкретных наблюдений. Поясню эту мысль лишь одним примером, причем из области, мне наиболее знакомой, — из области истории литературы, из эпохи Барокко, то есть той самой, когда Западная Европа выходила из царства Ренессанса и вступала в царство Просвещения. Возьму при этом лишь одну страну — Германию. Речь, таким образом, пойдет о немецкой литературе XVII века.

Даю сначала как бы инвентарную опись этой литературы; конечно, отмечая только наиболее показательное. Внесу в эту опись произведения Мартина Опитца и всей плеяды представителей его направления; внесу «Симплициссимуса» Гриммельсгаузена, «Аврору» Якоба Бёме; внесу романы Цезена, Циглера и их коллег по маньеризму; внесу и «Шельмуфского» Рейтера.

Что же эта опись нам дает? Во-первых, мы видим две линии: линию старого и линию нового. Старое — разумеется, в преобразенном облике — предстает перед нами в лице Опитца и его школы, новое — во всем прочем. Но в этом прочем мы также видим две линии: литературу бюргерскую и литературу аристократическую. Первая предстает перед нами в лице Гриммельсгаузена и Якоба Бёме, вторая — Цезена и Рейтера. В каждой из этих двух литератур есть свои внутренние линии: в бюргерской линия сатиры — в «Симплициссимусе», и линия мистики — в «Авроре»; в аристократической — линия галантного романа Цезена, Циглера и их коллег и линия пародии на маньеристский роман — «Шельмуфский» Рейтера.

Разве это не система? Да еще построенная чисто диалектически? А именно в этой диалектике и состоит историческое и социологическое единство целого — целого системы.

Есть и еще одна задача — четвертая по счету, но далеко не четвертая по значению — та самая, которой Вы отдали свое главное внимание: освещение вопроса о судьбах культур.

Да, конечно, целые цивилизации гибнут. Так, от древней ахейской культуры, например, остались руины — Львиные ворота, Кносский дворец и немного другое. Но разве не осталось от нее и еще одно — и, пожалуй, бесконечно более важное — «Илиада»? «Илиада» — никак не начало новой литературы; она — итог всей предшествующей культуры, но итог, подведенный новым народом, эту культуру унаследовавшим. Подлинное начало греческой литературы — та примитивная поэзия и проза, которую мы находим в «послегомеровскую» эпоху. Нет, культуры не исчезают бесследно, в какой-то части они передаются и возрождаются. Один из моих друзей, историк европейской античности, говоря о гибели ахей-

свой цивилизации, очень хорошо сказал: «В этом видимом упадке, в этом «спуске» к нижней части витка спиралевидного развития (истории культуры. — Н. К.) заложены основы возрождения... Совершается одно из величайших таинств истории — качественный скачок, момент перехода в иное качество в мучительном, прекрасном и неотвратимом процессе вечного обновления человека — человечества — бытия» («Новый мир», № 7, 1962, стр. 172). Да, культуры могут возрождаться, возрождаться в идеях и образах. И в этих формах они могут представлять перед «наследниками» даже ярче, чем в своем вещественном виде. Разве щит Ахиллеса, как он изображен в «Илиаде», не выразительнее, не ярче, чем этот же щит, если бы мы увидели его в натуре?

Мне кажется, что так можно подойти и к другому загадочному памятнику литературы — индийской «Рамаяне». Пока ничего не было известно о существовании в Индии культуры более древней, чем та, которую мы знаем, пока не были сделаны открытия в Хараппе, в Мохенджо Даро, нам ничего другого не оставалось, как предполагать невероятно развитую мифотворческую фантазию, соединенную притом с поразительным искусством ее художественного выражения. Но, может быть, дело объясняется проще? И — чисто исторически? Может быть, и тут — такое же таинство истории, как и в случае с «Илиадой»? Во всяком случае «Рамаяна» — не примитив. Не начало. Это великий культурный мир, ушедший в безвозвратную даль, но преображенно возродившийся через тех, кто его разрушил. Словом, случай, аналогичный с греческой «Илиадой».

Но, конечно, эти погибшие культуры возрождаются не только преображенными, но и соединенными с огромной массой нового, создаваемого уже своей современностью. В этом соединении протекает другой, столь же таинственный процесс — отбора нужного, необходимого для дальнейшего, для будущего. Потому что всякая современность есть стык прошлого и будущего. Раскрытие этого процесса я и считаю одной из важнейших задач работы по изучению культуры.

Вот тут я возвращаюсь к тому, с чего начал — к нашей сегодняшней культурно-исторической задаче: к задаче построения культуры нашего многонационального социалистического общества. На мой взгляд, эта задача состоит в следующем: надо строить прежде всего культуру современную — это первое и главное. Только современную по-настоящему. — в ее целом, а не в каком-либо одном ее облике. Если говорить об этом в аспекте общественного строя, мы должны всемерно учитывать не только те формы социализма, которые установились в нашей стране, но и те, которые сложились в других социалистических странах. История с величайшей убедительностью продемонстрировала, что социалистический строй — там, где он установился, — в каждой стране индивидуален, причем эта индивидуальность определяется не только данной исторической конъюнктурой, но — в гораздо большей степени — и тем, в каком виде эту страну подвела к социализму ее история.

Впрочем, вопрос ставится даже шире: современность следует брать всю, то есть и ту, которая представлена в странах с иным социально-экономическим строем, особенно с тем, что в них обращено к будущему. К будущему же, как мне кажется, обращено все, что думает, волнуется, обуреваемо тревогой за мир, за человека, все это — в каком бы облике оно ни выступало, — все это современно и подлежит изучению. Поэтому современен для нас и экзистенциализм: ведь именно тревогой за будущее человечества вызвана его неудовлетворенность прежними прогрессистскими концепциями хода мировой истории, концепциями, столь характерными для позитивистских умонастроений XIX века, унаследованных нами от этого века и еще не преодоленных. Несовременно то, что инертно, косно, невежественно или олимпийски спокойно, самодовольно, вседовольно — всюду, где это наблюдается.

Именно на таком подлинно живом чувстве современности мы и должны, как мне думается, строить нашу культуру. Этим мы сделаем ее социалистической, то есть, как мы понимаем, подлинно человеческой и общечеловеческой. Но мы в нашем обществе неодинаковы. Каждый из народов нашей страны унаследовал

большую культуру, несет ее в себе, неотделим от нее. И, строя новое, он должен использовать и то, что ему дало старое. Но не просто восстанавливать прошлое! Восстановить мавританскую арку, конечно, можно. Но путем такого внешнего восстановления решить архитектурный облик портала современного здания нельзя. Это противоестественно и безвкусно. Решать облик современного портала можно не мавританской аркой, а той системой эстетических представлений, которая идет от этой арки, системой исторически обогащенного и воспитанного художественного сознания. Вот в этом и будет состоять национальная форма. Что это не только возможно, но что так и бывает, свидетельствует сама история культуры. Возьму в пример опять то же Барокко, на этот раз в архитектуре. Барокко, как известно, — стиль определенной исторической эпохи, возникший в истории многих обществ. Для этих обществ в то их время Барокко было современностью. Но как различно это самое Барокко в разных местах! Разве немецкое Барокко повторяет испанское? А украинское — немецкое? Да и у нас барочные церкви Москвы не повторяют Барокко старого Киева. Совершенно свое Барокко в Китае XVIII века, в архитектуре его дворцов и мавзолеев. И опять оно свое в Японии в эпоху Момояма, которую так прямо и называют эпохой японского Барокко. Достаточно посмотреть хотя бы на один лишь храм-мавзолеей Тосёгу в Никко, чтобы сразу же почувствовать этот стиль Барокко. Хочется надеяться, что и в нашу эпоху не только появится или утвердится новый художественный стиль, но и будет дан в разных обликах.

Но тут неминуемо встает тот самый вопрос, который Вы, дорогой коллега, затронули в Вашем письме: вопрос о «всепоглощающей унификации», как Вы выразились. Это действительно вопрос в наше время очень острый. Вероятно, я понимаю Вас правильно: говоря об опасности унификации, Вы имеете в виду опасность не внешнюю, а внутреннюю — заложенную в самой культуре. Да, такая опасность существует. Культура — то, что мы создаем, чем мы владеем, и в то же время она создает нас, нами владеет.

Характерно, что Вы заговорили об унификации в связи с нашим временем, когда, как Вы думаете, человечество впервые получило возможность стать единым обществом. Вы поставили такую возможность в связь с тем, что Вы назвали «уничтожением расстояний». Я поставил бы в связь с тем, что представляет собой наибольшее проявление этого уничтожения расстояния — с массовой коммуникацией.

Вы знаете, что уже не раз на различных международных форумах говорили об опасности, тающей в современной системе массовой коммуникации — системе, образуемой радио, телевидением, кинопередачами, массовой газетной и журнальной печатью, массовой литературой — художественной, научно-популярной. Все мы в той или иной степени охвачены этой коммуникацией, находимся в ее власти. Например, меня может совсем не интересовать, как некая звезда фигурного катанья метет своей взбитой шевелюрой лед на катке в Любляне или в Вене, но я все-таки смотрю: действует гипноз телевизора. И что удивительнее всего — я даже начинаю привыкать к такому гипнозу.

Что, собственно, делают с нами все эти средства массовой коммуникации? Штампуют нас — наши интересы, наши вкусы, наш ум, наши души. Относимся мы ко многим вещам, конечно, по-разному, но сами категории этих разных отношений одни и те же; да и само отношение нередко привнесено в нас этой же массовой коммуникацией. Сейчас много говорят о создании думающих машин, определенным образом запрограммированных или даже самопрограммирующихся. Но разве мы не становимся этими запрограммированными машинами, сами того не сознавая? Может быть, мне только кажется, что я слушаю радиопередачу, на самом же деле в меня в этот момент закладывается перфорированная лента?

Насколько я мог уловить, Вы как будто видите эту сторону нашей сегодняшней культуры, почему у Вас и чувствуется некоторая горечь, когда Вы говорите о своей вере в возможность избежать унификации «хотя бы в художественном творчестве». Боюсь, дорогой коллега, что и тут положение не столь обнадеживаю-

щее. Один Кафка еще не делает погоды — погоду делает «массовая литература», которая выпускается на рынок коммерческими издательствами, число коих legion. Прошу не понять меня неправильно: и в этих изданиях есть немало интересного, ценного и художественного. Но все это унифицировано вплоть до размера.

Вы пишете о надежде, что мы все-таки сохраним хоть свободу выбора. Я очень ценю, что Вы специально предупредили, что Вы этим не затрагиваете другую тему — тему свободы воли, как ее ставят и решают философы и теологи. Вы — историк и говорите о свободе исторического выбора. По-моему, вопрос следует ставить именно так. Только для меня этот вопрос соединяется с другим — более общим: с проблемой отчуждения личности, которую ставит сама история, и прежде всего именно история человеческой культуры.

В моей стране сейчас много говорят об этой проблеме. Говорят философы, историки, социологи, психологи, литературоведы. Для многих из тех, кому сейчас двадцать—сорок лет, даже нет более жгучей общественной и их личной проблемы. Они исходят при этом из Маркса, который ввел философскую проблему отчуждения вообще и отчуждения личности в плане истории.

Да, конечно, историк видит, что человек всегда создавал совершенно необходимые для жизни общества, для его собственного существования нормы, — создавал их, чтобы затем самому подчиниться им, а это значит — что-то утратить в себе самом, вернее — передать часть своего, часть себя в распоряжение этих норм. Вы употребили слово «привычка»... Можно сказать и так: появление привычки есть один из элементов отчуждения личности. Но историк видит и другое: как тот же человек разрушает эти нормы, рвет с этими привычками, когда они, как Вы выразились, становятся гибельными.

Недавно я был очень занят одной работой по древней истории Китая. Имея дело с различными проявлениями общественного сознания, различными направлениями общественной мысли, я почувствовал что-то новое в своем отношении к тому, что западные синологи именуют конфуцианством и даосизмом, точнее говоря — к умонастроениям Конфуция и Мэн-цзы, с одной стороны, Лао-цзы и Чжуан-цзы, с другой. Мне вдруг показалось: разве это не удивительно ясная картина стремления, безудержного, самозабвенного, к производству всяких норм, — стремления, воодушевляемого самыми высокими человеческими и общественными побуждениями, и рядом столь же ясная картина яростного протеста против этих норм и также во имя человека, для человека, во имя достижения им самых вершин в его внутреннем, да и внешнем развитии? Как будто бы Лао-цзы и Чжуан-цзы почувствовали, к чему эти нормы могут повести. Мне кажется, теперь я начал понимать, почему Сэлинджер читает Чжуан-цзы...

Но разве вся история человеческого общества и создаваемой им культуры не заполнена тем, что ведет к отчуждению личности и что устраняет это отчуждение? Достаточно пройти хотя бы по одной линии культуры — по изобразительному искусству, еще лучше — по литературе. А это значит, что свобода выбора у нас есть. Может быть, лучше сказать не есть, а появляется... Появляется, когда это становится необходимым. В такой момент человек исполняет свой человеческий долг. Не об этом ли Вы и думали, когда создавали свою книгу «Перемелы и привычки»?

Вы пишете, что сейчас человечество стоит перед необходимостью выбора. Согласен с Вами. Но Вы, как я понимаю Вас, отнюдь не считаете это дело простым. Вы, как мне кажется, с горечью говорите: вот, мы вступили в атомный век, а живем все еще категориями доатомного века! Согласен и с этим. Могу даже эту Вашу мысль применить к другой сфере: вот мы вступили в социалистический век, а очень многие из нас все еще живут категориями досоциалистического века! Да, человек может обгонять историю, но люди обычно отстают от истории.

Вы написали о себе: «Я — не детерминист и, как смею думать, не догматик». Это очень ценное признание: это ведь признание одного из самых глубоких знато-

ков истории человеческой культуры, признание историка. Следовательно, Ваше собственное изучение истории человеческой культуры заставило Вас понять, что абсолютных законов хода истории нет. И очень хорошо, что Вы тут же сказали, что Вы, следовательно, не догматик. Вы правы: догматик всегда детерминист. Вот у кого уж действительно нет свободы выбора! Ее нет даже тогда, когда он отказывается от одного догмата для другого.

Вы сделали мне честь, сочтя меня оптимистом... Разумеется, оптимистом как историка. И обрадовали меня тем, что сказали, что и Вы в этом отношении со мною. Выходит, что два очень разных историка, работающих очень по-разному, независимо друг от друга пришли к историческому оптимизму. Иначе, впрочем, и быть не могло: история все-таки чему-то научает.

Только оптимизм у меня, как, вероятно, и у Вас, отнюдь не тот, которым отличался достославный доктор Панглосс. Мне запомнились слова одного нашего физика, сказанные им в речи памяти Резерфорда, произнесенной в вашем Королевском обществе 17 мая 1966 года и впоследствии напечатанной в «Новом мире»: «Хотя мы все надеемся, что у людей хватит ума, чтобы в конечном итоге вернуть научно-техническую революцию по правильному пути для счастья человечества, но все же в год смерти Резерфорда безвозвратно ушла та счастливая и свободная научная работа, которой мы так наслаждались в годы нашей молодости. Наука потеряла свою свободу. Она стала производительной силой. Она стала богатой, но она стала пленницей, и часть ее покрывается паранджой. Я не уверен, продолжал бы сейчас Резерфорд по-прежнему шутить и смеяться» («Новый мир», № 8, 1966, стр. 215). Слова достаточно горькие. Но я вспоминаю также и такие замечательные слова: «Первым и самым важным из прирожденных свойств материи является движение, — не только как механическое и математическое движение, но еще больше как стремление, жизненный дух, напряжение, или, употребляя выражение Якоба Бёме, мýка материи» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, стр. 142).

Но если движение вещества есть стремление, которому присущи свои муки, то может ли не знать своих мук и движение человечества в его истории? Они были, есть и будут, но именно им мы и обязаны рождением всего того чудесного, что человечество создало в своей культуре. Этим путем мы достигнем и того единства человечества, о котором говорили Вы, о котором в своей книге говорю я, за которое борются все люди доброй воли на земле. И оно, это единство, придет. Может быть, даже скорее, чем мы предполагаем. Но его нельзя просто получить: его нужно не только выстрадать, но и заслужить собственными усилиями.

С искренним уважением

Н. Конрад.

Март 1967 г.

Москва.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ВСЕСОЮЗНЫЙ СТАРОСТА

Под этим именем был известен и вошел в историю нашей страны один из славных революционеров ленинской когорты, двадцать семь лет возглавлявший верховный орган власти Советского государства,— Михаил Иванович Калинин (1875—1946).

Мы публикуем ниже отрывки из записок старейшего работника Наркомзема П. Я. Гурова, члена партии с 1903 года, и В. Н. Шульгина (1894—1965), члена коллегии Наркомпроса, историка, члена партии с февраля 1917 года, посвященных поездке М. И. Калинина в голодающее Поволжье в конце лета 1921 года.

* * *

1921 год. В Центральный Комитет РКП(б) к В. И. Ленину, во ВЦИК к М. И. Калинин у продолжают поступать многочисленные, полные тревоги сообщения о небывалой засухе, приведшей к полной гибели хлебов и страшному голоду в шестнадцати губерниях с населением свыше тридцати миллионов человек.

Приближалось время осеннего сева, но о нем в Поволжье мало кто думал: все были заняты помощью голодающим.

А с мест поступали все более тревожные сведения: посевного материала нет, население в панике бежит, бросая насиженные места, уничтожая скот... Осенняя посевная в пораженных засухой местах под угрозой. Если не удастся осенью посеять — катастрофа для десятков миллионов людей и в следующем году неминуема.

В коллегии Народного комиссариата земледелия, в Центральном комитете Всеработземлеса проходят непрерывные совещания, обсуждаются меры борьбы с бедствием.

Враждебные силы в стране злорадно предсказывают скорую гибель советской власти. Зарубежная печать красочно расписывает размеры бедствия, на все лады пророчит неизбежность катастрофы власти рабочих и крестьян.

Центральный Комитет РКП(б) принимает решение немедленно выехать Председателю ВЦИК М. И. Калинин у в Поволжье и на месте самому — вместе с уполномоченными Наркомата земледелия, Наркомпрода, Наркомпроса и других организаций и местными ответственными работниками — определить размеры бедствия, срочно разработать конкретные мероприятия по оказанию продовольственной помощи населению. по устройству детей и организации осенней посевной кампании.

Мне как члену ЦК Всеработземлеса было поручено выехать с Председателем ВЦИК в качестве уполномоченного Наркомзема.

В ночь на 13 августа 1921 года поезд «Октябрьская революция» отправился в путь, а утром 13 августа Председатель ВЦИК уже проводил в своем вагоне совещание с уполномоченными. Политическим комиссаром поезда был назначен заместитель наркома внутренних дел М. Ф. Владимирский. От Наркомпроса в поездке участвовали товарищи В. Н. Шульгин и Е. Е. Цырлина, от Наркомпрода — Р. И. Рубинштейн.

В поезд по распоряжению М. И. Калинина были допущены иностранные корреспонденты. В их числе находился видный деятель английского рабочего движения коммунист Том Манн. Ему было в то время уже шестьдесят пять лет, но выглядел он бодро

и много работал. Каждое утро с нашим переводчиком Манн занимался русским языком и делал большие успехи.

Поезд прибыл в Самару (ныне Куйбышев). Все сотрудники и уполномоченные немедленно направились в город — каждый в соответствующее учреждение. Во второй половине дня состоялось совещание членов губисполкома, членов губкома, профсоюзных работников, комсомола и беспартийного актива.

Председатель губисполкома привел потрясающие данные о размерах бедствия. Он показывал образцы хлеба, приготовленного из лебеды, курака и других дикорастущих трав. По докладу можно было судить о полной растерянности местных властей. Не было никакого плана мероприятий по борьбе с голодом, ни слова не было сказано о мобилизации местных ресурсов и о выявлении хлебных запасов у зажиточных и кулаков. «Немедленная помощь Москвы» — к этому требованию сводились все предложения докладчика. Это был вопль о помощи, а не доклад председателя губисполкома — руководителя губернии.

М. И. Калинин внимательно слушал. Лицо его было напряжено до крайности. Он задал ряд вопросов, но ответы получил совершенно незнатные.

— Вы, по-видимому, считаете меня, — сказал Михаил Иванович, взяв слово, — человеком, который только и ждет, как бы поскорее узнать, сколько надо вам прислать хлеба, чтобы дать распоряжение в Москву о немедленной отгрузке этого хлеба. Куда это годится!

И он стал говорить о внутренних ресурсах, которые могут быть получены на месте. Его выступление произвело сильное впечатление на членов Самарского губисполкома и губкома. По всей губернии развернулась энергичная работа по выявлению продовольственных запасов и началась подготовка к осенней посевной кампании.

В Самаре поезд Председателя ВЦИК непрерывно посещали всевозможные делегации. Приходили районные работники, активисты профсоюзов, шли к Калининну крестьяне, шло множество людей, озабоченных и подавленных бедствием.

Михаил Иванович со всеми беседовал и вместе с уполномоченными наркоматов внимательно всех выслушивал, записывал жалобы, принимал заявления.

Из Самары Председатель ВЦИК направился дальше в Саратов, но уже на довольно потрепанном и неопрятном пароходе по Волге.

В пути пассажиры собирались группками на палубе и вели между собой оживленные беседы на всевозможные, главным образом политические, темы.

Председателя ВЦИК окружали корреспонденты. Они обращались со множеством вопросов относительно положения нашей страны, о том, надеется ли Советское правительство справиться с разразившимся бедствием.

Михаил Иванович отвечал обстоятельно и правдиво, не скрывая серьезности положения, но каждый раз подчеркивая свою глубокую уверенность в том, что бедствие будет пережито и преодолено.

Следующая остановка после Самары была в Вольске, в то время небольшом городке, славившемся своими цементными заводами.

Михаил Иванович вышел на пристань и отправился с нами в город. Навстречу группами шли работники исполкома и укома, рабочие цементных заводов. Они радушно приветствовали Михаила Ивановича. По пути завязывались оживленные беседы, расспросы. Но на встрече с местными работниками та же картина: жалобы, надежда на Москву и никаких попыток мобилизации местных ресурсов. Пришлось и здесь поворачивать внимание товарищей на иное — добиваться того, чтобы работники были немедленно направлены на места и принялись за подготовку осенней посевной кампании.

В Саратове мы пересели на большой благоустроенный пароход, только что прибывший из Астрахани. Здесь в просторном салоне-столовой я решил развернуть сельскохозяйственную выставку, подобную той, какую устраивал недавно, организуя агропоезд.

Сотрудники Саратовского губземстдела и работники Всеработземлеса быстро подобрали экспонаты, из которых я отобрал в первую очередь те, что могли помочь борьбе с засухой.

Михаил Иванович охотно согласился с моим предложением осмотреть опытную сельскохозяйственную станцию, расположенную недалеко от Саратова и руководимую профессором Н. М. Тулайковым. Самого профессора мы не застали, он находился в командировке, но Михаил Иванович подробно расспросил его заместителя, интересуясь прежде всего мерами борьбы с засухой и состоянием работ по выведению новых засухоустойчивых сортов пшеницы и других культур. Чем дольше ходил Калинин по отделам станции и по опытным участкам, тем больше у него возникало вопросов. Мы задержались на станции дольше, чем предполагали.

Между тем из Саратова приехала за Михаилом Ивановичем группа работников губисполкома и губкома. Тов. И. И. Нейбах, председатель губисполкома, стал уговаривать Михаила Ивановича прекратить осмотр опытной станции, так как в Саратове собран губернский актив и его ждут, чтобы открыть заседание.

С нескрываемым огорчением Михаил Иванович подчинился и, дружески распрощавшись с работниками станции, поехал в Саратов.

На заседании Нейбах сделал доклад, в котором, так же как и его самарский коллега, больше нападал на ВЦИК, чем говорил о продуманных мерах практической борьбы с бедствием.

Он недопустимо резко упрекал ВЦИК в том, что тот якобы слабо руководит, не отвечает на запросы, заражен бюрократизмом. Говорил он вообще очень крикливо и неконкретно. Михаил Иванович терпеливо слушал, а затем отвел демагогические обвинения и повернул дело так, что собрание начало обсуждать практические вопросы, вытекавшие из сообщений сопровождавших его уполномоченных, которые уже успели ознакомиться с работой местных учреждений.

На заседании горячо выступил местный крестьянин-партизан, руководитель отряда по борьбе с бандитизмом в Поволжье. Он решительно призвал собрание отказаться от бесконечных жалоб и упреков по адресу ВЦИК и выработать практические мероприятия по борьбе с бедствием, обращая особое внимание на проведение посевной.

Заседание губисполкома дружно и единодушно приняло решение немедленно развернуть работу местных организаций по борьбе с голодом, всемерно заботиться об осенней посевной и начинать готовиться к весенней посевной кампании 1922 года. Были намечены также меры для спасения скота от бескормицы.

— Спасем хозяйство, сохраним скот — спасем и людей, — говорил М. И. Калинин.

В наиболее неблагополучные районы, пострадавшие больше других, была срочно направлена продовольственная помощь.

От Саратова отправились дальше — вниз по Волге.

Неутомимый Калинин продолжал оживленные беседы и с нами, его помощниками, и с иностранными корреспондентами.

— Как же вы все-таки думаете преодолеть бедствие? — допытывался у М. И. Калинина представитель крупной буржуазной газеты.

Михаил Иванович, подумав, отвечал:

— Вы видите наши просторы, видите изобилие наших водных ресурсов? Все это мы приведем в движение. В декабре тысяча девятьсот двадцатого года мы приняли план ГОЭЛРО. На этой могучей реке будут созданы электростанции, и эти пока пустынные берега будут застроены фабриками и заводами, городами и поселками. Техника поможет нам в будущем бороться и с засухой.

— Но где же вы возьмете средства для этого? У вас же нет ни металла, ни строительных материалов, ни денежных средств?

— Верно, — отвечал Калинин, — но все это будет. У нас есть главное — победа революции, и теперь наша судьба принадлежит нам самим.

В Царицын (ныне Волгоград) пароход прибыл рано утром. Город тогда произвел на всех нас тяжелое впечатление. На пристани стайками стояли и сидели голодные дети, оставленные родителями...

По предложению Михаила Ивановича мы решили поехать из Царицына вниз по течению Волги в сельскохозяйственную коммуну «Рассвет». Здесь Михаил Иванович осмотрел скотный двор, прошел по полям, поинтересовался детским садом. Беседа с крестьянами затянулась до позднего вечера.

Когда возвращались в Царицын — плыть пришлось против течения, медленно, — стало темнеть. Мы сразу почувствовали, что допустили большую ошибку, отправившись в беспокойный район почти без всякой охраны.

Но М. И. Калинин держался совершенно спокойно, делился впечатлениями о хозяйстве коммунаров. Когда мы наконец доплыли до Царицына, была уже ночь. Товарищи, поджидавшие на берегу, стали нас упрекать в легкомыслии, но Михаил Иванович оборвал их:

— Нам бояться нечего!

И действительно, через какой-нибудь час он доказал это своим поведением.

Пароход был готов к отплытию в Астрахань, как вдруг с реки послышались возгласы людей, подплывавших к пароходу на лодке и просивших «пропустить их к товарищу Калининну».

— В чем дело? — раздался голос политкомиссара Владимирского, и он отдал приказ никого на пароход не пропускать без его разрешения.

Оказывается, атаманы местных банд «зеленых» явились сдаваться советской власти и просят их пропустить к Председателю ВЦИК, чтобы лично ему принести повинную.

По распоряжению Михаила Ивановича атаманов пустили в его просторную каюту. Разговор с главарями банд продолжался больше часа.

С исключительной простотой, спокойно, без упреков и назиданий заговорил с ними Михаил Иванович:

— Вы должны понять, что рано или поздно все будете уничтожены! Неужели вам не ясна сила и мощь Советского государства, первого в мире государства рабочих и крестьян? Кого вы бьете и разоряете вашими бандитскими набегами и погромами? — спросил он. — Вы бьете прежде всего тех же самых крестьян, из которых вышли сами. Следовательно, вы бьете и разоряете самих себя.

Бандиты стояли перед Михаилом Ивановичем, склонив головы... Потом попросили слова.

— Говорите, — сказал Михаил Иванович, — говорите все, что у вас есть!

И бандиты начали жаловаться на то, что деваться им некуда, их все равно ждет расстрел...

Михаил Иванович ответил, что Советское правительство в своей борьбе с врагами никогда не руководствуется чувством мести, и это тем более не может иметь места в отношении выходцев из крестьянской среды, хотя преступления, совершенные «зелеными» бандами, огромны, чудовищны и заслуживают самой беспощадной и суровой кары.

Мы, все присутствующие, чувствовали, что, в сущности, Михаил Иванович говорил не с этими двумя вожаками бандитов, а — через их головы — с той частью крестьянства, которая под влиянием пропаганды меньшевиков и эсеров, остатков белогвардейщины и кулачества пыталась продолжать борьбу против советской власти. Это был разговор большой силы и глубины, своего рода программа. Он сказал на прощанье:

— Идите и скажите вашим единомышленникам, чтобы приступали к работе и восстанавливали свои хозяйства. Но пусть не рассчитывают на снисхождение, если будут продолжать свои бесчинства.

Последним городом, который посетил тогда Михаил Иванович, была Астрахань. Здесь нас поразили огромные разрушения. Целые кварталы были сожжены и уничтожены, повсюду виднелись следы ожесточенных боев с белоказаками.

После встреч с местными работниками, после выработки конкретных и срочных мер, которые следовало здесь предпринимать, настало время возвращаться.

Поездка М. И. Калинина продолжалась с 13 августа по 3 сентября. Она дала богатый материал для того, чтобы помочь Поволжью была организована быстро и самым эффективным образом.

Советы М. И. Калинина помогли организациям мобилизовать местные ресурсы. Вместе с помощью, оказанной Советским правительством и международными организациями помощи голодающим («АРА», Нансеновский комитет), удалось поддержать население и дать для посевной кампании семена и тягловую силу.

Благодаря всем этим мерам посевная площадь под озимые 1921 года превысила посевную площадь 1920 года. А ведь наши враги кричали, что посевной материал будет съеден голодающим населением.

М. И. Калинин продолжал пристально наблюдать за выполнением разработанного плана помощи пострадавшим районам и требовал от наркоматов и других учреждений, как центральных, так и местных, неукоснительного и своевременного выполнения всех предложенных мероприятий.

Исключительные простота и хладнокровие Михаила Ивановича, его требовательность и умение будить и ценить инициативу навсегда останутся в памяти тех, кому приходилось работать с ним.

Он до конца своей жизни много ездил по стране, умел и любил говорить с людьми, был остроумным оратором.

Выступив однажды перед большой крестьянской аудиторией, куда проникли и эсеры, Калинин получил записку: «А что дороже для советской власти — рабочий или крестьянин?»

— А что,— в свою очередь спросил Михаил Иванович,— для человека дороже — правая или левая нога?

Восторженными овациями ответил ему зал.

Встречи с М. И. Калининым, работа с ним были огромной и несравненной жизненной школой.

П. Гуров.

* * *

Как-то вечером в гостинице «Националь», где жили тогда многие ответственные товарищи, я встретился с Михаилом Ивановичем Калининым. Он сказал, что собирается ехать на Волгу, и предложил мне ехать с ним вместе:

— От ряда наркоматов представители едут. Вот и вы поезжайте.

Я сказал, что работаю теперь в Истпарте, роюсь в архивах.

— Зачем я вам в таком качестве нужен? — пошутил я.

Но на другой день мне позвонил Луначарский:

— Мы наметили послать вас с Михаилом Ивановичем. Поедете?

— Поеду.

Поезд отходил с Казанского вокзала. Путь лежал на Волгу.

Утром нас пригласили в салон-вагон. Михаил Иванович вытащил из кармана бумагу и сказал:

— Разрешите огласить постановление ЦК РКП(б).

Оно было кратко: «Обязать всех членов партий, отправляющихся с поездом, возглавляемым т. Калининым, сделать противохолерную, антисыпнотифозную прививку». Мы знали это раньше, но почти никто не исполнил решения в Москве.

— Сестра, прошу немедленно приступить к делу,— сказал Михаил Иванович и отошел к окну.

Горячее солнце заглядывало в вагон. Поезд бежал вперед, поднимая пыль.

В купе шла обычная жизнь: у каждого было свое задание, свой план. Но они входили составной частью в общий план.

Подъезжая к Пензе, мы вновь собрались в салон-вагоне. В Пензе должна была быть первая большая остановка, первая встреча с местными властями, первое знакомство с их работой.

С Волги через Пензу шел поток людей. Он нес с собой вести о голоде, об эпидемиях, вопросы, надежды, стремления.

В поезде несколько человек в результате сделанных прививок лежали. М. И. Калинин, М. Ф. и Л. С. Владимирские и я чувствовали себя прекрасно.

— А придется вам, видно, в город пешочком идти,— неожиданно сказал Михаил Иванович.

— Машины в исправности,— откликнулся М. Ф. Владимирский.

Машин тогда даже в губернских центрах не было. А те, которые имелись, как правило, были поломаны или не имели горючего. Поэтому с собой из Москвы мы везли две легковые машины.

Утром еще раз Михаил Федорович приказал шоферам проверить их. И они доложили, что «все в порядке».

В чем же дело? Чем было вызвано пессимистическое замечание Михаила Ивановича?

— Доски для спуска машин с собой взять забыли,— с раздумьем продолжал он.— А без них как машину из вагона спустишь? Вот и придется вместе с комиссией пешочком идти: местные власти не догадались свои машины починить. А замнаркомвнудел и не знал вовсе, что пензенцы давным-давно все деревянные платформы разобрали и в печах пожгли. А казалось бы, кому, как не Наркомвнуделу, знать, что на местах делается...

М. И. Калинин был прав. Машины спустить не удалось: деревянных платформ действительно не было — не было и машин. Мы шли долго, тихо, в гору, по направлению к губисполкому. Заглядывали в приемники, на пересыльные пункты, в санпропускники. В повалку вместе с большими лежали здоровые, измученные голодом и долгим пройденным путем люди. В комнатах без мебели на полу сидели дети. Шума не было. Дети не играли. У них не было сил играть.

Зал губисполкома был полон. Он шумел тревожными голосами, а Михаил Иванович был спокоен. Встав у стола, покрытого красным сукном, он всматривался в лица сотен людей, сидевших перед ним, и не то ждал, когда смолкнет шум, не то вслушивался в него, пытаясь угадать его смысл. И вдруг сказал:

— Нехорошие у вас разговорчики идут: «Беженцы нам работу срывают». Идут такие разговорчики? Идут. Не государственная эта точка зрения. Так мужики несознательные в давнишние времена говорили: «Что нам на войну идти: до нас не дойдет, нас это не касается; их касается — пусть и воюют». — Он остановился, заглянул в блокнот, который держал в левой руке, переступил с ноги на ногу, сделал шаг вперед и спросил: — А когда народ, как один человек, поднимался, одно за другим ополчения слал — побеждали? Побеждали. Вот об этом я и говорю. Весь народ на борьбу с голодом поднять надо. А вы о срыве плана разговариваете. «Беженцы план срывают». Ишь что придумали. А включить заботу о беженцах в свой план и не догадались?.. Не догадаться? — с недоумением повторил он. — Недогадливые вы люди. «Беженцы губернию объедают!» А куда голодных девать? Об этом подумали? Помочь им надо! Триста лет Романовы крестьян разоряли. Нищими сделали. По миру ходить заставили, божьим именем питаться. Забыли? Целые села из года в год только тем и жили, что кусочничали. Так их кусочниками и звали. Вот Дорофей Иванович об этом напомним. Сам всю жизнь кусочничал. А теперь в коммуне живет. Он помнит!..

Все обернулись на Дорофея Ивановича. Тот сидел посредине зала — седой, крепкий, с окладистой бородой.

— Что им рассказывать, Михаил Иванович, разве я один кусочничал? Целый уезд кусочничал.

— А потом империалистическую войну затеяли,— продолжал Михаил Иванович так, будто речь Дорофея Ивановича была частью его речи,— четыре года воевали — захирело хозяйство. Мужиков в деревне нет. На поля сражений угнали. А где бабе одной со всем управиться? А как царя, помещиков сбросили, капиталистов прогнали — нам гражданскую войну навязали. А для чего? Чтобы землю у мужиков отнять — очень любят помещики в кабале крестьянина держать, кровушку крестьянскую пить. А потом засуха. Мрут люди. А вы: «Пензенскую губернию беженцы объели!» А чьи это речи? Вам и невдомек? Враг их шепчет, а вы повторяете. Враг бедняка с нищим поспорить хочет. Крестьянина на рабочего натравить. Это для врага первое дело. Силен крестья-

нин, когда за рабочего крепко держится, бедняка в обиду не дает. А рассорились — враг тут как тут. Поодиночке всех ломает. А вы и поддались. Врагу поверили. Силы, говорите, нет. А где же она, сила-то? Куда девалась? Силы своей вы не знаете. У вас она, только у вас. Весь народ на борьбу поднять надо. И победим. Кто же с такой силой совладать может? Никто. Обязательно победим. И социализм построим.

Он кончил. Стояла секунду тишина. Затем сразу все поднялись и зааплодировали. Ночью мы приехали в Кузнецк. На станции был митинг. Михаил Иванович произнес речь о новой экономической политике.

И дальше — всюду, где мы останавливались, — он говорил о том же — о новой экономической политике.

Поезд встал где-то далеко от самарского вокзала. Поле. Разъезд. Прямая дорога к Волге. Вокруг вокзала ползушие, умирающие, распухшие люди. Ждут поезда, чтобы уехать. Куда? Всюду голод. Здесь смерть. С первых шагов по улицам города мы убедились в этом. На ступеньках крыльца — маленький трупик девочки. Она пыталась всползти к двери, может быть, думала, что в доме помогут. И не доползла. Так и лежит, вытянувшись на ступеньках, и глаза будто смотрят в бездонное синее небо. А дальше — ничком, распластав руки, как будто хотел обнять горячую бесплодную землю, лежит бородач-крестьянин. Около него никого. Улица пуста. Трупы лежат то в одиночку, то кучей. Их не успевают убирать. А если убирают, на том же месте появляются новые.

С Волги к вокзалу с надеждой на жизнь идут, ползут люди, а иные сидят: уже сил не осталось ползти...

Здесь машины спустили из вагона, и они рванулись в степь, дышащую зноем.

— Стой! — Михаил Иванович вышел из машины и стал осматривать землю.

В разные стороны ползли трещины. Они словно жили своей жизнью: двигались вправо, влево, сплетались в причудливые узоры. Они ширились, уходили вглубь, края осыпались и трещины вновь ползли. Поле было разорвано на части. Михаил Иванович нагнулся, взял в руки ком земли, и он рассыпался, как будто ничто не связывало его, а ветер подхватил и унес столбик пыли. Не было ни былинки — все выгорело, все.

Машина бежала дальше. Показалась деревня. Мы слезли у первого дома. В избе лежало три трупа. И стояла тишь. Не было ничего живого. Не пели петухи, не кудахтали куры, не лаяли собаки, не звенели детские голоса. Мы прошли все село. Уцелела бабка: забытая, заброшенная, покинутая всеми, она жила.

— И то сказать, на что я им такая нужна: обуза одна. Так и сказала: уходите. Что обо мне жалеть? Я свое прожила. Поплакали на прощанье, поцеловались и ушли. После, выходя на митингах, Михаил Иванович Калинин не раз вспоминал об этой бабке. Она поняла то, что не многие понимают. Личное должно отступить на задний план перед общественным. Вот тогда и явятся возможности, не замеченные нами раньше...

Бабку мы отправили в Самару, устроили там в лазарете, и она выжила. И все ждала весточки от родных. Не знаю, дождалась ли. Но ухаживала она за больными, как за близкими родственниками.

— Может быть, на дальней сторонухе и за моими так ухаживают, как знают...

В Самаре пересели на пароход. Это было вечером. Ветер нес с берега горячую тонкую пыль. Волга была пуста: не сновали по ней лодки, не шла снизу, из Баку, нефть, не спускались сверху плоты, не плыли груженные хлебом баржи. Редко-редко попадался идущий навстречу пароход. Он вез голодающих. Их отправляли в другие губернии, чтобы там они смогли прожить осень, зиму, а весной, получив от государства семенную ссуду, вновь вернуться к себе и засеять эти поля в надежде, что новый год будет лучше к людям.

По крохам крестьяне других губерний собирали зерно. В небольшом количестве присылали собранный ими хлеб рабочие Европы. Государство покупало муку за границей, тратя скудный золотой запас, так необходимый для экономического возрождения республики. Из монастырских ризниц и церквей, при бешеном сопротивлении попов-

шины, изымались золотые паникадила, серебряные чаши, ризы, украшенные драгоценными камнями, снимались колокола. Надо было спасать от голодной смерти миллионы людей.

В выходные дни на заводы и фабрики приходили рабочие и отдавали заработанные ими за сверхурочный труд деньги в пользу голодающих.

По всей Советской России организовывались «Недели ребенка», «Недели помощи голодающим». Все свои силы напрягала страна в этой трудной борьбе. Но сил не хватало. Голодала Волга.

В Саратове на пристани толпились люди. Они не ползли, не сидели обессиленные на земле. Из толпы доносился оживленный говор. Того, что мы видели в Самаре, здесь не было.

Л. С. Владимирская, Е. Е. Цырлина, я, завгубоно сразу поехали на дачи. Там были теперь детучреждения, больницы, приемники, распределители. С нами отправился Т. Манн, присоединились иностранные корреспонденты. Мы проходили из одного домика в другой. Дети играли на песке, пели. Они были худы, плохо одеты, но это были здоровые дети.

На пропыленных деревьях висели сморщенные, пожелтелые листья.

— Смотрите,— сказал один из корреспондентов, шедший за мною,— господин Шульгин без носков.

Это было, конечно, очень важно. На это надо было обязательно обратить внимание. Среди горя, моря нужды, героической борьбы разве могло это не броситься в глаза? Член правительственной комиссии, по их представлениям, должен был обязательно носить изящный дорогой костюм и тонкие носки...

Михаил Иванович ездил в деревни. На полях были редкие былинки хлеба.

Михаил Иванович обходил дворы. Кое-где уцелели коровы, лошади, куры. Он заходил в стойла, коровники. Он знающе, по-хозяйски осматривал животных, расспрашивал, сколько собрали, как долго сумеют прокормиться и прокормить скот, он вспоминал прошлое.

— А девяносто второй год помните?— спрашивал он.— А девятьсот первый год? Тоже голод был. А что царская власть делала? Земствам мешала работать. Да и земства копейки собирали. Разве помещику мужика жаль? А в земстве кто? Помещик сидел. Нищая наша власть, а на золото хлеб за границей покупаем. Везем.

Видимо, здесь что-то еще уцелело от прошлых лет, покрепче, побогаче здесь жили крестьяне и не так сильно здешние поля были выжжены солнцем.

Длинные улицы, деревянные домики и новая площадь с высокими каменными домами. Перед домами — недавно посаженные деревья. Это центр и вместе с тем начало будущего города, которому затем дали название — Энгельс.

Ездили в степь, в деревни. Заходили в учреждения, говорили с людьми, митинговали. Затем были на заседании.

Астрахань. Вдоль Волги горками лежали арбузы. Зелень берегов скрывала пустыню. По реке сновали лодки, полные рыбы. Казалось, жизнь здесь идет, как всегда.

На городском базаре было шумно. На ларьках, на земле лежала рыба, фрукты. Но нигде не было хлеба, его не давали уже много дней. Его должны были привезти. Но пока его еще не было.

Около ларька, прислонившись к нему спиной, сидела на земле молодая татарка. У нее были черные волосы, черные глаза, и темный загар покрывал ее щеки. Она держала на руках маленького, завернутого в грязную, рваную тряпицу ребенка; он плакал. Женщина прижимала его к груди, он замолкал на секунду и вновь начинал плакать. Вдруг он вскрикнул. Михаил Иванович взглянул на женщину. Та уронила на землю бессильные руки, а черные глаза продолжали смотреть вдаль, будто могли еще что-то там увидеть.

Встречавший нас работник губисполкома поторопил Михаила Ивановича. Заседание должно было скоро начинаться.

Повестка дня была все та же: срочные мероприятия по борьбе с голодом.

В Москву мы возвращались поездом. Работа продолжалась. Участники поездки писали отчеты, разрабатывали проекты постановлений, которые должны были быть приняты в центре. Проверяли, что сделано. Подводили итоги.

— А надо бы,— заметил о ком-то представитель Наркомюста, листая свои бумаги,— отдать его под суд.

— Под суд? — перебил Михаил Иванович.— Ты думаешь, если я сказал, что он не все сделал,— это значит, что он плохо работал? Нет. Он все сделал, что мог. Только — и ты это запомни, пожалуйста,— человек может сделать куда больше, чем может. Поругаешь его, поучишь, приласкаешь — он и сделает. Это учти. А ты — «под суд». Он сам того гляди свалится. Сил у него больше нет. Все силы отдал. А ты — «под суд»! Теперь, гляди, он кое-что еще сделает. Мы ему как бы часть своих сил отдали. А ты через месяц проверь. Не ошибся ли я? Думаю, что не ошибся.

Мы знали, что он прав.

В. Шутьгин.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Полвека советской литературы

Ф. БИРЮКОВ

★

НАД СТРАНИЦАМИ «ТИХОГО ДОНА»

(Заметки о стиле)

Заслужившие признание произведения искусства примечательны тем, что запоминаешь, где и когда встретился с ними впервые.

«Тихий Дон» я читал в 1934 году. Мы, два учителя сельской школы, что называется, набросились на вышедшие к тому времени три книги. Мой друг был с донского хутора. Он читал и перечитывал роман, с ним и спать ложился, и вставал, книги держал под подушкой.

В длинные осенние и зимние вечера мы читали друг другу некоторые места вслух.

— Вот хуторское собрание. Послушай, как Авдееч Брех у царя был,— предлагал он мне.

И шла страница за страницей. Женитьба Григория. Христоня с отцом ищут клад. Аксинья, мятежная казачка, убегает из дома. Григорий в лазарете. Смерть Петра. Могилы Валета.

А мой друг переносится воображением в родной хутор, вспоминает, какие они — донская степь, сам батюшка тихий Дон, люди того края.

Финальная часть появилась в 1940 году. Как же мы — все наше поколение — ждали ее! С тревогой за судьбы полюбившихся героев. С желанием скорее узнать, что там, в конце? И когда писатель рассказал нам, что Аксинья больше нет, а Григорий сломлен, но все еще цепляется за жизнь, мы ощутили боль. Будто случилось с близкими.

Сила художественного впечатления была столь поразительной, иллюзия достоверности захватывала так, что виделось все. и

овраг, где Григорий оставил коней, когда, крадучись, пробирался к Аксинье, чтоб увезти ее из хутора, и вязовый лесок — там на опушке дневали беглецы. Аксинья тогда положила у изголовья задремавшего накоротке Григория венок, сплетенный из полевых цветов. Думала ли, что это последний дар неразлучной, вечной и жертвенной любви, последняя дань земной красоте?

И казалось: вот если поехать на Дон, отыскать хутор Татарский, а в нем крайний мелеховский курень, откуда все и занялось пожаром,— можно найти следы героев и на Гетманском шляхе, и на малых тропинках к Дону и казачьим куреням.

Да, читая Шолохова, мы росли с ним, узнавали жизнь, приобретали представление о красоте мира, человеческих чувств, о народном слове.

Создания искусства примечательны еще тем, что к ним возвращаешься через годы, десятилетия, вновь обдумываешь их смысл и про себя постоянно держишь. вернуться к «Илиаде», порыться в русской древности — от «Слова о полку Игореве» до жития сожженного за непокорность Аввакума, перечитать Достоевского, Толстого...

«Тихий Дон» и теперь волнует так же, как и тридцать лет назад. Это книга на долгие годы — памятник переломной эпохи.

Произведения словесного искусства имеют еще одно особое свойство — их охотно перечитывают ради наслаждения красотой слова, заучивают наизусть. Таковы и многие страницы «Тихого Дона», давно ставшие хрестоматийными. Их хочется знать на память.

Стиль Шолохова оригинален тем, что в нем синтезированы устнопоэтические, просторечные и разговорные формы языка — с одной стороны, и тонко обработанная книжная речь — с другой.

«Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, — заключал Пушкин, — но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей». Он рассматривал книжный стиль, в частности старославянизмы, как «сокровищницу гармонии», находил в нем «законы обдуманной грамматики», «прекрасные обороты», «величественное течение речи». А «чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя».

В стиле Шолохова мы найдем редкие по выразительности словесные средства. Он знает силу точных названий вещей и действий, признаков и незаметных оттенков, умело отбирает изобразительные средства, опираясь на язык народа.

Повествовательная речь писателя пестрит словами и оборотами повседневного крестьянского языка. Пантелей Прокофьевич после тяжелого дня на покосе «сыпал на арбу переливчатый храп». Он же после насмешки над ним в лавке Мохова (Аксинью, дескать, в снохи берет) «чертом попер в калитку» к Астаховым, «что-то булькая себе в бороду, зачилял к дому. Гришку он нашел в горнице. Не говоря ни слова, достал его костылем вдоль спины... разошелся не на шутку: поднес раз жене, опрокинул столик со швейной машиной и, навоевавшись, вылетел на баз. Не успел Григорий скинуть рубаху с разорванным в драке рукавом, как дверь крепко хлянула и на пороге вновь тучей буревой укрепился Пантелей Прокофьевич.

— Женить сукиного сына!.. — Он по лошадиному стукнул ногой, уперся взглядом в мускулистую спину Григория. — Женю!.. Завтра же поеду сватать! Дожил, что сыном в глаза смеются!

— Дай рубаху-то надеть, посла женишь.

— Женю!.. На дурочке женю!.. — Хлопнул дверь, по крыльцу протарахтели шаги и стихли».

Но у Шолохова мы найдем самый разнообразный книжный словарь, изысканные определения, сложные синтаксические построения, стилевые приемы, выработанные письменной речью. И пусть всякое деление в этом случае покажется грубым и схематич-

ным, важно главное: в своих языковых поисках Шолохов верен тем принципам, которые завешаны нашей литературе Пушкиным — родоначальником русского реализма.

2

Не сохами-то славная землюшка наша
распахана...
Распахана наша землюшка лошадиными
копытами,
А засеяна славная землюшка казацкими
головами,
Украшен-то наш тихий Дон молодыми
вдовами,
Цветен наш батюшка тихий Дон сиротами,
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими,
материнскими слезами.

Ой, ты, наш батюшка тихий Дон!

Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек

течьешь?

Ах, как мне, тиху Дону, не мутну течи!

Со дна меня, тиха Дона, студены ключи

бьют,

Посередь меня, тиха Дона, бела рыбаца

мутит.

Это эпиграф. Старинные казачьи песни. Слова простые, родниковой чистоты, они задевают душу трепетной любовью к земле, родному краю, в них — интонация раздумья, эпическая широта. Проходных слов, заполняющих пустоту, нет совсем. Каждое будто подымает смысловую и эмоциональную тяжесть. Взволнованная интонация — вопросы, восклицания, символика, строгий смысловой и образный параллелизм, чуть замедленный ритм, старая, даже старинная лексика — «батюшка тихий Дон», «студены ключи бьют», «бела рыбаца мутит», — все это создает эмоциональную стихию песен.

Песни естественно вписались в роман. И не только песни, а и сказки, заговоры, молитвы, причитания, сказы, приметы, поверья, живописная народная фразеология — пословицы, поговорки, дразнилки, прибаутки, прозвища. Эпические картины степей, Дона, событий войны, нелегких судеб вряд ли были бы столь волнующими и достоверными, если бы не было этой опоры в незамутненном источнике народной поэзии.

Песни, говорил Гоголь, «это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа». Шолохов изобразил Донщину как песенный край, а значит, и край поэзии. Где казак — там и песня. В ней прославлены Ермак, Разин, казачья вольница, Пугачев, русские края, в ней — милые и женушки, горько по-

вествует она о превратностях судеб солдатских. Тягучая и сильная, пережившая века, плывет песня под перестук тележных колес по пыльным дорогам, ликующе гремит на свадебном пиру, тихо несется из дверей теплушек и солдатских вагонов на дорогах мировой войны.

Жертвенная, тяжелая, непонятная народу война 1914 года. Идут эшелоны, эшелоны... «По артериям страны, по железным путям к западной границе гонит взбаламученная Россия серошинельную кровь», и люди, трудовой народ, в думах об оставленных семьях, необранном хлебе и осиротелых хуторах, объята тоской. Ходит по рукам молитва от ружья, молитва от боя, молитва при набеге — единственная пока надежда темного, обманутого казака.

«А вечерами в опаловой июньской темени в поле у огня:

Поехал казак на чужбину далеку
На добром своем коне вороном,
Свою он краину навеки покинул..

Убивается серебряный тенорок, и басы стелют бархатную густую печаль:

Ему не вернуться в отеческий дом».

Фольклор — это сложившееся веками мирозерцание народа, его философия. Здесь могут обветшать какие-то словесные формулы, приемы, обновиться содержание понятий, но непреходящая поэтическая одухотворенность мира, многозначная символика картин и образов, их глубокая синтетичность. И земля, и небо, и человек предстают здесь в единстве, и потому все изображенное — солнце, огонь, ветры, воды рек, деревья и цветы, звери и птицы, — помимо прямого значения, имеет особый поэтический смысл.

Над головами любимых героев Шолохова гремят грозы, проплывают облака, завывают ветры, им светит в пути месяц — казачье солнышко, Млечный Путь, нарядно перепоясавший небо; в дымной мгле суховея Григорий Мелехов видит ослепительно сияющий диск солнца — все это в духе фольклорной стилистики.

Аксинья находит в чудеснейшем сплетении цветов и трав ландыш, увенчанный снежно-белыми пониклыми чашечками цветов, и плачет, вспомнив свою бедную радостями жизнь, подступающую старость. — это тоже сродни устнопозитической традиции.

Наталья, провожая в последний раз Гри-

гория, стоит у ворот, а свежий предутренний ветерок рвет из ее рук черную траурную косынку — опять образ из народной символики.

Рассказывает ли писатель о том, как перед войной Григорий едва не утонул с лошадьми в бурное половодье или как по ночам, зыбкие и страшные, висели над хутором крики сына, как поднялся по шляху до самого хутора зловещий хвост пыли, когда привозят весть о войне; читаем ли о том, как над страшным полем недавней битвы в синей омутной глубине плывут и плывут вспененные ветром облака, как летят во все стороны, словно капли крови, срезанные лошадиными копытами пунцовые головки тюльпанов, — мы чувствуем в основе всего народную образность.

А параллелизмы, поэтические сопоставления, метафоры... Какое ощущение полноты и красочности земного бытия: «Ласковым телком притулялось к оттаявшему бугру рыжее потеплевшее солнце», «За розовеющим, веселым, как девичья улыбка, облачком маячил в небе тоненький-тоненький краешек месяца», «На Дону — плавный шелест, шорох, хруст. Будто внизу за хутором идет принаряженная, мощная, ростом с тополь, баба, шелестя невиданно большим подолом», «Где-то курчавым табуном белых облачков сияла глубокая, прохладная, пастбищная синь...», «Не лазоревым алым цветом, а собачьей бесилой, дурнопьяном придорожным цветет поздняя бабья любовь», «Аксинья пробовала уснуть, но мысли разметывали сон, как ветер копну сена», «Меж туч казаковал молодой желтоусый месяц».

Это совсем рядом с есенинской стилистикой. Там такая же глубинная основа, поэтическое восприятие природы человеком деревни. Поэт находил в фольклоре сферу тончайших поэтических ощущений, редких по силе впечатлений и одушевленности: «Ягнечок кудрявый — месяц гуляет в голубой траве», «осень — рыжая кобыла — чешет гриву», «снова выплыл из роши синим лебедем мрак», «грезит над озером рыжий овес», «за ровной гладью вздрогнувшее небо выводит облако из стойла под уздцы», «теплый вечер грызет воровато луговые поемы и пни...»

И так же, как у Есенина, — «стынь», «рань» и «звень», по-фольклорному звучит у Шолохова: «Желтая марь засматривающих солнцу в глаза подсолнухов». «звонкая стеклянная стынь холодеющего не-

ба», «В лесу, завешанном кружевным инеем, строгая бель», «синеватая белесь неба», «бездожде», «серая киповень бежавших от окопов австрийцев», «стальная сизь голого и редкого ольшаника», «По степи, до самого желтеющего в дымчатой непроглядной бугра, вздували комочки пыли всадники...»

Народная фразеология естественно, ненавязчиво входит в авторскую речь: «Сало и казачья присяга — откидное кислое молоко, привезенное из дому в сумке, — весь обед», «отцово упрямство, что вяз на корню: гнуться — гнется, а сломить и не пробуй», «сосед его, каршеватый, вроде дуба-перестарка, старик, гудел, отмахиваясь рукой...», «неяркое солнце стало в полдуба».

Устнопоэтическая стихия расцветивает народные диалоги.

Солдат Прохор Зыков рассказывает фронтовикам: «Я, братушки, ноне во сне видал, будто косим мы с батей сено в лугу, а миру кругом высыпало, как ромашки за гумнами...»

Работник у Коршуновых Михей просит Мирона Григорьевича: «Хозяин! Любушка ты моя! Будешь дочерью выдавать — Михайку в поезжане допусти. Уж я проеду, так видно будет! Сквозь поल्या проскачу и волоска на конях не опалю. У меня самого кони были... Эх!...»

А вот Гаранжа беседует с Григорием о войне:

«Ты кажешь, — за царя, а шо ж оно такое — царь? Царь — пьянуга, царица — курва, панским грошам от войны прибавка, а нам на шею... удавка. Чуешь? Ось! Хвабрыкант горилку пье, — солдат вошку бье, тяжко обоим... Хвабрыкант с барышом, а рабочий нагишом, так оно порядком и пластуется... Служи, козак, служи! Ще один хрэст заробишь, гарный, дубовый... Ты знай, — Гаранжа приподнялся и, скрипнув зубами, вытянул руки, — поднимается вэлыка хвыля, вона усэ снэсэ!»

И как же прав был А. Серафимович: «Яркий, своеобразный, играющий всеми цветами язык, как радужно играющее на солнце перламутровое крылышко кузнечика, степного музыканта. Подлинный живой язык степного народа, пронизанный веселой, хитровой ухмылкой, которой всегда искрится казачья речь. Какими дохлыми кажутся наши комнатные скучные словотворцы, — будь им легка земля...»

3

«Мелеховский двор — на самом краю хутора. Ворота со скотиньего база ведут на север к Дону. Крутой восьмисажженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше — перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона. На восток, за красноталом гуменных плетней, — Гетманский шлях, полынная проседь, истоптанный конскими копытами бурый, живущий придорожник. часовенка на развилке; за ней — задернутая текучим маревом степь. С юга — меловая хребтина горы. На запад — улица, пронизывающая площадь, бегущая к займишу».

Писатель вводит нас в действие, открывает самый общий план. Нередко такого рода описания бывают утомительны, в сухом перечислительном виде: слева — одно, справа — другое, прямо перед нами — третье. Здесь же с первой строки чувствуешь стиль. Автор не просто «информирует», «доводит до сведения», а живописует.

Замечательна у Шолохова тончайших оттенков цветопись: замшелые в прозелени меловые горы, перламутровые ракушки, вороненая рябь Дона, полынная проседь, бурый придорожник, меловая хребтина горы. Он умеет как бы все одухотворить. Галька нацелована волнами, стремя Дона перекипает под ветром, марево — текучее, истоптанный конскими копытами придорожник — живущий.

Шолохов сжимает фразу, делает ее энергичной и компактной, пропускает глаголы, обозначая или не обозначая пропуск знаком тире.

Стиль художественного произведения трудно подчинить логическим законам, безраздельно господствующим в области точного мышления. Он прихотлив и свободен, допускает разнообразные смещения, сложные поэтические эффекты. Только напрасно мы эти качества образности иногда безраздельно отдаем то символистам, то имажинистам. Они с успехом используются и реалистической стилистикой.

Логичнее, казалось бы, было сказать: «На восток, за гуменными плетнями из краснотала». А у Шолохова «за красноталом гуменных плетней»: материал, из которого сделан предмет, вместо самого предмета.

И дальше мы встретим почти «импрессио-

нистические» по словесной живописи образы: «Над степью — желтый солнечный зной», «белый неумолчный перепелиный бой». Автор «Тихого Дона» может сказать: «Звонкая стеклянная стынъ холодеющего неба, перерезанная летающими нитями самоцветной паутины», «догорали в геплой сухмени последние на окраинах песни», «За Доном, понукаемые южным волнующим ветром, стремились в недвижном зыбком беге тополя».

Сами по себе эти способы переноса значений не новы. Но у Шолохова они и оригинальны, и поэтичны, и содержательны.

А вот как тщательно отбирает автор нужные слова.

«Со скотиньего база». В 1953 году, когда была произведена во многом необоснованная правка романа, появилась замена — «со скотного». Потом автор вернулся к прежнему варианту. Этим он вроде бы «нарушил» нормы правильной речи, но зато сохранил оттенок говора, колорит донской речи, подлинность изображаемого, нашел индивидуальное. Такие случаи обычны в художественной речи. Ведь это особая и сложная материя. И соотношение правильного и неправильного далеко не таково, как это представляется некоторым теоретикам-пуристам.

«Меж замшелых... глыб», а не «между замшелыми глыбами».

Поэтический язык различает предлоги «меж» и «между» и чаще использует первый, а «между» обычно встречается в точной, деловой речи.

У Пушкина:

Меж ими все рождало споры...

Меж гор, лежащих полукругом...

В народной песне:

Меж крутых бережков...

«Замшелые в прозелени меловые глыбы». От корня «мох» в народном языке образовано много слов: «замшелеть», «замшилось», «омшавела», «замшавела», «омшаник». «Замшелый» — хорошее слово, легко, кстати, приобретает переносное значение. «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Ушакова определяет его как областное. В академическом «Словаре современного русского литературного языка» и «Словаре русского языка» С. Ожегова оно получило более широкие

права — считается общенародным. И заслуженно.

«Серая изломистая кайма». Словари признают только «ломаная», «изломанная». Особые оттенки слова «изломистая», его широкое распространение в живой устной речи не учитываются. А напрасно. Вель то, что прежде имело строгий, правильный вид, который потом был нарушен, обычно определяется словом «изломанный». «Изломистый», как иногда и «ломаный», обозначает постоянный изначальный признак. Но у слова «изломистый» есть своя сторона — признак подчеркнут сильнее, и потому оно экспрессивнее, образнее.

«Перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона». Наши словари признают литературную форму «стремнина». «Стремя» — устарелое, диалектное. Но в народной речи распространено больше выражение «стрема реки». Тяжело было бы произнести: «Перекипающая под ветром вороненой рябью стремнина Дона». Шолохов прав в своем выборе.

«Жи в уш ой». Очень ходовое слово, без которого не обходится, пожалуй, ни один крестьянин. Но подите же: в словарях «живучий», «живущ» (как просторечное) есть, а «живущой» отсутствует.

«Развилка». В этом смысле словарем Д. Ушакова не учтено. Оно определяется как областное и только применительно к вилам или суку, разветвляющемуся на два сучка. Литературным считается «развилка». Однако академический «Словарь русского языка» и словарь С. Ожегова учли народное употребление и допускают сочетания: «развилка (развилки) дорог».

«Займище». У Д. Ушакова и в академическом «Словаре русского языка» помечено как областное.

«Шлях». У Д. Ушакова — областное.

Вряд ли следовало бы волноваться из-за того, как определяется в словарях то или иное слово. Но ведь известно, что помета «областное», «просторечное» действует на очистителей языка вроде красного сигнала: стой — запретное! Мы взяли только тринадцать строк — и вдруг столько «сомнительных»,стораживающих случаев, если руководствоваться категоричными критериями пуристов, без оглядки изгоняющих «местные речения» и многие разговорные элементы, несмотря на их выразительность и оправданность.

Обедняем мы наш язык, нивелируем. Тесним в задний ряд образные и звучные слова, созданные народом, послужившие не одному поколению, необходимые нам и теперь.

4

«К вечеру собралась гроза. Над хутором стала бурая туча. Дон, взлохмаченный ветром, кидал на берега гребнистые частые волны. За левадами палила небо сухая молния, давил землю редкими раскатами гром. Под тучей, раскрылатившись, колесил коршун, его с криком преследовали вороны. Туча, дыша холодком, шла вдоль по Дону, с запада. За займищем грозно чернело небо, степь выжидающе молчала. В хуторе хлопала закрываемые ставни, от вечерни, крестясь, спешили старухи, на плацу колыхался серый столбище пыли, и отягощенную вешней жарою землю уже засевали первые зерна дождя.

Дуняшка, болтая косичками, прожгла по базу, захопнула дверцу курятника и стала посреди база, раздувая ноздри, как лошадь перед препятствием».

Порой полагают, что языковая оригинальность — это упомопрачительная метафора, эффектное сближение часто ни в чем не сродных предметов и понятий, игра ассоциаций. Но ведь в этой вот картине куда больше души и поэзии.

Сколько раз писатели изображали грозу, дождь. И делал это превосходно — Тургенев, Л. Толстой, Горький. И все-таки в шолоховском описании — свое. «Дон... кидал на берега гребнистые частые волны», «за левадами палила небо сухая молния», «давил землю... гром», «раскрылатившись, колесил коршун». «колыхался серый столбище». Слова отобраны емкие, образные.

«Дуняшка... прожгла по базу... стала... раздувая ноздри, как лошадь перед препятствием». Вместо «прожгла» в издании 1953 года появилось было «пронеслась», но писатель отверг это исправление. И. Лежнев, которому правка 1953 года пришлось в целом по душе как «заявка на решительный пересмотр текста», увидел, однако, в изъятии глагола «прожгла» излишний пуризм и сослался на хороший пример из «Казаков» Л. Толстого. «Мальчишки и девчонки играли в лапту, за жигая мяч высоко в ясное не-

бо»¹. В. Ветвицкий, возражая И. Лежневу, начал доказывать необоснованность такого «послабления». «Слово «зажигать», — поясняет он, — в областных словарях толкуется как игровой термин со значением: «начинать бить первому». Дальше — ссылка на Даля и «Дополнение к опыту областного великорусского словаря» 1858 года. «Прожечь» — в шолоховском смысле — это вулгаризм, заключает он².

Научные изыскания в данном случае на редкость несложны: посмотрел в два словаря середины прошлого века — не нашел (как будто все, что было и есть в языке, там в точности зафиксировано). Значит, вон его, это слово, оно вулгарное. Живая жизнь языка специалиста не занимает.

Слова «жечь», «палить» в народе нашли самое неожиданное применение: «жечь словом», «ожечь ремнем», «сжечь себя тоской», «прожечь состояние», «прожигать жизнь», «прожечь верхом на коне столько-то верст». В «Тихом Доне» найдем: «Митька Коршунов на высоком светлогнедом коне... завидев Григория, стоявшего у ворот своей квартиры, прожег мимо, не здороваясь», «...по осеннему, тоскливому от дождей полю прожег, взбрыкивая и играя, светло-серый сосунок — зайчишка».

«Дуняшка... прожгла по базу» — это ярко, неповторимо, в духе народного языка, сильного в выборе глаголов. К тому же образ подготовлен. До этого было: «Вся в румянном цвету, Дуняшка ласточкой чертила баз ст стряпки к курению».

В. Ветвицкий — за «очищение» языка. Его радовало, что «все диалектные служебные слова (союзы, предлоги, частицы) были заменены при правке текста общеупотребительными синонимами: ажник (аж), кубуть (как будто), хучь (хоть), встречь (навстречу), сбочь (сбоку, возле, рядом) и др.».

Да, действительно были заменены, и это трудно было принять читателям, полюбившим слово Шолохова. Писатель в большинстве случаев восстановил потом прежний вариант. А некоторые лингвисты, вместо того чтобы опереться на объективный критерий, на эстетику слова, выступали и выступают в роли «очистителей» художественных произведений от «мусора».

Нельзя подменять научный подход вку-

¹ «Звезда». № 12. 1954.

² См. Михаил Шолохов. Сборник статей. Л. 1956.

совщиной: мне не нравится, я не встречал такие-то слова, мне они непонятны — значит, прочь их из употребления. В таком разе писателю разрешено использовать «обшеупотребительное» — и не больше. Но обязан ли художник опираться лишь на словарь Д. Ушакова? Взгляд академика Шахматова был куда шире: «Странно было бы вообще, если бы ученое учреждение, вместо того, чтобы показывать, как говорят, решилось указывать, как надо говорить. Очевидно, что такое учреждение упразднило бы таким образом два авторитета, которые одни могут иметь решающее значение в вопросах языка,— это, во-первых, авторитет самого народа, во-вторых, авторитет писателей — представителей духовной и умственной жизни народа».

Это нечто обратное тому, что утверждают иные пуристы и «очистители».

«Решительный пересмотр текста» «Тихого Дона» приводил к нивелировке стиля романа, утрате драгоценных индивидуальных черт, замене их общеизвестными.

Обеднялась прежде всего повествовательная речь писателя. Происходила замена наиболее эмоциональных и экспрессивных слов и выражений менее красочными, порой просто заурядными. Исчезал особенный донской говор. Вот примеры. В скобках привожу варианты правки.

«Гутарили (говорили) про него по хутору чудное. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вьнут зори, на руках носил жену до Татарского, ажник (аж), кургана... Разно гутарили (толковали) и о жене Прокофия», «На западе корячились, громоздьясь, тучи (на западе громоздились тучи). Вверху фиолетово (нет) чернели, чуть ниже утрачивали чудовищную (нет) свою (нет) окраску и, меняя тона, лили на тусклую ряднину неба (на тусклое небо) нежно-сиреневые, дымчатые отсветы; в середине вся эта бесформенная громада, набитая как крыги в ледоход на заторе, рсасачивалась (громада раздвигалась), и в пролом неослабно струился апельсинного цвета поток закатных лучей»; пустившись на свадьбе в пляс, «Лукинишна уперла руки в боки (в бока), в левой — утирка (платок)», «дед Гришака обнимал ширококостную спину соседа по лавке, брунжал (трубил) по-комариному ему в ухо...», «казакки жались в кураготы (в кучки)», «Ильинишна точила его, как ржавь (ржавчина) железо»,

«Над займищем по черному недоступному небу, избочившись (нет), шел молодой месяц», Ильинишна во время сговора «выволокла наружу высокий белый хлеб, жмякнула (положила) его на стол», «Авдеич развел граблястые (длинные) руки», «С осени глохла (рвалась) связь со станицей», во время переправы через реку «вода клехтала (клокотала) у грядушки саней», «волк шибко (быстро) пошел к лесу», «Топот возле уха и тяжкий дых (дыхание) лошади», «мережились (мелькали) сине-серые мундиры пехотинцев», «сухостойное (сухое) было лето», «сотня прэшла мимо него в дробной стукотени (стуче) копыт», «певкой (струйкой) брызнула кровь», «одуряющая висела (стояла) тишина», «бочились (косились) и всхрапывали кони», «за всякую пустяковину ввалить (всыпать) пряжек», «тенор берет ступенчатую (нет) высоту», «Полковник вывернулся (выехал) из-за угла казарменного корпуса, боком (нет) поставил лошадь перед строй (перед строем)», бугай «взмывкивал (ревел)».

Правка заметно обесцветивала диалоги. Разговорная речь выравнивалась, сближалась с «литературной», и, естественно, казаки заговорили «грамотно», далеко не так, как они действительно говорят.

Захмелевший Пантелей Прокофьевич доказывает во время сговора: «Кладка ваша чересчур очень даже (эти два слова выброшены) непереносимая для меня! Ты вздумай, дорогой сват, вздумай, как ты меня желаешь обидеть: гетры с калошами — раз, шуба донская — два, две платья (два платья) шерстяных — три, платок шелковый — четыре. Ить (ведь) это — разор-ре-нья (разор-ре-нье)!..»

Солдат говорит: «Ребя (ребята), надьсь слышал брехню, будто высочайшая смотра (высочайший смотр) нам будет».

Авдеич рассказывает: «Из крепости убог зарестованный (арестованный) злодей... Приезжаю в полночь, весь в грязе (в грязи)... «Дозвольте, ваше инператорское величество, взойти»...»

Ильинишна не хотела, чтоб домашние шли в грозу на рыбалку: «Кто же бродить пойдет? Дарье нельзя, может груди (может грудь) застудить, — не унималась старуха».

Старик беседует с фронтовиками: «Теперь ить (ведь) вон какая оружия пошла (какое оружие пошло)... Ты, милоч, сепетишь-го (болтаешь) без толку... Помните одно: хочешь живым быть, из смертного бою целым

выйтить (выйти),— надо человечью правду блюсть (блюсти)... Не утерпишь — голову потеряешь али рану получишь, пося спопашисься (после спохватишься), да поздно».

Выправлена была даже фольклорная песенка:

Колода-дуда,
Иде ж (где ж) ты была?..

Кое-где исправления действительно шли на пользу — освободили роман от вычурных образов, натуралистических подробностей, неточных оборотов. Но во всех приведенных случаях правка портила художественную ткань, становилась бедствием. А ведь сколько было написано такого: «Взять из бытового просторечия, из областной стихии устной речи чистое золото поэзии, не прихватив заодно и песка,— это задача, которую не всегда удавалось решить с нужным критическим чутьем и тактом молодому писателю, когда он еще в двадцатых годах создавал первые книги своей эпопеи. В прежних изданиях романа звучал иной раз неуместно фамильярный тон и в повествовательном стиле. Например: «Война из Ягодного повывдергала людей» (ч. III, гл. 19), «В пехоте гуляло большинство стариков и молодятник» (ч. VI, гл. 32), «военно-полевой суд чуть не прилепил ему даже расстрела» (ч. IV, гл. 6), «Красные полки цокнулись с полками Григория» (ч. VI, гл. 35), «блеяли купающиеся ребятишки» (ч. III, гл. 8), «запарился улыбкой» (ч. V, гл. 12), «дыхнул скороговоркой» (ч. IV, гл. 1), «мотнулся во двор» (ч. III, гл. 20) и т. д.». Так писал И. Лежнев в «Звезде».

Какие же слова появились в исправленном издании на месте подчеркнутых? Перечислю в порядке следования примеров: «взяла», «юнцов», «не приговорил», «сшиблись», «кричали», «заулыбался», «сказал скороговоркой», «бросился во двор». Лучшим оказался только один вариант — «заулыбался» вместо «запарился улыбкой». Все остальное заменено.

Вспоминая этот «решительный пересмотр текста», я думаю вот о чем: а если бы издание 1953 года было первым? Значит, роман так и остался бы в ошипанном виде? Не дошли бы до народа прекрасные соцветия слов? Они так бы и погибли на корню?

И здесь уместно, думаю, высказать одно замечание самого злободневного порядка.

Когда я слышу о том, как правят «волевые» редакторы писателей, уродуют стиль, и вижу, как люди, лишь из окна вагона наблюдавшие село, изымают из книг о деревне все им неведомое, не укладывающееся в словари,— это воспринимается как элементарный беспорядок, с которым пора покончить. Неужели и теперь надо разъяснять, что вот, к примеру, Л. Толстой, А. Чехов, редактируя авторов, бережно сохраняли все народное, индивидуальное, редкое? Неужели уроки стилистической «правки» многих произведений советской литературы ничему не научили?

Несостоятельно и вредно мнение, будто редактора не столь уж сложное дело, будто любой, получивший филологическое образование, имеет право вмешиваться в рукопись, настаивать на своих рекомендациях. Редактора — дело тонкое, как и творчество. Здесь требуется отменный талант, а всякий талант — редкость.

5

Осенью 1917 года казаки стали возвращаться с фронта разбойничьей империалистической войны. Радостно встречали их в семьях. Но это еще безжалостнее подчеркивало горе тех, кто потерял близких.

Жертвы войны... Неизбежная тоска... Вдовы. Сироты. Калеки. Слезы и слезы... «Многих недосчитывались казаков,— растеряли их на полях Галиции, Буковины, Восточной Пруссии, Прикарпатья, Румынии, трупами легли они и истлели под орудийную панихиду, и теперь позаросли бурьяном высокие холмы братских могил, придавило их дождями, позамело сыпучим снегом. И сколько ни будут простоволосые казачки выбегать на проулки и глядеть из-под ладоней,— не дожидаться милых сердцу! Сколько ни будет из опухших и выцветших глаз ручиться слез,— не замыть тоски! Сколько ни голосить в дни годовщины и поминок,— не донесет восточный ветер криков их до Галиции и Восточной Пруссии, до осевших холмиков братских могил!..

Травойрастают могилы — давностью зарастает боль. Ветер зализал следы ушедших,— время залижет и кровяную боль и память тех, кто не дождался родимых и не дождетя, потому что коротка человеческая жизнь и не много всем нам суждено истоптать травы...

Билась головой о жесткую землю жена Прохора Шамиля, грызла земляной пол

зубами, нагледевшись, как ласкает вернувшийся брат покойного мужа, Мартин Шамиль, свою беременную жену, нянчит детей и раздает им подарки. Билась баба и ползала в корчах по земле, а около в овечью кучу гуртились детишки, выли, глядя на мать захлебнувшимся в страхе глазами.

Рви, родимая, на себе ворот последней рубахи! Рви жидкие от безрадостной, тяжелой жизни волосы, кусай свои в кровь искусанные губы, ломай изуродованные работой руки и беяся на земле у порога пустого куреня! Нет у твоего куреня хозяина, нет у тебя мужа, у детишек твоих — отца, и помни, что никто не приласкает ни тебя, ни твоих сирот, никто не избавит тебя от непосильной работы и нищеты, никто не прижмет к груди твою голову ночью, когда упадешь ты, раздавленная усталю, и никто не скажет тебе, как когда-то говорил он: «Не горюй, Аниська! Проживем!»

Войны обычно связаны в памяти народа с именами городов, сел, полей и рек. В древности были Дон, Куликово поле. После — Бородино. Была Шипка. В наше время — Цусима. Мировая война — это обгащенные кровью трудового люда поля Галиции, Буковины, Восточной Пруссии, Прикарпатья, Румынии. И если бы мы увидели в шолоховском перечислении только географические обозначения, это было бы совсем немного. Нет, тут слова обросли новым смыслом.

Галиция... Александр Блок писал об уходящих на смерть солдатских эшелонах:

В этом поезде тысячью жизней цвели
 Воль разлуки, тревога любви,
 Сила, юность, надежда... В закатной дали
 Были дымные тучи в крови...
 Эта жалость — ее заглушает пожар,
 Гром орудий и топот коней.
 Грусть — ее застилает отравленный пар
 С галицийских кровавых полей...

Галиция — это символ неисчислимых народных бед, бессмысленно пролитой крови, это осевшие холмы могил, простоволосые казачки, выбегающие на проулки, раздраженный вопль матерей и детишек.

«Трупами легли». Из каких же далеких времен пришли эти слова! «Полегоша за землю русскую». Но тогда клали головы за свою землю — и утрата переносилась легче. А тут за что?..

Строгие параллелизмы с единоначатием: «И сколько ни будут...», с нагнетанием отрицаний: «не дожидаться», «не замыть то-

ски», «не донесет ветер» и идущие следом поэтические сопоставления: «Травой зарастают могилы — давностью зарастает боль» — придают повествованию траурную величавость. Это реквием.

Отобранные и подчеркнутые интонационно глаголы: «билась головой», «билась баба», «ползала в корчах», «гуртились детишки», «выли», которые сменяются потом рядом экспрессивных глаголов: «Рви ворот... Рви волосы... кусай свои в кровь искусанные губы...», и снова повторы с этими беспощадными «нет» и «никто» — все это возвышает тон повествования до трагического пафоса. В каждом слове — жестокая обнаженность правды. «Простоволосые казачки», «ворот последней рубахи», «жидкие от безрадостной, тяжелой жизни волосы...», «раздавленная усталю...» — только писатель, переболевший болью за трудовой люда, мог так вот просто сказать о страшном.

Шолохов создал скорбный плач о погибших под орудийный гул, неотразимыми словами проклял преступные войны. Памятен эпический образ: «Позаросли бурьяном высокие холмы братских могил, придавило их дождями, позамело сыпучим снегом...»

Картины утрат еще безотраднее, когда они предстают на особом фоне. Разоблачая жадных до власти карьеристов и авантюристов, привыкших распоряжаться чужими судьбами, всех тех, кто во имя грабежа гонит свой народ на другие народы — прямо на минные поля и колючие заграждения, в сырые окопы, под пулеметный веер пуль, в страшные кавалерийские и штыковые атаки, решительно протестуя против любого посягательства на право человека жить свободно и радостно, — Шолохов противопоставил преступлениям перед народом красоту человеческих чувств, счастье земного бытия, гуманизм. Время огрубляло людей, не сразу они находили друг друга. Но находили. Страницы романа, посвященные дружбе, доверию, родственным чувствам, любви, состраданию — всему истинно человеческому, что наследовала и брала под защиту наша революция, — просто поразительны.

По-первобытному кромсают и рубят друг друга люда на фронте. И что с Григорием — никто не знает. А в доме Мелеховых берет свои права неискоренимая жизнь: «Пантелей Прокофьевич, услышав на базу о том, что сноха разрешилась двойней, вначале руками развел, потом обрадованно, потусучив бороду, заплакал и ни с того, ни с

сего накричал на подоспевшую бабку-повитуху:

— Брешешь, канунница! — он тряс перед носом старухи когтистым пальцем. — Брешешь! Ишо не зараз переведется мелеховская порода! Казака с девкой подарила сноха. Вот сноха — так сноха! Господи, бож-же мой! За такую-то милость чем ей, душечке, отхвитаю?»

А тут счастливое совпадение: корова отелила двойню, к Михайлову дню овцы окотили по двойне, козы... Как далеко тем стратегам, подсчитывавшим количество убитых на стороне противника и пройденных с огнем и мечом верст на полях мировой войны, до искреннего, по-детски трогательного восторга земледельца перед чудом рождения и процветания естества.

А потом Григорий придет на побывку с осточертевшего фронта и удивится: «Как пахнут волосы у этих детишек! Солнцем, травой, теплою подушкой и еще чем-то бесконечно родным. И сами они — эта плоть ст плоти его — как крохотные степные птички».

Контраст мира и войны, человечности и бездушия, добра и зла, правды и лжи проходит через весь роман, и резкое сочетание света и тени своеобразно окрашивает всю его стилистику. Незабываемы сцены домашних встреч фронтовиков — родных «кровинушек», только вчера лежавших в цепи под обстрелом, а сейчас душат их в объятиях, смеясь и плача, родители, братья, сестры, обеспамятевшие от радости дети. И хоть воин придет раненый и совсем ненадолго, но горопится и поработать в поле, и помочь во дворе, и походить по хутору, посмотреть на людей.

Жизнь неистребима. Она в неустанном труде и заботах о завтрашнем дне, в любовной нежности Григория и Аксиньи, в таинственном шорохе Дона, сокровенном звучании мира, первородной жизни леса, сиянии голубых небес. И Шолохов умеет сказать обо всем этом.

«В годину смуты и разврата» погиб красноармеец Валет. Похоронили. «Через полмесяца зарос махонький холмик подорожником и молодой польнью, заколосился на нем овсюг, пыльным цветом выжелтилась сбоку сурепка, махорчатыми кистками повис любушка-донник, запахло чобором, молочаем и медвянкой..»

И еще — в мае бились возле часовни стрепета, выбили в голубом полынке то-

чок, примяли возле зеленый разлив зреющего пырея: бились за самку, за право на жизнь, на любовь, на размножение. А спустя немного тут же возле часовни, под кочкой, под лохматым покровом старюки-полыни, положила самка стрепета девять дымчато-синих крапленых яиц и села на них, грея их теплом своего тела, защищая глянцево оперенным крылом».

И каждый раз не оставляет равнодушным читателя встреча с цветущими кустами шиповника, будто объатыми пламенем, и с опаленными первыми заморозками чернокленом, растущим на обочине буерака, и багряно-черным тюльпаном, ревниво сохраняющим в складках листьев радужные капли утренней росы.

Мир прекрасен. Его надо знать в подробностях, любить его извечную прелесть. И тогда окажется, что в степи, «на сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-соленый запах, жует шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них привкус ветра и солнца». И вилжины бабок, и ковыль, и курганы, и мгlistое марево, и плывущий в голубом коршун, и звон кузнечиков — это мир в его подробности земной, вызывающий, как сказал Л. Толстой, «завистливый взгляд».

6

Исследователи подчеркивали значение толстовской традиции в творчестве Шолохова. Разумеется, влияние Л. Толстого на советских писателей несомненно. Но почему эта традиция стала такой плодотворной и притягательной в наше время? Сказалось влияние большого художника? Нет, не только это. Тут более сложные причины.

В. И. Ленин видел силу Л. Толстого в его «трезвом реализме» и связывал это с историческими условиями, определившими и мировоззрение и метод писателя. Толстой — «зеркало русской революции», он дал «несравненные картины русской жизни». «Великое народное море, взволновавшееся до самых глубин, со всеми своими слабостями и всеми сильными своими сторонами отразилось в учении Толстого».

Главная причина, почему советские писатели «потянулись» к Толстому, усваивая сильные стороны его метода, в тех невиданных переменных, сдвигах, которые произвела наша революция в общественном сознании.

Народ, о котором рассказывали теперь писатели, прошел тяжелый, мучительный,

неизведанный путь. Он пережил насилие и надругательство над собой эксплуататоров, побывал в аду мировой войны, познал керенщину и политику соглашательских партий, утвердил свои гражданские права в Октябре семнадцатого года, отстоял их в битве с интервентами. И естественно, что народ хотел осознать себя художественно в сложном и объемном изображении, увидев в нем свой труднейший опыт, свою беспокойную мысль, услышать собственную речь. Автор «Тихого Дона», как художник революции, опирается на принцип всестороннего познания мира, жизненных обстоятельств в их сложных связях и противоречиях. Действительность предстает в его романе разнообразной, многокрасочной, с радостями и трагедиями, большим и малым, закономерным и случайным. Толстовское соединение эпического размаха с психологическим исследованием подходило здесь более всего.

Шолохов создал огромное полотно на материале жизни, развернул картины бурных исторических событий за целых десять лет. Он провел своих героев через невыдуманные испытания. Путь их часто запутан, сбивчив. Неустройство, обусловленное историческими причинами, дополняется остротой личных коллизий. Жизнь прекрасна. Но и очень сложна. Шолохов не проходит мимо трагедий.

Всем этим определяется и та особая смысловая и эмоциональная «нагрузка» на художественное слово, без которой невозможно было бы достигнуть единства содержания и формы, раскрыть индивидуальное. У Шолохова свое слово — лексика, речевой строй, мелодия фразы, весь образный колорит. И когда принимаешь в соображение творческое устремление автора, ничуть не удивляет, почему, например, в лирическом описании родимой донской степи больше подошло не «погибшая трава», а «сгибшая», не «голубизна неба», а «голубень», не «черная тропа», а «чернеющая», становится ясно, как необходимы здесь эти сложные эпитеты, и ритмика, и лирическое обращение: «Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей, нержавеющей кровью политая степь!»

Шолохов по самой природе своего материала не мог не заинтересоваться громадными ресурсами народного языка, его разговорными формами, не исключая «смнительных» — просторечий и диалектизмов. Он, естественно, запечатлел и то новое, что вносила в язык революция. Иначе потускнело бы изображение, сгладилась приметь времени.

С эпохой Октября связаны глубокие и оригинальные явления. Когда миллионы прежде поработанных, забитых, доведенных до отчаяния людей открыто заговорили на митингах, сходках, в окопах, лазаретах и теплушках, когда политика стала первейшим делом, наполнила все, вторглась в семейные и интимные отношения, — произошли заметные сдвиги и в языке.

Разговорная речь народных масс зримо обнаружила экспрессию, силу и поэтическую красоту, а этого не могли не заметить мастера слова. В произведениях Серафимовича, Блока, Д. Бедного, Сейфуллиной, Неверова, Бабеля, Маяковского, Есенина, Багрицкого опора делается на язык народа.

Правда, увлечение местными словами, просторечием заходило порой слишком далеко. Богатейшие сокровища языка в произведениях писателей иногда обеднялись. Не обошлось и без натуралистических излишеств, фонетических уродств, примитивной стилизации. Все это встречалось и в прозе, и в поэзии, и в драматургии. И шло иной раз от излишнего заострения, моды. Но главное не это.

В произведениях двадцатых—тридцатых годов народный язык предстает чаще всего мощным, выразительным, красочным. Эпоха выдвинула настоящих словолюбов, знатоков народной речи. Стоит заглянуть хотя бы в прозу А. Неверова, А. Яковлева.

В лучших произведениях зачинателей советской литературы обозначен прямой путь совершенствования художественной речи — освоение сокровищ народного языка и книжных стилей.

Шолохов рожден этим временем. Отсюда оригинальность и неуывдаемая прелесть его языка. И на всей эпопее — яркий отблеск героической эпохи, очистительной бури, движения народных масс.



Ст. РАССАДИН

★

ИСКУССТВО БЫТЬ САМИМ СОБОЙ

I

Без малого пятьдесят лет назад Блок написал шуточные стихи, в которых изобразил заседание коллегии издательства «Всемирная литература». Персонажами пародийной драматической сценки были он сам, Гумилев, Замятин, Лозинский, Тихонов (Серебров), Чуковский; местом действия — «будуар герцогини» (издательство и в самом деле помещалось в бывших апартаментах герцогини Лейхтенбергской); сюжет же заключался в том, что собравшиеся пытались взвалить на Корнея Чуковского еще одно поручение, а он, как мог, отбивался:

Чуковский (*запальчиво*)

Неправда! Я читаю в Пролеткульте,
И в Студии, и в Петрокомпромиссе,
И в Оцупе, и в Реввоенсовете!

Блок

Корней Иванович! Ведь вы меня
Не поняли! Сказать хочу я только,
Что вы один могли бы написать
Статью о Гейне...

Чуковский (*с воплем*)

Мне некогда! Я «Принципы» пишу!
Я гржебинские списки составляю!
Персея инсценирую! Некрасов
Еще не сдан! Введенский, Диккенс,
Уитмен
Еще загромождают стол! Шевченко,
Воздухоплаванье...

Блок

Корней Иванович!
Не вы один! Иль не в подъем?
Натужьтесь!
Кому же, как не вам?..

И так далее.

Все было в шутку: и стиль, пародирующий натужную простонародность амфитеатровского «Васьки Буслаева» (все эти: «Иль не в подъем? Натужьтесь!»), и то, что имя поэта Николая Оцупа выдавалось за одну из модных аббревиатур (его шуточно расшифровывали как Общество Целесообразного Употребления Пищи), и примечание Блока, что статья Чуковского «Гейне в Англии» ждала очереди в типографии тридцать лет и «по недосмотру 14-ти ответственных, квалифицированных, забронированных и коммунальных корректоров заглавие ее было напечатано с ошибкой, именно: «Гей не в ангелы».

Все было в шутку, кроме реальной атмосферы времени, кроме необычайной занятости тех, кто взялся тогда вести воз культуры, и, в частности, кроме чрезвычайной трудоспособности и широты интересов одного из участников этого великого труда — Корнея Чуковского.

Конечно, в перечислении всего, чем тогда занимался Чуковский, слышна блоковская добродушная ирония. И над множеством дел и обязанностей, какие приходилось исполнять «всемирным литераторам» («Не вы один!» — увещевает Блок), и над увлекающимся Чуковским, который изображен в стихах этаким седобородым Леонардо («Шевченко, воздухоплаванье...»). Но ничего не добавлено в перечисление просто ради смеха. Всем этим Чуковский действительно занимался.

И, как известно, до сих пор не отказался от этого своеобразного энциклопедизма.

Чуковский не знал литературной безвестности. Он печатается больше шестидесяти лет и почти ровно столько же широко известен

Он начинал как литературный критик, и его фельетоны о современной литературе приносили ему шумную, порою даже скандальную популярность и репутацию взятых парадоксалиста, однако несколько изданий, которые выдержали сборники этих фельетонов («От Чехова до наших дней» и «Лица и маски»), показали, что их успех не был могильковым успехом лихого журналиста. В них была и точность анализа, и чувство современности, и любовь к большой литературе. Чуковский увлекался и ошибался, но не зря он гордился потом, что еще при жизни Блока назвал его «величайшим из ныне живущих поэтов». И его «Книга об Александре Блоке» (второе, более позднее название — «Александр Блок как человек и поэт»), появившаяся в самом начале двадцатых годов, так и осталась, на мой взгляд, лучшей нашей книгой о Блоке и одной из лучших книг самого Чуковского.

Впрочем, и в первые два десятилетия своей работы Чуковский не был занят одной литературной критикой. Он увлекся переводом (Уитмен), а затем и теорией перевода. Он изучал психологию ребенка и его отношение к языку и фразеологии взрослых (из этого выросла потом знаменитая книга «От двух до пяти») и — начиная с 1915 года — писал стихи для детей, а потом и прозу. Он издавал в пору революции пятого года сатирический журнал.

Еще в 1911 году Короленко дал Чуковскому совет заняться исследовательской работой — чтобы избавиться от опасности стать «записным фельетонщиком». А именно — «посвятить себя изучению Некрасова (который в ту пору был совсем не изучен): исследовать его эпоху, его жизнь, его мастерство...» С тех дней это стало одним из важнейших дел Чуковского. Результаты работы воплощены в книгах «Некрасов» (1926) и «Мастерство Некрасова» (первое издание было в 1952 году). Немало статей написано и о современниках Некрасова — Николае Успенском, Слепцове, Дружинине и других.

С годами возникала потребность вспоминать — родились широко известные мемуарные очерки. Была написана книга о русском языке, о тех процессах, что проходили в нем на глазах Чуковского за долгую его жизнь. Сейчас Чуковский заканчивает большую книгу о Чехове. Главы из нее уже опубликованы.

Я называю все это не для справки — о том, что сделал Чуковский, читателю не нужно напоминать. Интересно другое: в жизни Чуковского есть периоды, когда занятие чем-то одним преобладало, но нет периодов, когда оно было единственным. Однако многогранность и многожанровость не привели к разбросанности. Скорее наоборот.

Чуковский — критик, поэт, историк и теоретик литературы, мемуарист, прозаик, переводчик, лингвист. Но иной раз кажется, что он все время пишет не в многих жанрах, а в одном. Не в мемуарном или критическом, а в «чуковском».

Конечно, не надо это понимать буквально: как-никак, Чуковский писал и детские стихи, чей жанр и возрастной адрес («от двух до пяти») ставят их особняком. Но важно, что большинство жанров Чуковского не сосуществует, а взаимодействует. Читая его новое собрание сочинений, видишь: это не тот случай, когда легко разграничить содержание томов — тут статьи, тут мемуары, тут исследования...

Скажем, очерк о Леониде Андрееве начат вполне домашними воспоминаниями о приключениях знаменитого писателя. О том, что бывали в его жизни недели, когда он воображал себя моряком и ни о чем другом слышать не хотел. Даже приобрел походку морского волка. Или вдруг начинал играть в живописца.

«У него длинные волнистые волосы, небольшая бородка эстета. На нем бархатная черная куртка... Всю ночь он ходит по огромному своему кабинету и говорит о Веласкесе, Дюрере, Врубеле. Вы сидите на диване и слушаете. Внезапно он прищуривается, отступает назад, окидывает вас взором живописца, потом зовет жену и говорит:

— Аня, посмотри, какая светотень!»

И все это — искренне, до страсти, до самозабвения.

«Это незнание меры было его главной чертой.

Камин у него в кабинете был величиной с ворота, а самый кабинет точно площадь. Его дом в деревне Ваммельсуу высился над всеми домами: каждое бревно стопудовое, фундамент — циклопические гранитные глыбы».

Обычно говорят, что для Чуковского писатель — прежде всего живой человек, оттого он так и дорожит своими впечатлениями очевидца, а когда их нет, роется в пись-

мах и дневниках, реконструируя человеческий облик того, кого ему не пришлось знать лично — Чехова или Некрасова. Но вернее сказать иначе. «живой человек» для Чуковского прежде всего — писатель. Или живописец. Или артист. В зависимости от того, о ком он пишет.

Все бытовые подробности, все привычки Леонида Андреева, припомнившиеся Чуковскому, так или иначе участвуют в воссоздании личности художника, той, что полнее всего выразилась в его книгах. Не само по себе изображение Андреева в туфлях и халате увлекает Чуковского (в таких случаях туфли и халат неминуемо становятся главными объектами изображения), а то, что даже в туфлях и халате Андреев был все тем же Андреевым.

В андреевском быту Чуковский ищет подтверждения своих наблюдений над творчеством этого писателя

Можно было бы сказать, что мемуарист здесь подчинен критике, если бы это не выглядело механистичным раздвоением творческого облика. Никто здесь никому не подчинен, просто Чуковский всеми средствами хочет показать, в чем особенность, индивидуальность того, о ком идет речь: «Для меня каждый писатель, как и каждый человек, — единственное в мире явление, неповторимая, своеобразная личность, которую ни в какие рубрики не втиснешь, никакими рубриками не объяснишь».

Воспоминания об Андрееве-человеке косвенно, но отчетливо сказали нам и об Андрееве-писателе. Сказали о вдохновенном лицедействе, в котором порою терялся сам художник, его личность, его тема; о гигантомании — и ей не был чужд писатель Андреев, про кого тот же Чуковский говорил в ранней статье: «Все свойства своих современников Андреев увеличил до грандиозных размеров... если другие поют теперь отвлеченного общечеловека, то Андреев поет отвлеченнейшего».

Словом, речь шла не о житейских пустяках. Оттого так явственна горечь слов Чуковского, которыми он завершает разговор о пристрастии Андреева к огромному: «Но его огромный камин поглощал неимоверное количество дров, и все же в кабинете стоял такой лютый холод, что туда было страшно войти».

Кирпичи тяжелого каминного портала на тысячепудовые балки, что потяло обвалился и в столовой нельзя было обедать.

Гигантская водопроводная машина, доставлявшая из Черной речки воду, испортилась, кажется, в первый же месяц и торчала, как заржавленный скелет, словно хвастаясь своею бесполезностью, пока ее не продали на слом». И дальше: «Финская деревня не для герцогов».

Это говорится о трагедии писателя, который отгородился от жизни своими великолепными и мрачными фантазиями и который в то же время — как человек большого и честного таланта — болезненно сознавал эту отгороженность.

Но почему «финская деревня»? Почему Чуковскому не взять и прямо не сказать, что, мол, российская предреволюционная действительность была не для Андреева? Что это — эзопов язык?

По правде, мне всегда казалось, что привычное понимание «эзопова языка» как тайнописи неточно. Глупо, конечно, спорить с привычным словоупотреблением, но во всяком случае к Эзопу это толкование не имеет отношения. Эзоп говорил на языке своих басен не затем, чтобы затемнить их смысл, но чтобы прояснить его, чтобы возвести порока соседа и добродетель соседки на высоту художественного образа. Он был художник — вот и все.

В этом смысле искусство всегда говорит на эзоповом языке.

В этом смысле говорит на нем и Чуковский

Он может, например, вместо историко-социологических рассуждений о настроении русского общества времен Некрасова ввести в статью главу самой настоящей прозы, которая была бы вполне уместна в историческом романе:

«У Излера франты в светло-кофейных штанах так медленно жуют расстегаи. По Невскому так сонно шагают бекешки, и в облаках из тафты, шурша широчайшими юбками, так томно проплывают многопудовые, но жеманные дамы, — лифы сердечком, и губы сердечком! — и даже шулера от Доминика, взирающие на них с вождением, вожделяют как будто сквозь сон» — и так далее.

Но если бы мы только по этим примерам судили о писательской манере Чуковского, мы бы пришли к ложному выводу.

Уже поминавшаяся нами книга 1924 года «Александр Блок как человек и поэт» разделена на две части. Первая: «А. А. Блок как человек». Вторая: «А. А. Блок как поэт».

Такое деление условно и даже противостоит естественно в этой книге, хотя написаны обе части по-разному. Первая преимущественно мемуарна и, условно говоря, беллетристична. Вторая предназначена для более специального круга читателей: «звуковой пассивизм», «прогрессия и регрессия гласных»... Однако обе они говорят об одном и том же — о судьбе Блока, человеческой и поэтической, одной-единственной. Другой и не было.

Только в первой части Чуковский проследживает путь Блока, пользуясь своими воспоминаниями о нем, а во второй, исследующей мелодику Блока, его эпитеты и метафоры, он доказывает, что этот путь был именно таков, уже не извне, а изнутри. Доказывает посредством анализа меняющихся пристрастий Блока к тому или иному эпитету, анализа меняющейся мелодики.

Вообще дело не в том, что Чуковский предпочитает какой-то один прием или хотя бы набор приемов. И даже не в том, что граница между «беллетристикой» и «собственно критикой» в его работах порою не заметна, — что составляет предмет его некоторой гордости; однажды он с удовольствием заметил, что читатели «От двух до пяти» «даже не заметили, что по существу — это научная книга». Граница может быть заметна — как, скажем, в книге о Блоке. Но и в этом случае она — не барьер, не пропасть, ее легко перешагнуть. За ней начнется не другая, не чуждая страна, а своя же, соседская область. С теми же законами.

Эти законы устанавливает личность автора, проявляющаяся в его книгах свободно и полно. И именно эта полнота проявления помогает ему воссоздать — по воспоминаниям ли, по стихам ли — живую личность Блока. Или Андреева. Они кажутся нам живыми людьми не потому, что Чуковский умело подобрал факты, а потому, что он живо пережил их судьбу.

Он обнажает процесс своего размышления, вернее — соразмышления и сопереживания с писателем и читателем. Ход мысли Чуковского, его сомнения и радостные находки, его сожаления и сарказмы, его человеческое волнение открыты нам, и мы волнуемся и сопереживаем вместе с ним.

Образ самого автора в работах Чуковского — образ художественный и единый. Это главное. Это и определяет своеобразие его манеры.

Стиль всякого художника — не комбинация приемов. Он складывается не из множества умений. Стиль — это неумение писать иначе. То, что заставляет нас узнавать художника и в творчестве, и в дружеском письме, и даже в деловой записке.

Эту цельность, это неумение быть иным Чуковский ищет в героях своих очерков. И сам старается быть таким.

Нельзя сказать, чтобы это ему решительно всегда удавалось. Он сам писал, что и у Некрасова, кроме таланта, «был чисто ремесленный.. дар, не изменявший ему никогда», и приобретенный в годы журнальной поденщины, — то, что Маршак называл способностью в отличие от таланта. Иные вещи Чуковского написаны за счет способности, за счет эрудиции, за счет крепкого ремесла, но там, где им владеет страсть, где он «поет», там Чуковский становится и остается самим собой.

Там Чуковский выступает как писатель со своим стилем (вспомним, что это явление совсем не такое частое, как можно подумать по газетным и журнальным рецензиям, почти никому не отказывающим ни в стиле, ни в галанте); не с набором профессиональных приемов, а со стилем как неповторимым складом мышления неповторимой личности.

Какова же эта личность? За что она радуется? Что ненавидит?

II

Может быть, первое, что бросается в глаза, — это удивительная непосредственность Чуковского. Он превосходный полемист, в его полемическом слове множество средств посрамления противника, от злого сарказма до едва уловимой насмешки. Но все это — не искусно и искусственно рассчитанное острословие, а живая реакция живого человека, увлекающегося, волнующегося, даже обижающегося.

«Писателя, богатого великолепными словесными красками, переводило Кувшинное Рыло...» — старается он подыскать словечко пооскорбительнее для скучного переводчика, обесцветившего Диккенса. И звучит это так, словно нанесена личная обида ему, Корнею Чуковскому.

А рассказывая в книге «От двух до пяти» о мальчике, который в ответ на попытку затеять с ним игру («Ты маленькая белочка! Вот твои лапки!») ответил свысока: «Я не

белочка, а Лева, и у меня не лапки, а руки!» — Чуковский с той же обидой и, кажется даже, с той же яростью обрушивается и на этого крохотного оппонента: «Конечно, Менделеева из этакого солдафона не выйдет, а разве что Кувшинное Рыло».

Ничего нет легче, как возразить Чуковскому: такой приговор младенцу скоропалителен. Но дело не в приговоре. И сердится Чуковский не на самодовольного Леву (его-то он как раз жалеет и боится, что в нем сейчас, в младенчестве, убивают Менделеева), — сарказм его направлен против тех взрослых, что с пеленок увечат маленького человека, обкрадывают будущую личность, отнимая у нее право на игру, на сказку, необходимые ребенку.

Непосредственный темперамент Чуковского потому и обаятелен, что он пробуждается не зря. Он не просто свойство характера. Чуковский вступает за человека. За личность За культуру.

Так — всюду.

Даже в книге о языке «Живой как жизнь» (1962), в книге нормативной, преследующей учительную задачу — как надо говорить, и тут личность Чуковского проступает крупным планом. Открыто. Оттого и в этой книге очевидна главная человеческая тема Чуковского.

Говоря об изменениях, которые проникали в разговорную речь примерно с конца прошлого века, Чуковский пытается постичь закономерность возникновения новых форм, определить свое отношение к ним.

Именно пытается. На наших глазах.

«Поначалу я был твердо уверен, что это слова-выродки, слова-отщепенцы, что они искажают и коверкают русский язык, но потом, наперекор своим вкусам и навыкам, попытался отнестись к ним гораздо добрее».

Чуковский рассказывает о том, что он думал прежде, но совершенность в его рассказе не ощущается. Вместо нее — сиюминутная свежесть переживания.

Видно, что это не наигранная искренность. Видно, что человек думает и сомневается. Видно даже, какой это человек. Видно, что в нем живет боязнь оказаться состарившимся ретроградом, не понимающим новых веяний, и он этого не скрывает, относясь к себе с юмором: «И сказать ли? Я даже сделал попытку примириться с русским падежным окончанием слова «пальто».

Через все эти сомнения пробирается Чуковский, чтобы обрести разумный консерватизм, оберегающий язык от распада. И то, что он не спешит к нам с готовым решением, минуя несолидные сомнения, не только завоевывает ему читательское доверие, но и помогает найти истину.

Несметное число статей было посвящено злосчастному «Звездному билету» В. Аксенова, и почти все критики яростно протестовали против жаргонизмов, даже не пытались разобраться, имели ли они в романе художественную функцию, а заградительно выставляя вперед жесткие критические ладони.

Кажется, только один голос прозвучал тогда спокойно и трезво — голос восьмидесятилетнего Чуковского. Он и не думал скрывать, что жаргон ему несимпатичен, но он понял, в чем причина его появления:

«Дети как бы сказали себе:

— Уж лучше м у р а и п о т р я с н о, ч е м т и л и ч н ы й п р е д с т а в и т е л ь, п о к а з и н а л и ч и е».

От наносного, внешнего он перешел к главному. К тому, для чего подобрал злое слово «канцелярит». К языку ненавистных ему Кувшинных Рыл.

От примеров, вызывающих улыбку («Энти голуби — чистые свиньи, надо их отседа а н н у л и р о в а т ы!»), до жутковатого случая, когда ораторы на похоронах один за другим произносят: «Смерть вырвала из наших рядов», и вслед за ними говорит то же самое уже близкий человек, потрясенный смертью друга, — через все это приходит Чуковский к основному пороку системы словесных шаблонов: «Все дело в том, что бюрократическая мысль абстрактна».

Эти протезы слова и мысли небезобидны.

Когда слышишь по радио или читаешь в газете мысль, порою даже близкую и важную, но отягченную казенным и обязательным многословием, чувствуешь себя униженным. Шаблон оскорбляет наше чувство своим недоверием; он уже заранее дает нам понять, что именно должны мы сказать, подумать, почувствовать.

Этот стиль, протезирующий мысль и чувство, окончательно сложился у нас тогда, когда считалось, что спокойнее подменить самостоятельность чувства автоматизмом привычки, когда об обязанности любить настойчиво напоминали гипсовые близнецы на каждом углу.

Но более того: шаблон не только не дове-

ряет нашей искренности, он дает возможность вовсе без нее обходиться. «Штамп — это попытка сказать о том, чего не чувствуешь». — говорил Станиславский (по воспоминанию его студийца А. Галича). Поэтому Чуковский и назвал канцелярит «жульническим, бесчестным жаргоном».

В комедии Зошенко «Парусиновый портфель» один администратор делает доклад в таком стиле: «Показатели, которые с полной очевидностью сигнализируют нам, иными словами, дают нам знать, поясняют нам — каковы сами по себе эти показатели как таковые» А когда его просят говорить «без ораторского нажима», он расстраивается: «Нет, Алексей Гаврилыч, без ораторского нажима у меня не выйдет. Ведь если говорить проще, так и говорить, понимаешь, не о чем».

Канцелярит в руках мещанина — средство мимикрии. Благодаря системе общепринятых громких фраз он может скрыть убожество своего внутреннего мира — то, что и «говорить не о чем».

В недавно опубликованном очерке о Зошенко («Москва», № 6, 1965) Чуковский видит особую заслугу замечательного сатирика в том, что он разблачил эту уловку обывателя:

«Зошенко зорко подметил уже в самом начале своей литературной работы, что эти растленные люди, чудные каких бы то ни было моральных устоев, превосходно усвоили терминологию, выработанную советской общественностью, и пользуются ею как надежным прикрытием для своих скотских воделений и дел.

...Негодяй, бросающий жену, объясняет свое негодяйство антимещанскими принципами: «Ухожу от нее, поскольку я увидел всю ее мелкобуржуазную сущность».

Чуковский просто не мог пройти мимо канцелярита и его аморальности в своей — как будто бы специальной, лингвистической — книге «Живой как жизнь». За каждым уродливым словом он ощущает ущерб для человеческой личности, для культуры или даже для духовной самостоятельности, — как в том случае с похоронами: «Вот до чего поработает ослабевших людей мертвая сила шаблона». А в возможности благодаря канцеляриту представить мещанина идейным борцом против мещанства Чуковский видит едва ли не самое опасное последствие этого духовного обезличения.

III

Обыватель вообще стремится к «обезличке». Так ему спокойнее и безопаснее. Поэтому незаурядная, яркая личность невольно вызывает в нем раздражение уже тем, что не укладывается в рамки привычных представлений, тем, что беспокоит его застойный мир, напоминая о существовании других измерений. От него-то, от безликого обывателя, и защищает Чуковский личность и культуру.

В том же очерке о Зошенко он рассказывает о трагедии непонятого таланта. Он может с полным основанием назвать Зошенко «забытым писателем», хотя книги его все-таки переиздаются. Он может это сказать потому, что представление многих читателей о Зошенко как о «неудачном Аверченко» оскорбительно для «писателя большой темы, большого гражданского чувства, большой, встревоженной, не знающей успокоения совести». Ибо Зошенко именно таков.

Между тем и при жизни его публика хотела видеть в зошенковских книгах преимущественно развлечение, а «Литературная энциклопедия» 1930 года посвятила ему, по словам Чуковского, «безумные строки»: «Анекдотическая легковесность комизма, отсутствие социальной перспективы отмечают творчество Зошенко мелкобуржуазной и обывательской печатью».

Страшны последние строки очерка, рассказывающие об измученном, погасшем Зошенко: «Говорил он медленно, тусклым голосом, с долгими паузами, и жутко было смотреть на него, когда он — у самого края могилы — пытался из учтивости казаться живым, задавал вопросы, улыбался.

Я попробовал заговорить с ним о его сочинениях.

Он только рукой махнул.

— Мои сочинения? — сказал он медлительным и ровным своим голосом — Какие мои сочинения? Их уже не знает никто. Я уже сам забываю свои сочинения...

И перевел разговор на другое».

Чуковский не комментирует это воспоминание — и не нужно. В этом пересказе и без того слышны боль за писателя, которому была приписана ложная репутация, и острое желание восстановить истину.

Кажется, ни одна опороченная судьба не дает Чуковскому спать спокойно. Он и о прошлых эпохах пишет с такой непосредственной взволнованностью, словно вот

только-только принесли ему свежий журнал с ругательной статьей о Некрасове или с пасквильными воспоминаниями о нем. Словно надо торопиться ответить ударом на удар, правдой на клевету.

При этом ему ненавистна ложь всех сортов: и унижающая, и возвышающая.

Он кипит гневом и иронией против тех, кто изображал Некрасова безнравственным журнальным грабителем, и против тех, кто ретуширует его сложный облик «так, что в результате Некрасов похож уже не на себя, а на любого из них, туповатого и стоеросового радикала».

И он прав. Такая хула и такая хвала — проявления обывательского отношения к великой личности.

В первом случае: сладострастная попытка мещан доказать, что гений не лучше их. Если не хуже. Во втором: попытка уместить его в границы своих пресных добродетелей, удовлетворить свое утилитарное желание заполучить на веки вечные приторно-елейный положительный пример. Тем более такой, на который нетрудно равняться: получается уже не великий человек, находящийся со своим временем в неизбежно сложных, даже мучительных отношениях, а круглый отличник, знающий все ответы. Первый ученик. И вот Блок, предвидя свою судьбу в руках такого «доцента», в ужасе готов от нее отречься:

Молчите, проклятые книги!
Я вас не писал никогда!

Злобная недоброежелательность обывателя бывает даже не так страшна, как его же умиление. Злоба очевиднее. А упрощение всегда прикрыто благоговением перед «классиком» — нередко же оно и в самом деле начинается с искреннего благоговения. Там выпрямляя, здесь сглаживая, оно возводит в культ уже не личность, а безличность. Ибо один великий человек в подобном представлении ничуть не отличается от другого. Великая личность теряется в этой ровной шеренге и уже не выполняет своего прямого назначения — пробуждать в людях людей, поддерживать духовность.

У нас до сих пор принято стыдливо обходить «недобродетельные» моменты в жизни великих людей. В последнем «Дне поэзии» появилась статья о Баратынском, в которой юношеское преступление будущего поэта, кража в пажеском корпусе, повлекшая за собою исключение с волчьим билетом и ис-

торжение из общества, подменена благородным вольнодумством («опасный смутьян»). Наверняка из самых добрых побуждений. Считается, что так гуманнее. И нравственнее.

Что такое Некрасов для Чуковского — объяснять не нужно. И вот к этому любимейшему поэту он проявляет вдруг неслыханную жестокость: «Во всем этом выступлении Некрасова... была еще одна неблагоприятная особенность, на которую до сих пор почему-то не обращали внимания». А дальше: «И другая темная черта...»

Он берется говорить о самых мучительных моментах жизни Некрасова, мучительных и для самого поэта, и для всех, кто его любил и любит (стало быть, для Чуковского в первую очередь), — о компромиссе, об одах Комиссарову и Муравьеву. Берется не с тем, чтобы обелить или испачкать, но — понять.

Осудив сделку с совестью — безнравственную и бессмысленную, проанализировав обстоятельства, толкнувшие Некрасова на несчастный этот поступок, Чуковский идет глубже, к самой сущности некрасовского характера, характера переходной эпохи — двойного, но не двуличного.

Чуковский не щадит любимого поэта, но, не щадя, показывает колоссальную разницу между мучительной двойственностью великого человека и расчетливым двуличием обывателя. Подлинная личность самые свои недостатки осознает страстно и страдальчески. Тем она себя и сберегает от распада. Сознание своего несовершенства уже есть ощущение идеала. Пусть недоступного, но возвышающего.

Это та же защита личности от обывателя, что и в знаменитых стихах Блока:

Так жили поэты. Читатель и друг!
Ты думаешь, может быть, — хуже
Твоих ежедневных бессильных потуг,
Твоей обывательской лужи?..

Не домашняя икона и не карикатура, а человеческий облик Некрасова единственно мил Чуковскому: «близкое, понятное, дисгармонически-прекрасное лицо — человека».

Чтобы вернуть Некрасову живое лицо, Чуковский провел не исследование, а целое расследование. Даже терминология такова: «Настало время суда над Некрасовым, ибо только суд прекратит недомолвки и слухи, чудовищно порочащие его репутацию. Свидетельских показаний накопилось огромное множество, пора подвергнуть их самой вни-

мательной критике, отделить клевету от правды».

Чуковского можно считать создателем в нашей науке жанра, который принято называть приключенческим литературоведением. Причем увлекательность, даже авантюристичность его поисков не вредит глубине исследования. Словно Шерлок Холмс или патер Браун, ищет Чуковский психологические мотивировки поступков Некрасова и Панаевой, разбирается в журнальных интригах и делах о наследстве, разгадывает семейные секреты, читает тайнопись Слепцова, воскрешает забытые фигуры. Скажем, тем, что сейчас применение к Слепцову или к Николаю Успенскому титула «забытый» кажется нелепым, мы обязаны и Чуковскому.

Забвение — тоже ярлык, нередко несправедливый. В таких случаях Чуковский вступал в борьбу с неблагоприятной забывчивостью молвы.

Эта страсть — открывать — присуща ему и в жизни. С ним во многом связано рождение Саша Черного как детского поэта. Он был радостным пропагандистом первых стихов Маршак. Он подал Борису Житкову мысль о писательстве.

Конечно, Чуковский оговаривается, что, не написавший до встречи с ним ни страницы, Житков, едва взявшись за перо, оказался уже «законченным мастером, с изощренной манерой письма, с безошибочным чувством стиля, с огромными языковыми ресурсами». Но ведь должен был найтись человек, который подал бы Житкову такую мысль.

Им не случайно оказался Чуковский.

Впрочем, если говорить об истории литературы, он воскрешал и те фигуры, что как будто не заслуживали такой чести.

Но и это было очень важно. Нашему литературоведению до сих пор недостает работ о писателях, чьи произведения окончательно и заслуженно погибли для сегодняшнего и завтрашнего читателя, но чья судьба отразила характернейшие черты их эпохи. Литературный процесс надо восстанавливать в целостности, и легко себе представить, какие интереснейшие книги можно написать, скажем, о Николае Полевом, вольнодумце до первого монаршего гнева, или о Булгарине, которому правительство простило ради его лояльности военное предательство.

Чуковский занимался и Дружининим, и

Анненковым, и даже ничтожнейшим Ростиславом — Феофилом Толстым. Вот кто, кажется, заслуживал воскрешения в самую напоследнюю очередь, но статья Чуковского о нем представила нам характернейшую фигуру человека, который никогда не был согласен с собственным мнением, который, будучи холуем царского правительства, всю жизнь тянулся к оппозиционному лагерю, подлаживался к нему, льстил и канючил. Чуковский доказал, что Феофил — не исключение, что таких людей, сознание которых «находилось в полном противоречии с их действиями», тогда (в пятидесятые — шестидесятые годы прошлого века) было множество, что они были явлением, и явление это предвещало начало морального краха реакции.

Человеческий интерес Чуковского к людям минувших эпох никогда не был самоцельным, внеисторическим, внесовременным.

Еще в самом начале века он открыл для себя Уитмена. Для себя и для русского читателя, причем это открытие тоже сопровождалось одновременной борьбой против ложной репутации, создаваемой переводами Бальмонта. Чуковский сам взялся переводить Уитмена, сам писал его биографию, и это увлечение стало увлечением всей жизни.

Тон статей его об Уитмене говорит, что Чуковский по-человечески увлекся колоритной фигурой. Но и тут интерес не был, так сказать, абстрактно человеческим; проблема Уитмена была пережита как проблема злободневная, русская.

В статьях, комментирующих издание 1919 года, Чуковский примерял Уитмена к своей современности. Среди статей — «И. Е. Репин об Уитмене», «Уитмен и футуристы». А в биографии поэта о его книге «Листья травы» прямо было сказано: «Теперь, особенно в России, эта книга насущно нужна».

«Насущно» — никак не меньше.

Быть может, это было преувеличением от увлечения. Но само увлечение поддерживалось уверенностью, что Уитмен нужен русскому читателю.

Уитменовский культ демократии, ее «религиозного экстаза», космический размах его души — все это казалось Чуковскому сродни тому процессу, который начинался в искусстве русской революции.

Он не ошибся. Он угадал и космизм ранней революционной поэзии, близкий космизму Уитмена, и сходство их наивного бо-

гостроительства, где вместо бога подставлен труд, и даже общее их противоречие.

В поэзии Уитмена сошлись восторг перед демократическим равенством личностей и невнимание к отдельной личности.

Чуковский находил этому объяснение, но понимал, что объяснение не может быть оправданием. И признавал: «Славить без изъятия всякую личность, это значит не славить ни одной,— и недаром во всей книге Уитмена ни разу не изображен какой-нибудь своеобразный, самобытный человек с особенной, отдельной душой... Человечество для него — муравейник, в котором все муравьи одинаковы, и он не замечает, что вот этот муравей — Наполеон, а эта муравьица — Беатриче».

То же предстояло пережить и нашей поэзии, предстояло пройти через упоенное противопоставление коллектива личности. Безыменский говорил, что, не будь у него такой фамилии, он бы взял ее псевдонимом. Луговской тоже изъявлял желание бесследно раствориться в коллективе: «Хочу позабыть свое имя и званье, на номер, на литер, на кличку сменять». Да и Маяковский, чью особую близость к Уитмену Чуковский угадал, пытался отречься от своей индивидуальности, издавая свою наиболее «уитменовскую» вещь — «150 000 000» — анонимно, как фольклор: «Хочу, чтоб каждый дописывал и лучил».

Книга Чуковского об Уитмене, кажется, до сих пор осталась лучшим, что написано о нем в нашей литературной науке. Но если бы и появилась книга более значительная, она не убила бы интерес к книге Чуковского.

В последнем издании «Высокого искусства» (1964) Чуковский называет множество превосходных трудов о мастерстве переводчика, которые были изданы различными авторами почти за пятьдесят лет со дня появления первого варианта его книги; она была тогда тощей брошюрой и называлась «Принципами художественного перевода» (те самые, о которых Чуковский «с воплем» сообщал Блоку: «Мне некогда! Я «Принципы» пишу!»).

И правда, создана целая наука о художественном переводе. Но книга Чуковского осталась. Как первый опыт, открывший дорогу науке о переводах. И, главное, как особая, незаменимая. Не за счет позднейших добавлений (как раз неравноценных),

а за счет того первоначального пафоса — «чуковского», человеческого, — пафоса борьбы за культуру.

IV

В науке одно открытие может «закрыть» другое, одна книга другую. В искусстве не может быть такой взаимозаменяемости. Лучшие книги Чуковского существуют по законам искусства.

По правде, мне иногда бывает жаль встречать купюры и исправления в новых изданиях старых работ Чуковского. Например, в том же очерке о Блоке. Я понимаю, что это чаще всего поправки на сегодняшнее знание, и все же, будь моя воля, иные работы в собрании сочинений были бы в том виде, как написались. Более того: стоило бы включить в собрание «ошибочные» статьи, чьи выводы и оценки не подтвердили развитие литературы.

Несерьезно выглядит еще молодой критик, издающий сборник статей и предвещающий читателя, что многие статьи он сам уже перерос, многое ему самому кажется теперь наивным. Такое бывает, и это самонадеянно. Но за Чуковского этот вопрос решило время. Оно опровергло несправедливые оценки, но не могло опровергнуть живой мысли и непосредственного переживания критика.

Разумеется, Чуковский нередко был в предреволюционные годы крайне тенденциозен. Одних он обижал непримиримостью, других — молодой предвзятостью суждений. На него писал сатиру Саша Черный, ему слал резкие письма Андреев, о нем делал раздраженные записи в дневнике Блок. Потом отношения менялись, но споры и ссоры были неизбежными. О былой позиции Чуковского можно спорить, ее можно порицать, но прежде всего она раздражала и задевала потому, что — была.

«Мне было больно нападать на такого милого и расположенного ко мне человека, но делать было нечего...» — так вспоминает Чуковский свою резкую статью об андреевском «Океане». «Но делать было нечего» — это мог сказать человек, привыкший отстаивать свою позицию, свою тему борьбы за личность и за культуру. Тема тогда уже определялась.

Конечно, фельетонный принцип, сформулированный в книге «От Чехова до наших дней»: «Каждый писатель для меня вроде

как бы сумасшедший», — мало способствовал тому, чтобы постичь сложную суть Чехова или Блока. Остроумие, с которым у них отыскивался «особый пункт помешательства», могло создать разве что эффектную схему писателя а la Чехов или а la Блок. Перечитывать эти статьи интересно и сегодня, они — проявление личности, а не отметки педанта на полях литературы, однако истинное содержание большого искусства протекало сквозь цепкие пальцы фельетониста.

Но статьи о втором и третьем сорте были на редкость точными.

Если наши недостатки бывают продолжением наших достоинств, то, по-видимому, и достоинства могут возникнуть из недостатков. Фельетонный прием раннего Чуковского не годился для серьезной литературы, но оправдал себя в отношении эпигонов. Потому что там, где у художника многогранность, сложность, — у эпигона излюбленный прием, навязчивый, однообразный. Где у художника магия — у эпигона химия.

Статьи Чуковского об обывательской литературе начала века не только удались — они прекрасно сохранились до наших дней, хотя сами писатели по большей части давно и крепко забыты.

В любой литературе любого времени есть таланты, которые не приходят ни на чье место и с уходом которых не открывается вакансий, и есть вечные ампулы, есть услужливые удовлетворители любых читательских потребностей. Они взаимозаменяемы. И в борьбе с этими более или менее опасными ополчителями литературы, в том числе и сегодняшней, — ценность многих статей книги «От Чехова до наших дней». Непреходящая или по меньшей мере не прошедшая.

Маленький нудный канцелярист Арцыбашев, приспособляющийся «безумство храбрых» к потребностям обывателя, так что само «безумство» уже служит для самоутверждения того, против кого было направлено.

Заурядный пошляк Анатолий Каменьский, выдающий скабрзность за посрамление буржуазной морали: «Леда у г. Каменского не просто голая женщина, а голая женщина с пролетарской идеологией».

Осип Дымов — «курортный гений», «приспособленный настолько, что не беспокоит», «милый» талант, которому хочется сказать: «Милый, сделайте милость, перестаньте

быть таким милым». Конечно, одаренный Дымов не чета Арцыбашеву или Каменскому. Кроме того, он был ближайшим сотрудником Чуковского по боевому сатирическому журналу «Сигнал», и уж тут, наверное, тем более не хотелось обижать «милото и расположенного» человека. Но опять-таки «делать было нечего». Слишком ненавидел Чуковский обывателя, на которого вольно или невольно работал до невозможности милый Дымов:

«Новая читательская волна хлынула в литературу: полуобеспеченные, полуобразованные, раздраженные верхами городской цивилизации, взращенные на асфальте и воспитанные газетными передовицами, эти люди требуют для себя маленькой, едкой, щекочущей, гомеопатической словесности».

Чуковский не ограничился набросками этих портретов, но дал очерк философии и психологии «третьего сорта».

Начав с иронического эпитафия, заимствованного из объявления лавки («Третий сорт ничуть не хуже первого»), он с отвращением живописал напор третьесортности, стремящейся стать неотличимой от первого сорта:

«— И я! и я! — тоненьким голоском кричал рыжий, пускаясь за ним вслед.— И я! и я!

Этот рыжий из андреевской «Бездны» был, несомненно, Александр Рославлев, автор сборника «В башне». Он бежал за Валерием Брюсовым и кричал ему: и я! и я! —

И я, как ты, в оцепененье
Слежу в веках земную ось.

Удивительно, сколько развелось теперь рыжих в литературе! Стоит только им увидеть хоть жест, хоть точку новую, чужую, как наперебой кидается туда их голодная стая:

— И я! и я!

Положительно, они становятся социальным явлением...»

Гнев критика, несдержанный, да ничуть и не сдерживаемый, так велик оттого, что Чуковский видит реальную опасность мешанского эпигонства для настоящей литературы: «Вдруг пустоте (обыкновенной пустоте, дыре, провалу, небытию) дана какая-то надежда, какая-то даже возможность приблизиться к реальности и быть и воплотиться».

Жизнеспособность третьесортности, или, как бы мы сказали сегодня, серости и посредственности, не безобидна, а страшна —

страшна для большого искусства, которое она — увь, небезуспешно — стремится подменить в глазах читателя, страшна для великих идей, к которым жаждет подмататься:

«Когда Раскольников убивал старуху, — вряд ли это было удобным и приятным занятием. Когда Гоголь жег «Мертвые души», а потом лег на диван и тихо заплакал, вряд ли это было развлечением... Но теперь, когда старательный и трудолюбивый писатель копирует тысячную копию тысячной копии:

О, властолюбец Бог,
Позор отныне на главу твою! —

...для меня это означает, что эта безумная, страшная мысль дошла уже до «паюсной икры», что паюсная икра закричала ей: и я! — и сделала ее не только не страшной, но даже пикантной и приятной во всех отношениях.

Когда сложная, богатая, мучительная идея доходит до «икры», то от этой идеи остаются две-три лучиночки, две-три щепочки, два-три изречения, умилительные по своей скалозубовской краткости, простоте и ясности, почти похожих на изречения Кифы Мокиевича, или на воинский устав, или на правила для гг. пассажиров.

Эта живая ненависть, эта боль за опущенные великие идеи и великую литературу сами по себе должны были увести Чуковского от заманчиво-фельетонной идеи представить всякого писателя маньяком со своим пунктом помешательства.

Потому что на роль эту сгодились только рыжие, маниакально кричащие: «И я! и я!» Так оно и произошло.

V

Давно уже Чуковского ничто так не привлекает, как человеческая разносторонность.

М. Петровский в своей талантливой книге о Чуковском замечает: «О живописце Корней Чуковский пишет главным образом как о выдающемся писателе-беллетристе, о поэте — как о замечательном рисовальщике, о писателе — как об актере. О литературоведе Чуковский вспоминает тоже как об актере колоссального таланта». И всё в таком роде.

Чуковский все время словно нарочно полемизирует со своими ранними статьями. Тогда его томило желание разгадать прием, раскусить секрет, разоблачить фокус. Те-

перь его радует, что талант — не угрюмая помешанность на чем-то одном, обособленном, узком, а естественное проявление крупной, бесконечно богатой личности, многообразно связанной с миром.

То, что талант от мира сего, что он естествен, человекен, близок нам, приносит Чуковскому едва ли не большую радость, чем то, что талант необычен и велик.

Это совсем не ненавистная Чуковскому радость обывателя, с которой тот ощущает досягаемость таланта. Напротив. Там бездуховность пыталась приспособить к себе духовность, бесталанность примеряла к себе талант, самоутверждаясь за его счет. Здесь же доказывается, что великая личность — прежде всего нормальная личность, что ее необыкновенные свойства — естественно: развитие обыкновенных, что если мы и не можем стать с великой личностью ровень, то можем найти с ней общий язык, одухотвориться ее духовностью, обогатиться ее богатством.

Такая близость не принижает великой личности. Она возвышает нас.

Вот главная причина, по которой Чуковский старается сделать для нас человечески понятным и близким Блока или Некрасова. Для того он и говорит о писателях прежде всего как о живых людях, для того спорит с искажениями их облика, для того ищет «дисгармонически-прекрасное лицо — человека».

И еще одну черту — помимо многогранности — Чуковский выделяет у своих героев с особой любовью. Если применить к нему самому его старый логический метод, то можно и его заподозрить в «особом пункте помешательства». На том, что все талантливые люди — дети. То есть что они сберегли в себе детство.

Первое (и, значит, очень важное) воспоминание о Горьком, воспоминание, с которого Чуковский и начал свой очерк, — то, как Горький естественно и легко заговорил с незнакомыми детьми (стихами!), и «в эту секунду вся его угрюмость пропала, и я увидел горячую синеву его глаз». А в другом месте того же очерка: «Я видел: самое воспоминание о том, что в этом мире существуют дети, чудотворно расплавил его недавнюю хмурость, словно он был благодарен кому-то, что существует на свете такое поэтичное, неиссякаемое, вечно обновляющее всю нашу жизнь, творческое, непобедимое племя детей».

Это так написано, что нельзя не понять: Чуковскому кажется, что в такие минуты в Горьком прглядывает важное, настоящее.

И в великом лицедее Леониде Андреев-истинное проявляется во «вкусе к озорству и мальчишеству». Говоря о ролях, которые Андреев играл в жизни, Чуковский признается: «Некоторых Андреевых я не любил, но тот, который был московским студентом, мне нравился. Вдруг он становился мальчишески проказлив и смешлив...»

И вечно угрюмый Саша Черный с детьми неузнаваемо менялся: «по лицу его я не мог не заметить, что здесь, на природе, среди детей, он совершенно другой».

И дальше: степенный, сосредоточенный Короленко, прослышавший у ребятшек «чемпионом рикошетного спорта», так как ловчее всех умел пускать по поверхности воды камешек-голыш; чеховское «чисто детское тяготение ко всяким озорным мистификациям, арлекинадам, экспромтам»; Куприн, чья «мальчишеская озорная любовь» к розыгрышам побуждает его устроить «астрально-спиритический сеанс» и даже по чьему-то требованию вызвать дух Лессинга (беда только, что этот Лессинг, «кроме одного-единственного слова «унзер», не мог произнести по-немецки ни звука»); Квитко, с завистью глядящий, как мальчишки шлепают по лужам:

«— Каждый ребенок,— сказал он,— считает, что лужи созданы специально для его удовольствия.

И я подумал, что, в сущности, он говорит о себе».

Детское для Чуковского — не просто нечто умиленное и очаровательное. Поток восторженных и значительных эпитетов, который в очерке о Горьком Чуковский не мог остановить, едва заговорив о детях («творческое, непобедимое племя детей»), тому доказательство.

Детское, сохранившееся в умудренном, пожившем человеке,— это нераздвоенность души, духовная неиспорченность, сохранение простых и ясных связей с миром. Несмотря ни на что.

«Он награжден каким-то вечным детством»,— сказала Ахматова о Пастернаке.

Чуковский не мог не стать детским писателем.

Правда, его первая сказка — «Крокодил» — появилась на свет случайно.

Чуковский вез маленького сына из Хель-

синки в Куоккалу. Мальчик был болен, и, чтобы заговорить боль, отец начал импровизировать стихи. Я, говорит он, «ни минуты не думал, что они имеют какое бы то ни было отношение к искусству. Единственная была у меня забота — отвлечь внимание больного ребенка от приступов болезни, томившей его».

Это была самая что ни на есть близкая встреча художника с читателем. То есть слушателем.

Собственно, так и рождаются поэтические произведения — как результат неотменимой душевной потребности. И случайности тут не больше, чем обычно: душевная потребность всегда возникает непредугаданно.

Чуковский, повторяю, просто не мог не стать детским писателем. Не потому только, что до появления на свет «Крокодила» он уже не меньше десятка лет писал о литературе для детей, сражаясь с Чарской и Лукашевич; не потому, что, вызывая насмешки, занимался детским языком. Это все — следствия.

Но есть и причина. Дореволюционная детская литература была захвачена теми, кто не заслуживал даже звания «ремесленник» (не такого уж и обидного, кстати). Ремесленник знает ремесло. Детская книжка не считалась даже ремеслом.

Конечно, были сказки Пушкина и ершовский «Конек-горбунок», предназначавшиеся при создании взрослому, но перешедшие к детям. Были детские рассказы Льва Толстого, стихи для детей Жуковского, Некрасова, Саши Черного... Вероятно, можно вспомнить и еще что-то, однако все это тонуло в мутном и бездонном потоке.

Дело было не только в бездарности этих поделок. Когда за стихи для детей брался даже Блок — и то это было всего лишь филантропией, крохами со стола «взрослой» поэзии.

При таком — по существу несерьезном, неуважительном — отношении к детству и его литературе, отношении, которое не могли преодолеть никакие благие намерения, детская литература неизбежно должна была попасть в лапы бесчисленных халтурщиков. И попала. Ее уступили без боя. Почти никому просто не приходило в голову, что Лидия Чарская — коллега Антона Чехова, что она взялась за то же дело, что ей, следовательно, надо предъявлять те же требования. Поэтому уже то, что в ранних

рецензиях Чуковский как раз и предъявлял эти требования, утверждал нормальные, обычные критерии в литературе для детей, казалось ненормальным и необычным, чем-то вроде причуды именитого фельетониста, сделавшего парадоксальность профессией.

Низкое качество дорезолюционной детской литературы имело первопричиной нежелание общества серьезно относиться к внутреннему миру ребенка, нежелание признать за ним право на свою, особенную жизнь.

Независимо от того, обращались ли авторы к ребенку с тяжелыми назиданиями или снисходительными развлечениями, так или иначе подразумевалось, что «детский возраст — ошибка природы, мировой беспорядок, оплошность творца. Нужно эту ошибку исправить — и чем скорее, тем лучше». Это Чуковский писал о «гениальном предтече мещанского утилитаризма» Джоне Локке, но такое отношение к ребенку было господствующим и в России начала нашего века.

Ребенок многим казался недочеловеком. Мало кто понимал, что если не дать ему побыть ребенком, вряд ли он станет настоящим человеком. Его не воспитывали, а перевоспитывали — во взрослого.

Великий педагог Н. И. Пирогов с горечью писал: «Мы спешим ему (ребенку.— С. Р.) внушить наши взгляды, наши понятия, наши сведения... Мы от души восхищаемся нашими успехами, полагая, что ребенок нас понимает, и сами не хотим понять, что он понимает нас по-своему... Кто же теперь виноват, если мы так рано замечаем у наших детей несомненные признаки двойственности души? Не мы ли сами немилосердно двоим ее?»

Нежелание педагогов и литераторов понять законы детства, признать его автономность вело к раздвоению души. То есть к гибели личности.

Наиболее яростные страницы «От двух до пяти» посвящены тем, кто искоренял детство. От Локка до современных Чуковскому педологов.

Эта ярость была лично выстраданной.

В одной из погромных статей, озаглавленной в незабвенном духе — «О «чуковщине», — цитировался призыв Чуковского изучать ребенка, «идти» в него. Цитировался и трактовался таким образом:

«Хождение в ребенка», культ тем личного детства, культ хилого рафинированного ребенка, мещански-интеллигентской детской,

боязнь разорвать с корнями «национально-народного» и желание какой угодно ценой во что бы то ни стало сохранить, удержать на поверхности жизни отмирающие и отживающие формы быта; коллекционирование мелочей и раритетов, культ и возведение в философию «мелочей», нелепиц — вот наиболее характерное для точки зрения этой писательской группы».

И еще яснее (можно, окзывается, и яснее): «Это — идеология вырождающегося мещанства, культ отмирающей семьи и мещанского детства». Для полной ясности и логичности следовало, конечно, добавить: культ отмирающего детства.

Непонимание того, что ребенок переживает, так сказать, общечеловеческую стадию развития, что его искренние убеждения сложатся лишь ближе к юности, что педагогика и литература должны подготовить его к этому ответственному моменту, а не вбивать в его голову то, чего он еще не в состоянии понять, что они обязаны внушать добрые чувства, воспитывать «драгоценную способность со-переживать, страдать и со-радоваться, без которой человек — не человек» (Чуковский), вело к тому, что в тридцатые годы Маршак должен был печально сказать: для многих нынешних детей «весь мир населен... плакатной буржуазией и столь же плакатным пролетариатом».

Мудрые и неотменимые никакой эпохой слова Пирогова: «Все, готовящиеся быть полезными гражданами, должны сначала научиться быть людьми» — не принимались педологами всерьез. Они спешили сделать из младенцев готовых революционеров — и ломали для этого детство.

Мещане приспособлялись к революции; вернее, ее хотели приспособить к себе.

Чуковский воевал с утилитаризмом. Он отстаивал самоценность, суверенность детства.

В его «Крокодиле», появившемся незадолго до революции, но оказавшемся началом новой, советской поэзии для детей, самым необычным героем был не экзотический глотатель Крокодил, а маленький петроградец Ваня Васильчиков.

Ваня Васильчиков не спешил преодолеть свою детскую «неполноценность» — он входил в сказку ребенком и ребенком выходил из нее. Его восхваляемая в начале сказки самостоятельность была истолкована по-детски: «Он без няни гуляет по улицам».

И его финальное всемогущество, когда он в результате своих геройских подвигов становится вроде как президентом нового вольного общества, тоже использовалось им по-детски: «По вечерам быстроглазая Серна Ване и Ляле читает Жюль Верна. А по ночам молодой Бегемот им колыбельные песни поет».

Само его геройство помогало ему — и автору — утвердить полноценность детства.

Не только геройство. Даже детскому озорству Чуковский, к ужасу иных педагогов, нескрываемо сочувствовал, понимая его здоровую природу и увлеченно рассказывая в «Бармалее» о побеге Танечки и Ванечки в Африку, о побеге из скучной детской, вопреки наказам «папочки и мамочки», уныло долдонящих одно и то же: «Африка ужасна, да-да-да! Африка опасна, да-да-да!»

Точно так же и Марк Твен защищал преимущество детски полноценного озорника Тома перед добродетелью маленького старичка Сиды.

Стихи Чуковского вообще дают возможность ребенку в полной мере ощутить себя ребенком. Его сказки созданы по законам детского восприятия: в них скачут ритмы ребячьих считалок и дразнилок, в них подхлестывается неукротимая детская фантазия, в них удовлетворяется жажда остро сюжетности, юмора, игры.

Уже многие поколения не могут представить свое детство без «Мойдодыра» и «Бармалея», «Телефона» и «Мухи-Цокотухи». Эти сказки вспоминаются, как счастье, и это в самом деле было счастьем — выкрикивать звонкие слова (сочиненные «без скидок на грамотность», по выражению Бориса Заходера), чувствовать себя их сотворцом, узнавать в них свое мировосприятие. С осознания себя начинается личность. Смешные стихи Чуковского участвуют в этом серьезном деле — в пробуждении личности.

А в книге «От двух до пяти» пробуждающаяся личность еще и изучается.

Эта книга на первый и невнимательный взгляд может и в самом деле показаться «коллекционированием раритетов», забавных детских словечек, фантазий, первых стихов. Но она — скрупулезное, дотошное исследование детства как первой ступени формирования личности, ступени, через которую нельзя перепрыгнуть. Мало сказать,

что Чуковский относится к ребенку с интересом и уважением, — он доказывает, что ребенок — гений. Это не восторженное преувеличение, а рабочая формулировка исследователя.

В самом деле: «Начиная с двух лет всякий ребенок становится на короткое время гениальным лингвистом...

Поистине ребенок есть величайший умственный труженик нашей планеты, который, к счастью, даже не подозревает об этом...

Мы все к двадцатилетнему возрасту были бы великими химиками, математиками, ботаниками, зоологами, если бы это жгучее любопытство ко всему окружающему не ослабевало в нас по мере накопления первоначальных, необходимейших для нашего существования знаний».

Чуковский не идеализирует природу ребенка. Невероятно бурное постижение мира возможно лишь потому, что ребенок не представляет себе незначительности своего опыта. Природная детская расположенность к миру неотделима от наивного эгоцентризма, от иллюзорного сознания собственного всемогущества. Ребенку еще предстоит пройти через знание, в том числе самое печальное, чтобы его доверчивая распахнутость миру сменилась выношенной, умной добротой, чтобы его детская гениальность на час претворилась в неиссякаемое творческое состояние.

Ребенок должен стать человеком. Человек — остаться ребенком, сохранить преемственность детства.

VI

Мечта об идеальном детстве для Чуковского — мечта об идеальной личности. О личности, свободной от всех признаков рабской психологии, от униженности, от ущербности.

Очерк о Чехове — это, как почти всегда у Чуковского, попытка восстановить живую личность художника, личность, поражающую не только обаятельностью, но и размахом (это Чуковский утверждает polemически). Все у Чехова было необычайно. Начиная с гостеприимства: «Он был гостеприимен, как магнат». Включая редкостную общительность, бесконечную доверчивость к людям, веселость («вакханалия веселости»), щедрость — тоже какую-то необычайную, деятельность природы, скромность,

сочетающуюся с достоинством, деликатность, ненависть ко всякой лжи и фальши.

И все это, утверждает Чуковский, добыто в героической борьбе с самим собой. Все свои замечательные качества Чехов завоевал жесточайшим самовоспитанием.

Прочитывая известнейшие слова Чехова из письма к Суворину о молодом человеке, который «выдавливает из себя по каплям раба», слова, в автобиографичности которых никто не сомневается, Чуковский пишет:

«Но... мало кто отмечает, что в этих словах говорится о чуде. Ведь, казалось бы, если тебе с детства привито рабье низкопоклонство перед каждым, кто хоть немного сильнее тебя, если ты, как и все «двуногое живье» той эпохи, воспитывался в лакействе... то как бы ты ни старался подавить в себе эту холопью привычку, она, хочешь не хочешь, будет сказываться до конца твоих дней даже в твоих жестах, улыбках, интонациях голоса... Чехову удалось — как не удавалось почти никому — это полное освобождение своей психики от всяких следов раболепства, подхалимства, угодничества, самоунижения и лъстивости».

Словом, речь идет о подвиге почти невероятном, к несчастью, доступном не для всякого человека. Надо ли удивляться, что Чуковский с такой яростью обрушивался на тех, кто пытался искалечить детство, лишит его органически необходимых вещей — будь то хотя бы право на игру, на сказку?..

Чеховской личности удалось героически преодолеть обстоятельства.

Но для Чуковского в самом этом героизме нет ничего противоестественного. Именно так и должна была поступить личность ради того, чтобы стать и остаться самой собой — личностью. Это трудно, даже невероятно трудно, но — естественно. Победа Чехова — торжество естественности.

Часто говорят, что в трудные эпохи простая порядочность может показаться героизмом, граничащим с безумием. Но героизм — это и есть возможность оставаться во всех случаях самим собой; это, как и стиль, неумение вести себя иначе. То, как будет выглядеть поступок — героическим или «всего только» порядочным, — решат обстоятельства.

Рассказав о принципиальности Блока во всем, даже в мелочах, Чуковский говорит: «Может быть, все это мелочи, но нельзя же делить правду на большую и маленькую.

Именно потому, что Блок привык повседневно служить самой маленькой, житейской, скромной правде, он и мог, когда настало время, встать за всенародную правду».

Это нравственная традиция передовой русской интеллигенции, которая издавна органически противостояла злу и насилию, противостояла даже тогда, когда не могла восстать прямо, противостояла уже самим фактом своего существования, тем, что понятие интеллигентности сделала категорией морали.

Ей всегда была свойственна скромная, будничная глубочайшая порядочность, без истерики и фальшивого пафоса, которая была нравственным законом и умела в эпохи самой тяжелой реакции создавать общественное мнение, так что даже подлецы и доносчики чувствовали, что быть подлецами и доносчиками стыдно. Стыдно и тогда, когда выгодно.

Итак, героизм — естественная логика естественной личности.

Поэтому человеческая личность — от истоков до высшего совершенства, от трехлетнего гения на час до русских интеллигентов Чехова и Блока — была всегдашним предметом восхищения Чуковского.

Это, как уже говорилось, и есть главная тема его многообразнейшей культурной работы.

Судьба идей бывает странной. Она зависит не только от объективного содержания идеи, но и от особенностей и потребностей времени.

Культурная работа Чуковского, его борьба за личность, разумеется, во все времена была бы нужна и почетна. В наш век она приобрела особое, неоценимое значение.

Чуковский, при всей своей страсти к откровенности, все же отличался главным образом последовательностью, а не приверженностью к научным катаклизмам; он скорее хранитель огня, чем изобретатель новой энергии, и, несмотря на это, его работа обрела особую ценность к середине двадцатого века, в пору наивысших технических открытий, наиотважных новаций в искусстве.

Впрочем, не «несмотря на это», а, пожалуй, «благодаря этому».

Двадцатый век, объявивший своим девизом смещение всех представлений, век, за скоростью которого мечтают угнаться наи-

более наивные литераторы: «Мы родились — не выживать, а спидометры выжимать!» — этот век вдруг ощутил острую нужду в устойчивости, в постоянстве, в прочности нравственных критериев.

Стало очевидным, что одна из насущных задач искусства — это упрямо напоминать прописные истины, утверждать несменяемость духовных ценностей, норму чувства, преэссенциальность морали.

Чуковский был среди тех, кто понимал это. В годы, когда строительство социалистической культуры многим — даже крупным и значительным людям — казалось прежде всего ломкой старого, когда молодой Маяковский с базаровским азартом возглашал: «Время пулям по стенке музеев тенькать», — Чуковский выглядел стоящим в стороне собирателем всего, что связано с

большими людьми недавнего прошлого, всего — вплоть до курьезов («Чукоккала»). Оказалось, однако, что он был прав. Чем дальше, тем больше ощущаем мы необходимость преемственности, связи с традициями русской демократической культуры.

Величина культурного явления, обозначаемого именем одного человека — Чуковского, еще далеко не определяется размером написанного им.

По сути лучшее, созданное Чуковским, — это наброски будущей «Истории русской интеллигенции XX века». Так сказать, раздела первого: «Русская художественная интеллигенция».

Такой труд должен быть осуществлен. Когда придет пора за него взяться, станет ясно, что Чуковский написал несколько необходимых его страниц.



М. ЧУДАКОВА, А. ЧУДАКОВ

★

СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ И ЮМОР

I

«**М**олодая проза» — повести молодых писателей о молодом человеке шестидесятых годов — постоянная тема критических статей. Ее обсуждали и обсуждают с разных сторон: когда началась эта проза, куда она идет, кто ее авторы и каковы ее герои¹.

Меньше всего рассматривалось это литературное явление лишь с одной стороны — со стороны его художественного языка. Между тем оно отличалось в первую очередь некоторыми новыми, резко обозначившимися чертами своей поэтики. Об этих чертах прежде всего и пойдет речь.

«Молодая проза» появилась — и резко выделилась — на фоне прозы такого рода:

«С поступлением на комбинат ему сопутствовали одни удачи. Не всякому студенту третьего курса, пусть даже прославленного института имени Баумана, удавалось стать ведущим конструктором большого текстильного комбината. Проекты Лсонида, предложения по усовершенствованию производства почти всегда внедрялись в жизнь, за последнее время даже опытные специалисты-текстильщики считались с его мнением, обращались к нему за советом. На комбинате многие помнили его отца — инженера-коммуниста Ивана Васильевича и, может быть, поэтому часто прощали Леониду его мелкие промахи и ошибки, так что он постоянно чувствовал бережное отношение к себе со стороны старших кадровых рабочих и немало гордился этим».

Это не отрывок из статьи из районной

газеты или из очерка о молодом специалисте. Это отрывок из романа В. Тевекеляна «За Москвой-рекой».

В конце пятидесятых годов проза такого типа занимала место гораздо большее.

В противовес «письменной», газетно-книжной традиции языка этой прозы «новую» повесть заполнила речь устная. Всевозможные жаргонные слова, причем не только вульгаризмы, но и слова профессиональных жаргонов, привычные лишь для узкого круга людей, теперь получили в ней права гражданства. На это обратили внимание (введение молодежного жаргона, например, почти единодушно осуждалось). Но дело было не только в языке: пафос «новой» повести был более широким. Она отрицала весь строй, всю выработанную усилиями многих писателей систему «производственного романа», который стоял в центре литературы тех лет.

В «новой» повести — в отличие от прежней прозы — возникла особая авторская личность — личность «современного», то есть легко ориентирующегося во всех деталях современного общественного быта, молодого человека, слегка даже шеголяющего этим своим знанием мира современной молодежи, мира спорта, мира улицы и молодежного клуба — словом, знанием более или менее узких социальных сфер с их нормами поведения, с их собственными жаргонными. Немало первых молодых читателей этой повести легко и естественно подчинилось обаянию этой личности.

В стерилизованный мир «производственного романа» вещи и быт допускались со строгими ограничениями; в новой же повести появилась не только улица как путь на завод, но и вечерняя улица, не только конструкторское бюро, но и курилка этого бю-

¹ Недавно об этом писал, например, Ф. Светов в статье «О молодом герое» (в пятом номере «Нового мира»).

ро; герой появился в ней не только у своего станка или в лаборатории, но и в универмаге, на остановке, в очереди за сигаретами, в общении со случайными прохожими, в троллейбусе, в метро. Эта многосторонность современного быта демонстрировалась как принципиальное завоевание.

В противоположность инертной, устоявшейся повествовательной форме явилась форма свободная от каких бы то ни было запретов; в повесть свободно включались дневник, письмо, страница из блокнота, анкета, автобиография, радиорепортаж, газетная статья, беседа автора с читателем и героем, список действующих лиц и т. д.

Многие из этих качеств отмечались в критике. Чаще всего они оценивались со знаком минус — и едва ли заслуженно: сами по себе они были скорее явлением положительным (то, что на их основе может вырасти новое литературное явление, показывает пример В. Аксенова — при всей различности оценок его прозы).

Вместе с этой свободой форм, свободным отношением к материалу в современную литературу пришел юмор. И распространился в ней необычайно широко, шагнул за пределы «сатирических» или «юмористических» повестей и занял прочное место в жанрах, традиционно с ним не связанных. Юмор победно шествует ныне и в повести вполне «серьезной», не ставящей себе фельетонных или памфлетных целей.

Теперь никто уже не обратится к писателю, как некогда к Ильфу и Петрову, с одиозным вопросом: «Почему вы пишете смешно?»

Никого теперь не удивляет, что повесть написана смешно. Все пишут смешно, и «смешные» страницы воспринимаются даже без улыбки, как некая норма. Скорей уж вызовет недоумение повесть, написанная «серьезно». Средняя проза диктует свои законы и читателю, и каждому новому, не обладающему собственной индивидуальностью автору. «Новая» повесть с ее нетрудными правилами игры втягивает в себя в последние годы все большее количество произведений, привлекает к себе все большее и большее число авторов. Уже сложились ее особые каноны, и среди них — не совсем обычное для русской литературы отношение к юмору. Оно уже само по себе стало новым и во всяком случае заслуживающим внимания литературным явлением. О нем и пойдет дальше речь.

2

Перед нами одна из таких повестей — «Теория невероятности» М. Анчарова. — повесть, уже получившая некоторую известность и даже инсценированная театрами. Герой ее, правда, не очень молодой, однако написана она в традициях «молодой прозы».

Это совсем не сатирическая повесть, но поэтика юмора использована в ней довольно широко. Можно начать уже с самого заглавия, настраивающего если не на веселый, то на иронический лад, с названия первой главы — «Склочная школа» (уже ждешь чего-то вроде «сатирического обличения», чего-то фельетонного) — и наконец с первых фраз повести: «Этой весной у меня наступила пора любви. Я совсем юный. Мне сорок лет».

На самом деле мы легко убеждаемся, что автор не ставит перед собой задач фельетонных. Напротив, они ему скорее претят, как и все слишком хорошо ему, повидимому, известные литературные шаблоны. Очень симпатичный автору герой повести, видно, тоже сыт по горло этими шаблонами. «Я удачник. Я миновал все личные конфликты эпохи. У меня не было конфликтов с женой, которая бы стремилась к яркой жизни, потому что жены у меня не было, а яркая жизнь была». Герой постоянно отрицает эти литературные заместители реальных обстоятельств, он живет с ощущением шаблона, утомленный этими шаблонами. «Он не интеллигентный человек, — сказал я. — Это Митя интеллигентный человек, а он простой советский десантник».

«Вика надевала на Митю плащ и застегивала пуговицы.

— Воротник поднимите, — сказал я. — Надо уходить в ночь с поднятым воротником. Так красивше».

«Я смотрел на него своими карими бездонными, как вечернее небо, глазами. и в душе у меня бушевала буря».

«Она мне задала ряд вопросов: о жизни, о литературе, о любви.

Я дал на это ряд ответов».

Уже, как видим, до тонкости известно, как не надо писать. Непринужденно демонстрируются образцы самых разных литературных стилей, и все насыщено ядом пародии...

Однако это все-таки не пародийный, а вполне «позитивный» по своим задачам ро-

ман, и где-то, наверное, должна в нем быть вполне позитивная, не пародийная проза — проза, написанная всерьез.

«Мы вышли.

Был вечер. Были улицы, наполненные путниками, среди которых там и сям попадались гении и девушки с глазами, полными неосознанного вдохновения.

Был вечер».

Героям грустно, но писать об этом всерьез автору кажется невозможным, неприличным и, видимо, уже не получается. Тогда появляются гении, и специально придуманные девушки, и «там и сям», и прочие атрибуты деланно веселого стиля.

Уже нельзя сказать просто о простых вещах. Происходит как бы специальное усложнение стиля. Автор уже не может сбросить позу утомления от дурной литературы. Даже там, где нет пародии «по заданию», сохраняются по инерции ее стилизационные признаки, и мы видим юмор, нацеленный в пустоту, пародию, потерявшую предмет пародии.

Вот еще одна попытка высказаться всерьез, уже, казалось бы, бесспорно всерьез. «Памфилий вообще физиков за людей не считает. Он утверждает, что образовалась целая когорта физиков, которые удирают в лаборатории, в «ящики», чтобы укрыться от проблем жизни под видом приближения к этим проблемам. Башня слоновой кости с кондиционированным воздухом. И что это скоро обнаружит себя отсутствием больших идей миропонимания».

Тут особенно удивительна первая фраза. Игривость стиля приводит к странным результатам: сорокалетний герой начинает изъясняться в тоне кокетливой семиклассницы (что-то вроде: «Мальчишки вообще нас за людей не считают...»). И даже членение фраз производится по образцу присоединительных конструкций детской речи («И что это скоро...»).

Одна неверно взятая нота могла бы, конечно, быть результатом простой небрежности. Но нота эта не случайна. Жеманный тон становится господствующим в повести. Физики непременно «удирают» в свои лаборатории — невозможно, чтобы они вошли туда обычным шагом. Огромную силу приобретает инерция иронии — иронии автора и над словами героя, и над своими собственными. Фокус этой иронии потерян, но это, по-видимому, и неважно для автора.

Хорошим литературным тоном стал легкий компрометантный оттенок повествования, постоянная авторская готовность к самопародии, цели которой неизвестны. Это, как верно заметил Ф. Светов в уже упоминавшейся статье, «тот спасительный «современный» юмор, за которым чаще всего скрывается лишь равнодушие и неглубокость».

Основной заряд юмора сосредоточен в повести этого рода обычно вокруг личности главного героя.

Почти все авторы таких повестей любят своих героев. Они пишут о них не иначе, как с теплым юмором, с мужественной сдержанностью, со спрятанной за иронией нежностью.

Юмор нашел себе, таким образом, еще одно применение. Он выражает любовь и доверие автора к своему герою, те чувства, которые теперешнему автору необходимо передать без патетики, какими-то иными средствами. Так рождается особое повествование, расхожий стиль, усвоенный многими.

«Когда вездеход засел окончательно и Эдик побегал в леспромхоз, который они проезжали совсем недавно, так, километра два успели отползти, Яша сел на пенек и стал чертить на земле палочкой одному ему понятные знаки. Со стороны он, наверное, походил на Иисуса Христа, составляющего в уединении производственные планы на ближайшее тысячелетие. Такой же усталый, такая же рыжая щетина (две недели не брился). Только ореол вокруг головы был черный. Комары стонали в отчаянии, но сестра не решались» (А. Гладилин, «История одной компании»).

Авторы современной повести обычно и не пытаются «дотянуть» до каких-то действительно смешных положений. Им достаточно лишь внешних аксессуаров юмора, сопутствующих ему черт — неожиданного столкновения далеких предметов, необычности сравнений, способных оживить любой рассказ, — достаточно общего иронического тона. Этот тон успешно размывает отдельные детали и в то же время делает их все равно пригодными для использования — даже если все упомянутый Иисус Христос спутан с Саваофом. А. Гладилин, впрочем, уже не в первый раз обращается к полюбившемуся приему. В повести «Бригантина поднимает паруса...» он рассказывает: «Ночью Андрианову приснился бог.

Бог почему-то сидел в парткоме лесозавода. Бог был в светлой ковбойке и в серой спецовке. Бог выглядел очень усталым, звонил по телефону и ругался с отделом снабжения». Как видим, и здесь не заметно особенной работы над созданием комического эффекта. Автору кажется, по-видимому, что слово «бог» достаточно смешно само по себе.

Почти даровые блага юмора привлекают к себе все большее количество авторов. Цели использования поэтики юмора становятся все более простыми.

«Левка Гликман показывал фокусы: «Навуходонсор... Брамапутра... Закройте глаза и считайте до трех...». «Клиенты» закрывали глаза и считали. Левка творил чудеса. В руках «клиентов» угрюмый король превращался в дамочку. Потом ту же дамочку находили во внутреннем кармане пиджака тощего техника-чертежника Вальки Шатько по прозвищу Рейсфедер. Рейсфедер тупо озирался и не верил» (И. Штемлер, «Гроссмейстерский балл»).

Средства такого юмора так же просты, так же близко лежат, как и его цели. Друзья-инженеры названы клиентами, а чтобы было еще смешней, слово заключено в кавычки.

Тощего чертежника зовут Рейсфедер. Он тупо озирается, что смешно уже само по себе. Вся эта несложная машина пущена в ход, чтобы читателю было ясно, какая веселая жизнь у молодых инженеров, как они умеют работать, но не только работать, а и отдыхать, какие они все шутники, веселые, энергичные ребята.

Протоптанные тропки мнимосатирического изображения угадываются здесь на многих страницах. «В квартире было двенадцать съемщиков. В коридоре — двенадцать дверей и длинный ряд электросчетчиков на стене. Пузатых и черных. Филиппу казалось, что двери, мимо которых он тащил сверток с конским хвостом, дышали и шевелились. За одной кто-то ехидно хихикнул. Из другой вышла гражданка в халате и с грядками бигуди на голове». Берется, как видим, вполне готовый штамп (сложившийся еще в двадцатые годы прямо по следам рассказов М. Зощенко) — двенадцать съемщиков, двенадцать счетчиков, — штамп, безотказное действие которого многократно проверено, как и действие фельетонного облика соседки в халате и в бигуди. Приобретение последних лет — разве лишь точ-

ка на месте запятой: «...электросчетчиков на стене. Пузатых и черных».

Юмор в этой повести (как и в подобных ей), однако, выступает не только в роли беллетристического приема. оживляющего повествование и тем самым побуждающего читателя к дальнейшему чтению (читать легко, вроде даже весело, может быть, дальше будет что-то интересное...).

Средствами юмора, имитацией мужественно-иронического взгляда на вещи совершается в повести последовательное упрощение действительности, которая предстает перед читателем в наиболее элементарных своих очертаниях. Ведь самые плоские суждения, соединенные с некоторым подобием авторской улыбки, тем самым намекают на глубину.

«Сели. Мимо прошел милиционер. Он ел мороженое и смущенно поглядывал на молодых людей. Милиционер был на посту, и ему было жарко. Отойдя немного, он огляделся и скомкал серебристую обертку. Урны поблизости не было. Милиционер, продолжая вышагивать, вытянул руку в сторону. Серебристый комок скользнул по гранитной стенке в воду. Совершив «нарушение», милиционер выпрямился и строго удалился... Филипп и Нина рассмеялись».

Пузатые счетчики, соседка в халате, смущенный милиционер — все это вещи одного и того же литературного плана. Все это мнимая смелость, мнимая лирика, мнимая ирония. Все это в конечном счете — пути построения мнимой литературы.

Повесть И. Штемлера не имеет, кажется, никаких задач, связанных с поэтикой юмора, — в ней нет ни взгляда писателя-сатирика, ни взгляда автора, тонко чувствующего банальность и штамп в современной ему литературе и преследующего главным образом пародийные цели.

Таким образом, юмор нашел себе применение в этой повести как бы не по праву — он помогает выдавать незначительное за значительное. И знаменательна та уверенность, с которой современный автор обращается за помощью именно к юмору: он как бы заранее рассчитывает на доверие читателя, еще помнящего замечательную прозу М. Зощенко, М. Булгакова, И. Ильфа и Е. Петрова.

3

Но, быть может, мы требуем от юмора слишком многого? Может быть, в серьезной,

не специально юмористической прозе он всегда был лишь пряной приправой, веселым антуражем, облегчающим читателю процесс чтения?

Однако уже из истории русской литературы видно, что и юмор и ирония в серьезной прозе занимали когда-то иное место.

Талантливый исследователь Чехова А. Роскин писал: «Можно с уверенностью сказать, что будущие исследования покажут глубокую связь литературных приемов Антоши Чехонте с самыми важными, основными элементами стиля Антона Чехова. Более того: исследования эти покажут, что новаторство Чехова в значительной мере определено «юмористическим происхождением» Чехова». Действительно, основные новаторские черты поэтики Чехова сложились еще в недрах юмористических журналов, в первые шесть-семь лет его работы. Созданный Чеховым новый язык прозы, по выражению Маяковского, определенный, как «здравствуйте», и простой, как «дайте стакан чаю», знаменитая чеховская свежесть описаний природы, его прославленные детали — все это находит истоки и в его юмористической прозе.

В одном из рассказов 1880 года — года чеховского дебюта — читаем: «Господин Назарьев — мужчина роста среднего, лицо имеет белое, ничего не выражающее, волосы курчавые, затылок плоский... Любит больше всего на свете свой почерк, журнал «Развлечение» и сапоги со скрипом...» Здесь в неожиданном соединении деталей, как будто случайных, как будто данных вскользь, угадываются позднейшие чеховские портреты.

Между прозой зрелого Чехова, открывшего новые принципы изображения мира и человека, и Чеховым молодым лежит большой путь. Но эта новая проза берет свое начало в рассказах Человека без селезенки, Чехова-юмориста.

Юмор давал писателю большую свободу — и в общем отношении к миру, и в отношении к приемам композиции, к фабуле, к стилю. Можно было писать в любой манере, любом стиле. Изобретать новое, использовать старое. Можно было экспериментировать, пробовать любые формы.

Это понял молодой Чехов; в свободном отношении к материалу и слову он с первых шагов пошел гораздо дальше своих коллег-юмористов. Чехов-прозаик беспрепятственно обращается все к новым стилям, са-

мым разным манерам, различным повествовательным маскам, пробует, ищет — и в этих поисках вырабатывает свой собственный, индивидуальный стиль.

Юмор в русской литературе и после Чехова долгое время остается одним из мощных образователей новых стилей.

Уже ближе к нашему времени, в двадцатые годы, новая, еще неизвестная русской литературе проза рождалась на страницах повестей писателей-сатириков. Появляются удивительные, поражающие блеском таланта повести М. Булгакова. Впервые вводит в литературу материал нового быта и нового языкового сознания необычная, с первых шагов получившая огромный и на долгие годы сохранившийся успех проза Михаила Зощенко. В конце двадцатых — начале тридцатых годов выходят романы И. Ильфа и Е. Петрова.

Эти романы увлекали своих первых читателей не только необычной для нашей литературы, как будто не по праву занявшей центральное место в романах фигурой главного героя, не только смелостью авторского отношения к явлениям общественной жизни. Это была, кроме прочего, новая по своему строю проза, поразившая дерзостью своего стиля.

«Утро застало концессионеров на виду Чебоксар. Остап дремал у руля. Ипполит Матвеевич сонно водил веслами по воде. От холодной ночи обоих подирала дрожь. На востоке распускаясь розовые бутоны. Пенсне Ипполита Матвеевича все светлели. Овальные стекла их заиграли. В них попеременно отразились оба берега. Семафор с левого берега изогнулся в двояковогнутом стекле. Синие купола Чебоксар плыли словно корабли. Сад на востоке разрастался. Бутоны превратились в вулканы и принялись извергать лаву наилучших кондитерских красок. Птички на левом берегу учинили большой и громкий скандал. Золотая дужка пенсне вспыхнула и ослепила гроссмейстера. Взойшло солнце».

Непосредственно сатирические цели прозакальзывают здесь только в легкой насмешке над героями («концессионеры», «гроссмейстер»), в преувеличенном внимании к внешности Ипполита Матвеевича. Эти цели здесь не главные; перед нами, кроме того, описание, безоглазно действующее на читателя своим быстрым, энергичным темпом, подчеркнутой картинностью, почти назойливым следованием за сменой зри-

тельных впечатлений, дерзким сближением «разностильных» предметов и слов: рядом с «розовыми бутонами» и «синими куполами» оказывается слово-термин («двойковогнутое» стекло) или слово, взятое из языка рекламы, проспекта торговой организации («...наилучших кондитерских красок»).

4

Сопоставление с этой прозой особенно наглядно обнаруживает несамостоятельность литературной работы многих сегодняшних молодых авторов, обратившихся к юмору. Сам механизм только что цитированных описаний оказался легко усвоенным ими. Романы Ильфа и Петрова вызвали в последнее десятилетие вторую волну подражаний. Для современной «повести с применением юмора» оказался очень удобным язык прозы авторов «Двенадцати стульев» и «Золотого тельника» — ее темп, ее подход к предмету, особая «стянутость», как бы сокращенность описаний и непереносимое присутствие слегка эпатажирующих читателя сравнений. Близость современных авторов к этой прозе оказывается часто почти текстуальной.

«Ветер светлым облачком скользил по песку. У скамейки валялись ягоды рябины. Влажный песок отливал радужными красками, словно его облили бензином. Неподвижные чайки белели на воде, как куски газеты. Солнце все быстрее погружалось в тучу. Вот от него остался маленький кусочек. Туча пошла вверх, и солнце блеснуло последний раз, как огонек папиросы. Серые, будничные цветы сгрудились у горизонта... И только здесь, где стоял Медведев, на воде иверху было светлее, а верхний край одного облака розовел, как крем пирожного».

Это отрывок из повести А. Гладилина «История одной компании».

У Ильфа и Петрова здесь заимствовано, как видим, почти все, вплоть до «кондитерских» сравнений; там описан восход, здесь закат, но средства применены сходные. Однако общее впечатление, как видим, несравненно более бледное: это проза, из которой выдернут «стержень», в которой не чувствуется автора с его единым и своеобразным отношением к предмету. Текст распадается поэтому на отдельные фразы, лишь по внешности похожие на энергичную, скрепленную единым внутренним заданием прозу Ильфа и Петрова.

Однотипные — по синтаксису, по отношению между фразами, по строю всего абзаца — куски можно выбирать десятками из современной прозы. «Мы сели на свои места. Кот, сопя, доедал дорогобужский сыр. Сквозь щели беседки пробивалось закатное солнце» (М. Анчаров, «Теория невероятности»). Это поочередное выхватывание совсем разных по масштабу предметов и до тошное, слегка насмешливое стремление к точному указанию качества предмета, его «этикетки» («дорогобужский сыр»), — конечно, особые приметы специфического мира вещей в романах Ильфа и Петрова.

Очень сильно воздействие на современную прозу — в том числе и на собственно «сатирическую» повесть, о которой здесь еще не упоминалось, — оказало новое по своему качеству, к тому же всегда как бы выдвинутое вперед определение предмета — заметный признак прозы Ильфа и Петрова.

«На большом пустыре стоял п а л е в ы й т е л е н о к», «м я т н ы й» свет луны, «мягкий а б р и к о с о в ы й свет солнца», «голые ф и о л е т о в ы е ступни» лежащего в дворничкой Бендера и его же «а п е л ь с и н н ы е ш т и б л е т ы» — все это сами по себе далеко не новые в литературе эпитеты, однако впервые приложенные к «неподходящим» для них предметам. Были палевые облака, но не было палевого тельника. Эпитет взят как цитата и использован для новых целей.

В прозе Ильфа и Петрова постоянно сохраняется ощущение, что слово употреблено не по назначению, и это входит в задачу авторов, в характеристику их стилиевой манеры.

Все известные слова, конечно, так или иначе уже употреблялись в литературе, но здесь они как бы живьем выдернуты из других, устойчивых, освященных длительной литературной традицией контекстов.

И даже в неприятном определении касторовой шляпы Ипполита Матвеевича как «запятнанной» ощущается этот перенос, неуловимый «литературный» вкус эпитета, стоящий на нем штамп «бывшее в употреблении».

Теперь подобное же обращение со словом постоянно встречается у самых разных авторов: «Старик вынул из калош босые ноги. Владимир Ермолаевич без особого удовольствия посмотрел на ж е л т о в а т о л и м о н н ы е конечности травника с давно не стриженными черепаховыми ногтями» (С. Шатров, «Крупный выигрыш». Роман-фельетон).

Так же добросовестно усвоены и некоторые другие, проверенные многолетним успехом романов Ильфа и Петрова, способы обращения со словом: «На нем была ситцевая народвольтческа я рубаха, тяжелые штаны из старинного диагоналя и глубокие восточные калоши фасона КС, предназначенные для ношения без обуви» (там же). Весь отрывок в целом построен по законам прозы Ильфа и Петрова (ср., например, в «Золотом теленке» — «легкие сиротские брюки»). Как видим, такой «двойной» эпитет тоже с успехом применяется современными авторами. Проза Ильфа и Петрова служит для них как бы моделью. Принцип работы которой усвоен довольно точно и позволяет подражателям строить по этому образцу целые страницы описаний. Можно привести в качестве примера хотя бы начало уже цитированного романа С. Шатрова: «Редакция газеты «Звезда» помещалась в трех нижних этажах нового дома. В нем было много стекла и света. Журналисты радовались ненормированным солнечным лучам. Но вместе с солнцем в дом беспрепятственно проникали и звуки.

Повседневная звуковая палитра состояла из топота пешеходов, скрежета автомобильных тормозов, пиршественных кликов завсегдаев пивной точки «Голубок» и громогласных поучений, несущихся из орудовской машины»...

Цитату эту можно было продолжить как угодно далеко. Рассказ строится, как видим, на целой цепочке клише, на словосочетаниях, вторичность которых очевидна всякому — потому что проза Ильфа и Петрова разошлась по рукам, запомнилась почти дословно.

Влияние этой прозы на литературу последнего десятилетия шло, впрочем, сразу двумя путями: она воздействовала, во-первых, непосредственно, в качестве литературного образца, обладавшего некоторыми свойствами, вновь ставшими актуальными (сатирический пафос; усиленное пародирование литературных шаблонов и т. д.). Во-вторых, молодые авторы обратились к устной речи самого последнего времени, и поток этой речи, хлынувший в современную литературу, вынес большое количество ходячих выражений, представлявших собой нечто вроде неточных цитат из хорошо известных романов и некоторых «смешных» способов сочетания слов, тоже подсказанных в свое время прозой Ильфа и Петрова,

пародировавшей шаблоны канцелярии, газеты, митинга и т. д.

Так определились границы «новой» повести со сходными героями, с единообразными стилизованными приемами, синтаксисом, словарем, интонацией.

Обращение к юмору сделало авторов не разными, а похожими. Лица их становятся неразличимыми, а голоса звучат в унисон. И собственно «сатирическая» повесть, и повесть, лишенная специально сатирических заданий, одинаково старательно эксплуатируют проверенные юмористические приемы.

«Однодетные и болеедетные горожане вынуждены общаться с природой весь летне-каторжный сезон. Они желают, чтоб их отпрыски максимально резвились среди чудом сохранившейся березки» (Э. Брагинский, Э. Рязанов, «Берегись автомобиля!»).

Использован полный набор средств словесного комизма: и новые словообразования по типу канцелярских («однодетные и болеедетные», «летне-каторжный»), и всевозможные формы деловой речи («общаться с природой», «максимально резвились»), и устаревшие и потому смешные в обиходном употреблении слова («отпрыски»).

Авторы тонут в этом потоке комического словоупотребления, и такая перенасыщенность текста фигурами юмора совсем не случайна.

Любопытно, что, хотя все это по отдельности восходит будто бы к приемам прозы Ильфа и Петрова, на самом деле в романах Ильфа и Петрова вовсе нет этой перегруженности юмором каждой страницы текста. Чаще всего (и это мы уже видели) в их грозе картина рисуется почти всерьез, почти всерьез строится любое описание — только звучит оно в мажорном, иногда почти бравадном тоне. Преобладает в этих описаниях вовсе не интонация записного остряка (несмотря на всем известное обилие первоклассных острот), а скорее впечатление роскоши жизни, яркого, резко освещенного мира, и лишь окраска буквально нескольких слов выдает авторскую несерьезность.

Это тонкое чувство меры, присутствие каких-то особых литературных задач, не сводимых к задаче искусственного «оживления» повествования, отличало прозу Ильфа и Петрова и совсем, кажется, утеряно их последователями. Современные юмористы, хорошо запомнив цитаты из люби-

мых авторов¹, не заметили главных принципов, на которых держится их проза.

В этих повестях чрезвычайно много шума, много деланного веселья и энтузиазма. «Было восхитительное, первостатейное утро. Превосходное подмосковное солнце освещало изумительную природу, окруженную со всех сторон добротным частоколом» (Э. Брагинский, Э. Рязанов, «Берегись автомобиля!»).

Этот слишком уж энергичный опереточный тон, ставший непременным свойством прозы, входит в резкое противоречие с явно бледной, недостаточно сильной в эмоциональном и интеллектуальном смысле авторской личностью, которая вызвала к жизни этот тон. Автор проявляется в тексте больше, нежели у него есть к тому оснований. Как бы заранее предполагается, что постоянно поддерживаемый вокруг происходящих в этих повестях событий ажиотаж, искусственным образом созданная «высокая температура» стилия заменят собой глубину и остроту мыслей или во всяком случае замаскируют их отсутствие.

Любопытно, что в «сатирических» повестях автор довольно охотно появляется на авансцене.

«Прораб Мартыничук (о нем, если помните, нелестно отзывался Голосеев) был женат второй год» (С. Шатров, «Крупный выигрыш»).

«Знаете, что мне напоминает туристский автобус? Детский сад на прогулке» (М. Семенов, «В чемодане — улыбка. Путешествие, как его видит юморист»).

Чтобы поддерживать определенный накал веселости, оживления, автор принимает позу разговорчивого собеседника. Он вынужден прибегать к прямым напоминаниям о себе, искусственно поддерживать впечатление единства мысли, связывающей всю повесть, единства стилиевой системы — именно

¹ Герои самых разных повестей острят «по Бендеру»: «Вы были октябристом? Кадетом? Вы боролись за конституционную монархию? — ехидно спросил Недрига» (С. Шатров, «Крупный выигрыш»). И там же почти совершенно словами Бендера выражается совсем другой герой: «Служителям культа — физкульт-привет! — приветствовал их Выростков, стараясь казаться веселым. — Как делишки? Почему нынче проводы на небо?» (ср. в «Двенадцати стульях»: «Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа? Берете?», «Почем опиум для народа?»).

потому, что на самом деле этого единства нет. (Напомним, что таких авторских диалогов с читателем почти нет у Ильфа и Петрова. Им не нужны были подобные подпорки. Повествование развивалось в их романах «само», как бы силой заложенной в него упругой пружины. Авторам не надо было напоминать о своем существовании — оно ощущалось постоянно, было выражено самой организацией словесного материала.) И характерно, что авторы нередко прибегают к рассказу от первого лица — чтоб уже постоянно поддерживать эту видимость общения с читателем.

Насколько сатира в «сатирической» повести далека от того, что привыкли понимать под сатирой читатели Щедрина, М. Булгакова, Зошенко, настолько и юмор повести «юмористической» далек от того юмора, который формировал когда-то новую прозу, вызывал к жизни значительнейшие литературные явления.

Роль его здесь, как и в повести о молодом человеке, гораздо скромнее. Он становится неким всепроникающим материалом, заполняющим любые пустоты в тексте, заменившим собою и «настоящую» иронию, и «настоящую» серьезность.

5

Почему же повесть о молодом человеке, которая начиналась так интересно, теперь заметно утрачивает свое литературное значение? Очевидно, эта повесть слишком быстро вошла в берега, сама стала каноном. Как это ни парадоксально, но каноном в первую очередь стало само болезненно острое чувство литературной традиции (дурной традиции) и шаблона — одна из самых резких, прежде всего заметных черт «новой» повести.

С самого своего возникновения «новая» повесть настойчиво подчеркивала свою полемичность по отношению к «серьезной» прозе.

В «Продолжении легенды» А. Кузнецова вместо обычной характеристики героев дается список-анкета. «Петя ка. Он электрик...» и т. д.

В одной из первых повестей А. Гладилина — «Дым в глаза» — традиционная предстория героя излагается таким образом: «Ему пришлось усвоить: правила уличного движения, таблицу умножения, общественные истины... научиться: драться и не ябед-

ничать, кататься на подножке трамвая, сбегать с уроков, мыть посуду... Узнать: что такое несправедливость... и что такое счастье... Вот через все это Серов пришел в свою юность».

В последующих повестях А. Гладилина эта противопоставленность традиционным темам, предметам, приемам еще усилилась, тем более что материал для пародирования постоянно пополняется «серьезной» повестью. В «Вечной командировке» читателю уже без обиняков «в этом месте предлагается раскрыть любую книгу, посвященную студенческой жизни или поступлению в институты. В каждой из них подробно описано:

- 1) как светило солнце ласковым сентябрьским утром;
- 2) как троллейбус шел по людным праздничным улицам Москвы;
- 3) как нарядные, взволнованные девушки и смущенно улыбающиеся юноши с душевным трепетом переступают святые стены вуза, в котором...
- 4) как встречались взгляды нашей героини с высоким черноволосым парнем, трудовые мозоли...
- 5) как стилиста Эдик...
- 6) седые волосы профессора...
- 7) прочие интересные вещи, мысли, взгляды...

Об этих неперемных для литературы аксессуарах студенческой жизни говорится с легким юмором. По-видимому, сам автор иначе увидит «ласковое сентябрьское утро». Не будет он описывать и то, «как встречались взгляды нашей героини с высоким черноволосым парнем», а расскажет об этом по-другому, иными, не затертыми словами.

И вот — действие повести подходит к моменту встречи героя и героини. «Дымный майский вечер спускался на улицы города... Сзади нарастал рев машины. Ира успела подумать, что машина идет с большой скоростью. Резкий визг тормозов пронзил улицу. Ира обернулась...» Автор поступает очень просто. Он вообще ничего не изображает. Он прерывает на этом месте свое описание (кстати сказать, построенное целиком на столь нелюбимых им штампах) таким замечанием: «Автор дает честное слово, что когда-нибудь он продолжит подробное описание того, как встретилась Ира с Алексеем Краминовым, куда они ходили, о чем говорили, что думали друг о друге, а также все

переживания, тревоги, радости,— все, что принесла им любовь».

Столь же просто поступает А. Гладилин и с изображением вечеров, ласковых утр, полей и лесов. «Лес, как и полагается всякому порядочному лесу, был темным. Все лесное царство твердо знало свои обязанности: деревья стояли стеной и изредка шумели верхушками, поводили ветками и сбрасывали (сугубо для настроения) какой-нибудь одичалый, пожелтевший лист; кусты изредка цеплялись за одежду и манили; дежурные ночные птицы периодически пролетали над головой; ну и, естественно, было подобрано несколько высоких пней, которые издали можно было принять за присевшего человека».

Это не пародия. Пародист высмеивает штамп с целью его отрицания. Гладилин же им пользуется. В свое время И. Соловьева справедливо заметила, что, «иронизируя над стандартом... Гладилин под видом полемики, в сущности, демонстрирует согласие с этим стандартом. Добавить к этому стандарту ему нечего» («Новый мир», № 4, 1963). Застраховав себя иронической интонацией, прикрывшись ею как щитом, он применяет штамп в его прежнем, прямом смысле. Создается своеобразное антиписание, дающее видимость чего-то нового. На самом же деле шаблоны описания леса используются для подобного же описания леса. Никакой добавочной функции они не несут. Отрицания традиционного стиля не получилось.

Этот прием чрезвычайно распространен в современной повести. Автор подает — обычно с первых же строк — ряд сигналов, которые должны засвидетельствовать степень его ироничности, его чувства юмора, его ощущения литературного шаблона.

Вот как начинается первая глава повести Марка Тартаковского «Мокрые паруса» («Молодая гвардия», № 4, 1965): «Море грозно ревело. Хлестали волны. Свистел ветер». К каждой из этих фраз дана сноска: «Украдено из разных книг», «То же», «В дальнейшем о фактах плагиата сообщаться не будет». Автору впрямь, видимо, кажется, что двумя первыми строчками он навсегда обезопасил себя от всяких упреков в следовании литературным штампам, что теперь он может пользоваться ими беспрепятственно. И он ведет читателя сквозь стилистический хаос повести, где свалены в одну грудку трафареты всех манер, и смеет

кончает повесть возвышенными словами о молодом человеке, который идет по Ленинграду, приходит к дому любимой девушки, «улыбается, толкает тяжелую дверь и входит в парадное. Здесь расстанемся с ним. Будьте уверены: он добьется всего, чего захочет. А хочет он многого».

Повесть «Вечная командировка» заканчивается главой «Объяснительная записка автора». В ней автор суммирует и перечисляет основные черты характера своих героев.

«Вообще дневники показали, что Краминов был несколько другим, чем представляли его друзья... Человеком, через которого проходят «все токи вселенной», быть очень трудно, а ведь именно к этому стремился Краминов. Поэтому «год сомнений» вполне закономерен. Но у автора сложилось впечатление, что Краминов прекратил свои записи потому, что кризис миновал».

«Единственным человеком, который понимал, что происходит с Краминовым, была его жена... Ира, как мне кажется, и была самым тяжелым испытанием для Краминова. Но и ей нельзя позавидовать. Она видела, что Краминова на нее не хватает. Не хватает не в смысле прилично-семейной жизни, а в том, что у него уже не остается тех душевных сил, которые необходимы для большой любви. А Ира не из таких, чтобы принимать мелочь».

Что это такое? Это обычный перевод художественных образов на язык публицистики, разъяснение литературного произведения критиком. С той только разницей, что это сделал сам автор и критическое эссе призвано не только разъяснить нечто уже данное в произведении, но и добавить к нему некоторые весьма существенные детали. Языка искусства недостаточно, в конце нужно давать критические добавления! Такого, кажется, еще не бывало в литературе. Но для А. Гладиллина это не нечто из ряда вон выходящее. Эти подпорки к шаткой авторской конструкции поданы под видом необычного художественного приема. Но это служит тому же, что и иронический тон его прозы,— подмене положительного содержания внешним антуражем, созданию мнимой литературы.

В первой повести А. Гладиллина герой пишет своей возлюбленной такое письмо: «...самое противное, что приходится говорить пошлые слова, вроде: я тебя люблю, я не могу жить без тебя, ты мне будешь подругой в жизни и т. д... Но как-то надо это

сказать? Итак, я хочу, чтобы ты переменила фамилию».

Герой хочет сказать то же, что говорили много раз до него другие. Но непременно другими словами, во что бы то ни стало другими — пусть даже еще более «пошлыми».

Современная «новая» повесть очень похожа на этого героя. Она хочет говорить новому, но не замечает собственных, уже благоприобретенных тривиальностей.

В восьмидесятые—девяностые годы в России большой известностью пользовался В. Билибин, с юморесками, шутками, пародиями выступавший в «малой» юмористической прессе (в серьезных журналах тогда пародийная проза не печаталась). Он очень остроумно пародировал стиль великосветских романов, например описания роскошных будуаров или выпрених описаний природы. Чехов считал его мастером юмористической мелочи и фельетона. Но когда Билибин обращался к более серьезным жанрам, тот же Чехов так объяснял причину его неуспеха. «Не понимает, что оригинальность автора сидит не только в стиле, но и в способе мышления, в убеждениях и проч., во всем том именно, в чем он шаблонен, как баба».

6

«Новая» повесть и стили, связанные с ней, возникли в конце пятидесятых годов. Впервые за многие годы резко изменилась общественная обстановка. Было прямо сказано о ложности многих прежних догм.

Эта ложность ощущалась многими в первую очередь как ложность прежней знаковой системы: она-то и воспринималась как главный враг. Борьба с фразеологией предшествующего времени заняла в умах едва ли не первенствующее место.

Возникла литература, тесно связанная с этим явлением — отрицанием прежней фразеологии. Литературные герои отрицали любые высокие слова. Это означало: они отрицают ложь, подчас стоявшую за этими словами. Простое, «бытовое» слово в поэзии и прозе стало синонимом правды, истинного, искреннего чувства.

Прошло время. Стало очевидно, что отбросить знак еще не значит отбросить означаемое. Но приверженцы «нового» стиля еще не замечают, что юмористическое, ироническое, пародийное слово, так широко

проникшее в литературу, лишь по традиции выступает сейчас в качестве сигнала чего-то нового. За ним давно уже стоят свои каноны, своя инертность мысли и стиля. Оно уже само превратилось только в знак истины, который читателю предлагается по старой памяти принять за самое истину.

Не будем удивляться, что эта литература имеет своих читателей и почитателей, а также ярых противников.

У нее есть несколько качеств, привлекающих к ней внимание. Во-первых, она дала за последние годы довольно большую продукцию; во-вторых, она представляет собой явление развивающееся — число авторов, усваивающих единый, теперь уже достаточно хорошо разработанный повествовательный язык, все растет; и наконец она имеет достаточно большой круг еще далеко не разочаровавшихся в ней читателей — что, естественно, привлекает к ней в свою очередь читателей новых.

Иронически-пародийная манера вести рассказ в последние годы все больше теснит манеру «положительную». Она становится нормой. Выделяться стали, напротив, случаи ровного повествовательного стиля, а оживленный, игривый стиль, интенсивно окрашенный авторским чувством юмора, стал основным «наполнителем» любого повествования.

Эта манера становится признаком «современной прозы», как бы визитной карточкой «современного стиля» — знаком стиля «приличного», пристойного в настоящее время. Стиль этот стал «средней нормой», показателем литературности. Произведение, сделанное по его правилам, — такое, которое легко читать, — уже одним этим как бы включается в литературу.

Еще сравнительно недавно знаками «приличной» литературы были успехи положительного героя — молодого специалиста, благополучная концовка, серьезный стиль. «Новая» повесть по отношению к этой литературе принципиально полемична. Но, отвергнув эту систему внешних признаков, она заменила ее другой, не менее внешней, не имеющей самых основ изображения мира.

Возникает не редкая в истории литературы ситуация — обретя некоторые новые качества, литературная школа задерживается на «переходном этапе», увлекшись эксплуатацией своих завоеваний, не чувствуя исчерпанности раз найденных путей.

Нельзя забыть, что рядом с этим средним литературным потоком, заменившим юмором мудрость, сменившим одни шаблоны на другие, существует совсем другая литература — скажем, проза В. Белова, В. Семина, В. Войновича; каждый из них идет своим путем, и говорить о каждом можно было бы лишь отдельно. Мы писали здесь о другом — о книгах молодых писателей, имеющих ясно различимые черты сходства, о той литературе последнего времени, которая выработала уже свой, единый, условный, доступный для усвоения стиль, свою систему проверенных средств воздействия на читателя.

«Писать очень трудно», и заметное облегчение этой работы наличием неких непрелюбимых стилистических и сюжетных стандартов, все очевиднее становящихся «языком» современной повести, надо думать, рано или поздно испугает самих авторов, варьирующих сейчас одни и те же открытия и все больше и больше упрощающих задачу писателя.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

И. Виноградов. Любкина свадьба и другие истории.— **Ф. Светов.** Об ответственности человека.— **А. Монгайт.** Книга о древнерусской живописи.— **Наталья Ильина.** Катя за границей.— **В. Борнычева.** О мастерстве воспитания и «усложненных» формулах.— **М. Злобина.** Плата за вещи.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Т. Смирнов. Переработанное и дополненное.— **Л. Шнареннов.** Дела и судьбы белой эмиграции.— **О. Лацис.** В зеркале истории.— **Н. Эйдельман.** В предчувствии краха.— **Э. Рабинович.** Загадки древней цивилизации.— **Вас. Осонин.** Вредна ли книжная пыль?— **В. Френель.** Размышления фантаста.

Литература и искусство

ЛЮБКИНА СВАДЬБА И ДРУГИЕ ИСТОРИИ

Анна Масс. Жестокое солнце. Повесть в девяти новеллах. «Молодая гвардия». М. 1967. 192 стр.

Перед нами — калмыцкая степь, лишь в мае, да и то на какую-нибудь неделю, расцвеченная тюльпанами, но уже в июне иссохшая, голая, покрытая островками жалкой растительности. Человека здесь увидишь редко, он еще не завоевал эту степь, и черные, сожженные солнцем лица чабанов-калмыков — еще не лица хозяев: здесь степь — хозяйка, и уделает она пастухам из своих несметных богатств лишь свой покров, свою колючую шкуру.

Но вот и другая картина. Вы видите алое пламя, вырывающееся из тонкой трубы, оно не блекнет даже в ослепительном сиянии солнца. Здесь переселил человек, он открыл в степи газ. Здесь будет поселок, построят дорогу, приедут люди.

«А начинается это очень обыкновенно...»

Мы понимаем, что эта фраза, венчающая пейзажное вступление, которым открывается книга рассказов Анны Масс, обронена, конечно, не случайно. Это — манифест, своего рода программное заявление о том, как намерен автор рассказывать о людях, осваивающих степь, — людях, с профессией которых связано столько традиционных пред-

ставлений. С тем большим интересом ожидаем мы последующего.

И вот, сразу же вслед за просветом, отделивающим вступление от собственно повествования, — сцена:

«— Снилось мне нынче, девки, будто я мыша в задницу целовала! — сказала Клава, падая на колючую землю, в тень от смточной машины. — К чему бы это, а, девки?..»

Заливаясь хохотом, она толкнула лежащую рядом Машу Белоконь...»

Вот это «мыша в задницу» способно по меньшей мере озадачить. Какая нестерпимая нарочитость литературной позы, какое навязчивое выпячивание отважной «бескомпромиссности» — вот-де какие перлы «обыкновенности», какую грубую «прозу жизни» умеет автор видеть и не боится показывать!.. Нет, уровень художественной мысли, которая движется в системе подобных «художественных контрастов» и прельщается ими, вызывает слишком мало доверия, и возможности его слишком изведаны, чтобы не догадываться о них заране. Как-то сразу вспоминаются и эти стилизованные фигуры девушки и парня на фоне огром-

ного красного шара солнца на обложке книги, и это название — «Жестокое солнце», в котором невольно начинаешь ощущать теперь привкус этакой претенциозной, интригующей (тоже в новейших традициях!) символики, и этот подзаголовок на титуле: «Повесть в девяти новеллах» — не просто повесть и не просто рассказы, а — опять же не льком шиты! — «повесть в новеллах»... И даже в самой вонструенной пейзажного вступления с его движением от «голой, сухой земли» владычицы-степи к Человеку-завоевателю начинают проглядывать знакомые штампы...

Итак, еще один образчик «современной прозы», на этот раз в том ее варианте, когда автор в пылу воинственной полемики с украшательской гастрономией будет обкармливать нас блюдами из сплошных «натуральностей»?.. А там, глядишь, и к романтике — но суровой! неприкрашенной! — незаметно подведет, и герои-победители — но земные! мужественно-сдержанные! без громких слов! — появятся... И за всеми этими силовыми линиями внутрилитературного отталкивания так и не разглядишь опять настоящей жизни, одни только благородные намерения конфликтующего литератора. Как это знакомо, сколько раз читано-перечитано!..

К счастью, все не так, и книга оказывается иной, чем может показаться поначалу.

Да, здесь и голая степь, и пылевые бури, и — «жестокое солнце». Но название это обретает смысл простой и точный, когда видишь, что и эта иссохшая степь, где нет ни дерева, ни кустика, и зной, и сухие, горячие ветры, не приносящие облегчения, одну только пыль, и это и вправду жестокое, беспощадно палящее солнце, которое висит над головой в безоблачном небе от восхода до заката и от которого никуда не скроешься, разве лишь под машину, другого кусочка тени в степи не найдешь, — все это вовсе не романтизированный антураж, рассчитанный на то, чтобы тем сильнее пс-разил нас героизм людей, здесь работающих. Да, все это действительно трудные, очень трудные условия для работы и жизни. притом условия каждодневные, будничные, на многие месяцы, и для работы тоже не на час и не на два, а от восхода и до заката. Но Анна Масс не эксплуатирует их в литературных целях, она рассказывает о них просто потому, что они — реальность, и без этой реальности, так много значащей в

жизни людей, работающих здесь, жизнь эту не поймешь, не почувствуешь, не представишь в ее действительном ходе и наполнении. И рассказано об этом тоже просто, без нажима, лишь с той мерой пристальности, какая необходима для воссоздания живого облика жизни.

С другой стороны, и та «обыкновенность», что была нам обещана, выглядит в книге совсем не так, как можно было ожидать по первой рекламной заявке с «мышом», — подобного рода образчики невысокого художественного вкуса не характерны для книги. Молодая писательница и здесь не проявляет склонности к нарочитости, интерес ее к «обыкновенному» — это все тот же ее интерес к самой жизни, а не к тому, как ее препарировать — поромантичнее или попроще, — интерес к живым, реальным людям в их каждодневной и в этом смысле обыкновенной жизни.

О чем же рассказывает книга Анны Масс?

Да вот об этих людях и рассказывает — о простых, обычных, разных людях, волею судьбы сведенных в одной из геофизических партий в Калмыкии. О буровиках и операторах, об инженерах и шоферах, гоняющих по степи в своих раскаленных машинах. О девушках-рабочих сейсмического отряда, которым приходится, может быть, особенно тяжело — целый день под палящим солнцем в голой степи, одна стоянка, другая, и каждая — это триста раскаленных приборов, которые надо винтить в окаменелую землю, а тут еще провода, которые то и дело рвутся, надо опять бежать, искать разъединение, чтобы разведочный взрыв был проведен, стоянка отбита — ведь впереди еще шесть (всего их надо отбить восемь), а тут еще термос с питьевой водой кто-то завинтил небрежно и вся вода вылилась, пока переезжали...

Вот одна из этих девушек — Римма Сиротина. Недотрога и скандалистка, она любит резать в глаза «правду-матку» по любому, как правило вздорному, поводу, и притом любому попавшемуся. Рассказ, посвященный ей («Правда-матка» Риммы Сиротиной»), не слишком удачен: молодая писательница явно «переигрывает» здесь в юморе, демонстрируя образцы Римминой «принципиальности», и слишком увлекается описанием того, как Римма пострадала из-за своей несчастной привычки, оттолкнув от себя парня, который ей нравился. Но из деталей, рассыпанных и в этом и в других

рассказах, где Римма тоже появляется, вырисовывается образ более емкий, и ту же «вздорную принципиальность» нашей героини воспринимаешь отнюдь не только в комическом ключе. Да и что удивительного? В свои девятнадцать лет Римма повидала всякое, намыкалась, нянчила детей у старшей сестры (мать умерла, отец завел дружную семью), работала официанткой — поневоле станешь «самостоятельной», научишься отгрызаться и не давать себя в обиду. И так ли просто осудить ее за то, что ей нравится пошлая, бездарная комедия, которую показывают геофизикам приехавшие из Элисты актеры, и она — впрочем, вместе со всем залом — заливается хохотом, когда на сцене колхозная бабка, приплясывая, поет: «Ах, беда стряслась какая — расскажу я всем кругом — скоро Катя-звеньевая ходить будет с животом»? А после спектакля с восторгом делится с девочками: «Ну и хохотала я!. Как там? «Ходить будет с животом!» Ох, ну и сатирики! Вот это обличили так обличили!» Но многие ли на месте Риммы сумели бы встать выше и судить тоньше?..

У Володи Головина, шофера сейсмоотряда, хорошего, душевного парня, страстного любителя чтения, другая судьба, другие заботы (рассказ «...Костер рябины красной...»). Его жена Лида, которую он еще девочкой, затравленной, запуганной матерью, увез с собой и женился на ней (не любя, просто жалея, но потом накрепко привязался и полюбил), уехала в Москву поступать в физико-технический институт. У нее явный талант к математике, и Володя сам заставлял ее заниматься, освободив ее от всей домашней работы — даже рубашки себе сам стирал, хоть ребята и посмеивались. Сам заставил ее и поехать в Москву.

И вот теперь письмо — поступила. Володя рад, рад безмерно: «Ведь мечта исполнилась!» Но Таня Журавлева застаёт его случайно в опустевшей вечером камералке и видит — он плачет.

«— Теперь все,— сказал Володя.— Потерял я Лидку...

— Как потерял? Сезон окончится — поедешь к ней!..

— А на что я ей нужен?

— Да ты что! Ведь вы муж и жена!

— Нет,— сказал Володя.— Муж и жена — это пока нужны друг другу. А я Лидке больше не нужен. Наоборот, я ей теперь в тягость стану. Ей учиться, расти. Вон сам про-

фессор отстаивал... Моя поддержка ей теперь ни к чему. Кто я? Керагаз правильно сказал; серый шофер.

— И ты будешь учиться!

— Это в пятый класс-то идти? — усмехнулся Володя...»

А вот и лучший рассказ сборника — «Любкина свадьба». Маленькая, угловатая, дочерна загорелая Любка, рабочая сейсмоотряда, выходит замуж за старшего бурмастера Гену Панкратова — высокого, видного, к тому же моложе Любки, которая в свои двадцать шесть лет — «старуха не старуха, а так, женщина без возраста», да еще с пятилетней дочкой на руках неизвестно от кого. Контраст бросается в глаза, и девочки судачат: «Дура она. Бросит ее Генка через год. Точно, бросит».

Но ничего катастрофического не происходит — видно, у Генки тоже был свой резон жениться на Любке, и он снисходителен к ней, не очень обижает. Любка не жалуется. Вот разве лишь стирки только прибавилось, да все чаще тянет забежать на взрывсклад к чудаковатому, одинокому старику, с которым Любка неожиданно подружилась, посидеть с ним, поговорить о себе, о Гене — он ведь не грубый, и не несчастная она вовсе, с чего это взяли? Просто он дружок своих стесняется — у них ведь принято это с женщинами: криком да смехом. Это только спервоначалу с ним трудновато, потом легче станет, — вот заживут они своим домом, и наладится. Хватит, намыкалась по углам, дочку заберет от бабушки, заживут все вместе, семьей...

Эта мечта о своем доме, о простом человеческом уюте семейного счастья, прочно — все для Любки. И опять же — как ее не понять?.. Писательница не спешит с приговорами, так охотно и свысока объявляемыми в подобных ситуациях иными литераторами, хотя и видит всю ту цену, которую приходится платить Любке за свою мечту. Ибо настает день, когда Гена, насыщенный от дружок про свидания Любки со стариком, говорит ей: «Вот что. Бить тебя или там материть я, конечно, не буду. Я моральный кодекс чту. Но чтобы на взрывсклад больше не шлялась! Раз и навсегда говорю, поняла?»

И что же Любка?

Любка сначала бушует — как можно такое говорить? Ведь над стариком и так все смеются, а она приходит — уж как он радуется ей, да что там — может, один он

только и радуется ей, и она тоже с ним только душой и отгаивает... Но тут же и утихает — ведь Гена не привязанный, уйдет, никакого дома не будет... И когда в следующий раз старик подходит к ней — она сидит с девчатами на досках, пересмеивается, обсуждает новости, — Любка весело кричит: «Иди, дед, иди!.. Ковыляй давай на склад, а то весь тол разворуют! А меня не жди, меня Геночка мой ревнует»... Девчата смеются, Любка отшучивается, и никто в густой тени от склада не видит, что Любка плачет, — «не всхлипывая, не вытирая слез, стараясь дышать ровно и отшучиваться позадорнее»...

Книга Анны Масс — никакая, конечно, не повесть, хотя бы и в новеллах. Да и рассказами или новеллами ее зарисовки не всегда назовешь — иной раз это и в самом деле скорее зарисовка, портретный этюд, очерк характера, чем рассказ. Но все же есть в книге и некое единство — и не только в том, что герои Анны Масс работают в одной геофизической партии и с одними и теми же людьми мы встречаемся порой в разных рассказах. За последние годы в литературе мы видели немало молодых героев, схваченных романтикой поисков, творчества, подвигов, труд которых увлекателен и ярък, и часто даже сама профессия — из тех, что больше всего оделены вниманием литературы и общества. Между тем куда чаще бывает, когда и труд людей не так на виду, и не столь он интересен, а часто как раз однообразен, утомителен, тягостен (так что избирают его значительно чаще по разного рода житейским обстоятельствам, чем по свободному зову сердца), и когда тем не менее основной контингент работающих в данном месте или в данной профессии — тоже молодежь, уже потому хотя бы, что сами условия работы требуют именно молодости, здоровья. Знакомство с этой весьма значительной частью нашей молодежи, с ее образом жизни, заботами и мечтами, поведением в быту и на работе не менее, а в чем-то, может быть, и более важно для понимания нашей действительности, чем рассказ писателя с творческих поисках молодого ученого или о молодом агрономе, борющемся против устарелых методов земледелия.

Анна Масс внесла свой посильный вклад для погашения столь очевидного здесь долга нашей литературы, и в этом, может быть, главная ценность ее небольшой книжки. Ее свидетельствам доверяешь — чувствуется,

что она действительно знает жизнь своих героев «изнутри», и семь лет, которые она провела в геофизических партиях, побывав и рабочей, и проявительницей, и техником-вычислителем, не прошли для нее как для писателя даром. Большинство из своих героев она любит, но эта любовь не мешает ей рисовать их живыми, натуральными людьми — без нарочитого снижения, но и без приукрашивания. Она умеет вглядываться в их судьбы и задумываться над ними. Вот почему ее рассказ о Любкином замужестве, или о «принципиальности» Риммы Сиротиной, или о горьких размышлениях шофера Володи Головина — это не просто рассказ о людях, какие они есть, но и о тех возможностях, которые в них таятся и реализация которых зависит, увы, далеко не только от них самих. Ибо ситуация, когда выбирает и диктует не человек, а условия — ситуация все еще, к сожалению, настолько распространенная, что на нее нужно смотреть открытыми глазами. Это — требование самой жизни, и то, что Анна Масс умеет прислушиваться к ее голосу, — отраднo.

Я начал эту рецензию с впечатлений, однако, совсем не отрадных. И не случайно. Да, внимание к самой жизни прежде всего, стремление воссоздать ее собственный, реальный облик — первичное и самое важное в творчестве молодой писательницы. И то, что она не боится этого «диктата действительности», но, напротив, с охотой подчиняется ему, само по себе уже может служить полезным примером для иных начинающих.

Но и этому «подчинению» тоже нужно учиться. Ибо уметь услышать голос самой жизни, понять ее требования, найти ту единственно естественную и, следовательно, подлинно художественную форму, в которую жизненный материал внутренне стремится вылиться, — все это дается не только талантом, но и мастерством, если хотите — выучкой. И как раз здесь Анна Масс терпит подчас досадные поражения: ей явно не хватает опыта, умения, вкуса. Она сильнее там, где отдается непосредственному изображению, — в диалогах, сценах, описаниях. Но когда она начинает строить рассказ, отыскивать для него композиционную форму, интонацию авторского повествования, собственных сил и умения часто не хватает, и писательница подчиняется расхожим приемам, берет лежачие под рукой современные

штампы. Отсюда и попытки использовать ту систему художественных контрастов, которую демонстрируют нам первые страницы, и неумелое зачастую использование юмора, когда автору, видимо, кажется, что юмор создает дистанцию между автором и героем, тогда как на самом деле лишь упрощает образ, стилизует его, делает менее жизненным и достоверным.

Читатель заметит и некоторые срывы в сентиментальность, и порой пристрастие к этойкой простоватой, инфантильной «лирике», и другие слабости, которые вызывают досаду. Анна Масс только начинает, и нужна

еще очень большая работа — и над профессиональным мастерством, и над развитием своего взгляда на мир, своей собственной духовной содержательности, — чтобы стать настоящим писателем.

Не буду поэтому говорить, что Анна Масс — с ее первой книгой — уже обещает стать таким писателем. Но только в постоянном стремлении к этому — единственная для нее (как и для любого другого начинающего) возможность достигнуть той степени писательской значительности, которая заложена судьбой в ее таланте.

И. ВИНОГРАДОВ.

★

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Лев Гинзбург. Бездна. Повествование, основанное на документах. «Советский писатель». М. 1966. 224 стр.

Лев Гинзбург сам определил жанр «Бездны»: «Повествование, основанное на документах». Автор проделал огромную работу, собирая и анализируя документы о преступлениях фашистов — деятельности зондеркоманды СС 10-а, оставившей кровавый след в Крыму, Мариуполе, Таганроге, Ростове, Краснодаре, Ейске, Новороссийске, в Белоруссии и Польше. Он был и в Петрушиной балке, куда в течение двадцати двух месяцев оккупации везли на грузовиках, гнали пешком тысячи людей. Он шел по той же дороге, по которой вели их, пытался представить себе, как они шли, «догадываясь, за чем вдруг колонна свернула с мариупольской дороги в сторону деревни Петрушину».

Автор идет узкой, между двух черных холмов, ложбиной, пытается представить себе, как «по-хорошему» уговаривали их проявить «наконец сознательность», раздеться, сойти в яму. Он видит обелиск со словами вечной памяти и думает о том, что же это такое — вечная память? «Несколько слов на обелиске, ежегодные митинги, книги писателей? Или вечная память о погибших — это вечное, как сама жизнь, чувство ответственности за свою страну, за себя, за своих детей, за весь мир, чувство, которым должен проникнуться каждый человек, все люди?..»

Да, речь идет не только о невозможности забыть о страшном прошлом, но и о чувстве ответственности за все, что происходит во-

круг. Одна из самых зловещих особенностей фашизма (и Л. Гинзбург специально останавливается в «Бездне» именно на этой «особенности») — в стремлении подвести базу «исторической целесообразности», логически обосновать любые репрессии, убийства, агрессию. Каждый палач получает от государства своеобразную «индальгенцию»: он действует в рамках закона, злодейство и бесчинство уже не противоречат официально принятой морали, законности — все это только служба и надежный источник дохода. Убийца, схваченный за руку, оправдывается законом, насильник ссылается на общепризнанную мораль, доносчик толкует о долге перед обществом, о немецком патриотизме!

Л. Гинзбург подробно рассматривает эту проблему, напоминая об опасности, которую несет «бездушная алгебра «целесообразности», о несомненной ответственности человека, состоящего на службе у реакции, преступного режима, которые разрешают ему или даже прямо предписывают совершать бесчеловечные или безнравственные поступки ради «высшей целесообразности».

«...В качестве непосредственных виновников зверств обычно называли нескольких немецких офицеров: командир дивизии, начальник гестапо, шеф зондеркоманды. Между тем во рвах и в балках лежали тысячи трупов, и у каждого убитого был свой убийца. Кто?..» В этой постановке вопроса пафос книги Л. Гинзбурга, ее страстная

гражданская мысль. Кто они — эти люди, ставшие на путь предательства и преступления, какова природа фашизма — психологическая и социальная?

Автор внимательно анализирует материалы Краснодарского процесса фашистских преступников, путь своих «героев» к преступлению, и саму их деятельность в зондеркоманде, и восемнадцатилетнее их ожидание несомненного возмездия, и их поведение во время следствия и на процессе. Так и построена книга: документы, собственноручные показания преступников, история того, как они попадали в зондеркоманду, как проходила их служба там («злодейство было для них службой, этапом биографии»), как спустя годы их удалось найти.

Разные истории, непохожие обстоятельства, характеры и — общая судьба. В чем тут дело? «Сверхчеловек» Кристман, державший в своей страшной власти всю зондеркоманду; ссылающиеся на собственную трусость как на смягчающее вину условие Вейх и Скрипкин («Говоря по-мужски, честно: я боялся...»), на «счету» которых были тем не менее самые жестокие злодеяния; ярый службист Сургуладзе, убежденный в том, что нет ситуации, из которой он не мог бы выкрутиться; Псарев, влюбившийся в германскую армию: в парабеллумы, портупей, в немецкие мотоциклы, офицерскую выправку, «черела и кости» гестаповцев... Что между ними общего — даже не в судьбе, не в том чудовищном, что они делали в зондеркоманде (здесь все очевидно, и факты, которые приводит Л. Гинзбург, говорят сами за себя), — но как дошли они до этой бездны, что сделало возможным их превращение в не-людей, на какие внутренние их свойства опирались «внешние обстоятельства», способствовавшие этому превращению?

Именно это важно автору «Бездны» прежде всего, и он пытается не только формулировать вопросы, он ищет объяснения — и в конкретностях биографий «героев», и в своеобразной идейной, так сказать, философской оснащенности фашизма («ничего бы не стоила вся эта война, и убийства, и рвы, было бы просто кровавое безумие, безобразие, если бы не идея, ради которой все это делается. С идеей жить было легко, удобно, всегда находилось внутреннее оправдание — «я одержим идеей», «я фанатик»...»)

Л. Гинзбург: цитирует слова одного из героев пьесы Артура Миллера «Это случи-

лось в Виши», сказавшего о фашистах: «Беда как раз в том, что они люди». «Герои» «Бездны» и правда росли вместе с нами, учились в наших школах... Автор рассказывает о своем подробном разговоре с Томкой — наложницей Кристмана, теперь уже немолодой женщиной. Она прошла с зондеркомандой всем ее страшным путем, вплоть до Италии, отбыла свое, потом ее амнистировали. А что она совершила? Слово бы ничего: «Пока там, в подвале, расстреливали ее сверстников и сверстниц, она в своей комнате на третьем этаже сидела, ждала возвращения Кристмана из подвала, и хохотала с немцами, и ходила на кухню к повару Бруно, спрашивала, что нынче будет на обед, и рыжий, здоровенный Фриц Голендер, шофер душегубки, был ее душевным приятелем. В этой душегубке, во время отступления команды, на марше, ей приходилось не раз ночевать — «навалим, бывало, матрацев и спим»...» Как видите, все вроде естественно: трогательная дружба с шофером, добрые отношения с поваром, такое понятное стремление хоть как-то организовать быт на самом дне этой бездны! (В полном соответствии с логикой своего характера Томка обратилась к автору книги с просьбой: «Я думаю, нельзя ли мне выхлопотать восстановление стажа, так как ведь не по своей вине я находилась у них, а как бы пленная...»)

Или Скрипкин: после первой же «операции» — массового расстрела — он выпил с напарником, пересчитал чуть испачканные кровью вещички, доставшиеся ему, вспомнил о доме, о том, как обрадуется жена его посылочке, — «и на душе у него потеплело...» Или Вейх (всегда, где б ему ни приходилось служить, он был «передовым, образцовым» — и в леспромхозе и в зондеркоманде), рассказавший на процессе: «Малолетние дети, обхватив ручонками колени своих матерей, душераздирающе кричали: «Мамочка!» — а их подталкивали к обрыву и расстреливали. Я задал вопрос следователю Марханду, зачем расстреливают детей. Он мне ответил, что это дети наших врагов и они не принесут пользы Германии, в России надо все уничтожать с корнем, в том числе и детей».

Совершенно разные люди. Одной — лишь бы где-то устроиться, «притулиться!», хоть на матрацах, наваленных в душегубке; другой готов на все, что угодно, только бы задохнуть что-нибудь в своей вешмешок; тре-

тѳему нужно хоть какое-то «объяснение» и «оправдание» — и он тут же получает требуемое...

Л. Гинзбург посвящает специальную главу «Бездны» разговору с Вальтером Биркампом — военным преступником, генералом СС, начальником эйнзацгруппы «Д». Разговора этого на самом деле не было: Биркамп скрывается в ФРГ под вымышленным именем. Но этот разговор вполне правдоподобен, документирован материалами судебных процессов в ФРГ, самым характером обвинения и защиты на этих процессах. Речь идет о том, что у нацистов, по их собственным утверждениям, не должно быть никакого «комплекса вины» — никто, мол, сегодня уже не виноват в случившемся. «Может быть, мою вину усматривают в том, что я был верен присяге и продолжал выполнять свой служебный долг? — говорит Биркамп. — Но ведь самое понятие «преступность» относительно и зависит от того, с какой точки зрения смотреть на вещи. То, что кажется преступным моим сегодняшним обвинителям, казалось справедливым и нравственным моим вчерашним начальникам и мне самому. Если бы осознание преступности моих действий пришлось ко мне не сегодня, а двадцать лет назад, то я выступил бы против своего руководства. С вашей точки зрения я был бы в таком случае героем, но содержание моей деятельности разбиралось бы не на этом процессе, а подлежало бы разбору нацистского трибунала, который рассматривал бы это мое «геройство» как измену и преступление. Но я не оказался ни героем, ни изменником».

Этот воображаемый разговор с Биркампом, его пафос, его софизмы совершенно достоверны, хорошо знакомы: та же логика была продемонстрирована «героями» «Бездны» на процессе в Краснодаре — они даже искренне не считали себя виноватыми: так, мол, сложились обстоятельства, каждый, попади в подобные, вел бы себя так же, и потому надо «понять и простить» («А что я мог сделать? Десятки государств ничего не могли сделать...»). Более того, стоя перед судом, они испытывали жалость к себе, были убеждены в том, что существуют некие сложные, недоступные пониманию каждого человека причины их преступления; что просто злосчастное стечение обстоятельств впутало их в это дело, «запачкало», а другим повезло, они остались «чистыми»; что

такое может произойти с каждым, что никто от этого не застрахован. Иначе говоря, они излагали одну из самых опасных «теорий» современности, которая вполне устраивает тех, кому больше всего на свете дорог свой внутренний покой, кто говорит красивые слова о порядочности и прогрессе, а сам равнодушно проходит мимо преступлений, каждый раз находя приличное объяснение своей трусости.

Согласно этой теории и жили не только Скрипкин или Вейх, преступления которых более чем очевидны (десятки людей замучены, расстреляны ими непосредственно), не только Биркамп, — но и десятки, сотни других, таких, как Томка, всего лишь «пригревшихся» возле душегубок, и тысячи просто «умывших руки», промолчавших... Как отнестись к ним (понять и простить?), как сделать навсегда немислимым повторение того, что оказывается возможным сделать с человеком? Как укрепить, утвердить в человеке подлинно человеческую нравственность, предствление о долге перед людьми и самим собой, о чувстве собственной, личной ответственности за все, что вокруг происходит, которую никто и никогда не может снять с человека?..

В постановке этих важных вопросов — бесспорная сила книги Л. Гинзбурга. Но не всегда в том, как он пытается на них ответить. В частности, в последней главе книги («По ту сторону легенды»), где автор, противопоставляя «героям» бездны героя в подлинном смысле слова, рассказывает о подвиге советского разведчика Миронова. Глава эта отличается от всего «повествования, основанного на документах», даже формально — здесь не цитируется ни одного документа. Это рассказ, «записанный почти дословно» автором, беседовавшим с самим героем через двадцать лет после событий, им рассказанных. И в то же время, как сообщает писатель, перед нами образ «собирательный». У автора, разумеется, могли быть свои соображения, которые заставили его изменить избранному в «Бездне» жанру. Но именно это несоответствие жанру, очевидно, и «отомстило» литературностью подробностей, традиционной беллетристической облегченностью решения серьезных конфликтов, только внешней «собирательностью» облика героя (москвич, десятиклассник, сын рабочего с «Серпа и молота», комсомолец, воспитанный на «Чапаеве», на «No ragap!», на Николае Островском; говорит по-

немецки «удивительно — звонко, с выкрикиванием»; любимый его учитель — немка, революционная эмигрантка, от нее герой «заразился романтикой антифашизма: Тельман, МОПР, песни Эрнста Буша...» А дальше — война, первые встречи с дрожащими пленными: «Я не виноват», «Я — маленький человек»; дальше — составленная для героя легенда: он — попавший в плен Георг Бауэр, «абсолютно испорченный, конченный» молодой эсэсовец, карьерист, обожатель Гитлера, молившийся на «знамя Герберта Норкуса»; с документами Бауэра Миронов и появился в Таганроге. Дальше — фантастический мир гестапо, изображенный столь же торопливо-поверхностно, испытания, которые выдерживает советский разведчик, и т. п.)

К тому же герой — Миронов — Бауэр — оборачивается здесь и стороной неожиданной. Два года работает этот человек в сердце таганрогского гестапо, он «вполне соответствует» предъявляемым ему там требованиям и тому, что окружающие вправе ожидать от эсэсовца с такой прекрасной биографией («он был инициативен, решителен и свои обязанности выполнял с максимальной самоотдачей», «он охотно брался за любое поручение», «было очевидно, что этот молодой человек собирается сделать большую карьеру на гестаповском поприще» и т. п.). А дело происходило на оккупированной территории, земля горела под ногами гитлеровцев, и «таганрогское гестапо работало с полной нагрузкой»: облавы, «акции», расстрелы... И так два года безупречной службы — при особой подозрительности гестаповцев друг к другу, при постоянных проверках, провокациях и проч.

Чем должен был расплачиваться Миронов — Бауэр за эту свою «безупречность»? Какой мерой он мерил неизбежный «вред», который сам разрешал себе совершать во имя устанавливаемой им же самим «пользы»? «Алгебра «целесообразности» — быть может, в силу поверхностности изображения характера — неожиданно трансформирует фигуру героя этой главы, заставляет еще более глубоко задуматься над проблемой, которую ставит книга Л. Гинзбурга.

Некая беглость дает себя знать и в стра-

ницах, посвященных сегодняшней Западной Германии, и тогда, когда автор говорит о современных немецких поэтах («Никто из этих поэтов не знает, чего он хочет, — «ах, сытые, сытые свиньи, игроки в гольф», — но и «политруки» им тоже не нравятся, и есть у них только одна утеха — вот так возлежать длинными ногами в потолок и ухмыляться в ожидании чего-то...»). Все это слишком торопливо и приблизительно, чтобы могло дать реальное представление и о творчестве современных западногерманских поэтов, и о том, как это соотносится с главной мыслью книги.

В этом отношении куда более содержательна и важна глава о «Бунте бюне» («Пестрой сцене») в Таганроге, находившейся в помещении театра имени Чехова (это было «не то варьете, не то гестапо, вернее — и то и другое. Здесь «искусство» и полиция шли рука об руку...»). Она дает достаточно реальное представление об одном из тех «предварительных» условий, которые формировали психологию людей «бездны», — об атмосфере, в которой существовало в фашистской Германии искусство, о поощрении гитлеризмом ничтожеств и бездарностей, которых «в других, мало-мальски нормальных условиях к храму искусств близко бы не подпустили».

Там, повторяю, где Л. Гинзбург изменяет избранному жанру, уходит от документов в сферу приблизительной журналистики, — его повествование делается беглым, менее убедительным. Но это — незначительное число страниц «Бездны», книги серьезной и содержательной.

В той же пьесе Артура Миллера, слова героя которой цитировал Л. Гинзбург, тот же герой говорит в самом финале: «Я требую от вас не чувства вины, а чувства ответственности, может быть, это бы помогло». В пьесе Артура Миллера именно эти слова об ответственности останавливают человека на краю бездны, помогают остаться человеком.

Обо всем этом — глубоко и жизненно важно — и заставляет думать «Бездна», «повествование, основанное на документах».

Ф. СВЕТОВ.

КНИГА О ДРЕВНЕРУССКОЙ ЖИВОПИСИ

О. Чайковская. Против неба — на земле. «Детская литература». М. 1966. 166 стр.

Когда я несколько лет назад спросил известного итальянского искусствоведа, кто сейчас самый «модный» художник на Западе, он неожиданно ответил: «Фра Анжелико». Не Пикассо, не кто-либо другой из ныне живущих или недавно живших наших современников, а флорентийский монах, умерший свыше пятисот лет назад, писавший поэтичные образы бесплотных ангелов и «простодушных златокудрых мадонн».

Наверное, это не просто причуды моды. Возможно, что нынешние серьезные ценители искусства на Западе, утомившись от бьющего по нервам современного искусства, ищут в картинах Фра Анжелико «мир, тишину и любовь», которых так не хватает.

Современное и чрезвычайно широко распространенное увлечение древнерусским искусством — это не только дань моде. Если десятки тысяч людей, подчас даже не ведающих о том, кто такие Федор Стратилат или Параскева Пятница, толпятся на выставках икон или с рюкзаками за спиной бродят по старым монастырям, конечно, это не просто мода. Самым счастливым из них открываются богатства духовной жизни прошлых эпох, в их собственную жизнь вместе с этой стариной входит нечто новое и значительное. Как отрядно возобновление интереса к русской старине, к великим художественным ценностям, большое количество которых было бездумно и беспечно загублено из-за невнимания, а еще больше погибло в годы потрясений, пережитых нашей страной. Но для того, чтобы этот интерес к древнему искусству не оказался проходящей модой, чтобы временное увлечение стало подлинной любовью, необходимо понять видимое. А это ой как нелегко. Мир образов и представлений средневекового человека так далек от современности, художественное его воплощение так необыкновенно, что вжиться в этот мир, почувствовать красоту его образов для современного человека очень сложно. К этому следует добавить неполноценность нашего образования, дающего весьма смутное представление и об Афине Палладе, и о персонажах библейских легенд. А ведь значительная часть художественных и литературных ценностей не только средневековья, но и позднейшего времени написана в связи с христианскими религиозными сюжетами.

Автор рецензируемой книжки О. Чайковская взялась за нелегкую задачу рассказать нынешнему молодому поколению, в чем значение древнерусского искусства, и не только рассказать, а помочь полюбить его, как, очевидно, полюбила его и сама. Как и всякая хорошая работа, книга оказалась пригодной и нужной для всех возрастов. А если добавить, что это чуть ли не первая за многие годы научно-популярная книга, в которой рассказывается о русской иконе, то это тем более обозначит ее ценность.

Книга начинается с дерзкого заявления. «Прелестные и юные мадонны Возрождения давно уже вошли неотъемлемой частью в современную мировую культуру... Рядом с ними наша русская богородица кажется угловатой и бедной, почти убогой. Но так кажется только невнимательному взгляду. Духовный мир ее ничуть не менее богат и сложен. Я берусь это доказать», — говорит автор и выполняет свое обещание.

Одна из лучших глав книги названа «Бунт богородицы». Читателя вводят в мир апокрифов, легенд и сказаний, дополнявших сухие и краткие упоминания в евангелиях о деве Марии. Дева Мария народной фантазии выглядит реальным литературным персонажем — заступницей, простой и понятной, прекрасной, ласковой и сердобольной. «Став народным божеством, Мария перестала быть могущественной, она одинока, несчастна и беспомощна, она может всего только просить да плакать». «Между тем церковь посягала на богородицу, стремясь превратить ее из народной заступницы в гордую небесную царицу». Этот конфликт, да и многие другие аспекты русской средневековой жизни обнаруживаются в художественных образах, в иконографии богоматери:

«Подлинно народные богоматери проходят перед нами длинной чередой. Все они печальны и серьезны, иные из них в глубоком горе. Есть икона, которая заставляет нас вспомнить плачи богоматери над убитым сыном. Она здесь в испуге, она вопит. Икона написана темными красками, словно бы разметанными отчаянием.

Это русская икона времен татарщины, плач страны, вытопанной врагом. Ее бы показывать ребятам на уроке истории — она

рассказала бы о своем времени лучше любого учебника!»

В других главах книги рассказано о множестве различных икон, их художественном значении, раскрыты их сюжеты, и о каждой из них написана увлекательная миниатюра, где искусствоведческий анализ переплетается с изложением легенды, послужившей поводом для изображения.

К сожалению, очень мало места в книге заняла монументальная живопись, замечательные росписи церквей. Рассказ о древнерусской архитектуре основан преимущественно на памятниках Владимиро-Суздальской Руси. Вероятно, этого достаточно, чтобы показать читателю художественное значение древнего зодчества. Но тогда не следовало и пытаться говорить о других направлениях в древнерусской архитектуре. Зодчество Новгорода Великого заслуживает, например, более глубокого описания, более интересного рассказа.

Главной темой книги остается икона, и поэтому важнейшими являются те разделы книги, в которых автор пытается научить читателя понимать ее живописную красоту. Я не боюсь этих слов — «научить читателя». Да, именно научить. Икона — это трудное искусство, не завоевывающее зрителя с первого взгляда. И дело не в отдаленности и непонятности сюжета — сложна и непривычна художественная форма. Древнерусские художники не могли написать пейзаж, как это делают современные художники, — они передавали поэзию русской природы в ясных и чистых красках, подобранных художником с замечательным вкусом и знанием живописных законов. Это нужно научиться видеть.

До сих пор находятся люди, которые убеждены, что борьба с религией требует исключения из культурной жизни всего, связанного с религией, что достаточно показать школьнику или рабочему икону, как он немедленно станет перед нею на колени, что достаточно интеллигентному человеку услышать в консерватории прекрасную духовную музыку Рахманинова или Бортнянского, как он немедленно побежит молиться в церковь. Ранние христиане разбивали статуи в античных храмах, опасаясь, как бы они не стали объектом поклонения для нестойких, еще недавно обращенных в новую веру людей. Но прошло время, и то, что уцелело, стали собирать римские папы в Ватикане. Античные

боги перестали быть богами, они стали — и остались для нас — шедеврами искусства.

То же происходит нынче со старыми иконами.

Книга О. Чайковской написана с явственной неприязнью к церкви и ее догматам. Автору ненавистно чувство покорности, которое превращало верующего человека в бесправного раба. Когда О. Чайковская иронизирует над непоследовательностью христианской догматики, над лицемерием попов, она права. Но когда она пишет о безнравственности священного писания, о том, что Христос предстает в виде «злого начальства» и т. п., она игнорирует сложность и противоречивость того идеологического явления, которое мы называем христианством. Как и всякая вера, христианство стало препятствием для истинного научного познания мира, помогало господствующим классам держать массы в подчинении, и, однако, в нем же передовые и светлые умы, выразители горя и надежд угнетенных масс, находили опору для обличения угнетателей, для пробуждения в массах сознания несправедливо отнятых прав.

Чайковская права, когда пишет, что вряд ли древнерусский человек воспринимал икону богоматери подобно нам. Но не права, когда видит заслугу древнерусских художников лишь в преодолении христианства с его идеалами, не учитывая их стремлений воплотить эти идеалы в чистых и возвышенных образах.

Мы видим в иконе картину. Но художник писал не картину, а икону. Мы видим в иконах человеческое содержание, психологические переживания изображенных лиц. Но иконописец писал не человека, а высшее существо; в древнерусском искусстве образ человека — это образ очеловеченного божества. В средневековой философии было даже найдено оправдание человекоподобных образов церковного искусства. «Видения бога сообразны с тем, кому он являлся», — писал Дионисий Ареопагит. Невозможно глубоко понять и прочувствовать средневековое искусство, не учитывая того, что духовность была характерной для мироощущения человека той эпохи. Между тем, читая некоторые искусствоведческие и исторические труды, можно даже усомниться в том, что наши предки верили в бога. Храмы, оказывается, воздвигались князьями, чтобы выразить в них идею своей политической власти, а художники, расписывавшие их, думали только

о том, чтобы воплотить в живописи образы своих современников.

Андрей Рублев был верующий монах, для которого самый акт писания иконы имел глубокий мистический смысл, приближающий его к сверхъестественному началу. Он написал свое величайшее произведение «Троица», человеческий смысл которой покоряет и современного зрителя, на библейский сюжет, вложив в каждую из деталей иносказательное значение мистических символов, чаще всего уже непонятных нам. Написал ее в период всеобщего одичания и татарских набегов, раздоров и жестокостей, творившихся на его земле, на Руси. И изобразил тишину, любовь, согласие «на небе», противопоставляя их вражде и ненависти, царящим на земле. Мы можем быть тысячу раз материалистами, но мы должны понять, что нам близки и драгоценны в иконе Рублева не только изображения крылатых юношей, которые О. Чайковская называет реалистическими, но и та атмосфера тишины и покоя, которая царит в произведении Рублева. Чайковская пишет очень точно: «...древнерусскому человеку должно было казаться чудом умение художника взять кисти и краски и написать прекрасную женщину. Но разве это не чудо — взять кисти, краски и написать тишину? Или грусть? Или молчание? Однако здесь именно это и написано». К этому можно добавить лишь, что это чудо и поныне остается чудом. Ибо путь воздействия художника на зрителя еще во многом не ясен. Для того, чтобы утверждать, что нам могут быть близки образы древнерусского искусства, не обязательно переводить их на язык современного здравого смысла (этот автор, на мой взгляд, несколько злоупотребляет). Следует признать также, что бывают случаи, когда природа художественного воздействия трудно поддается разъяснению, тем более что каждый из нас, несмотря на все разъяс-

нения, увидит в «Троице» Рублева нечто свое, совершенно индивидуальное, свойственное духовному миру только данного лица.

Наконец еще один упрек автору: О. Чайковская не сочла нужным поставить явления древнерусского искусства в связь с мировым искусством. Конечно, книга для юношества — это не ученый трактат, где должны быть исследованы все стороны вопроса. Да и задачу себе автор ставил другую: привлечь внимание современников к древнему искусству и показать его связь с миром народных легенд, поэтических фантазий. Но как хорошо было бы, если бы читатель узнал об истоках древнерусского искусства, о его связях с античностью и Византией, о его месте в мировой культуре, о великих современниках русских живописцев.

Каждый, кто выступает в роли критика, теоретически признает, что нельзя упрекать автора за то, чего в книге нет, и все же редко кому удается удержаться от таких упреков. По крайней мере в данном случае ограничусь сказанным.

О. Чайковская написала поэтичную книжку о древнерусском искусстве, которая многим поможет понять и полюбить его. Мода на древнерусское искусство, быть может, ослабеет. Но я уверен, что не сбудется предсказание П. Муратова, сделанное свыше пятидесяти лет назад: «После того с древнерусской живописью останутся лишь немногие, верные ей». С древнерусским искусством останутся многие, привлеченные к нему его художественным совершенством и заложенными в нем общечеловеческими началами. Книга О. Чайковской — одна из тех, которые помогут многим остаться верными древнерусскому искусству навсегда.

А. МОНГАЙТ,

доктор исторических наук.

★

КАТЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Борис Евгеньев. В Лондоне листопад... Рассказ. «Москва», № 1, 1967.

Любопытно будет понаблюдать, как это юное существо, стопроцентный продукт нашей жизни, вдруг окажется лицом к лицу с проклятым капитализмом,— говорит в рассказе Б. Евгеньева «В Лондоне листо-

пад...» пожилой переводчик, обращаясь к своей жене. Переводчик едет с туристской группой в Англию. С ним едет его дочь, студентка Катя. Катинюм восприятию чужой жизни и посвящен рассказ.

Многое, очень многое разочаровывает Катю в Англии... Вот бродит Катя по улицам Лондона. «Домики-то одинаковые, а фасады квартир все разные». Каждый хозяин окрашивает фасад в какой хочет цвет. По мнению Кати, это «смешно немножко» и объясняется «пресловутым английским индивидуализмом».

Посетив Вестминстерское аббатство, Катя обнаруживает, что под каменными плитами пола находятся могилы великих англичан. Это Катя находит «странным». Правда, в России великих людей хоронили некогда точно так же: под плитами храмов, соборов. Но то в России...

Посетив родину Бернса, Катя размышляет над его творчеством и приходит к выводу, что Бернс «в чем-то сродни нашим Кольцову, Шевченко. Только, думается мне, Шевченко покрупнее — и как поэт и как личность».

Катя посещает Оксфорд. «Поболтать бы со здешними ребятами, узнать, какие они. Чем живут, чем дышат. Где там! Нас все время торопят: у нас расписание!» Пока туристскую группу, а с ней и Катю «водили от одного колледжа к другому», Кате «почему-то все время думалось... что не очень-то веет здесь нашим добрым, золотым товариществом».

Вполне возможно, что не веет. Читатель готов с этим согласиться, но любопытно бы выяснить: как могла узнать это Катя, не поговорив ни с одним студентом?

Проходя по лондонской улице, Катя заглянула в окно. За окном зал. В зале — стиральные машины, и местные жители «сами управляют возле них со своим бельшком». Внимание Кати привлекает юная пара. Он «сердито листает потрепанную книгу». Она положила голову ему на плечо. Лицо у нее бледное, «ни кровинки», в глазах «равнодушные, усталость». Это зрелище вызвало у Кати чувство неловкости, будто она «ненароком подсмотрела чужую беду — беду, которой ничем не поможешь».

Но где беда? — изумляется читатель. Не могла же, в самом деле, Катя думать, что люди, ожидая, пока выстирается их имущество, должны водить хороводы и громко петь?

Нет, нет, торопливость Катиних наблюдений и поспешность выводов заставляют думать, что наша Катя отправилась в поездку, заранее зная, что ничего отрадного, ничего поучительного она там не увидит.

Но вот Катя посещает магазины. «Ох уж эти магазины... где можно купить все... В них, если ты не кремневой души человек, как-то малость обалдеваешь».

Итак: хороши магазины? Однако писательница Клавдия Семеновна, остановившись перед витриной, вот что говорит Кате: «Красиво? Соблазнительно? Человек, милая девочка, устроен весьма несовершенно. И несовершенством его природы очень уж ловко и бесстыдно пользуются здесь! Мы так не умеем, да и не к чему это нам...».

Но почему же? — снова изумляется читатель. Очень бы даже нам к чему хорошие магазины, красивые витрины. И мы стремимся к этому, а чего не умеем — тому учимся, и успешно учимся. Но Катя «не могла не признать справедливости» рассуждений Клавдии Семеновны.

Дамы зашли в магазин. Там «Катюша продуманно, не спеша — хотя внутри у нее что-то дрожало — выбрала для мамы песочного цвета кофточку-джерси».

Что же все-таки дрожало внутри у Кати? Об этом автор молчит, и читатель волен делать предположения... А не вырывается ли здесь героиня из жестких рамок заданности? Быть может, ее внезапная дрожь при виде кофточек — это штрих, родившийся произвольно? Вообще говоря, не слишком ли большую нагрузку взвалил автор на хрупкие девичьи плечи? Оставить бы Катю в покое: нравятся ей кофточки, привлекают витрины — и бог с ней! Разумно в конце концов заметила Клавдия Семеновна, что «ничего крамольного в этом нет».

Но автор неумолим, и Катя берег себя в руки. Сейчас она кое-что разъяснит читателю относительно пресловутого западного сервиса. Вежливость продавцов, конечно, приятна, так-то оно так, но... Но вот Кате пришлось вторично пойти в магазин: продавщица по ошибке завернула платье не того размера. «Платье тотчас обменяли. И с извиненьями... Катюше были тягостны преувеличенные сожаления старой дамы, суетливая ее торопливость».

Как тяготит эта вежливость! И в самом деле: что случилось? Ну, дали не то платье, подумаешь! И зачем продавщице извиняться? Покупатель-то куда смотрел, когда ему заворачивали? Теперь ходит — меняй ему! А может, он уже вещь поносил и хочет вместо нее новую получить?

Так или иначе, но вежливость в лондонском магазине Кате не нравится. Из-под

палки она! Начальство следит за продавцами и чуть что не так — увольняет! Вот они и трясутся: «Нелегко им здесь, — думала она (Катя. — *Н. И.*). — ...Все время, изо всех сил приходится тянуться, тянуться...»

Итак, подмочена репутация английского сервиса. Но стоило ли это делать? Вежливость и хорошее обслуживание не являются как будто таким уж злом капиталистического мира. Там, в этом мире, есть истинные беды, истинные противоречия и трудности, вот бы Кате о них и подумать...

Но войдем в положение автора. Он решил написать рассказ на скудном материале стремительного туристского вояжа, а что можно узнать за десять дней коллективных пробежек по музеям и другим примечательным местам? Правильно заметила Катина мама, что «проклятый капитализм» Катя увидит «сквозь розовые туристские очки». Не для облегчения ли своей трудной задачи избрал автор в герои рассказа не пожилого папу-переводчика, а юную Катю? Молода, дескать, эмоциональна, с нее взятки гладки. Но Катя не спасает. И что может спасти писателя, приблизительно знающего то, что взялся описывать?

Пытаясь оживить повествование, автор влюбляет в Катю молодого шофера туристского автобуса англичанина Криса. Шофер необходим и для того, чтобы хоть на один вечер оторвать Катю от группы. Шофер отрывает Катю и ведет ее в кино. Комедия, идущая на экране, глупа чрезвычайно. «Кто-то сочинял сценарий. Работал режиссер. Работали артисты. Затрачены время, деньги. И — вот что удивительно! — затрачены, по видимому, не зря: публика в восторге. Как же это так? Что же это?..»

Понять горькое Катино недоумение можно будет лишь в том случае, если предположить: до того вечера Кате не доводилось видеть на экранах глупых комедий, и не приходило в голову, что плохие фильмы иногда появляются на экранах. Такое могло случиться лишь в Англии.

«Стон стоял от смеха». «Зал воет от восторга». Крис «икает». Две пожилые леди начинают «неистово кудахтать». Не смеялась и не выла лишь Катя. Ей хотелось крикнуть: «Да уймитесь вы! Это же идиотская пошлятина!»

Право, можно подумать, что наша Катя участвует в развлечениях темного племени на заброшенном острове...

А ведь причина все та же: Катя связана

по рукам и ногам своим туристским расписанием. Истинные беды, сложности, конфликты западного мира ей неведомы. В шахты она не спускалась, на заводах и фабриках не бывала, с рабочими не виделась, биржи не посещала, о Сити знает только то, что чиновники носят котелки, а этого мало-мало... Вот и приходится Кате то критиковать западный сервис, то изображать публику сборищем идиотов.

Еще шотландцы пришлись Кате по вкусу (не потому ли, впрочем, что были угнетены англичанами?), англичане же ей не нравятся. Старуха нищенка играет на «слонявой гармошке». Служащая отеля похожа на мушкетера с «полубезумными глазами». Пьют англичане из рук вон плохо. Одна «леди в зеленом пальто пытается подпевать русским песням», фальшивит, конечно. И Темза их никуда не годится, вода в ней «свинцовая, недобрая». Собаки и те там невеселые: у встречного пуделя «грустная мордочка», у другого пса «скучающий вид». И манекены у них «тощие, длинные, надменнo-курносые». Ну-с, и горчицу русскую разве сравнишь с заморской? Наша горчица крепко берет, во все суставы ударяет, а от ихней горчицы не будет этого, хоть всю банку съешь...

Впрочем, насчет горчицы — это не Катини мысли. Их высказывает (помните?) чеховский помещик Камышев в рассказе: «На чужбине»... Странные, право, ассоциации лезут в голову...

Но вернемся к Кате. И переводчиков в Англии путных нет! Катин отец встречается с «белобрысым юношей», который перевел Блока. «Вы перевели «Двенадцать»? — отец настороженно смотрел на переводчика. — Но это же невероятно трудно!.. Как вы перевели, ну, скажем, такое...» Юноша смущался, что-то бормотал, чего Катюша не могла расслышать...

Ответить ничего толком не мог — смущался. Еще бы! Куда англичанину Блока понять!

«Нащ какой-нибудь аристократишка поедет к ним и жерво по-ихнему брехать научится, а они... черт их знает!»

Но это опять не Катя. Это слова помещика Грябова из рассказа «Дочь Альбиона». Нет, не случайно вспоминаются чеховские герои! Уже первые Катини восприятия иностранцев, встреченных в зале Копенгагенского аэродрома, что-то смутно напоминали читателю, но он не мог вспомнить что. Те-

перь вспомнил... Чужеземцы на аэродроме были все «подтянутые, принаряженные», но—манерны. «Малость подыгрывали». «Выпендривались». У наших-то вид не тот. На папе, к примеру, немодные ботинки, но зато «какое у него хорошее лицо — доброе, умное». Пожилой критик «весь какой-то немножко помятый. И, видно, побриться угром не успел. Но какой же он славный человек — душевный, компанейский!»

Не то ли самое говорил Камышев? «Согласен, французы все ученые, манерные... это верно... Француз никогда не позволит себе невежества: возрею даме стул подаст, раков не станет есть вилкой, не плюнет на пол, но... нет того духу! Духу того в нем нет!»

Мысль изобразить столкновение юного существа, продукта нашей жизни, с чуждым миром показалась автору интересной, а возможностей написать на эту тему художественное произведение не было. Если Катя об Англии знала все заранее и не смогла ничего интересного для себя узнать о ней, то вряд ли ей и следовало ездить туда. Тем более что естественное для советского человека неприятие капиталистического образа

жизни она так легко спутала с неуважением к чужой культуре, обычаям и людям... Автору бы вовремя отказаться от своего намерения. памятуя, что поспешность и легковесность лишь дискредитируют тему, но автор пошел напролом...

Видимо, для придания своему произведению «художественности» автор злоупотребляет такими словами и выражениями, как: «милая лукавинка», «раздумчивая грустинка», «прекрасное», которое «омывает» «суетную человеческую душу», «свет бессмертной поэзии», «холодные глаза», которые «чуть потеплели», Катя «выпорхнула из подъезда отеля» и многое другое в этом роде. Но читатель все равно не верит, что перед ним художественное произведение.

И в Катю читатель не верит!

Это, видимо, помещика Грябова загримировали под юную девушку, обрядили в платье-джерси и пустили порхать по Англии. Современная Катя, да еще «стоцентный продукт нашей жизни», как для отвода читательских глаз рекомендует свою героиню автор, так думать, чувствовать и вести себя вряд ли могла...

Наталья ИЛЬИНА.

★

О МАСТЕРСТВЕ ВОСПИТАНИЯ И «УСЛОЖНЕННЫХ» ФОРМУЛАХ

Владимир Попов. Разорванный круг. Роман. «Советская Россия». М. 1966. 296 стр.

Роман В. Попова «Разорванный круг» начинается с того, что директора сибирского шинного завода Брянцева срочно, без объяснения причин вызывают в Москву, в Комитет партийно-государственного контроля. Оказывается, комитет, руководствуясь мнением директора Института резины — типа с «важной осанкой», который всегда «неукоснительно проводил в жизнь свои идеи и всячески тормозил другие», — запрещает выпуск шин с найденным на заводе «антистарителем», превосходящим все известные донны. Однако коллектив завода категорически отказывается выполнить переданное Брянцевым распоряжение комитета. Тогда референт комитета, человек с «мягкими чертами лица, доброжелательной улыбкой», разрешает до получения результатов дорожных испытаний продолжать выпуск шин. Единственное основание для происков типа с «важной осанкой» — отрицательные результаты лабораторных испытаний, проведенных в Институте резины некой

особой «неопределенного возраста», которая, «казалось... нарочно старается придать своему лицу самое неприглядное выражение: щурит и без того маленькие глаза, поджимает тонкие губы». Брянцеву она напоминает «очковую змею, которая лежит, притавившись, и жалит исподтишка». Однако «очковая змея», приехав на завод, убедилась, что «озоновая камера, какой пользовалась она в институте... иногда... дает результаты, совпадающие с дорожными (испытаниями.— В. Б.), а иногда диаметрально противоположные», и, потрясенная этим открытием, «слегка повернулась другой, незнакомой стороной»: «с тоской в голосе» публично покаялась в ошибке, произнесла речь, обличающую «мнимую коллегиальность», царящую в институте, и чрезмерное радение о «честь мундира», и — покончила с собой.

Так примерно ко второй трети романа, к двадцать второй его главе, обнаруживается, что показания «озоновой камеры», которой

пользуются и институт, и завод, и даже «весь мир», нельзя «принимать во внимание», и, следовательно, весь сыр-бор, разгоревшийся из-за нового «антистарителя», — сущее недоразумение.

После этого даже у самого неискущенного читателя, настолько наивного, чтобы с самых первых страниц не догадаться, что тип с «важной осанкой» и «очковая змея» потерпят фиаско, не может остаться сомнений в благополучном исходе испытаний шин. Однако испытания эти, щедро сдобренные всякими удивительными событиями вроде гибели шофера-испытателя и таинственного исчезновения как шин, так и сопровождающего человека, продолжают до последней, тридцать второй главы, где наконец триумфально завершаются. «Сотрудники испытательной станции смотрели на эту шину с суеверным страхом — ничего подобного они до сих пор не видели». Но ничего сверхъестественного здесь не было. Просто на заводе «заялись вопросами трения в технике и в биологии» (в первом варианте, в журнале «Москва», чудо сотворила «химия... самая глубокая из наук»).

Имеется в романе и любовная коллизия. Директор завода Брянцев женат на женщине, спасшей ему жизнь во время войны, но не близкой ему душевно, не пожелавшей учиться, не умеющей обставить квартиру по-современному, нагружающей мужа, когда он едет в Москву, всякими досадными ему поручениями. Брянцев любит другую — вновь встретившуюся ему первую любовь, сверстницу, лицо которой «сочетало в себе женственную мягкость и мальчишескую задиристость», в жилище которой «ничего лишнего... низкий диван... журнальный столик, торшер... с кокетливым абажуром» и которая достаточно образована, чтобы без конца беседовать о шинах. Долгое время Брянцев тщательно «конспирирует» эту связь, пребывая в постоянном страхе, что она откроется, и тогда ему уже не быть директором. Но на последних страницах романа, когда Брянцев наконец решается объясниться с женой, обнаруживается, что та и сама давным-давно мечтала уйти к его шоферу, да жалко было мужа, не хотелось «наносить удар в спину». Так что и любовный конфликт романа на поверку оказывается мнимым, основанным на недоразумении.

Это одна сторона романа, так сказать сюжетная. Есть еще и проблемная. Впро-

чем, они взаимосвязаны, как это и должно быть. Центр, стержень действия — Брянцев, любимый герой автора, «большой, энергичный, с грубоватым волевым лицом, с решительной походкой», «прямо-таки олицетворение силы». Уже его внешность говорит, что этот герой вполне положительный. На первый взгляд, и поступки Брянцева под стать внешности. Он смело перевел завод «в нарушение ГОСТа» на выпуск шин с найденным на заводе «антистарителем». Чрезвычайно радеет о воспитании подчиненных и весьма в этом преуспел. «Три года... подогревал людей... прививал вкус к исследовательской работе. Они уже сами идут и зачастую теперь подталкивают» его.

Однако картина приобретает несколько иной колорит, когда автор не только называет действия Брянцева, но и показывает их. Брянцев, по заверению автора, «отличается удивительной чуткостью», а по собственному мнению — также и честностью. «Это не от черствости — от честности», — пишет он о себе в письме к возлюбленной. Письмо это Брянцев потом нашел в ее случайно попавшемся дневнике, который преспокойно прочитывает, хотя не сомневается, что это будет неприятно ей. Но что делаешь — «любопытство взяло верх».

Своеобразно проявляется и директорская чуткость. Есть на заводе такая специальность — каландровожатые. Они умели «на глаз... определять степень обрезнивания корда с точностью до сотых долей миллиметра, на глаз настраивали свои машины так, чтобы они при огромной скорости прохождения кордной ткани успевали прорезинить все нити в отдельности и все полотно в целом», — работа, где «нужен весь человек». На заводах, построенных в последние годы, задачу «обрезнивания корда» «решали автоматы, счетные машины», а на заводе Брянцева она разрешается «проще простого», безо всякого технического перевооружения. «Разве может каландровожатый нести вахту, если он сегодня разругался с женой? Или не дали выпасться дети?» Учитывая это, директор и проявляет свою чуткость: устраивает детей в детские сады. После чего, видимо, по его мнению, освобожденные родители могут тягаться по производительности труда с современными автоматами. При этом Брянцев «не был похож... на волшебника, который творит добрые дела, оставаясь в тени. На этом примере он многих воспитывал, в том числе

руководителей каландрового цеха. Так пропесочил их на профсоюзном собрании, а потом на партийной конференции, что у них спины были мокрые».

Так же воспитывает Брянцев и собственную жену. Когда она провинилась, устроила в его отсутствие — то ли из «бабьего сострадания», то ли из «тщеславного желания показать, что она как жена директора многое может сделать», — так, что очередную квартиру получил не тот, кто должен был получить, Брянцев вытребовал ее на завод полуодетую, непричесанную, «в пальто, из-под которого виднелся халат, в повязанной наспех косынке» и так «загремел», что даже посторонним — все это происходило при подчиненных — неудобно было «присутствовать при этой странной семейной сцене». Но Брянцев не разрешает им уйти. «Вытащил... как на судебное разбирательство», — заплакала жена, когда супруги наконец остались одни.

Зато с вышестоящими Брянцев тише воды, ниже травы. Так деликатен, что обедать у высшего по должности ни за что не останется, считая «неудобным навязывать свое присутствие». Порой ему и хочется соответственно характеру отреагировать на грубость или глупость вышестоящего, но он предусмотрительно сдерживается, понимает, что «задирать... не следует». Впрочем, по большей части нелепости со стороны начальства не только не возмущают, но даже не удивляют его. Уж как странно поступил референт Комитета партийно-государственного контроля, скрыв причину вызова в Москву, из-за чего Брянцев не захватил с собой материалы, доказывающие годность «антистарителя», а Брянцев принимает это как должное. Да и намеревался ли он отстаивать заводское изобретение? Когда референт осведомился, убежден ли Брянцев в своей правоте, тот после некоторой паузы ответил: «Убежден», — однако «металла в голосе» не чувствовалось. Потом он, правда, сам удивляется, «куда девалась смелость»; приходят мысли, что надо было «упереться», а то как он вернется на завод? Что скажут рабочие, которые три года вели исследования? Невольно напрашивается мысль, что Брянцева — вопреки всем авторским рекомендациям — заботит главным образом, что о нем скажут, что подумают, то есть собственный престиж, авторитет.

Среди прочих проблем, затронутых в романе, не последнее место занимает проблема коммунистического воспитания. Решает-

ся она тоже довольно своеобразно — опять-таки если посмотреть на все просто, не взвинчивая себя авторскими восторгами и общими фразами.

Как воспитывает Брянцев своих подчиненных и жену, мы уже знаем. Самого Брянцева тоже воспитывают. Этим занимаются и референт комитета, и завотделом ЦК, к которому Брянцев обратился, когда «возникла необходимость решить... затянувшуюся проблему» возлюбленная — жена. Завотделом, хотя и недовольный Брянцевым (потому что «директору авторитет нужен, а такие поступки авторитета не укрепляют»), все же пообещал рекомендовать «местным партийным организациям... не спешить, пока не найдут... равноценного работника «на... место Брянцева. А тому посоветовал: «Решайте так или иначе, но не тяните. В подобных ситуациях ничто так не противно, как двойная игра. За это бьют всего сильнее». Как видим, и этот воспитатель прежде всего печется об авторитете. И хотя Брянцев, по его мнению, такой работник, которому нелегко найти равноценную замену, завотделом не сомневается, что он, разойдясь с женой, которую не любит, чтобы соединить жизнь с женщиной, которую любит, не может оставаться директором. Это — подрыв директорского авторитета, пятно на анкете и, следовательно, преступление.

Не лишена интереса и градация анкетных пятен, которая — невольно, конечно, — выстраивается в романе. Есть в «Разорванном круге» некий персонаж по фамилии Карыгин, человек с «тяжелыми... ощущающими глазами». В свое время Карыгин всю использовал «неограниченную возможность глушить недовольство и подавлять критику» — приклеивать «ярлык клеветника, который подрывает авторитет секретаря обкома, а значит, и авторитет партии». Кроме того, Карыгин «не моргнув глазом» подписывал «победные реляции о конце сева, когда он был еще в самом разгаре, об уборке урожая — когда хлеб еще стоял на корню». После известных партийных решений Карыгина сняли с поста секретаря обкома и «направили на шинный завод... ведать кадрами», решив, что он «уж чем-чем, а кадрами ведать сможет». Здесь Карыгин утаивает свое личное дело, перехватывает письма Брянцева, шантажирует его, но, и вторично разоблаченный, преблагодарно остается «ведать кадрами». Все его поступки, вместе взятые, оказываются не столь компромети-

рующими, отлучающими от права воспитывать людей, как намерение Брянцева разойтись с женой даже ради настоящей любви.

Впрочем, воспитание, о котором радеют герои романа, носит своеобразный характер. Образец идеально воспитанного коллектива в романе являет учрежденный Брянцевым на его заводе институт рабочих-исследователей. Члены этого института работают, экономя не только секунды, но и доли секунд, добиваются того, чтобы не терять ни мгновения. А все свободное время всецело отдают рационализации и изобретательству, отказываясь даже от выходных дней и отпусков. Все было бы хорошо, если бы один из героев книги не подводил под такую работу формулу «от каждого по возможности, каждому... ничего, кроме морального удовлетворения», каковая формула, по мнению Брянцева, является формулой коммунистического труда — и «даже посложнее».

Слов нет, и рационализация, и уплотнение рабочего времени — дело доброе, нужное, однако все хорошо в меру. Нельзя забывать, что человек не автомат; что существует предел, за которым увеличение интенсивности труда ведет не к увеличению, а к уменьшению производительности; что у человека есть обязанности и кроме производства материальных ценностей: общественные обязанности, обязанности по отношению к семье, детям и много других, не говоря уже о потребностях, удовлетворение которых является отнюдь не роскошью, не прихотью, а жизненной необходимостью. Тот же отдых хотя бы. Забываясь о качестве шин и увеличении их производства, что похвально и необходимо, нельзя, однако, забывать о заботах и нуждах человека, их производящего.

Идея перехода на работу по новой формуле проводится автором не скажу сознательно, но во всяком случае настойчиво. Осмысля «значимость института» рабочих-исследователей, один из героев романа, профессор Дубровин, даже «наткнулся

на новые философские категории», из которых следует, что «платный исследовательский труд может быть и честным и нечестным, и замедленным и форсированным. Бесплатный труд всегда честен и форсирован». Подтверждения этому в романе на каждом шагу. Кто разработал «антистаритель», далеко превосходящий все известные доньше? Завод, институт рабочих-исследователей. Кто едва не угробил этот «антистаритель»? Научно-исследовательский институт, где платят за исследовательский труд. Кто энергичнее всего боролся за новый «антистаритель»? Рабочие, члены института рабочих-исследователей, которые согласно «усовершенствованной» Брянцевым формуле коммунистического труда работают со сверхотдачей, получая за это лишь моральное удовлетворение...

Только не уютнее ли как-то бременному человеку, которому в его несознательности почти регулярно есть требуется (хотя бы для того, чтобы работать), со старыми марксистскими формулами, подразумевающими, что производство для человека, а не человек для производства, что труд должен становиться все легче, а не тяжелее, что досуга у человека должно быть все больше, а не наоборот?

Кому, если разобраться, польза от подновленных формул, кроме Брянцевых, которые, не умея использовать возможности современной техники так, чтобы и производство расширилось и труд облегчался, стараются выехать, нажимая изо всех сил на работников? Да и такая ли уж польза даже Брянцевым? Далеко ли в наше время на этом уедешь? Нет, никуда не уедешь — слетишь; не поможет не только идеальная верность жене, но даже и монашеское целомудрие.

Конечно, повторю, нельзя и предположить, что автор так в замысле и решил «усложнить» основополагающие формулы, но что получилось, то получилось...

В. БОРНЫЧЕВА.

ПЛАТА ЗА ВЕЩИ

Жорж Перек. Вещи. Повесть шестидесятых годов. Перевод с французского Т. Ивановой. «Иностранная литература», № 2, 1967.

«Вещи» — первая книга молодого французского писателя Жоржа Перека — сразу же принесли ему известность и на редкость единодушное признание критики. Написанная ясно, точно¹, с той подчеркнутой беспристрастностью и загадочным лиризмом, которые заставляют вспомнить о Флобере (Перек по праву считает себя его учеником), эта небольшая и скромная книжечка не случайно стала заметным событием в литературной жизни Франции. Представитель поколения, рожденного в войну, Перек предпринял попытку написать обобщенный типовой портрет своих сверстников, взращенных и отравленных послевоенной «эпохой изобилия». Опираясь на традицию романа воспитания — и отталкиваясь от нее, — писатель создал современный и совершенно новый вариант истории молодого человека. Новый по форме и по существу. Книга напоминает скорее социально-психологическое исследование, чем роман, но вместе с тем этот строгий, почти научный анализ сюжетно организован и отличается той чуть ли не осязаемой конкретностью в изображении подробностей бытия, которая дается лишь художнику.

Перек рассказывает о радостях и мечтах беспечной и дружной семейной пары — Жерома и Сильвии. А между тем называется книга «Вещи». В сухом, вызывающе прозаическом названии без обиняков обозначена главная тема, лейтмотив этой «повести шестидесятых годов». Эпиграф, взятый из Малькольма Лоури: «Неисчерпаемы блага, принесенные нам цивилизацией... Непостижимы чудесные творения человеческого рода, способствующие совершенствованию, счастью, свободе людей...» — иронически комментирует этот мотив, напоминая о расстоянии между возможностями и убогой реальностью.

Оптимистическая концепция прогресса, получившая широкое признание в XIX веке, нередко исходила из простодушной уверенности, что в демократическом обществе повышение материального и культурного уровня само собой приведет к расцвету че-

ловеческой личности. XX век поставил на повестку дня новую проблему: выяснилось, что высокий уровень благосостояния и «просвещения», достигнутый, скажем, в Америке и большинстве европейских стран, сопровождается обезличиванием человека и падением духовных интересов. Перек исследует это общественно-психологическое явление в его наиболее «невинном» и распространенном аспекте, показывая, как очевидные достижения цивилизации становятся своего рода ловушкой и проклятием, превращая человека в потребителя.

Приобретение вещей, которые производят на благо человеку современное высокоразвитое общество, вещей, облегчающих и украшающих его жизнь, — от предметов домашнего обихода до автомобилей, безделушек и произведений искусства — процесс диалектический: человек стремится иметь вещи, с которыми связано его представление о жизненном благополучии, независимости, красоте и комфорте, а дело кончается тем, что вещи завладевают им, порабащают его, становятся единственной целью и содержанием жизни. В повести Перека речь идет вовсе не о страсти к накопительству, как таковой, не о жадных и тупых стяжателях. Скорее наоборот — и в этом-то как раз и состоит драма.

Жером и Сильвия — вполне бескорыстные молодые люди, и единственное, чего они хотят, — это быть счастливыми. Они искренне любят друг друга, и ни родственники, ни общество, ни злой рок не ставят никаких препятствий для их счастья. В этом отношении им могли бы позавидовать многие из их литературных предшественников. «Воспитание чувства», выпадавшее на долю молодого человека в большинстве романов, почти всегда было сопряжено с всяческими преградами, и даже если ему улыбалась взаимная любовь, то обычно она оборачивалась лишь новым разочарованием.

Жерому и Сильвии повезло — они нашли друг друга, их двое, что не так-то мало в этом мире, где слишком часто живут и умирают в одиночку. Даже в самых безудержных своих мечтах, порой заносивших Жерома и Сильвию за тридевять земель от их скромной парижской квартиры, они всегда представляют свое счастье как совместную

¹ Русский перевод, к сожалению, дает неполное представление о стилистических достоинствах оригинала.

жизнь. Может быть, именно поэтому Перек так охотно пользуется местоимением «они», рассказывая историю Жерома и Сильвии. У них все общее — вкусы, привычки, надежды и огорчения. Они ощущают это совпадение, в старину называвшееся родством душ, почти как сообщничество и встречаются подарки и щелчки судьбы, обмениваясь «заговорщицкой» улыбкой...

Они беспечны и нерасчетливы, работают от случая к случаю в различных рекламных агентствах в качестве психосоциологов, проводят опрос населения — интервью, анкеты, — чтобы выяснить запросы рынка и вкусы потребителей. «Гут было все: стирка, сушка, глажение... Дети. Верхняя одежда и белье... Студенты, ногти, микстуры от кашля, пишущие машинки, удобрения, тракторы, досуг, подарки, почтовая бумага, белила, политика» и т. д. Словом, как иронически заключает Перек: «Ничто человеческое не было им чуждо».

Жером и Сильвия не слишком увлечены своей работой, но она и не тяготит их. Они живут лишь настоящим, за несколько часов могут истратить то, что зарабатывают за неделю, часто сидят на полуголодном пайке, но находят и в этом свою прелесть, увлекаются кино и музыкой, путешествуют автостопом и дорожат лишь своей свободой. У них есть друзья — такие же беспечные молодые люди весьма скромного происхождения. Они вместе работают и совершают поездки по провинции, мечтают, философствуют, кутят, пьют, порой целые ночи напролет проводя в сумбурных разговорах «о себе самих и о мирозданье, обо всем и ни о чем», и «чудодейственная звезда дружбы» озаряет их лица... Это чувство солидарности поддерживает их, «и ничто не было им так по сердцу, как собираться вместе, в особенности к концу месяца, когда им приходилось довольно-таки туго, посидеть за столом вокруг кастрюли с вареной картошкой, приправленной салом...» Так проходит их жизнь.

Жером и Сильвия, разумеется, были бы довольны, если бы оказалось, что у них есть способности, скажем, к науке или искусству, если бы бог дал им какой-нибудь талант или призвание. Но ничего такого нет. Если у них и есть призвание, то это призвание к счастью, тоже своего рода талант, потому что не каждому дано почувствовать неповторимую прелесть бытия в обыденных, ничем не примечательных мгно-

веньях. А Жером и Сильвия умеют радоваться всем дарам жизни — последней затяжке последней сигареты, теплу дружеской беседы, красивому платью и новой пластинке, веселому и бестолковому кутежу, зеленой листве дерева, видного из их окна, и ночной прогулке по Парижу, когда, случилось, ощущение счастья охватывало их с такой буйной силой, что они, «взявшись за руки, бросались бежать, или играли в догонялки... распевая во весь голос мотивы из «Così fan tutte» или «Мессы си минор».

Но... Представление о счастье, хотим мы того или нет, складывается на основе той конкретной действительности, которая нас окружает и формирует. «Рядом с ними, на улицах, по которым они не могли не ходить, было столько обманчивых, но привлекательных соблазнов... весь Париж был сплошным искушением», и в этом Париже, выставляющем напоказ богатство, среди манящих витрин, роскошных автомобилей, назойливых воплей рекламы и вкрадчивых обещаний счастливых, со страниц газет, повествующих о секретах успеха, трудно сохранить простодушное убеждение, что «с милым рай в шалаше». Идиллические «шалаша» не выдерживают конкуренции даже со скромным благоустроенным загородным домом, который можно приобрести в рассрочку, если поставить себе такую цель.

Жером и Сильвия изменяют своей «романтической» неустроенности и независимости, в сущности иллюзорной. Сначала в мечтах. Обстоятельно, неторопливо и безжалостно перечисляет Перек все то, что хотели бы иметь его герои. Их мечты фантастичны и убоги, не мечты, а опись имущества, необходимого для счастья. Все предусмотрено и продумано — от цвета роз, стоящих в большой цилиндрической вазе с синим орнаментом, и до не слишком удобной, но зато старинной лампы, освещающей кабинет. Дети эпохи стандартов, серийного производства и массовой культуры, они находят красивым только то, что модно, и вместе с тем испытывают ностальгию по старине, по всему, что отмечено знаком неповторимости — будь то сработанный от руки деревенский стол, глиняные горшки или старинная морская карта. Увы, даже эта их тоска тоже запрограммирована и входит, так сказать, в обязательный джентльменский набор современного порядочного человека. Лишенные корней и подлинной культуры, они цепляются за ма-

териальные приметы традиций: так коллекционирование вещей приобретает видимость духовной потребности.

Жером и Сильвия пока еще не догадываются, куда заведет их эта страсть. В их квартире, тесня друг друга, на полках, столах, бюро, как попало, громоздятся книги: здесь царит тщательно продуманный беспорядок, возведенный в принцип. Он им необходим, потому что маскирует их рабскую одержимость вещами, поддерживает приятную уверенность, что «их интересы сосредоточатся на другом: на книге, которую они открыли, на тексте, который написали, на пластинке, которую прослушали». Но все это так туманно и неопределенно, а опись вещей составлена так «профессионально», точно, вдохновенно, что нетрудно угадать, в чем состоят истинные интересы героев.

Очнувшись от своих грез, они чувствуют себя опустошенными и обманутыми, словно их и в самом деле ограбили. Но безмерность желаний парализует их волю, максимализм молодости («все или ничего») какое-то время удерживает их от того шага, который им в конце концов суждено сделать. Как и всем их друзьям, остепенившимся (или капитулировавшим) раньше их, поступившим на службу и превратившимся в нормальных буржуа с приличным окладом, машиной, прекрасной квартирой и загородным домом и путешествиями в ближайшей перспективе. Правда, к тому времени «молодой человек будет уже далеко не молод, и в довершение всего ему может показаться, что жизнь уже прожита, что все усилия его были тщетны, а цель все равно не достигнута; даже если.. он не осмелится на подобные мысли, все равно ему уже стукнет сорок и оборудование зимней и летней квартир, воспитание детей заполнят целиком те немногие часы, которые он сможет урвать от работы»... Вспоминается из чеховской записной книжки: «Вы должны иметь приличных, хорошо одетых детей, а ваши дети тоже должны иметь хорошую квартиру и детей, а их дети тоже детей и хорошие квартиры, а для чего это — черт его знает».

Жером и Сильвия остаются в одиночестве и с чувством превосходства, в котором пытаются найти утешение. наблюдают, как опошляются их бывшие друзья. Но все чаще их охватывает страх, что жизнь пройдет мимо, что они так и останутся «вечными студентами», превратятся просто-напросто

в жалких неудачников, тогда как другие, «хоть и закованные в цепи», получают все, о чем они мечтали. Они презирают этот пошлый мир и его хозяев — и завидуют им. Они знают им цену — всем этим баловням судьбы, финансовым акулам, коммерсантам, шарлатанам, «писателям, пишущим только на верняка», мудрым, ловким и обаятельным, с приветливой улыбкой, обнажающей «длинные зубы»...

Но что они могут противопоставить им, кроме своей неутоленной жажды обладания, потребности в свободе и весьма смутных устремлений к чему-то высшему?

Уточняя жизненную позицию своих героев, Перек подчеркивает, что для Жерома и Сильвии, как и для многих их сверстников, характерно «отсутствие пути». У них нет определенного взгляда на мир, они лишены общественных интересов, существуют как бы вне идей, хоть и ощущают это как свою неполноценность. «Они, пожалуй, предпочли бы быть двадцатилетними во время войны в Испании или в эпоху Сопротивления... им казалось, что проблемы, которые стояли.. в те времена, отличались большей ясностью, даже если разрешать их приходилось и более решительно». Это упоминание об Испании и Сопротивлении многозначительно, но Перек, с присущей ему трезвостью, не пытается выгородить своих героев и свалить вину на историю. «В этой тоске по прошлому, конечно, была доля лукавства,— ведь война в Алжире началась в их время и продолжалась на их глазах. Однако она почти не затронула их». Правда, Жером позаботился о том, чтобы не попасть в армию, правда, они участвовали в антивоенных демонстрациях, расклеивали плакаты, возмущались осовцами и даже вступили в районный антифашистский комитет. Вообще они как-то само собой заняли «левую» позицию — не только в силу своих склонностей, но также потому, что в их среде это принято, если хотите, модно, как, например, английская обувь от Бантинга и Лобба или старая утварь в современном доме. Но случалось, во время очередной манифестации Жером и Сильвия вдруг спрашивали себя, что они, собственно, делают в этой толпе, на виду у оцепивших улицу полицейских, за спинами которых стоят наготове злобеще машины с зарешеченными окнами, и есть ли в этом какой-нибудь толк. С искренним удивлением обнаружили они, что некоторые их знакомые

всерьез включились в борьбу: для них это непостижимая психологическая загадка.

Таким образом, описывая поколение без идей и идеалов, Перек вовсе не утверждает, что оно неизбежно должно быть бездейственным. Он честно исследует эту болезнь, эту очевидную тенденцию современного буржуазного общества и показывает, каковы ее нравственные последствия и какие уродливые формы принимает в этом духовном вакууме естественная для человека потребность счастья.

В эпизоге Жером и Сильвия, устав от неуверенности в завтрашнем дне, от неосуществимости желаний, от материальных затруднений (печальный опыт показал, что отсутствие денег странным образом ставило под угрозу даже их любовь, воздвигало между ними стену отчуждения, порождало раздражительность и ссоры), отказываются от сомнительных преимуществ своей вольной жизни и решаются «покончить с этим раз и навсегда». Они поступают на службу. Они «обзаведутся хорошей квартирой, одеждой, пищей. Им не о чем будет сожалеть. Они получат вожделенный диван Честерфилд»...

Французский критик Робер Кантерс писал, что Перек изобразил «нищих духом, порождаемых эпохой изобилия». Но это не совсем обычные «нищие духом», потому что они, в общем-то, сознают безнадежную пу-

стоту своих желаний, ценностей, будущего. И порой «им казалось, что дальше так не может продолжаться. Они жаждали вступить в бой и победить. Они хотели сражаться и завоевать свое счастье. Но как сражаться? Против кого? Против чего? Они жили в странном, неустойчивом, ослепляющем мире продажной цивилизации, повсюду расставившей тюрьмы изобилия... Где же опасность? Где угрозы? Миллионы людей некогда боролись, да и сейчас еще продолжают бороться ради хлеба насущного. Но Жером и Сильвия никогда не думали, что стоит бороться ради диванов Честерфилд».

Автор тут же добавляет с жесткой беспристрастностью: «Тем не менее это был именно тот лозунг, который легче всего способен был поднять их на борьбу». Мы уже знаем, что они получают свои диваны. Было бы, однако, несправедливо утверждать, что они продали ради них свою душу: в конце концов они заключают не сделку с сатаной, а обыкновенное трудовое соглашение. Нам не сообщают подробностей их пути наверх, возможно даже, что он будет вполне благопристойным и не потребует от героев каких-либо неблагоприятных поступков. Тем не менее очевидно, что они расплатятся за вещи частью своей души...

М. ЗЛОБИНА.

★

Политика и наука

ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

А. М. Бирман. Учись хозяйствовать. Рассказы об экономике предприятия. Издание третье, переработанное и дополненное. Политиздат. М. 1966. 367 стр.

«Рассказы об экономике предприятия» — таков подзаголовок этой книги, объясняющий ее задачу. При форме изложения, до предела простой и ясной, при откровенной занимательности ее чтения книга обладает обстоятельностью хорошего учебника. Из нее можно почерпнуть множество сведений — от рассказа о том, что такое народное хозяйство, предприятие, план, зарплата, до точного объяснения того, как строится бухгалтерский баланс и в чем смысл таких категорий, как «национальный доход», «амортизационные отчисления» и т. п.

Автор убежден, и вполне справедливо, что в современном обществе экономикой нужно знать всем, — недаром он выступал в печати с предложениями учить экономике в школах, включить раздел о ней в Детскую энциклопедию и т. п. Вместе с тем автор сознает, что пока еще даже среди людей, работающих в народном хозяйстве, подавляющее большинство толком не знает экономикой. Не знают не только рабочие, но и очень многие инженеры, если они не экономисты по специальности. Не имея даже элементарных систематических знаний в этой области, трудно заниматься и само-

образованием, ибо литература для специалистов им «не по зубам», а иной почти нет. И вот автор ставит перед собой задачу написать книгу, которую мог бы легко читать даже тот, кто не знает об экономике ничего, и при этом помочь узнать о ней очень много. Эту задачу он выполнил.

Едва ли требуется более подробная характеристика книги: первое издание ее давно известно читателю. Еще в январском номере «Нового мира» за 1960 год Я. Тавров писал о ней: «...удача книги не только в ясности изложения. Гораздо важнее то, что удалось убедительно показать увлекательность любого труда, который «вливается в труд моей республики». Когда автор говорит: «У каждой работы есть свои тайны и свои открытия» — это утверждение не повисает в воздухе». Но что же в книге появилось теперь нового и зачем потребовалось ее перерабатывать? Причина к тому самая очевидная, убедительная и радостная: это те радикальные перемены, которые принесли в нашу хозяйственную жизнь решения мартовского и сентябрьского (1965 года) Пленумов ЦК КПСС и XXIII съезда партии. Никакие рассказы о социалистической экономике, вышедшие до 1965 года, не могут считаться сейчас достаточно полными. Отсюда рассказ восемнадцатый — «Хозяйственная реформа». Рассказ девятнадцатый — «Новый этап» (о новой пятилетке). Отсюда новый взгляд, взгляд с позиций реформы, пронизывающий и рассказ двенадцатый — «Что такое прибыль?», и рассказ третий — «Большая сила» (о планировании), и все другие разделы книги.

Чтобы понять характер проводимой в стране хозяйственной реформы, ее истоки и причины, мало проанализировать нынешнее состояние нашей экономики — надо взглянуть в историю. И автор делает это. В рассказе третьем он показывает, как развивалась система социалистического планирования с первых дней советской власти, в каких условиях рождались разные методы и формы его. А. Бирман отвечает, в частности, на вопрос, который сейчас, в пору экономической реформы, вызывает все больший интерес у работников хозяйства: почему за полвека советской власти несколько раз происходило то усиление административной централизации управления производством, то ослабление ее, развертывание инициативы предприятий, сопровождаемое расширением экономического

регулирующего? В каких условиях происходили эти повороты в ту и другую сторону, чем вызывались и каковы были их последствия?

Вопросы эти чрезвычайно актуальны именно сейчас, в пору нового поворота. И автор популярной книги дает на них ясный ответ. Вот он описывает обстановку в экономике в период гражданской войны. «Материальные ресурсы были крайне ограничены, и их, естественно, пришлось централизовать. Именно тогда — с середины 1918 и до 1921 года в Советской республике существовала необычайно централизованная, жесткая система хозяйствования: без распоряжения свыше предприятие не имело права отпустить ящик гвоздей или кусок ткани... Вытекала ли эта централизация из сущности или принципов социализма? Нет! Она была результатом особых исторических условий: войны, интервенции, разрухи и голода. Как только эти условия изменились, ослабла централизация. С 1921 до 1932—1933 годов централизация была незначительна. Высший совет народного хозяйства в Москве и совнархозы на местах осуществляли общее руководство предприятиями, имевшими весьма широкие права: они продавали подавляющее большинство видов продукции на основании двусторонних договоров с потребителями, в большинстве случаев сами договаривались о ценах, выдавали (до 1930 года) и принимали векселя, вступали в акционерные и другие общества и компании и т. д.»

Приведенная цитата содержит очень точное и полное, несмотря на краткость, описание обстановки в хозяйстве в те годы, причин и характера реформы экономических отношений в социалистическом производстве. «Вторично, — пишет автор, — централизм усилился в середине тридцатых годов. Чем это было вызвано? Как и в первый раз, усилением угрозы военного нападения на нашу страну Японии и фашистской Германии. Наряду с этим действовала и чисто экономическая причина — разделение непрерывно разрастающейся промышленности на отдельные отрасли».

В популярной книге, естественно, невозможно дать всестороннее и полное объяснение тех огромных перемен в организации экономического управления, которые принес период первых пятилеток. Эта эпоха еще ждет подробного исторического исследования. Вообще, думается, в ближайшие

годы мы можем стать свидетелями большого оживления в исследованиях по истории экономики, ибо интерес к ней быстро нарастает. Реформа нынешняя, естественно, вызывает повышенное внимание к экономическим реформам в минувшие десятилетия, и становится очевидным, что многие события требуют глубокого научного объяснения.

В книге А. Бирмана история не главная тема. Один из интереснейших и важнейших новых разделов третьего издания — это рассказ о хозяйственной реформе. Глубоко и убедительно показана здесь объективная необходимость принятых партией решений о переменах в управлении производством, об усилении экономических методов управления. Автор не устает разбивать предрассудки, устаревшие взгляды, с которыми сжились десятилетиями. Ведь не секрет, что различные сомнения в надежности и действенности экономических методов управления высказывались и в самый канун сентябрьского (1965 года) Пленума ЦК КПСС, а порой даже высказываются и сейчас.

На одно из самых распространенных сомнений, отражающее тягу к привычному администрированию, А. Бирман отвечает так: «Некоторых товарищей, принимавших участие в дискуссии, беспокоил такой вопрос: а не ослабнет ли роль централизованного плана и централизованного госу-

дарственного планового руководства при переходе к экономическим методам управления народным хозяйством? Это беспокойство не имеет никаких серьезных оснований. Наоборот, значение централизованного планирования возрастает. Ведь один из главных недостатков административных методов в том и состоит, что они просто-напросто не в состоянии охватить все народное хозяйство в целом. Нагромождая разнообразные указания по мелким и мельчайшим вопросам, сковывая ими возможности маневренного ведения дел предприятиями, эти методы руководства в действительности приводили к тому, что плановое начало за последние годы не только не усилилось, но даже ослабло». Да, в этом суть вопроса: централизованное планирование усилится на деле, передав предприятиям те функции, которые выполнять в едином центре невозможно.

Уже не раз высказывалась мысль о том, что одна из главных проблем реформы — это проблема понимания, проблема перестройки человеческого сознания, перестройки трудной и порой не сразу дающей эффект. Добавим: не только понимания, но и знания. Ибо без очень конкретного и точного знания механизма реформы невозможно понять ее процессы. Книга «Учись хозяйствовать» дает такое знание, и в этом главная ее ценность.

Т. СМОРЬОВ.



ДЕЛА И СУДЬБЫ БЕЛОЙ ЭМИГРАЦИИ

Дмитрий Мейснер. Миражи и действительность. Записки эмигранта. Издательство Агентства печати Новости. М. 1966. 302 стр.

Д. И. Мейснер был среди тех, кто покинул родную землю поздней осенью 1920 года с разбитой армией Врангеля. Вспоминая то далекое время, он не приукрашивает себя, не скрывает, что бегство с родины было его сознательным шагом. Прошли долгие годы эмиграции, прежде чем пришло новое понимание и Октябрьской революции, и всего того, что она принесла.

Говорят, что всякий мемуарист оставляет прежде всего свой собственный портрет, но именно это и делает мемуары ценнейшим источником, человеческим документом. Мейснер не переживает границы лично пережитого, его книга не исследование, а ряд «запечатлевшихся в памяти эпи-

зодов, образов, имен, пейзажей, столкновений, чувств и размышлений». Автора особенно интересуют духовные процессы, которые развивались в эмиграции. Мейснер, безусловно, хорошо осведомлен в этом отношении: долгие годы он прожил в Праге и был секретарем Объединения русских эмигрантских организаций в Чехословакии, часто бывал и в Париже, который в двадцатых — тридцатых годах стал центром антисоветской эмиграции. «Я хотел бы рассказать о том, — пишет Мейснер в своем обращении к читателю, — как из десятилетия в десятилетие, из года в год крошилась казавшаяся нам — эмигрантам — такой цельной, живой и неустрашимой антисовет-

ская идеология. Я хочу напомнить, как распались самые главные, казалось, непреодолимые ее основы и как вторая мировая война нанесла остаткам этой идеологии решающий, сокрушительный удар». Действительно, это занимает центральное место в книге.

Сначала многие белые, только что потерпевшие жестокое поражение на полях гражданской войны, искали какую-то допущенную ими самими ошибку... Мнений было много, пожалуй, даже слишком много. Мейснер пишет об ожесточенных спорах в эмигрантских кругах, которые проходили, по его словам, под знаком нелепой формулы: «что бы было, если бы ничего не было». Недавно я обнаружил в архиве интересный документ — письмо из Парижа Бориса Савинкова генералу Деникину. Оно датировано декабрем 1919 года. Савинков спрашивает: чем объяснить, что «добровольческая армия» не победила до сих пор армии большевистской? Он советовал Деникину присмотреться к тому, что делается в Европе. «Ныне союзные правительства, считаясь с общественным мнением своих стран (а не считаясь с ним они не могут), — писал Савинков, — не в силах Вам помочь так, как они этого бы желали и как Вам это необходимо... Даже Черчилль, испытанный друг России и Ваш... не может делать больше того, что он делает, ибо иначе завтра он не будет у власти». По мнению Савинкова, завоевать сочувствие народных масс в тех условиях можно было только, действуя под «демократическим флагом» и с «демократической программой».

Это признание объективного положения вещей тем более ценно, что оно исходило от человека, который, по его собственным словам, в тяжелой и долгой кровавой борьбе с большевиками «сделал, может быть, больше, чем многие и многие другие». Но все дело в том, что не было в «белом движении» такой силы, которая могла бы дать ему ясную и четкую программу. Любопытен в этом отношении рассказ Мейснера о разговорах, которые он слышал в лагере врангелевцев около турецкого города Галлиполи. Смысл их сводился к признанию многими белоэмигрантами того факта, что красные знали, за что борются, а белые или совсем не знали, или боролись каждый за свое: одни — за «великую Россию», другие — за царя-батюшку, солдаты из хуторов, из богатых мужиков — за свою зем-

лю, добровольцы-студенты — за Учредительное собрание, жандармские полковники — за полицию, по их правилам устроенную, помещики — за свои усадьбы и т. д. Отсутствие прочных общих интересов, разброд и грызня между различными течениями «белого движения» еще более усилились в эмиграции.

Несмотря на то, что делались отчаянные попытки сплотить силы эмиграции, они терпели крах. «Пауки в банке» — так говорили сами эмигранты о своих взаимоотношениях. Причудливыми были переплетения эмигрантской политической борьбы. Мейснер рассказывает о течениях, группах и группировках белой эмиграции. Картина была очень пестрой, и для советских историков здесь еще — нетронутая целина. Наиболее, пожалуй, массовой среди антисоветских организаций был Российский общевосточный союз (РОВС). Мейснер лишь бегло упоминает о нем в своей книге. Эту организацию возглавляли битые в годы гражданской войны генералы — сначала Врангель, потом Кутепов и Миллер. Здесь вынашивались планы новой интервенции, обсуждались способы, как «взорвать» Советскую республику изнутри. Стремясь сохранить кадры белой армии, РОВС во второй половине двадцатых годов имел разветвленную сеть своих организаций в странах Европы, в Китае, в Америке.

Многое в эмигрантской жизни, свидетельствует Мейснер, при проверке временем оказалось совсем суетным, ломаного гроша не стоящим. Чего стоила, например, борьба, которая с большим ожесточением велась в монархических кругах между сторонниками великого князя Николая Николаевича и последователями великого князя Кирилла Владимировича, объявившего себя «блюстителем престола». Если первые прикрывали свой монархизм заявлениями, что они «не предрешают будущего образа правления России», то сторонники так называемого Кирилла I выдвинули лозунг «За веру, царя и отечество!». Но те и другие закрывали глаза на действительность. Совершенно оторванные от жизни Советской страны, они находились под гипнозом созданных ими миражей.

Ложные представления о путях развития Советской России были присущи и «республиканцам-демократам» — остаткам партий кадетов, эсеров и меньшевиков. Мейснер с детских лет был знаком с идеологией

партии кадетов, с именами ее лидеров. В эмиграции он долгие годы работал корреспондентом милюковской газеты «Последние новости», был членом республиканско-демократической группы «партии народной свободы». Поэтому он отлично знает, каким было положение в кадетской партии, дает подробные характеристики ее деятелям, оказавшимся в эмиграции. Разногласия потрясли эту партию с самого начала. Правое крыло в лице такого его представителя, как бывший министр Временного правительства А. В. Карташов, отстаивало линию продолжающегося «кубанского похода», выступало за сохранение белой армии. Эту позицию разделяли некоторые известные в прошлом кадеты. Мейснер рассказывает об одном из них — князе Павле Долгорукове. Непримиимый враг Советской республики, он несколько раз нелегально переправлялся в Советский Союз, пока не был здесь задержан и расстрелян по приговору суда. «Новую тактику» предложил крупный деятель кадетской партии Милюков, делавший ставку на эволюцию советской системы, на какой-то русский «термидор». Милюков говорил о безнадежности «белого движения» после понесенных им поражений. Монархисты его проклинали, правые кадеты клеймили за измену, а жизнь с каждым годом все больше подтверждала несостоятельность его надежд на «изживание» большевизма.

В предвоенный период перед эмиграцией во весь рост встал вопрос, с кем быть во время надвигавшейся схватки. Милюков был среди тех, кто заявил, что в случае войны эмиграция должна быть на стороне своей родины. Потом, когда война началась, в 1943 году (об этом писал раньше Л. Д. Любимов), он признал прочность советского режима. Это был полный отказ от расчетов на падение советской власти. По этому пути пошли и многие другие деятели эмиграции — люди самых разных направлений. Из книги Мейснера и опубликованных за последние годы других воспоминаний бывших эмигрантов нам стало известно, например, что во время войны полностью переменял свои политические позиции лидер антисоветской партии «Крестьянская Россия» С. С. Маслов, изменил свои взгляды и возвратился после войны на родину руководитель монархической группы «младороссов» А. Л. Казем-Бек, активно

участвовал во французском движении Сопротивления сын царского министра И. А. Кривошеин, вернувшийся после войны в СССР. В эмигрантских кругах были и такие люди, которые, отказываясь от сотрудничества с немцами, надеялись, что после победы над Германией Красная Армия повернет свои штыки против большевиков. К ним относился и небезызвестный генерал Деникин. Были и такие, кто активно сотрудничал с фашистами. Казачий генерал Краснов поплатился за это жизнью. На немцев работали целые организации вроде «Национально-трудового союза нового поколения». И все же, несомненно, война нанесла решающий удар по белоэмигрантской психологии. Большая часть русской эмиграции заняла в те годы патристическую позицию. И это «великое для нее счастье», — пишет Мейснер.

Через пробуждение патристических чувств, через понимание того, что «без родины нет счастья», приходили к признанию советской власти многие ее вчерашние враги еще в годы гражданской войны.

«...Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись; горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится». Эти слова И. С. Тургенева Мейснер взял эпиграфом к своей книге. Он снова увидел родину после сорокалетнего перерыва, человеком уже старым. Но он относится к числу тех бывших эмигрантов, которые не просто «примирились» с советской властью, а идут дальше — стремятся понять новую жизнь страны и пропагандируют ее достижения.

Д. И. Мейснер вспоминает весь пройденный им путь. Поэтому его записки, как это всегда бывает в таких случаях, охватывают широкий круг вопросов. Здесь и зарисовки из жизни дворянской усадьбы в далекие годы детства, и рассказ о белой армии, о своем пребывании в стане белых, и картины эмигрантского быта, жизнь студенческих организаций, и описания взаимоотношений эмиграции с политическими деятелями Чехословакии. Мейснера интересуют человеческие судьбы, он любит наблюдать людей, с которыми сталкивала его жизнь. Иногда несколькими штрихами автору удается передать особенности портрета, настроений, характера. Вслед за Л. Любимовым Мейснер рассказал об участии, порой очень тяжелой, которая постигла в эмиграции русских

писателей и артистов. На чужбине их творчество лишилось родной питательной среды. Одним из первых это понял А. Н. Толстой. Перед войной вернулись в СССР А. И. Куприн и Марина Цветаева. Некоторые деятели культуры, главным образом более младшего поколения, преодолели свой отрыв от родины уже после войны. Но многие так и не нашли путь к возвращению и остались навсегда на кладбищах Праги и Парижа. Теперь никого, замечает

автор, или почти никого не осталось уже из русских писателей эмигрантского поколения.

Д. И. Мейснер рассказал о судьбах белой эмиграции. Сейчас, когда мы приближаемся к пятидесятилетию Октябрьской революции, этот рассказ особенно поучителен. Он напоминает лишний раз, как поступает история со всеми теми, кто действует помимо нее и.т.и. вопреки ей.

Л. ШКАРЕНКОВ.

★

В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ

И. В. Парамонов. Пути пройденные. Политиздат. М. 1966. 326 стр.

В. З. Дробижев. Главный штаб социалистической промышленности (Очерки истории ВСНХ. 1917—1932 гг.). «Мысль». М. 1966. 285 стр.

И. В. Парамонов написал мемуары, а В. З. Дробижев — научный труд. Казалось бы, что общего между этими книгами? Но общее есть. Та и другая — каждая по-своему — повествуют о становлении нашей экономики с первого дня существования Советского государства. И очень любопытно увидеть одни и те же черты жизни глазами активного участника событий, а потом глазами историка.

В нашей исторической литературе становление социалистической хозяйственной системы в первые месяцы советской власти рассматривается порой очень бегло. Видимо, незаметным кажется этот короткий отрезок времени по сравнению с налетевшим в конце 1918 года и все изменившим вихрем «военного коммунизма», теми сложными и крутыми переменами в экономике, которые принес затем нэп.

Централизованное планирование и государственное управление экономикой не впервые применены при социализме.

В. И. Ленин неоднократно напоминал о том положении марксистской науки, что капитализм подготавливает все материальные условия социализма и не одним только планированием характеризуется социализм — не в этом одном его основа. Ведь и капиталистические страны, в рамках своих возможностей, использовали и используют планирование.

Планирование для социализма — важное средство, но не самоцель. Огромное преимущество социализма — в его способности ши-

роко и успешно применять это средство наряду с другими.

Любопытны в связи с этим факты, сообщаемые В. З. Дробижевым в главе «Образование ВСНХ». Разрушая старую армию, полицию, чиновничество, весь аппарат угнетения и подавления трудящихся, советская власть иначе поступала с аппаратом хозяйственного управления. «Этого аппарата разбивать нельзя и не надо, — писал В. И. Ленин. — Его надо вырвать из подчинения капиталистам, от него надо *отрезать, отсечь, отрубить* капиталистов с их нитями влияния, его надо *подчинить* пролетарским Советам, его надо сделать более широким, более всеобъемлющим, более всенародным. И это можно сделать, опираясь на завоевания, уже осуществленные крупнейшим капитализмом (как и вообще пролетарская революция, только опираясь на эти завоевания, способна достигнуть своей цели)».

Что же полезного было в этом аппарате и как он использовался революцией?

Оказывается, был, например, Главный экономический комитет. В. З. Дробижев извлекает из архива постановление Совнаркома от 16 ноября 1917 года: «Делопроизводство и средства Главного экономического комитета впредь до образования СНХ передать в ведение уполномоченных СНХ по организации высшего экономического совещания». Был Комитет по распределению металлов (Расмеко) — ВСНХ его использовал. Было Особое совещание по топливу (Осотоп) — его учетно-распределительный аппарат частично взят в отдел топлива ВСНХ. Был Хи-

мический комитет при Главном артиллерийском управлении. В мае 1918 года ВСНХ принимает постановление: «Комитет реорганизуется. Его личный состав переходит в ВСНХ. Районные бюро и уполномоченные Химического комитета остаются на своих местах и, являясь исполнительными органами отдела химической промышленности, объединяют техников, контролеров, прикомандированных к заводам».

Ставился на службу советской власти — хотя при гораздо более остром сопротивлении буржуазии — не только хозяйственный аппарат капиталистического государства, но и аппарат капиталистических монополий. ВСНХ запрещал национализировать поодиночке заводы, входившие в капиталистические тресты и концерны: крупные системы связанных между собой предприятий старались сохранить со всеми их связями. Трест «Сормово — Коломна» по решению, одобренному В. И. Лениным, был сохранен при национализации как единая система под названием Государственное объединение машиностроительных заводов (ГОМЗ). То же было с группой мануфактур — Цинделя, Воскресенской и Собинской, с Петроградским обществом костеобжигательных заводов, с молочной фирмой Чичкина и другими.

Итак, пристальное внимание к деталям давнего и очень быстротечного процесса позволило В. З. Дробижеву в начале книги сделать интересные наблюдения. А вот как его дополняет И. В. Парамонов: «В то время усиленно велись разговоры о хозяйственной демократии и выборности хозяйственных органов. IV Всероссийский съезд совнархозов положил начало такой выборности. Председателем ВСНХ был избран П. А. Богданов, членами президиума ВСНХ — В. В. Куйбышев, В. Я. Чубарь, Я. Э. Рудзук и другие». К сожалению, В. З. Дробижев не уделяет должного внимания системе выборности в совнархозах, хотя развитию демократизма и централизма в управлении промышленностью посвящена самая большая из четырех глав книги.

Есть в его книге и более существенный пробел. Исследуя механизм изменений в аппарате управления, В. З. Дробижев внимательно прослеживает перипетии борьбы таких начал, как демократизм и централизм, отраслевое управление и территориальное, власть местных органов и союзных. Но лишь в очень немногих местах он показывает главную пружину, основу всех структурных пе-

режен — борьбу экономических методов с администрированием, борьбу за полный и подлинный хозрасчет предприятий и против него.

В. З. Дробижев почему-то не уделяет достаточного внимания интереснейшим высказываниям Ф. Э. Держинского, Г. К. Орджоникидзе, В. В. Куйбышева, которые сам же добыл в архивах и привел в книге. Вот слова В. В. Куйбышева: «Период 1921—1923 года выдвигал первоочередной задачей устанвление товарной связи государственной промышленности с рынком, задачу скорейшего воссоздания и оживления промышленных единиц как хозяйств меновых. В тесной зависимости от этой коренной задачи аппарат ВСНХ повертывался тогда всем фронтом в сторону ускорения пуска и реорганизации промышленных предприятий как предприятий коммерческого типа». Отметив рядом с такой цитатой связь требований экономики с изменениями в аппарате, В. З. Дробижев в дальнейшем снова забывает об этой связи и анализирует изменения в аппарате административного управления в «чистом» виде, как нечто самодовлеющее.

Такой подход порой приводит автора к весьма спорным утверждениям. В. З. Дробижев пишет, например, что реформы хозяйственного управления 1929—1932 годов означали только сосредоточение власти в центральных административных органах в ущерб местным административным же органам, но не в ущерб правам предприятий. Он утверждает, что эти реформы сопровождались «развитием оперативной самостоятельности предприятий». Между тем известно, что ограничение прав предприятий, подмена экономического контроля за их деятельностью прямым административным регулированием были следствием этих реформ. И это убедительно показано в воспоминаниях И. В. Парамонова. Из них видно, что права предприятий были до этого очень широки. По согласованию с потребителем они устанавливали цены на продукцию, сами определяли уровень оплаты труда. Вышестоящие органы в это не вмешивались, а всякий произвол исключался контролем потребителей и давлением экономической обстановки. В 1926 году в беседе с И. В. Парамоновым — в то время управляющим Черемховским угольным трестом — председатель Сибкрайисполкома Р. И. Эйхе сказал: «Черембасстрест работает хорошо, себестоимость самая низкая,

поэтому и зарплата должна быть самая высокая».

В двадцать третьем году — из-за неизбежных поначалу просчетов в планировании — кризис сбыта поразил топливную промышленность. Предприятия, однако, не сидели сложа руки, не ждали из Москвы нарядов на сбыт. Управляющий Черембасстрестом И. В. Парамонов поехал в Читу и доказал руководителям Читинской железной дороги, что ей нужен черемховский уголь. Представитель дороги едет в Маньчжурию и через наше торгпредство продает уголь китайской фирме. В Иркутске механический завод налаживает переделку заводских топок и домашних печей с дровяных на угольные. Черемховский уголь посылают на анализ в Московскую горную академию и доказывают, что он пригоден для коксования.

Кризис сбыта был преодолен при активном участии самих предприятий, целиком отвечавших за сбыт.

А что было в тридцатые годы, после реформ управления? Воспоминания И. В. Парамонова содержат яркие эпизоды, дающие ответ на этот вопрос.

«Одно время, как ни странно, кирпичным заводам не хватало угля. Заводы находились буквально рядом с шахтой «Федоровский пласт», но весь добываемый здесь уголь отгружался по нарядам. Кирпичным заводам отпуск этого угля был прекращен. А железная дорога, формально соблюдая директиву о запрещении встречных перевозок, отказывалась доставлять заводам уголь с других шахт. Пришлось возить уголь автомашинами, а это удорожало кирпич». Это происходило в Караганде. Снабжая углем сотни предприятий страны, карагандинцы не имели права самостоятельно определить, с какой шахты снабжать собственный кирпичный завод. Где же здесь «развитие оперативной самостоятельности предприятий?»

Одно из самых интересных мест в книге В. З. Дробижера — история гибели синдикатов в 1929 году. Исследователь показывает роль синдикатов в развитии социалистической промышленности, рассказывает о большом внимании партии к их работе.

В 1927 году встал вопрос о дублировании функций отраслевых главков ВСНХ и синдикатов. Комиссия НК РКИ, проверив текстильную промышленность, рекомендовала усилить главков, урезав функции синдикатов. Но в Совнаркоме, обсудив этот вопрос, пред-

ложили Наркомату РКИ и ВСНХ «держать курс в этом вопросе на ликвидацию Главтекстиля и на усиление и укрепление ВТС» (ВТС — Всесоюзный текстильный синдикат). Историк не объясняет, в чем принципиальная важность такого предпочтения, которое, по его свидетельству, было широко распространено. А было бы очень полезно разъяснить основное различие между главками и синдикатами. Главк стоит над предприятиями и является органом административным. Синдикаты же создавались самими предприятиями, зависели от предприятий материально, оказывая им услуги на началах хозрасчетных.

Это принципиальное различие, определяющее экономическую основу спора между главками и синдикатами, В. З. Дробижев, к сожалению, не разъяснил. Неполно отражены в книге и особенности политической обстановки того времени. В 1929 году, когда, как сообщает В. З. Дробижев, была окончательно решена судьба синдикатов, административная централизация уже началась. Правда, решение было принято на первый взгляд в пользу синдикатов: была провозглашена ликвидация главков и создание хозрасчетных объединений на базе синдикатов. Но не могли отдельные звенья управления развиваться вопреки общей логике хозяйственного развития того времени. Поэтому вовсе не случайным было то, о чем сообщает В. З. Дробижев: на деле произошло механическое слияние аппарата синдикатов и главков. Возникшие объединения, а тем более появившиеся вскоре промышленные наркоматы с их главками не были хозрасчетными.

В 1932 году ВСНХ прекратил свое существование. На этом рубеже, естественно, прерывается и повествование В. З. Дробижера. Оно охватывает период, вызывающий сегодня повышенный интерес экономистов. Ведь именно тогда впервые складывалась система социалистического хозяйствования. Именно в ту пору уходят своими корнями многие процессы, развивающиеся и по сей день. Без понимания этих процессов не понять и направленности и перспектив экономической реформы, проводимой по решению сентябрьского (1965 года) Пленума ЦК КПСС. С этой точки зрения труд В. З. Дробижера чрезвычайно интересен, особенно в силу обилия неизвестных и малоизвестных фактов из истории экономики, которые вводит автор в научный оборот. Сам объем проделанной им

работы по изучению литературы и архивных материалов не может не внушать уважения.

И. В. Парамонов доводит свой рассказ практически до наших дней. По его книге можно проследить развитие экономических отношений в нашем хозяйстве.

Содержание обеих книг далеко не исчерпывается той линией, которая здесь прослежена, — описанием развития экономических отношений в социалистической промышленности. Воспоминания И. В. Парамонова, в частности, очень интересны живым изложением опыта организаторской работы. Автор даже пишет специальную главу «Мысли об управлении». Помимо упоминания о требо-

ваниях техники и экономики, читатель найдет в ней поучительные размышления и об этике хозяйственника, о психологии управления, о связи экономики с политикой. Важно и то, что, не в пример иным мемуаристам, И. В. Парамонов оценивает опыт, который он может извлечь из своих ошибок, не менее внимательно, чем опыт успехов.

Книги, подобные рецензируемым, очень нужны сейчас. Ведь хозяйственная реформа выдвигает все новые проблемы, и все острее ощущается потребность в том, чтобы ставить на службу сегодняшней практике драгоценный опыт полувекового социалистического строительства.

О. ЛАЦИС.



В ПРЕДЧУВСТВИИ КРАХА

Дневник государственного секретаря А. А. Половцова. В двух томах. «Наука». М. 1966. Том I. 1883—1886 гг. 551 стр. Том II. 1887—1892 гг. 578 стр.

«Старая русская власть делилась на безответственную и ответственную.

Вторая несла ответственность только перед первой, а не перед народом.

Такой порядок требовал людей верующих (вера в помазание), мужественных (нераз dvoенных) и честных (аксиомы нравственности). С непомерным же развитием России вглубь и вширь он требовал еще — все повелительнее — гениальности.

Всех этих свойств давно уже не было у носителей власти в России. Верхи мельчали, развращая низы...»

Александр Блок сделал эту запись в своем дневнике в 1917 году, через два месяца после февральской революции.

Тремя десятилетиями раньше нечто подобное высказал в своем дневнике государственный секретарь и председатель Русского исторического общества Александр Половцов.

Большой поэт и крупный государственный чиновник — люди столь чужие и далекие, что на перекрестке их суждений вероятно встреча с истиной. (Впрочем, поэт с дневника, записной книжки только «начинается», завершаясь в своих произведениях; для государственного же человека дневник, напротив, итог, предел, вершина искренности...).

Александр Половцов вел дневник почти всю жизнь, доверяя сокровенные мысли и

знания своим тетрадям, но не скрывая надежды, что когда-нибудь дневник прочтут и оценят. Это «когда-нибудь» наступило сейчас: пролежало несколько десятилетий в архиве и ныне напечатано более тысячи страниц важного документа. Документ позволяет еще и еще раз поразмыслить о русском историческом процессе, о корнях и судьбах «ответственного и безответственного» российского деспотизма.

Автор дневника не только видит, как делается политика, но и сам — один из ее делателей. Половцов фактически управлял делами Государственного совета, состоя в качестве «гувернера» при номинальном председателе, великом князе Михаиле Николаевиче. Главной обязанностью Половцова было, однако, дело весьма деликатного свойства: царь Александр III желал сам разобраться во всех многосложных вопросах, обсуждавшихся Советом, но разобраться не мог, и Половцову были поручены секретные меморны, то есть переводы протоколов с непонятного делового на простой царский язык. (Прежде так не делалось — цари либо сами разбирались, либо «не вникали».) Мемории были государственной тайной и после использования уничтожались, составитель же их, естественно, имел прямой доступ к царю и часто с ним встречался с глазу на глаз. Во время маневров у Нарвы русская и германская

императорские семьи жили в доме Пловцова. На общественных весах, кроме этих обстоятельств, немало тянуло многомиллионное состояние государственного секретаря, который охотился и завтракал с великими князьями, был в родстве с несколькими очень знатными фамилиями и «на ты» с Победоносцевым.

«У Половцова,— справедливо отмечает во вступительной статье профессор П. А. Зайончковский,— мы не встретим каких-либо ярких и глубоких мыслей, обобщений, которые имеются в дневниках Валуева и Милютина, однако записи Половцова подробнее и содержат больше фактов,— и в этом заключается особая ценность его дневника как исторического источника».

Дневник переносит читателя в одну из самых таинственных и благоденствующих российских сфер. Этот мир сильно отличался от всех других российских миров неповторимыми чертами быта, морали, меню и лексикона.

В дневнике, однако, не только быт, но и время. Время сравнительно тихое: позади остались реформы шестидесятых и террористы семидесятых годов, царевубийство 1 марта 1881 года. Впереди — неизвестность...

В сравнительно тихие и глухие восьмидесятые годы «врагом внутренним» не только пугали — его и в самом деле боялись.

Половцов прибывает со двором в Москву в дни коронации Александра III и сообщает немало колоритных подробностей.

Перед въездом царской четы в город министр внутренних дел «осмотрел подвалы всех церквей и принял всевозможные средства безопасности. От Петровского дворца до Кремля будет, кроме войска и наемных агентов, находиться 23 тыс. добровольно принявших на себя охрану крестьян. Организацию этой охраны заведует гр. Бобринский. Каждый домовладелец дает список лиц, допущенных им в дом для того, чтобы смотреть на въезд. На крышах народа не будет, а на чердаках повсеместно расположены солдаты. Несмотря на все эти предосторожности, от единичной динамитной бомбы никто уберечься не может, но полиция уверена, что заговора среди нигилистов на это время нет».

Десятого мая 1883 года совершается въезд, торжественный, но слишком быстрый. Придворные в Кремле гадают: будет бомба

или не будет? «При входе императорской четы всякий из нас невольно творит крестное знамение. Государь с императрицей, войдя в Успенский собор, под силою только что пережитого впечатления останавливаются как бы в раздумье. Вел. кн. Владимир Александрович подходит к ним и напоминает о том, что надо прикладываться к обрядам... У всякого свалился с сердца камень, все идет по домам с улыбкою на устах, чуть не христосуются на улицах».

Осенью того же года «некстати» умер И. С. Тургенев. Дальновидный Половцов советует похоронить писателя на казенный счет и, «забрав дело церемонии в свои руки, отклонить всякие противоправительственные демонстрации», однако министр внутренних дел Дмитрий Толстой находит, что «Тургенев недостаточно велик для подобной государственной почести, указывая на последние его сочинения как на противоположительные поступки». Кроме того, министр откровенно признается Половцову, что «совершенно спокоен, зная, что террористическая партия никакого участия принимать не намерена, а участие партии либеральной означает лишь пустую болтовню». Наконец 30 сентября 1883 года Половцов вносит в дневник замечательно составленную фразу: «У Толстого ликует об успехе тургеневских похорон».

В дневнике много таких историй, много известных политических событий, но зафиксированных в непривычном для нас «виде сверху». И много страха. Страхи были и перед настоящей опасностью, и перед несуществующей... Тут не простая трусость, а определенная логика: запрет «на все» оборачивается страхом «перед всем».

Запреты, страхи, успехи и неуспехи власти складывались в равнодействующую, именуемую внутренней политикой. В те времена генеральный вопрос внутренней политики был такой: уступить или зажать? Либерально или охранительно?.. Думали: не дать свободы опасно — как бы сдавленные пары не взорвали и котел и всю постройку. Но и дать опасно — а вдруг пары прорвутся в предложенную щель и все разметут.

Александр II уступил — дал реформы; эхом народовольческих выстрелов были конституционные проекты Лорис-Меликова. Но в тот день, когда царь подписал документ, с которого могла начаться неосуществленная российская конституция 1881 го-

да,— в тот день царя взорвали. Конституционные проекты маячили и после. Однако к 1883 году вдруг открылось, что можно и ничего не дать. Считалось, что царя убили «из-за уступок», что если бы не влияние либерального брата Константина, то Александр II остался бы жив. Мысль о «безумной», «слепой» идее «палаты представителей» развил впоследствии и Победоносцев.

Тогда-то стали «зажимать» и вдруг заметили, что получается; что вроде бы прав был Пушкин, писавший о русском правительстве: «Сколь бы грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания».

Тогда-то сделалась тривиальной, самоочевидной мысль, что жесткий курс успокоил страну, и часто сопоставляли железного Николая I, при котором был порядок и никто не смел покушаться, с «мягким Александром II», который уступал и был преследуем, как лесная дичь, пока не сделался охотничьим трофеем народовольцев.

Но как ни превозносились николаевские времена, серьезно никто не верил (разве что в мечтах, беседах), что можно их полностью вернуть,— и дело тут не в доброте или злобе правителей, а в необратимости происходящих исторических процессов.

Самодержавие Александра III было плохим, но не могло стать еще хуже. Половцова этот вопрос, кстати, очень занимал: он вздрагивал при исторических аналогиях. На премьере оперы Рубинштейна «Купец Калашников» царь был доволен, государственный же секретарь был недоволен царем: «...Самые сцены могут возбудить в толпе одно лишь отвращение к дикому произволу. Все это представление нечто вроде «Le roi s'amuse»¹, переложенное на татарские нравы. Какая надобность отождествлять это с принципом верховной власти и притом по возможности в наглядной форме?!» Для Половцова Павел I, Иван Грозный («одичалый до грубости своенравец») — это ужасные явления, которые не должны повторяться в России. Выступая против своевольного вмешательства верховной власти в гражданское правосудие, он замечает, что «легко переступить ту черту, которая отделяет правительства монархические, самодержавные от деспотических, ази-

атских правительств с отличающею их спутанностью и беспорядочностью...».

Решительно, в истории ходы обратно не берутся, и даже когда кажется, что берутся, это уж совсем другие ходы. Уяснив эту истину, Половцов — как и некоторые другие важные лица — хотел понять, куда же движется его страна и ее режим и что надо бы сделать. Дневник поэтому сохранил интересные размышления государственного секретаря о настоящем и будущем.

Половцов обладал тремя качествами, в которых, по мнению Блока, нуждались императорские сановники: он был — или старался быть — идейным, верующим в эту власть, был мужественным («нераздуеным») и честным (признавал аксиомы нравственности). Своей идейностью Половцов гордится и желает, чтобы коллеги его чаще исходили в своих поступках из категорий «Россия», «дворянство», «царская фамилия», а не из пятидесяти тысяч годовых и количества комнат в казенной квартире. Он считает, что Дмитрий Толстой, никогда не думавший об отечестве и об окладе порознь, а всегда вместе,— много хуже, чем жандармский подполковник Судейкин, прибегавший к провокациям, иезуитским допросам, но, по мнению Половцова, несший службу «не по обязанности, а по убеждению, по охоте».

Половцов хочет, чтобы в его кругу волновались из-за больших вопросов, чтоб говорили «не о ком-нибудь, а о чем-нибудь».

О чем же хочет говорить образованный идейный царедворец за четверть века до гибели режима?

«Конституционные бредни» и «послабления низам» Половцов отвергает решительно, убежденно, иногда обгоняя в этом самого Победоносцева: например, он возражает против открытия Томского университета («центр неудовольствия» вблизи сибирской ссылки).

Но государственный секретарь в отличие от многих соратников поднялся до важной мысли: одной негативной программы мало. Хочет же Половцов вот чего:

во-первых, укрепления и расширения того узкого фундамента, на котором стоит монархия (для этого прежде всего — экономические реформы);

во-вторых, хочет он самодержавного царя, окруженного умными, дельными советниками (подразумевает самого себя и себе подобных).

¹ Король забавляется (франц.).

В экономической программе Половцова много такого, что позже осуществили Витте и Столыпин. Государственный секретарь достаточно разбирается в делах, чтобы понять, что голод 1891/92 года — не только и не столько из-за случайностей неурожая; с великим князем Владимиром Половцов голкует однажды «об упадке наших ценностей за границей»: «...Я стараюсь убедить его, что упадок этот есть результат нашей экономической и международной политики, но он остается при убеждении, что упадок этот есть результат вражды Бисмарка, который руководит еврейскими проделками». Автор дневника понимает также, что в России нет средств для войны, он решительно против «табунного ковыряния земли», то есть общины, и даже пытается сокрушить своей логикой патриархальные пристрастия Александра III: защита общины «...это все идеи Французской революции, идеи равенства, которого не может и не должно существовать на земле. Отношения между бедными и богатыми должны устанавливаться под влиянием религии, нравственности, а не полицейских распоряжений. Существование собственников крупных еще более чем мелких представляет гарантии для правительства, отнимает почву у анархистов всякого рода». (Любопытная идеологическая реакция на народнические теории «общинного социализма».)

Мысль о том, что надо ускорить экономическое развитие, кажется, не могла быть ошибочной. Как раз по финансовой и торгово-промышленной части в конце XIX столетия делалось немало (финансовые реформы Вышнеградского и Витте, промышленный подъем девяностых годов). Половцов, как позже Столыпин, надеялся, что новые богачи укрепят старую империю. Однако, если посмотреть на экономические мечтания в духе Половцова со стороны, имея в виду, что стало потом, то легко заметить, как хотелось умным сановникам некоторыми экономическими реформами избежать крупных политических реформ. Столыпин просил «двадцать лет», чтобы преобразовать Россию: за двадцать лет, может, и преобразовал бы, создал бы новый «фундамент». Но не было у них этих «двадцати лет». Мало было одних ограниченных экономических реформ: политические преобразования, вовремя осуществленные, были бы последним шансом для того мира спастись. Половцов

смутно, инстинктивно ощущает, что в России, где «все — сверху», нужно бы не только экономическое оживление, но и какие-то перемены в управлении. Хорошо бы, размышляет Половцов, чтобы верховную власть окружали умные советники и чтобы время от времени приглашались сведущие люди с мест, люди, может быть, даже выбранные (страшно сказать!) своими условиями. Ему кажется, что круг советников Екатерины II и Николая I был именно таков, какой нужен их наследникам, но с тех пор — «боярин оскудел». Внимание Половцова обращается к Государственному совету — чисто совещательному органу при царе; учреждению такого типа, которое существует при самой сверхдеспотической власти, — и при фараонах, и при Нероне, и при Иване Грозном, существует по той простой причине, что даже самый угрюмый деспот не может управлять в одиночку. Но Половцов склонен к иллюзиям — ему кажется, что именно в Совете, где собраны умные сановники, прежде занимавшие высокие правительственные посты, может быть осуществлена идея семейного единения двух властей — «ответственной и безответственной». Он даже докладывает царю, что в Государственном совете можно... свободнее критиковать власть, чем в парламентах.

Государственный секретарь, следуя за своими иллюзиями, стремился как-то повысить авторитет Государственного совета — пытался, например, чаще приглашать солидных экспертов «со стороны». Однажды, когда для обсуждения пошлин на химические продукты был привлечен Д. И. Менделеев, Половцов осторожно пытался сделать из этого факта принципиальные выводы: «Я чудно конституционных, парламентских бредней. Я сегодня говорю Вам, государь, в таком смысле, чтобы, так сказать, расширить Вашу власть в отношении Вашего Совета. Почему Вы должны слушать советов, только исходящих от чиновников с медными пуговицами? Будто кроме их нет в России людей, могущих сказать полезное при обсуждении того или другого законопроекта слово».

Но царь и большинство людей «первого ранга» не умели и не желали перестраиваться. Когда речь шла, например, о реформе местных учреждений, то Александр III возмущался, что столь важное дело обсуждается в столь большой комиссии: чем важнее

дело, тем меньше людей должно его об- суждать.

Дневники Половцова позволяют разгля- деть любопытное явление времени. Пока в обществе не созрела мысль о существенных переменях, наверху было больше убежден- ных людей. Когда же дух преобразований бродит в умах, тогда и назерх постепенно проникает яд сомнения. Самые тулые дер- жиморды и те не могут быть так уверены в своей правоте, как их деды и прадеды, и начинается «раздвоение»: у самых умных — сознательное, у прочих — подсознательное. Понимают, что надо бы многое «перемене- нить», но не желают. Отдельные лица — как Половцов — беспокоятся, пытаются хоть что-то сделать, другие же не беспокоятся и оттого становятся циниками. Цинизм в этой ситуации — социальное явление: неред- кое раньше соединение — «сторонник вла- сти, но порядочный человек» — теперь все менее возможно, а при дальнейшем разви- тии событий совсем почти невозможно...

Портреты большинства коллег нарисо- ваны Половцовым весьма впечатляюще. Председателя Государственного совета Ми- хаила Николаевича земские, городские, су- дебные дела занимают неизмеримо меньше, нежели то обстоятельство, что министр дво- ра «распорядился нынче летом запереть нам... нижнюю дорожку, по которой езд- ли все члены императорской фамилии». О министре просвещения Делянове: «Под- лый, ничтожный Деляшка... какой стыд для России иметь подобного человека во главе народного просвещения!» После Дмитрия Толстого появляется «Лжедмит- рий» Дурново, искренне полагающий, что на Урале существуют «бронзовые рудники».

О страшной Карийской трагедии Полов- цов записывает следующее: «Прошу дать мне записку, представленную Дурново, о восстании нигилистов в Сибири и о том, как была высечена женщина, которая отравилась, а по ее примеру и другие, опасавшиеся подвергнуться той же участи. Дурново на мое замечание, что эти факты, появив в заграничной печати, могут подать повод к парламентским запросам, отвечает, что это невозможно, потому что закон раз- решает сечь ссыльнокаторжных женщин. Я ему возражаю, что оправдание хуже тяжести первоначального обвинения, что, разумеется, войны из-за таких парламент- ских интерpellаций никто не объявит, но

что это придаст нравственный авторитет нигилистам в собственных их глазах...»

Судя по дневнику, его встревоженный ав- тор беспрерывно агитировал двух братьев царя, обладавших известным здравым смыслом. чтобы они повлияли на Александ- ра III и чтобы подумали, как оздоровить страну. Однако «вел. князь Алексей отве- чает мне, что чувствует себя не довольно для того образованным и слишком ле- нливым».

Великий князь Владимир: «Родина сама выпутается».

Половцов: «Я бы только хотел, чтобы она выпуталась во главе со своей правящей династией».

«Родина выпутается» — российский ва- риант французского «После нас хоть по- топ» — приводил Половцова в уныние.

Все сильнее его желание выйти в от- ставку и все мрачнее его предчувствия.

«Самодержавие, о котором так много толкуют, есть только внешняя форма, уси- ленное выражение того внутреннего содер- жания, которое отсутствует. В тихое, нор- мальное время дела плетутся, но не дай бог грозу, не знаешь, что произойдет».

Мрачные, апокалиптические пророчества в дневнике делового, государственного че- ловека — по закону контраста — звучат особенно внушительно.

Если б люди поважнее Половцова могли предвидеть, высмотреть точную картину того, что станет с ними и их детьми в 1917 году, они бы...

Они бы все равно не переменились, они бы решительно не поверили в предсказания, даже заверенные лучшими предсказателя- ми: «Родина выпутается...»

Они безнадежно просрочили время и про- играли. Среди проигравших были очень неглупые люди. Но к такого рода умам применима реплика Ивана Андреевича Крылова (баснописца как-то уговаривали, что Сенковский умен):

— Умный! Да ум-то у него дурацкий...

* * *

Приведенные наблюдения над дневником Половцова, конечно, далеко не исчерпывают значения этого интересного документа.

Дневник Половцова очень ценен как ис- точник, как пособие для исследования исто- рии России прошлого века.

Редактор издания, автор биографического очерка и комментариев проф. П. А. Зайонч-

ковский давно и успешно разрабатывает одну из самых неизученных тем — историю государственной внутренней политики России в прошлом столетии. Серьезные труды П. А. Зайончковского о крестьянской и военной реформах, о кризисе самодержавия в семидесятых—восьмидесятых годах доказывают внимание и уважение исследователя к историческому факту. Об этом нужно сказать особо, так как в свое время в нашей исторической литературе распространился примерно такой взгляд: факты — это нечто доступное историкам любого направления (поскольку факты умеют находить и буржуазные и дворянские историки, а пока речь о фактах — спорить с ними почти не о чем). Важнее фактов — концепция, ибо, как только начинается концепция, возникают разногласия, появляется «классовая правда» и «классовая ложь», а факты легко группируются и истолковываются...

Концепции, выраставшие из фактов, усиливали науку, но «недостатки — продолжение достоинств», и все чаще — по разным причинам — концепции от фактов начинали отрываться. Порою они совсем не вытекали из фактов, еще немного — и концепции начинали сами группировать и даже создавать факты...

Так вползали в науку работы-оборотни, не завершавшиеся, но начинавшиеся с выводов.

На этом опасном пути было много потерь. Однако лучшие советские историки никогда не позволяли концепции съесть факты. Они писали свои книги, где доказывались теоремы, а не иллюстрировались общеизвестные положения. Но, кроме того, они представляли читателям и сами факты в

первозданном виде. П. А. Зайончковский, например, почти каждый свой труд сопровождает изданием использованного в нем ценного источника. Работа над книгой «Военные реформы 1860—1870 гг. в России» сопровождалась четырехтомным изданием дневника военного министра Д. А. Милютина. Трудом об отмене крепостного права и книге «Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880 годов» сопутствовало двухтомное издание дневника министра внутренних дел П. А. Валуева.

Сейчас П. А. Зайончковский работает над книгой о самодержавии Александра III, внутренней политике восьмидесятых годов: «параллельное издание» — дневник А. А. Половцова.

В последнее время издание источников расширилось, напечатано и печатается множество материалов о русском освободительном движении (в частности, «Колокол», «Полярная звезда», сборники о крестьянском и рабочем движении), изданы десятки томов мемуарной литературы. Издание источников ценно уже тем, что включает в себе элемент уважения к читателю, предоставляя право ему самому во всем разобраться. Это право может быть усилено или ослаблено качеством издания — точностью воспроизведения текста, богатством и полнотой комментария, вступительной статьи, именного указателя.

Образцовое издание дневников Половцова (текст подготовлен к печати М. Г. Вандалковской и Г. М. Лифшицем) — несомненно, важное научное и общественное событие.

Н. ЭЙДЕЛЬМАН,

кандидат исторических наук.



ЗАГАДКИ ДРЕВНЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Жан-Филипп Лауэр. Загадки египетских пирамид. Сокращенный перевод с французского. «Наука». М. 1966. 224 стр.

Ревенка Рубинштейн. Загадки пирамид. «Советский художник». М. 1966. 88 стр.

Одновременно вышли две книги, близкие по названиям, но существенно отличные по содержанию, стилю и объему. Французский архитектор и археолог Жан-Филипп Лауэр много лет занимался изучением египетских пирамид и в своей книге попытался объективно изложить все, что известно науке об этих сооружениях. Это строгий научный труд, в котором дан обзор древних, средневековых и новых литератур-

ных источников, критически рассмотрены мистические и псевдонаучные теории относительно пирамид, описаны геометрия и технические приемы, примененные при строительстве этого «чуда света». Маленькая книжка Р. И. Рубинштейн, сотрудницы Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, представляет собою популярный очерк об искусстве древнего Египта.

Около пяти тысячелетий стоят на земле

пирамиды — свидетели и памятники одной из наиболее жестоких диктатур в истории человечества.

От мира древности и раннего средневековья остались в наследство потомкам — иные в целости, иные в руинах — многие культовые постройки: вавилонские зиккураты, храмы инков, христианские соборы и церкви, мусульманские мечети. Все эти здания имели в известном смысле общественное назначение. Во время же строительства пирамид — наиболее колоссальных из всех известных нам культовых построек — общественные храмы, по свидетельству Геродота, закрывались и весь народ трудился ради одного человека; точнее — ради одного трупа. Несомизмеримость величины этих сооружений и затраченного на них труда с целями, для которых они предназначались, настолько не укладывается в сознание современного человека, что возникли многочисленные теории, приписывающие пирамидам те или иные общественные функции. Окруженные гробницами чиновников и вельмож, пирамиды как бы олицетворяют собой централизацию власти и бюрократизм того времени.

Наиболее известны пирамиды в Гизе, расположенные близ Каира. Это Великая пирамида Хеопса и пирамиды его преемников — Хефрена и Микерина. Лауэр подробно описывает пирамиды и при этом приводит много интересных фактов и цифр. Вес Великой пирамиды превышает шесть с половиной миллионов тонн, высота ее более ста сорока метров. Наполеон подсчитал, что каменных блоков от трех пирамид в Гизе хватило бы, чтобы окружить всю Францию стеной высотой в три метра и толщиной в тридцать сантиметров. Подгонка блоков выполнена так, что толщина швов составляет около половины миллиметра: они кажутся царапинами на поверхности камня. Сооружены пирамиды в конце каменного века с применением диоритовых и медных инструментов довольно низкого качества. При этом египтяне, по-видимому, не пользовались никакими подъемными приспособлениями, как это думали раньше, а поднимали блоки вручную по вспомогательной насыпи. Лауэр, подробно приводя чертежи, описывает предполагаемый процесс сооружения пирамиды. Он обращает также внимание на огромную трудоемкость процессов добычи, доставки и обработки камня, о чем писал еще Геродот, посетивший Египет спу-

стя два тысячелетия после сооружения пирамид: «Народ томился десять лет над проведением дороги, по которой таскали камни... Самое сооружение пирамиды длилось двадцать лет...»¹.

В эпоху средневековья пирамидам приписывали самое различное назначение. Их считали и обсерваториями, и даже житницами библейского Иосифа, где он хранил зерно в голодные годы. Но особенно много фантастических теорий стало создаваться в новое время начиная с середины XVIII века. Советского читателя может удивить, почему Лауэр в 1948 году находит нужным посвящать целые две главы разоблачению посвященных пирамидам мистических и наукообразных теорий, нелепость которых зачастую кажется очевидной. Однако на Западе эти теории причиняют немало беспокойства ученым, тем более что авторы спекулятивных воззрений обычно более широко прибегают к контакту с публикой, чем ученые.

Наиболее распространенными из мистических теорий были так называемые библейские. Суть их сводится к тому, что в форме, размерах и других особенностях архитектуры и геометрии пирамид зашифровано содержание библии.

В XX веке сторонники библейских теорий утверждали, будто в Великой пирамиде заключено не только содержание библии, но и указания на прошлые и будущие судьбы человечества. Они сумели вычитать в пирамидах намеки на все крупные даты истории — будь то рождение Иисуса Христа или падение кабинета Бриана в 1926 году, исход евреев из Египта или отказ турецкого парламента от ислама как господствующей религии. Оказалось даже, что начало экономического кризиса в 1928 году предсказывалось... началом второго нижнего перехода пирамиды! Авторы этих расчетов легко добивались совпадения, когда речь шла о прошедших событиях, но почему-то оказывались совершенно бессильными предсказателями будущего. Так, в расчетах, опубликованных между 1918 и 1939 годами, содержалось множество указаний относительно связи геометрии пирамиды с датами первой мировой войны, но ничего не говорилось о предстоящей второй войне. Разумеется, когда эта война началась, появились «бо-

¹ По-видимому, автор несколько преувеличил эти сроки.

лее точные» расчеты, в которых фигурировали такие даты, как 3 сентября 1939 года и 22 июня 1941 года (конечно же, «извлеченные» из Великой пирамиды, и только оттуда). Однако автор этих расчетов Форе-тиш (1942), видимо, вновь допустил какую-то ошибку, ибо, к сожалению, военные действия в Европе не прекратились, как он предсказывал, 19 сентября 1942 года и новая эра для человечества не наступила 9 апреля 1944 года.

Эти главы книги Лауэра оставляют тягостное впечатление, оттого что египтологи не имеют возможности отнестись к этим сообщениям с юмором, но вынуждены всерьез бороться против них — даже в середине XX столетия!

Лауэр критикует и ряд «научных» теорий, утверждающих, что в Великой пирамиде заключены не библейские, а научные сведения, многие из которых были вновь открыты гораздо позднее. В большинстве случаев эти теории основаны на таком же произвольном жонглировании цифрами, как и библейские. Однако опровергать их труднее, ибо египтяне действительно обладали широкими научными познаниями, которым в книге Лауэра посвящена отдельная глава.

В целом эта книга представляет собой интересный и многосторонний труд по технике и истории строительства пирамид. Вряд ли следует упрекать автора за некоторую сухость изложения, так как речь идет о научном труде (доступном, впрочем, читателям-неспециалистам), и за отсутствие анализа исторических условий, в которых происходило строительство пирамид. Этот анализ, не входивший в задачи автора, кратко дан в предисловии И. С. Кацнельсона. Можно пожалеть, что в русском переводе книги опущена последняя глава, посвященная религиозным воззрениям египтян и текстам пирамид, хотя она и не имеет прямого отношения к главной теме.

Книга Р. И. Рубинштейн, как мы уже говорили, имеет другую — популяризаторскую — цель. Основное достоинство книги заключается не столько даже в обилии сообщаемых фактов, сколько в способе их отбора, систематизации и изложения. Р. И. Рубинштейн сумела на восьмидесяти страничках книги карманного формата, к тому же занятых примерно на треть иллюстрациями, уместить весьма полновесные и увлекательные очерки о четырех периодах истории Египта, относящихся к Древнему,

Среднему, Новому и Новейшему царствам. Разумеется, в таком объеме нельзя было подробно изложить историю Египта или египетского искусства, и автор к этому не стремится. Книга предлагает отдельные картины, но они возникают, подчиняясь стройной системе.

Р. И. Рубинштейн не боится рассказать читателям (а книга доступна и детям) о спорных и нерешенных проблемах египтологии, о дискуссиях между учеными. «Перед вами книга догадок, сомнений, недоумений... Это книга не о том, что знает автор, а о том, чего еще не знают египтологи», — пишет она во вступлении. Р. И. Рубинштейн умело ставит вопросы, не всегда исчерпывающе отвечая на них и возбуждая таким образом желание думать. Такое доверие к читателю повышает воспитательную ценность книги. Кстати, одним из спорных вопросов египтологии является местонахождение мумии Хеопса, в погребальной камере которого не оказалось не только тела, но и крышки саркофага, не имевшей ценности для грабителей. Р. И. Рубинштейн высказывает предположение, что Хеопс никогда не был похоронен в своей пирамиде, то есть что она была кенотафом (ложной гробницей).

Очень интересен очерк, в котором рассказывается об открытиях Шампольона, о росписях и текстах гробниц Бени Гасана. Трудно описывать содержание произведений изобразительного искусства, но рассказ о росписях в гробницах написан так, что создает иллюзию присутствия. Многочисленные хорошо подобранные иллюстрации дополняют эффект.

С большой любовью написан очерк о знаменитых скульптурных портретах царицы Нефертити, и тут же сжато и толково рассказано о политических и религиозных реформах ее мужа — фараона Эхнатона, сделавшего первую известную в истории попытку введения монотеистического культа.

Книгу Р. И. Рубинштейн мы горячо рекомендуем прочесть всем, кто интересуется древней историей.

Одновременный выход двух книг по истории древнеегипетской цивилизации вносит также вклад в понимание истории развития современной культуры, вобравшей в себя лучшие достижения древних культур.

Э. РАБИНОВИЧ.

ВРЕДНА ЛИ КНИЖНАЯ ПЫЛЬ?

О л. Л а с у н с к и й. *Власть книги. Рассказы о книгах и книжниках. Центрально-Черноземное книжное издательство. Воронеж. 1966. 303 стр.*

Мне вспоминается одна встреча со Смирновым-Сокольским у него на квартире.

— А вот я вам покажу какую штуковину,— сказал Николай Павлович и снял с полки солидный фолиант, изданный в XVIII веке.

Когда он захлопнул книгу, поднялась пыль, и я чихнул.

— Ничего,— заметил он,— это полезная пыль.

И вот во второй раз встретился я с этим парадоксальным утверждением о полезности книжной пыли. На этот раз на страницах «Власти книги» Ол. Ласунского, тоже страстного библиофила.

Благородна страсть книголюбия! О ней и написана эта книга, примыкающая к «Рассказам о книгах» Н. П. Смирнова-Сокольского. В этом все пополняющемся книжном ряду есть уже четыре десятка подобных книг: «Я хочу рассказать вам...» Ираклия Андроникова, «О людях и книгах» П. Беркова, «Все волновало нежный ум...» А. Гессена, «Друзья мои — книги» Вл. Лидина и другие. Впрочем, список их, что очень ценно, приведен в конце книги Ол. Ласунского.

Внешне эта книга привлекает нас удобным небольшим форматом, изяшной суперобложкой, отличной бумагой, хорошими иллюстрациями. Чрезвычайно красноречив тот факт, что она вышла тридцатитысячным тиражом. И ведь это не в столице, а на периферии — в том самом Воронеже, где в конце минувшего столетия читатели книг составляли лишь двадцатую часть жителей!

С первых страниц книги мы начинаем путешествие по удивительной стране — книжному миру Воронежа. Сколько здесь оригинального, сколько подлинных шедевров! Мы благодарны автору за то, что некоторые из этих шедевров он нашел в архивах и книгохранилищах, не убоявшись «пыли веков», и рассказал об их необычной судьбе простым, выразительным языком.

В нашем сознании старый литературный Воронеж ассоциируется с вдохновенными и горестными жизнями Кольцова и Никитина. Побывав в 1836 году в Петербурге, Кольцов зашел однажды к издателю А. А. Краевскому и подарил ему, подписав,

книжку своих «Стихотворений» (единственное прижизненное издание). Ныне кольцовские автографы — их считанные экземпляры — на вес золота. Они предмет страсти библиофилов.

Вдумайтесь в эти слова — «страсть библиофилов». В чем она? И такая ли уж ничтожная, как представляется некоторым? Библиофил любит старую книгу (далеко не всякую) именно потому, что ощущает ее необыкновенную судьбу, видит и чувствует людей, так или иначе связанных именно с этим вот экземпляром.

Открывающий книгу Ол. Ласунского рассказ — как бы живая исповедь кольцовской книги о людях, в чьи руки она попадала и которые вдумчиво читали каждое слово, внимательно разглядывали ее, начиная с небольшой гравюры — полтипажа — на титульном листе и кончая последними буквами. Это рассказ о поэте воронежце Кольцове, об издателе Краевском, библиографе Ефремове, библиофиле Бухгейме, литературоведе Розанове. Книга переходила от одного к другому и наконец нашла вечное пристанище: К. А. Марцишевская, вдова И. Н. Розанова, передала ее вместе со всей библиотекой покойного мужа в московский Пушкинский музей.

«Доброму и любезному Андрею Александровичу Краевскому с душевным уважением Алексей Кольцов. Питер 1836. 4 апреля» — значится на этой книжке.

«Смотришь на эти строки,— пишет Ол. Ласунский,— и вспоминается горемычная судьбина Кольцова, его грустные песни, пережитые бодряческие вирши ура-патриотических бардов. Вспоминаются неистовый Виссарион, ослепивший своею дружбой поэта-степняка, великодушный Станкевич и, конечно же, «добрый и любезный» Краевский, показавший поглом свои волчьи зубы. Надпись на желтой обложке будто разрежала для меня толщу веков и обнажила то, что скрывала за собою завеса времени.

И еще я подумал о том, как благополучно сложилась судьба кольцовского автографа и как замечательно, что почти через сто тридцать лет вновь повстречались под одной крышей два больших поэта земли русской — Александр Пушкин и Алексей Кольцов».

В книге нет рассказа о Никитине. Это кажется странным: книжный Воронеж и Никитин нерасторжимы. Правда, автор рассказывает о воронежском Доме-музее И. С. Никитина. Здесь-то он и разыскал неизвестное доселе письмо издательницы М. И. Водовозовой от 13 июля 1899 года и адресованное писателю воронежцу А. И. Эртелю, автору «Гардениных»:

«Успех моих некот[ор]ых последних изданий просто поразителен,— я говорю о книге Ильина «Развитие капитализма в России». Я издала ее весной и, несмотря на наступление лета и отлив молодежи из столиц перед пасхой, эта книжка расходуется с невероятной быстротой... Успех Иль[ина] объясняется, помимо блестящих литературных и научных данных, еще, главным образом, тем, что он трактует об образовании внутр[еннего] рынка в связи с аграрным вопросом в России и разложением крестьянства... Нельзя читать эту книгу без самого захватывающего интереса».

Речь идет о вышедшей в 1899 году книге В. И. Ленина (под псевдонимом Владимир Ильин) «Развитие капитализма в России». Кстати говоря, и сама книга находится здесь же, в Доме-музее.

Есть тут и другая ленинская книга — «Экономические этюды и статьи», она издана под тем же псевдонимом Владимир Ильин в Петербурге в том же 1899 году. «Экономические этюды и статьи», — замечает автор, — первая легальная книга Ленина, в которой сведены несколько его работ, в том числе классическая статья «От какого наследства мы отказываемся?». Еще в январе 1898 года Владимир Ильич запрашивает родных о возможности издания сборника его статей, а уже в ноябре того же года получает сигнальные экземпляры. Сам Ленин непосредственного участия в издании принять не мог, ибо томился в сибирской ссылке, в Шушенском. Но он ведет интенсивнейшую переписку по поводу книги с сестрой Анной Ильиничной и ее мужем — М. Т. Елизаровым».

Ласунский обнаружил на этой книге знакомый штампель «Библиотека А. И. Эртеля», а также автограф писателя, как бы подчеркивающий ее особую ценность для владельца.

...Вскоре после Великой Отечественной войны в СССР из Швейцарии прибыла громадная библиотека Н. А. Рубакина. Знаменитый просветитель, писатель и биб-

лиограф завещал ее родине. На книгах из его собрания, попавшего в Библиотеку имени В. И. Ленина, наклеен прославленный рубакинский экслибрис с пламенным девизом: «Да здравствует книга — могущественное орудие борьбы за истину и справедливость!»

Такой экслибрис имеет и брошюра Ивана Вольного «За веру, царя и отечество», изданная в 1904 году в Берлине Гуго Штейницем. Сугубо верноподданническое название, оказывается, играло роль искусной маскировки. Проницательного читателя, впрочем, останавливала фамилия автора. Он брал в руки книжку и залпом прочитывал талантливый рассказ о том, как новобранец Никитка Волков убил полковника, который приказал расстрелять взбунтовавшихся крестьян.

Автором крамольной книжки, вскоре запрещенной, была воронежская писательница Валентина Иововна Дмитриева. В одном из рассказов Ласунский прослеживает необыкновенную судьбу произведений этой незаслуженно забытой писательницы, прожившей долгую жизнь (1859—1947) и уже на склоне лет, в 1930 году, выпустившей в «Молодой гвардии» свои мемуары. Он установил, что Валентина Иововна встречалась с Александром Ульяновым и всю жизнь не могла простить царю свирепую расправу с близкими ей народолюбцами. Этим во многом объяснялась дерзкая революционная направленность ее сочинений. Дмитриева вынуждена была скрывать свою настоящую фамилию и писала под псевдонимами Иван Вольный и о. Иоанн Новокрещенский. Под вторым из этих псевдонимов вышла в 1902 году в Женеве ее книжка «Липочка-поповна». Участник восстания на броненосце «Потемкин» И. Старцев-Шишкарев свидетельствовал, что «Липочку-поповну» — рассказ, вызывавший ненависть к сильным мира сего, — он оставлял в избах после своих бесед с крестьянами...

Жил в Воронеже профессор И. Н. Бороздин, отличный знаток крымской археологии, в студенческие годы сблизившийся с Александром Блоком. Автограф Блока на сборнике его стихов «Снежная маска» открывает созвездие сохранных Бороздиным автографов. Максимилиан Волошин подарил археологу-ориенталисту автограф с двумя своими строками: «Тревожа древний сон могил, я подымал киркою плиты...»

Автографы В. Брюсова, А. Белого, К. Бальмонта, С. Есенина, В. Гиляровского...

Ол. Ласунский заглянул в тайничок старого профессора, где хранились эти книги, рассказал о них, об истории их автографов.

Прочитав другие его рассказы, мы познакомимся с молодой порослью воронежских книголюбов, уловим дыхание старинных книг XVIII века из собрания местного университета, узнаем много нового о жи-

вописце В. Шварце и о его отце — страстном книголюбе. И еще о многом...

А самое главное, что, прочитав эту книгу, отлично, со вкусом оформленную Г. Кравцовым, мы захотим прочитать и другие подобные издания, будем ждать новых книг, рассказывающих об огромном, полном удивительных историй мире старой, но неумирающей книги.

Вас. ОСОКИН.

★

РАЗМЫШЛЕНИЯ ФАНТАСТА

Артур Кларк. Черты будущего. Перевод с английского. «Мир». 1966. 287 стр.

Имя Артура Кларка хорошо знакомо советским читателям. Прежде всего он известен как писатель фантастического жанра. Ряд его книг переведен на русский язык. В книге «Черты будущего» он, по его собственным словам, выступает в качестве «профессионального предсказателя будущего». Кларк пытается наметить в ней контуры ближайшего и более отдаленного будущего нашей планеты и человеческого общества.

К сожалению, автор, которого интересует исключительно прогресс науки и производительных сил, в своих прогнозах полностью игнорирует социальный аспект развития общества. Заглянуть в будущее и разглядеть его конкретные черты можно лишь во всеоружии марксистского метода; автор не принадлежит к числу марксистов, и неправомочно было бы, оценивая его труд, предъявлять ему вопросы, на которые он не собирался и не мог дать ответы. И наш читатель, знакомясь с книгой, должен иметь это обстоятельство в виду.

Автор рассказывает о будущем транспорта, об освоении планет и выходе человека за рубежи Солнечной системы, обсуждает вероятность осуществления наиболее смелых и испокон веков волновавших человечество фантазий, пытается предугадать, какое влияние на будущее человека окажут созданные его воображением умные машины.

Автор отдает себе отчет в том, что предсказание — дело рискованное, и принимает, как нам кажется, очень правильный, несколько иронический тон. И в противоположность тому, что всякая категоричность вызывает подсознательный отпор и подозрение, эта манера располагает к себе читате-

ля, который проникается доверием к автору. Вся книга Кларка — это довольно длинный и непринужденный разговор с читателем, который ведет человек осведомленный и остроумный. При этом автор как бы выступает в трех лицах: Кларк-популяризатор обосновывает право на существование смелых фантастических идей, обуздывая, однако, неуправляемого Кларка-фантаста, и предстает в виде Кларка — предсказателя будущего, близкого и далекого.

Предсказателю будущего присущи и приверженность логике, и умение пренебречь ею. Поэтому интересно проследить, как предсказывали будущее известные ученые. Кларк дает обзор их заблуждений (и удач) на очень ярких и запоминающихся примерах, составляющих содержание первых двух глав его книги: «Пророки могут ошибаться, когда им изменяет способность к дерзанию» и «Пророки могут ошибаться, когда им изменяет способность к воображению». Известно, что история человеческих заблуждений не менее поучительна и драматична, чем история истинных открытий.

Крупные ученые, с именами которых связаны непреходящие научные открытия, оказывались удивительно близорукими и робкими, когда дело касалось «прогнозирования будущего». Забавно прочесть в книге Кларка о том, что современники первых паровозов пророчили гибель тем, кто рискнет ездить на них со скоростью, превышающей сорок километров в час, ибо на такой скорости, утверждали они, можно задохнуться. Знаменитый американский астроном С. Ньюком считал, что полеты на аппаратах тяжелее воздуха возможны лишь в случае нейтрализации силы тяжести (патент на соответствующее изобретение принадлежит

Кейвору — герою Г. Уэллса). «...Братья Райт,— замечает Кларк,— в велосипедной мастерской которых не нашлось подходящего антигравитационного устройства, попросту пристраивали крылья к бензиновому двигателю». Еще более поучительны заблуждения, связанные с оценкой возможности космических полетов.

Список, приведенный Кларком, можно продолжить, обращаясь к примерам, связанным с атомной энергией. Такие корифеи науки, как Эйнштейн, Резерфорд, Бор, с «безумными» теориями и работами которых связано становление современной физики, оказались чрезмерно осторожными в прогнозах, относившихся к практическому использованию атомной энергии. Бор, например, в 1936 году писал, что чем обширнее становятся наши знания о ядерных реакциях, тем более отдаленным представляется ему то время, когда атомная энергия сможет быть использована для нужд человечества. Позднее (в конце тридцатых годов) Эйнштейн заметил в беседе с одним из американских корреспондентов, что охота на ворон ночью с помощью кирпичей имеет большие шансы на успех, чем охота ученых за энергией атомного ядра. Воистину, как замечает Кларк, «есть смысл проявить скепсис и к самому скептицизму».

Зато живший в XIII веке монах Бэкон предсказал создание летающих машин, автомобилей («колесниц, которые будут перемещаться с невероятной быстротой без помощи животных») и подводных лодок! Правда, продолжая идти по этому пути и возводя предсказания Бэкона в ранг научных догадок, мы должны вспомнить справедливости ради и сказочников нашей селой древности с их коврами-самолетами и движущимися русскими печами.

Одна из глав книги Кларка посвящена мгновенному перемещению в пространстве, кратко называемому «телепортацией». Кларк подвергает обсуждению наиболее захватывающую возможность: передачу информации о человеческом теле, то есть воспроизведение человека-дубликата вдали от человека-эталопа.

Произведя весьма несложные арифметические выкладки, Кларк показывает, что для детальной передачи о человеческом теле, состоящем примерно из $5 \cdot 10^{27}$ атомов, потребовалось бы при современном уровне радиоэлектронной техники 20 триллионов лет.

Казалось бы, поэтому всю идею можно безоговорочно отбросить — точнее, отдать на дальнейшее растерзание фантастам. Но Кларк — это характерно для всей его книги — предлагает посмотреть на современное телевидение глазами человека из прошлого.

А. Кларк интересно обсуждает свойства нашего пространства. Его рассуждения и аналогии, несомненно, любопытны, однако не представляются ни совершенно разумными, ни убедительными. Но ведь именно к этому сам автор в какой-то мере стремится: в предисловии к книге он выражает надежду, что ему не будут предъявлены «обвинения» в безусловной разумности и убедительности.

Так или иначе, даже там, где Кларку не удается убедить читателя в правильности и разумности своих предсказаний (грех тем более простительный, что и сам он не всегда в них убежден), он безусловно заинтересовывает читателя, расширяет его горизонты, открывает перед ним новые связи, намечает возможные противоречия.

Одно из таких противоречий — развитие средств передвижения и средств связи. Уже в восьмидесятых годах нашего столетия, предсказывает Кларк, получит повсеместное распространение персональная радиоаппаратура. Мы сможем связываться с нашими друзьями, отдаленными от нас многими сотнями и тысячами километров, не прибегая к услугам — пусть даже автоматических — междугородных телефонных станций. Более того, наряду с индивидуальными радиотелефонами появятся и высококачественные видеофоны. При таких условиях действительно основательным выглядит предположение о существенном сокращении потребности в транспорте. С помощью широкоэкранный цветного телевидения деловой или дружеский завтрак «можно будет превосходно проводить на двух половинках общего стола, удаленных на пятнадцать тысяч километров одна от другой; недоставать будет разве что рукопожатий и обмена сигарами».

Надо заметить, что перспективы развития транспорта и связи представляются в изложении Кларка наименее фантастическими, когда, в частности, обсуждаются трудности, связанные с передвижением в больших городах. Кларк убедительно показывает бесперспективность и варварский характер современного автомобильного транспорта и подводит читателя к выводу о том, что од-

ним из лучших средств передвижения в городе в будущем явится... лошадь. «Она обладает, — разъясняет он, — так сказать, автоматическим управлением, способна к самовоспроизводству, никогда не выходит из моды, и, кроме того, разве только двухэтажный автобус может сравниться с ней по удобству обозрения ландшафтов». После этого Кларк делает маленькое полуюмористическое отступление. Он говорит о грядущей возможности «конструировать» биологические объекты, видоизменяя структуру наследственного кода. И даже «разрабатывает» технические требования к животному, призванному заменить лошадь: оно должно будет с приличной скоростью перевозить на себе своего хозяина, самостоятельно пасть, «являться к человеку для исполнения своих обязанностей в точно установленное время или по вызову посредством системы радиосигналов... Мне думается, — заключает Кларк, — что на подобном рода создание будет довольно большой спрос, а когда есть спрос, рано или поздно появится и предложение».

Подобных рассуждений довольно много на страницах книги Кларка. Им не очень

веришь, но следить за ходом мысли автора все же интересно — подобно тому, как забавно следить за решением математических задач, приводящих к абсурду благодаря умело вкрапленному в ход рассуждений противоречию.

Книга Кларка заключается интересной таблицей, отражающей этапы развития техники сравнительно близкого (до 2100 года) будущего: в течение ближайших двух десятилетий нас, по его мнению, ждет посадка космонавтов на Луну и планеты, машинный перевод, расшифровка языка китообразных, эффективные малогабаритные аккумуляторы (которым до разработки эрзац-лошади надлежит заменить бензиновые двигатели, отравляющие воздух наших городов), упоминавшаяся выше персональная радиоаппаратура...

Последнюю страницу книги закрываешь с чувством сожаления. Печально, что закончился разговор с таким интересным собеседником. Грустно от сознания, что нам не удастся дожить до всех тех чудес, которые Кларк пророчит нам в более отдаленном будущем.

В. ФРЕНКЕЛЬ.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПО ПОВОДУ ОЧЕРКА В. КАВЕРИНА «МАЛИНОВЫЙ ЗВОН»

1

Дорогие товарищи!

Я с большим интересом прочитал в третьем номере вашего журнала за 1966 год очерк В. Каверина о поездке в Бельгию.

Вклинившаяся между Францией, Германией, Голландией и морем, моя страна так мала, что путешественники зачастую проезжают ее, даже не заметив... Поэтому мне было так приятно, что у друга, приехавшего из Советского Союза, страны, которая в семьсот раз больше моей Бельгии, возникло желание задержаться в ней, послушать звон колоколов Малина, полюбоваться необычайной красотой Большой площади Брюсселя и побродить по его Большим бульварам.

Но, бог мой, как могло случиться, что в эти симпатичные путевые заметки вкралось глубоко неверное суждение? То, что эта ошибка наносит ущерб моему близкому другу, конечно, случайное недоразумение, но поскольку оно имело место, вы поймете и мою досаду, и мое желание возразить.

Дело в следующем.

В. Каверин рассказывает о приеме членов его туристской группы бельгийской королевой Елизаветой, ныне покойной. Рассказ этот он передает со слов одного из участников встречи — Ивана Афанасьевича Дядькина.

Этот последний упомянул, в частности, что при королеве находился «некий представительный господин по имени Дима», о котором, добавляет Каверин, Иван Афанасьевич отозвался «с оттенком иронии».

Справедливо отметив, что королева Елизавета «интересуется многими вопросами и даже изучает русский язык», Дядькин в заключение сказал: «Учит ее этот самый Дима. Но языка она не знает, зарплату он, конечно, берет».

Не станем придирается к утверждению, что королева не знала русского языка,— теперь это уже некому проверить, хотя в архивах московского телевидения должна была сохраниться запись приветственной речи, которую королева произнесла на русском языке. Если бы немногие коронованные особы, еще уцелевшие в нашем мире, заслуживали критики только за то, что они, возможно, не знают какого-то иностранного языка, плохо было бы дело республиканцев (я принадлежу к их числу)!

Не будем же на этом останавливаться и перейдем к главному — к таинственному Диме. И тогда Дядькин поймет мое огорчение и, больше того,— не сомневаюсь — разделит его со мной.

В самом деле, Дядькин, товарищ Дядькин, во время войны оказался в Бельгии и вел себя здесь как герой. Вместе с тысячами других советских борцов, оказавшихся в немецкой неволе, он, военнопленный, был привезен в Бельгию и интернирован в лагере, расположенном поблизости от угольных копей. Ни чудовищные условия, в которых содержали заключенных, ни принудительные работы не сломили дух Дядькина. С помощью бельгийских патриотов ему удалось организовать побег, и вместе с другими узниками, бежавшими из лагеря, он создал замечательный партизанский отряд, который сражался в рядах бельгийского Сопротивления.

Впрочем, история Дядькина и его товарищей изложена в книге А. Вольфа «В чужой стране», которая издана в Советском Союзе. Эта книга, которую я в свое время прочитал, также содержит — увы! — некоторые спорные оценки. Но в основном она правильно излагает события. И вот в этой книге сам Дядькин рассказывает, как однажды, когда он еще находился в концлагере, ему сунули в руку маленький, довольно неумело отпечатанный листок, заголовок которого — «Известия» — напомнил ему родную страну. На этом листке была по-русски воспроизведена сводка советского Информбюро. Понятно, какую огромную роль в поддержании духа русских пленных играли эти скромные «Известия»! Под самым носом так называемых «непобедимых» нацистов, в сердце страны, которую фашисты расценивали как одну из своих «крепостей» и где хозяйничали со всей жестокостью, в лагерь, обнесенный колючей проволокой и строжайше охранявшийся, — находила путь правда.

Так вот, дорогой товарищ Дядькин, — кто же ловил по московскому радио сводки советского Информбюро, кто переписывал, перепечатывал и редактировал эти «Известия», которые вы читали с энтузиазмом и, наверное, с чувством благодарности к их авторам?

Тот самый Дима.

И делал он это — уже без иронии, — не получая зарплаты, а как и вы — под угрозой смерти, неотступно висевшей над его головой.

Я тоже присутствовал на упомянутом приеме у королевы Елизаветы и даже имел честь представить ей советских гостей. Дядькин, конечно, вспомнит об этом. Там были люди, которых я и прежде неоднократно встречал в Москве, например, полковник авиации Виктор Перов, и другие, с которыми я познакомился позднее, такие, как генерал Шиманов, или Иван Мокан, который во время войны сражался в Бельгии, — наверное, только он один может еще обнаружить следы одного из своих подвигов: дыру во взорванной им стене тюрьмы Шарлеруа, через которую узники-патриоты совершили побег, чтобы вновь вернуться в ряды Сопротивления. Была среди гостей и замечательная женщина Н. В. Попова... Все эти люди — отважные борцы, сражавшиеся на разных фронтах разным оружием, но все они — творцы конечной победы, как Дядькин и как Дима, или, вернее, Митя — так зовут его друзья в Бельгии, — но это один и тот же человек!

Конечно, после беседы с королевой мой Митя мог поговорить с Дядькиным, напомнив ему их общее прошлое. И они бросились бы друг другу в объятия. Увы, мой Митя — скромный, может быть, даже слишком скромный человек, — он промолчал. Если бы он не был таким скромным, он мог бы рассказать, что редактирование информационного листка на русском языке, предназначенного для русских пленных, было лишь частицей его обширной деятельности во время войны. Между прочим, это именно он в течение четырех военных лет ловил по радио сообщения из Москвы и редактировал, на сей раз на французском языке, бюллетень «Радио Москву», один из лучших в подпольной печати Бельгии, — его распространяли во всех городах члены Ассоциации бельгийско-советской дружбы, которая, разумеется, тоже действовала подпольно и, вселяя в людей надежду и веру, поднимала на борьбу новых борцов против фашистских захватчиков.

Так или иначе, излишняя скромность Мити — Дмитрия Гольда — не должна мешать тому, чтобы ему воздали должное, что я и делаю здесь, одновременно задавая себе вопрос: как могут возникать подобные ошибки? Кто виноват? Дядькин? Каверин? А может, в конце концов сам Митя? Черт возьми, ведь ему стоило только заговорить! Нет, Митя здесь ни при чем — он ведь не собирался ничего писать ни о Каверине, ни о Дядькине, стало быть, ему не нужно было наводить о них никаких справок. Но тот, кто пишет, обязан подумать об ответственности, связанной с ремеслом писателя, в особенности когда дело идет о чести того или иного человека.

Анри Лоран,
*национальный секретарь
Общества бельгийско-
советской дружбы.*

2

Уважаемые товарищи, я познакомился с письмом Анри Лорана, национального секретаря Общества бельгийско-советской дружбы, в котором, одобрительно отзываясь о моем очерке «Малиновый звон», напечатанном в третьем номере вашего журнала за 1966 год, он указывает на строки, которые повлекли за собой крайне досадное недоразумение.

Передавая с почти стенографической точностью рассказ одного из моих спутников о приеме у королевы Елизаветы (ныне покойной) участников нашей поездки, я мимоходом, с шутливой иронией упомянул об учителе, который преподавал королеве русский язык. Он назван лишь по имени — Дима, — и для русского читателя моя оплошность осталась незамеченной. Между тем это была действительно оплошность. Никто из нашей группы не знал, что этот человек — один из видных деятелей бельгийского Сопротивления.

Я получил письмо товарища Анри Лорана с опозданием, иначе он давно узнал бы, как я огорчен своей невольной ошибкой! Конечно, я не должен был повторять неудачную, хотя и добродушную шутку своего спутника — не менее замечательного участника борьбы бельгийских патриотов.

Товарищ Анри Лоран пишет, что, если бы эти оба деятеля узнали о совместном участии в героическом Сопротивлении, они бросились бы друг другу в объятия. Я от души пожалел, что этого не случилось, потому что тогда мой очерк украсился бы одной из лучших своих страниц.

Впрочем, ничто не мешает мне в первом же отдельном его издании не только исправить свою оплошность, но и отдать должное уважаемому лицу, о котором идет речь в письме товарища Анри Лорана.

В. Каверин.

В СПОРЕ НУЖНЫ АРГУМЕНТЫ

Уважаемый товарищ редактор!

В девятом номере журнала за прошлый год я прочитал записки летчика-испытателя М. Галлая «Первый бой мы выиграли». Мне понравились эти записки своей патриотичностью, правдивостью, уважительным отношением автора к участникам воздушной обороны Москвы, знанием дела.

В январе этого года в журнале «Авиация и космонавтика» была опубликована статья «Когда память не в ладу с историей». Ее авторы генералы А. Катрич, Н. Сбытов, Н. Кобяшов и П. Стефановский критикуют записки Галлая и обвиняют его в искажении исторической правды. Прочитав эту статью, я, чтобы проверить свои первые впечатления, перечитал записки Галлая заново. Однако мое мнение о записках не изменилось.

Меня удивило, что авторы статьи полемизируют совершенно бездоказательно, не подтверждая своих доводов фактами, и даже как-то «уводят в сторону» от затронутых ими же вопросов.

Так, например, когда речь идет о начале формирования 6-го авиакорпуса ПВО Москвы, естественно было бы ждать, что если они не согласны с датой, названной в записках с ссылкой на документ, то укажут (и подтвердят документально) другую дату. Но они этого не делают, а начинают говорить совсем о другом. Возражение повисает в воздухе.

Авторы статьи как бы ломаются в открытую дверь, доказывая, что истребительная авиация ПВО Москвы в конце концов успешно справилась с задачей обороны столицы. Об этом ясно и недвусмысленно говорит и автор записок. Он приводит цифры, характеризующие ничтожно малый процент прорвавшихся к Москве вражеских бомбардировщиков, рассказывает о подвигах многих наших летчиков, подчеркивает,

что Москва — наименее пострадавшая от налетов противника европейская столица, подвергшаяся бомбардировкам во время второй мировой войны. Наконец, само заглавие записок — «Первый бой мы выиграли» — выбрано не случайно.

Но М. Галлай вместе с тем показывает и то, что среди многих трудностей, которые пришлось преодолеть личному составу и командованию истребительной авиации ПВО Москвы, чтобы добиться победы, были и вызванные нашими собственными просчетами и упущениями, недостатками организации, запозданием с производством и освоением новых типов самолетов и авиационного вооружения и т. д. М. Галлай подчеркивает, что это только усиливает значение сделанного нашими летчиками и их командованием.

А у авторов статьи получается, что все было «по плану», все было предусмотрено, а... «Москва была в огне». Они пишут, что 6-й корпус на 10 июля 1941 года насчитывал в своем составе 600 самолетов, авиаполки были укомплектованы кадровыми летчиками. Но ведь речь шла не об этом, а о том, что новых-то самолетов было недостаточно, что летали на них ночью единицы, что радиуправление в воздухе еще не было отработано. Наконец речь шла не о том, что было 10 июля, а о том, что мы имели к моменту начала войны. В то время каждый день играл большую роль.

Концепция авторов статьи решительно противоречит не только запискам Галлая, но и всему, что мы знаем из многих ранее опубликованных статей и работ, начиная хотя бы с однотомника «Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945» (Воениздат. 1965) под редакцией П. Н. Поспелова, И. Х. Баграмяна, А. А. Епишева и других. Там тоже сказано, что хотя «в 1940 году были созданы, испытаны и приняты в производство новые образцы советских истребителей (МиГ-3, ЛаГГ-3, Як-1)», к началу войны «наши летчики имели в своем распоряжении истребители И-15, И-16, И-153... намного уступавшие новым немецким самолетам в скорости, высоте, дальности полета и вооружении» (стр. 41—42). Даже через полгода, к началу наступления советских войск под Москвой, среди собранных для этой цели самолетов «большая часть... была устаревших конструкций» (там же, стр. 127).

Впрочем, и сами авторы статьи в некоторых других своих выступлениях в печати говорят то же, что написано у Галлая.

Например, авторы статьи утверждают, что по вопросу о серийном производстве бомбардировщика Пе-8 «было принято правильное решение». А два месяца спустя в третьем номере того же журнала «Авиация и космонавтика» тот же П. Стефановский, выступая на этот раз сам как автор мемуаров и говоря об испытаниях бомбардировщика ТБ-7, пишет: «С производством ТБ-7 творилось что-то неладное. Его несколько раз запускали в серию, снимали...» Но ведь Пе-8 и ТБ-7 — два разных названия одного и того же самолета (странно, что в редакции авиационного журнала этого не знали).

Остается предположить, что по крайней мере в одном случае из двух т. Стефановский не прочитал того, под чем подписался.

В статье «Когда память не в ладу с историей» ее авторы зачем-то повторяют от своего имени многое из того, что было написано в записках Галлая. Правда, повторяют, пользуясь их же терминологией, «с видом первооткрывателей» — будто поправляя его.

Вот примеры такой, с позволения сказать, полемики.

У Галлая написано: «До этого истребительная авиация ПВО Москвы, конечно, тоже существовала, но существовала в виде отдельных полков и дивизий». А вот как «полемизируют» с этим авторы статьи: «Но так ли это? Ведь еще в мирное время на подмосковных аэродромах базировались авиационные части, которые предназначались для прикрытия Москвы».

Или, в другом месте, Галлай пишет: «...Особо бесспорной была позиция Гаврилова — инициатора формирования наших эскадрилий: именно он подал эту идею начальству».

А вот из статьи: «По утверждению М. Галлая получается, что инициатива в создании двух эскадрилий из летчиков-испытателей Наркомата авиационной промышленности исходила сверху. Однако истина состоит в том, что сами летчики-испытатели во главе с Н. В. Гавриловым, опытным боевым заслуженным летчиком-истребителем, обратились с предложением сформировать такие эскадрильи...»

Вряд ли можно, просто повторяя мысли автора записок, доказать таким способом, что он искажает историческую правду.

Заканчивая письмо, хочу сказать два слова о грубом и бестактном тоне статьи. Давно уже не встречается на страницах нашей печати такой тон. Мы знаем, что критика должна быть принципиальной, доказательной и доброжелательной. Достоинно удивления, что, несмотря на это, могла появиться статья, не отвечающая ни одному из этих условий.

С уважением

ваш читатель инженер-полковник А. Розанов.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

АХМЕДХАН АБУ-БАКАР. Снежные люди. Повесть. Перевод с даргинского. «Молодая гвардия». М. 1966. 190 стр.

Молодой дагестанский писатель Ахмедхан Абу-Бакар известен русскому читателю своими повестями «Даргинские девушки» и «Чегери». И вот новая повесть «Снежные люди», изображающая, как и первые книги, жизнь, быт, обычаи и нравы горцев Дагестана.

Действие новой повести происходит в ауле Шубурум, жигели которого никак не хотят, несмотря на уговоры представителей власти, переселиться с бесплодных гор на свободные земли Прикаспия, в благодать и раздолье, где построен и ждет новоселов вполне современный поселок. Идут дискуссии, придумываются доводы и резоны, происходят размолвки — всполошился горский народ. Обильно населена книга персонажами, и каждый на свое лицо, на свой лад: и Хаж-Бекир, крепкий, здоровый колхозник, избравший более доходную профессию могильщика, и его дородная жена Хева, и колхозный охотник — зубоскал Кара-Хартум, и уважаемый в ауле председатель сельсовета Мухтар, и несчастный, хромой горбун парикмахер Адам, и бродячий мулла Шахназар, и бывший красный партизан старик Али-Хужа, и его соперник по беседам на сельском гудекане Хужа-Али, и молодой ветеринар Хамзат, и сельский врач красавица Айшат, и парторг Чамсулла...

Обо всех этих людях автор рассказывает весело и ладно, с той мерой убедительности и занимательности, которой отмечен его талант. В повествовании много деталей, по которым без лишних слов определяется человек и его сущность, его хорошее или плохое нутро. Особенно выразительно выявлены и обрисованы людские характеры в связи... с появлением в горах снежного человека, вызвавшим в ауле панику и суматоху. И хотя лет тридцать уже не кричит муэдзин с минарета в Шубуруме, а в просторной мечети проводятся собрания, устраиваются лекции, демонстрируются кинофильмы, есть еще суеверные шубурумцы, которые стали пророчить скорое светопреобразование. Абу-Бакар с юмором, ехидно разоблачает суеверия, остатки религиозности, бескультурье, дикость старых взглядов на жизнь. И вместе с тем писатель весьма до-

брожелателен к людям, верит в них и надеется на их силы и разум, им посвящает он и свои раздумья над жизнью.

На русский язык повесть перевел писатель Вадим Лукашевич. Его труд вызывает уважение — перевод точен по духу и стилю. видно, и переводилась повесть с удовольствием.

В конце книги переводчик помещает справку об авторе, в которой приводятся слова Р. Гамзатова о первых повестях Абу-Бакара: «В них много солнца, теплой улыбки, горского юмора. Читатель получает истинное удовольствие и наслаждение. Он узнает жизнь, мысли, чувства, доброту, суровость и нежность еще мало известного ему Дагестана». Эти слова можно в полной мере отнести и к третьей повести молодого дагестанского писателя, к «Снежным людям».

М. Плескачевский.

Баку.

★

СЕРГЕЙ ОРЛОВ. Дни. Стихи. «Советский писатель». М.—Л. 1966. 99 стр.

Сборник своих новых стихов Сергей Орлов назвал просто и как-то незаметно — «Дни».

Мы редко воспринимаем время как философскую абстракцию. Оно существует для нас в той реальности дней, которой мы живем. Вся жизнь с ее радостями, болью, трагедиями и счастьем, неосуществленными замыслами, неразрешенными вопросами вмещается в эти «красочные, яркие, пустынные, земные и небесные» дни. Время необратимо и безжалостно в своем движении. Но даже это человек постигает не сразу, а тогда, когда позади остаются годы. И сама история складывается из этих дней. Вертится ее колесо, и в ходе дней «стирает время в пыль державы, и гордая стареет новь, бессмертная проходит слава легко, как дым»...

Сергея Орлова волнуют вопросы, над которыми напряженно думают сегодня люди. Его стихи — это мысли о времени, истории, о «смысле злобы и добра», о мере ответственности каждого за то, что делается сегодня, и за то, каким будет завтрашний день. В привычном и будничном течении дней поэт стремится увидеть «времени

лицо» и установить сопричастность к нему судьбы каждого человека.

Ни из человеческой жизни, ни из истории — как из песни слова — ничего не выкинуть. Вот, пожалуй, главный мотив книги Орлова. И хотя

стираются во времени детали,
Из памяти уходят навсегда
Бомбежки и пылающие дали,
Берут свое идущие года,—

наши сегодняшние дни не только неразрывно связаны с войной, которая успела стать историей, но где-то в самой своей основе проверяются ею.

Вот в школе идет пионерский сбор. На сцене мальчики в пионерских галстуках, знающие о войне сначала из игр, потом из книг, поют «Вставай, страна огромная». А в зале сидят их родители, чья молодость началась этой песней:

На этом пионерском сборе
Они почувствовали вдруг,
Что стали эпосом, историей,
Что времени замкнулся круг.
Что где-то снова рядом с ними
Дружки, погибшие в бою,
А барабан гремит во имя,
А голоса зовут. Поют...

Осознание преемственности поколений, неразрывности истории — даже тогда, когда «связь времен» осознается не просто и не сразу — одна из основных черт мироощущения Орлова.

Поэт верит в силу жесткой, бескомпромиссной правды, в творческую мысль человека, в великую силу искусства и верность человеческого сердца, без которых немислимы, недостижимы гармония и счастье. Верит в «праздничный почерк» белых ночей и возрождающую силу весны — в то, что все это «остаётся на земле навеки».

Поэтический голос Орлова созвучен голосам других поэтов «военного поколения» — Самойлова, Слуцкого, Межирова и других. Но по каким-то трудноуловимым признакам — ходу мысли, интонации — мы всегда узнаем собственный голос поэта. Там, где Сергей Орлов ищет свою дорогу, свой ответ, где в поиски поэта включается его читатель, возникает та «обратная связь», ради которой и пишутся стихи.

И. Гитович.

★

НА КАТОРЖНОМ ОСТРОВЕ. Дневники, письма и воспоминания политкаторжан «нового Шлиссельбурга» (1907—1917 гг.). Лениздат. 1967. 292 стр.

«...Сейчас на реке, на инее, в струях дыма от парохода, появились нежные, чуть заметные розовые и лиловые оттенки, а на льдинках то и дело загораются огоньки; загорится, поплывет и погаснет, а там уже горит другой, третий — совсем сказочная картина!» — писал матери Владимир Лихтенштадт, приговоренный к вечному заключению узник одной из камер Шлиссельбург-

ской крепости. Его письма вместе с документами и воспоминаниями других заключенных вошли в сборник «На каторжном острове».

На страницах этой книги возникают перед нами образы людей, закованных в кандалы, брошенных в одиночки, замученных, но не покоренных, сохранивших в себе человека. Такими видишь узников Шлиссельбурга большевиков-ленинцев Г. К. Орджоникидзе, Ф. Н. Петрова, И. К. Гамбурга и других. Исключительная сила воздействия этой книги — в документальной достоверности.

Здесь, за толстыми тюремными стенами, революционеры, в том числе и «вечники» (приговоренные к пожизненному заключению), жили интересами партии, рабочего движения. Они учились, спорили о судьбах революции; в тяжелейших условиях заточения вели неравную борьбу с тюремщиками за человеческие права, за свое достоинство.

«Одиночка есть одиночка,— вспоминает Ф. Н. Петров.— Перестукивания, редкие и случайные встречи с товарищами — все это лишь словно звезды на ночном небе тюремного одиночества. Единственным постоянным соседом, другом, собеседником, наставником и оппонентом была книга».

Особенно радовался узник, когда ему удавалось заполучить «переодетую» книгу — например, роскошное издание «Трехсотлетие дома Романовых», в которое вшиты запретные статьи В. Г. Короленко, или, например, сочинения А. И. Герцена в переплете книг И. С. Тургенева.

Друг, мужайся! День настанет!
В алом блеске солнце встанет!
Синей бурей море грянет,
Волны песней загудят!
Будет весел многоводный
Пир широкий, пир свободный,
Он сметет грозой народной
Наш гранитный каземат.
Мы расскажем миру тайны
Долгих лет и долгих мук...

Это строки из тюремной тетради узника Шлиссельбурга Г. К. Орджоникидзе.

Тайны долгих лет и долгих мук и доносит до нас подготовленная К. С. Леонидовой книга, в которой собраны дневники, письма и воспоминания политкаторжан лишь одной из тюрем царской России. Многие документы, а также более двадцати фотоснимков публикуются здесь впервые.

Б. Исаев.

★

ИВАН КОСТЫРЯ. Пора новолуний. Повесть. «Молодая гвардия». М. 1967. 352 стр.

Произведения донецкого писателя И. Костыри, включенные в сборник «Пора новолуний», составляют как бы отдельные части единого повествования о жизни молодого медика, только-только начинающего свой путь, сталкивающегося с первыми трудно-

стями, житейскими невзгодами и взрослеющего, преодолевая их. «Мне, как и героям этой книги, выпало быть и фельдшером, и участковым педиатром, и школьным врачом; я дежурил по ночам в больнице и на неотложной помощи, а в последнее время работал психиатром», — пишет Костыря. И, наверное, именно отсюда — точное описание характеров героев, тонкое раскрытие их взаимоотношений и поступков.

Повесть «Пора новолунный» — это дневник юного фельдшера, попавшего на практику в небольшую деревенскую больницу. Автор предельно внимателен к мельчайшим деталям воспоминаний Володи Лужанского. Ведь в первых шагах, что делает по жизни Володя, многое предопределяет его дальнейшую судьбу. Писатель искренне и бережно пишет о благородном труде медиков, спасающих человеческие жизни, порой проводя сутки напролет у постели больного, становясь «сразу и врачом, и няней, и другом, и любящей матерью».

Но не все равноценно в повести. Писателю не удалось избежать досадных литературных штампов. Особенно заметны они в лирических эпизодах, где на смену искренности приходит надуманность; здесь дает себя знать ложная краснота, появляется многословие. Автор пытается показать глубину и силу любви, а из-под пера выходят ни к чему не обязывающие банальные фразы: «Людмила перебирала тогда светлые волосы Владимира и думала, что он в ее судьбе появился, как молодой месяц». Столь сентиментальное изображение человеческих эмоций не может не вызывать у читателя внутреннего протеста, тем более что соседствует оно с действительно интересной, выразительной прозой. Особенно достоверны и жизненны повести «Полосатые пижамы», «Ночные дежурства», «Детский доктор».

Герой «Детского доктора», молодой врач-педиатр, не только лечит детей, ему приходится разрешать еще множество различных проблем — и нравственных, и педагогических, и моральных. Он знает цену человеческой жизни, даже такой крохотной и незаметной, как жизнь только что родившегося и брошенного матерью ребенка, и он готов на все для спасения этой жизни. Мимолетные характеристики, остро подмеченные наблюдения и сцены из жизни юных пациентов перемежаются в повести размышлениями о гуманности, назначении врача, доброте. Жаль лишь, что авторские раздумья порой чересчур легковесны и малооригинальны. От этого многое теряют и характеры героев Костыря.

Но главное остается. А главное для героев Ивана Костыря не в том, чтобы создать себе какую-нибудь особенную судьбу; главное — при всякой судьбе быть человеком. Во имя этого живут и работают простые врачи, труду которых посвятил свою книгу писатель.

В. Енишерлов.

А. ВОРОНСКИЙ. Бурса. Вступительная статья А. Дементьева. «Художественная литература». М. 1966. 320 стр.

Александр Константинович Воронский (1885—1943) был не только талантливым литературным критиком, но и незаурядным беллетристом (ему принадлежит повесть «Глаз урагана»), несомненным мастером художественной мемуаристики (книги «Бурса» «За живой и мертвой водой»). Наличие художественного дара в сочетании с взыскательным литературным вкусом, видимо, и предопределило ту тонкость и глубину оценок, которая чувствуется в его лучших критических статьях.

Бурса (семинария), готовившая будущих служителей алтаря, не раз была объектом художественного произведения: о ней писали Нарезный, Помяловский.

По своему беспощадному реализму книга Воронского ближе всего примыкает к «Очеркам бурсы» Помяловского. Вместе с тем она заметно разнится от этих знаменитых «Очерков» и более широким обобщением материала (бурса у Воронского является как бы символом всего того темного, что было в старой России), и отсутствием беспросветности: автор зорко отметил новые веяния, охватившие бурсу девятисотых годов, в частности проникновение в среду бурсаков идей революции.

Как художественное произведение «Бурса» написана свежо и оригинально, недаром и сейчас, более чем через тридцать лет после ее появления, она читается с интересом и увлечением.

Подкупает прежде всего свободная и непринужденная манера письма: умелые лирические и публицистические отступления нигде не прерывают и не замедляют действия, а мотивы современности, включенные кое-где в повествование, звучат не намеренно, а органически, как бы осмысливая минувшее с позиций сегодняшнего дня.

Воронский-художник особенно чувствует в первой части, посвященной детству и отрочеству героя. Глава «Дедовская Русь» пленяет читателя задушевной лирикой и теплотой. Деревенская глушь, гостеприимный летний лес, зимние «супрядки», музыкальный ящик, сказки о жар-птице и ковresseсамолете, первые приобщения к вечной красоте жизни и природы — все это дано в «Бурсе» по-своему, не традиционно и нигде не отдает «книжностью». Свой у Воронского и пейзаж: его краткость несколько не исключает богатства, красочности. Напевный и легкий, а иногда намеренно грубоватый язык «Бурсы» — тоже индивидуально авторский, никого не повторяющий и не имитирующий.

«Бурса» населена подлинно живыми людьми, и в этом одно из главных ее достоинств. Как люди, окружающие героя в детстве (странница Наталья, своенравный дед, батрак Иван), так и бурсаки и их «наставники» — все они показаны полнокров-

но, в своих характерных чертах и особенностях.

Бесконечно разнообразна галерея бурсаков, людей, так или иначе изломанных казенной обстановкой и схоластикой, и почти страшны, уродливо гротескны представители бурсацкого начальства — Халдей и Баргамот, Красавчик и Фита-Ижица.

Изображение семинарского быта, тяжелого и жестокого, потрясает своей беспощадностью. Иногда даже кажется, что автор чрезмерно сгустил краски.

Лучшее (и исторически наиболее ценное), что написано Воронским в художественной прозе, высоко ценил Максим Горький. Он писал Воронскому (3 декабря 1930 года): «...писатель Вы — хороший, т. е. — способностью изображения словами боги наградили Вас весьма щедро».

Надо всячески приветствовать издание художественной прозы А. Воронского.

Ник. Смирнов.

★

МИХАИЛ ШУР. Повесть с адресом. Профиздат. М. 1967. 175 стр.

Адрес у повести точный: Солигорск, Белоруссия. «Город назвали Солигорском, — сообщает М. Шур, — по роду занятий: он возник на калийных месторождениях, при горнохимических комбинатах-новостройках. Здесь родились белорусские шахтеры — новая примета истории современности. Здесь родились белорусские химики».

Любопытную деталь сообщает автор: в Солигорске проживает пока один-единственный пенсионер; все тут юное — и жители, и здания, и быт. Все еще не устоялось, складывается.

Очеркист много раз бывал в новом городе, подолгу живал там и собрал богатый материал, которым умело распорядился. Он прослеживает судьбы и взаимоотношения своих героев — на работе, в быту, в семье.

Главная роль по праву отведена автором Ивану Чеботарю, бригадире передовой комплексной бригады строителей. На разных стройках работал белорусский хлопец Чеботарь, а демобилизовавшись из армии, «нашел себя» в родной стороне... Своеобычный, незаурядный человек этот Чеботарь. С организаторской хваткой, с технической жилкой, сообразителен и за словом в карман не лезет. Ввязался однажды в разговор с заместителем министра, инспектировавшим стройку, выложил без смущения все нужды и претензии, а подытожил в категорической форме: «Наша бригада недовольна работой министерства»...

Ивана Чеботаря можно, пожалуй, упрекнуть в желании пофорситься, но ведь работает он прекрасно и добивается всего, о чем столь красочно рассказывает. А то, что энергия хлещет через край, что соленая шуточка всегда готова сорваться с языка, — так ведь это и делает Ивана признанным вожаком солигорских строителей.

Запоминаются и другие персонажи очерка: электромонтажник Василий Шестаков, местный поэт и газетчик Репник, бригадир Василий Никитенко. И Леонид Захарович, председатель стройкома, придумавший сложную и в конечном счете пустую систему учета соревнования. Леонид Захарович, хороший в прошлом клубный работник, теперь — «человек не на месте».

Надо добавить, что в книге содержатся не только портретные зарисовки, не только летопись стройки, но и деловые соображения, и серьезные размышления автора. К примеру, о соотношении инженерной и экономической мысли, о структуре и соподчинении строительных организаций, о характере социалистического соревнования и подведении его итогов. Но более всего Михаила Шура тянет к людям, он пристально всматривается в них, ищет и находит хорошее. И он показал в своей книге галерею симпатичных рабочих парней и девушек, «старожил» молодого города, которому «запрограммировано прекрасное будущее».

П. Подляшук.

★

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР И. К. СПАТАРЕЛЬ. Против черного барона. Воениздат. М. 1967. 255 стр.

Рядом с портретами известных русских летчиков М. Н. Ефимова, Е. Н. Крутеня мы видим фотографию щеголеватого одетого молодого человека с залихватски подкрученными усами. Это Иван Константинович Спатарель. Снимок сделан в 1909 году. Ныне автору воспоминаний семьдесят восемь лет. Он прошел полувековой путь в рядах Военно-Воздушных Сил.

Иван Спатарель был в числе первых пяти русских солдат, которые стали летчиками еще при царизме. Незаурядные способности, знание техники (чему, конечно, способствовало и то обстоятельство, что еще до призыва в армию он выучился на помощника паровозного машиниста) приобщили недавнего крестьянского парня к военному, интересному и рискованному делу, которое считалось привилегией представителей «белой кости».

Основное содержание книги «Против черного барона» — рассказ о героизме красных летчиков и их боевых друзей, механиков и мотористов, в годы иностранной интервенции и гражданской войны. Волнует, например, драматическое повествование о том, как Николай Васильченко летал на разведку. Трижды его машина выходила из строя, подбитая белогвардейцами. И трижды на глазах изумленного врага летчик поднимал ее в воздух!

О героизме красных летчиков говорят не только друзья, но и враги. Автор приводит отрывки из воспоминаний Врангеля, генерала Ткачева, командовавшего в ту пору белогвардейской авиацией, и других.

Перед читателем проходит галерея выдающихся мастеров воздушных атак — Василия Вишнякова, Николая Васильченко,

Карла Скаубита, Якова Гуляева и многих других военлетов. Их мужество и высокая выучка в полном блеске раскрылись в заключительных сражениях гражданской войны — в боях за освобождение Крыма. В ту пору автор воспоминаний командовал Перекопской авиagruppой Южного фронта. Не раз боевые дела сводили его здесь с В. К. Блюхером, Р. П. Эйдеманом и другими видными полководцами гражданской войны.

В. Смолин.

★

В. В. КОВАНОВ. Меридианы, события, встречи. Заметки и размышления советского врача. Политиздат. М. 1966. 238 стр.

США и Вьетнам, Финляндия и Швейцария, Англия и Пакистан, Югославия и далекая Индонезия... Во всех этих странах довелось побывать автору книги В. В. Кованову — известному хирургу-экспериментатору и общественному деятелю. Участвуя в международных конференциях и форумах борцов за мир, он встречался с выдающимися учеными нашего времени, с людьми своей специальности и деятелями различных областей культуры и в своей книге увлекательно рассказал о многом увиденном и услышанном.

Как ученый-медик он, например, сообщает множество интересных сведений о состоянии медицинской науки и постановке здравоохранения в Англии, рисуя при этом весьма выразительные портреты тех, с кем беседовал, и как бы ведя читателя вместе с собою по больницам и исследовательским учреждениям Лондона, Бирмингема, Эдинбурга, Глазго.

Чрезвычайно интересна небольшая глава «Хирургия на грани фантастики». Автор рассказывает здесь о поистине фантастических операциях, которые совершают в наши дни советские и зарубежные хирурги.

Везде, где бы он ни был, автор книги остается вдумчивым, доброжелательным и наблюдательным путешественником, зорко и объективно подмечающим наиболее характерные черты жизни, хорошие и плохие. Он умеет говорить прямо, правдиво и притом живо и интересно.

Книга хорошо издана. Многочисленные фотографии удачно дополняют авторский текст.

О. Димин.

★

В АЗЕРНИКОВ. Тайнопись жизни. «Советская Россия». М. 1966. 167 стр.

Читателю, интересующемуся современной биологией, эта небольшая книжка расскажет о многом: о клетках, их внешнем виде и внутреннем устройстве, об их химическом составе и биологическом синтезе белков, о нуклеиновых кислотах и передаче генетической информации.

Каждому из этих вопросов посвящена отдельная глава. В заключительном разделе автор отходит от строгой фактической основы и пытается заглянуть в «предвиди-

мое будущее», коротко рассказав о том, что сможет дать молекулярная биология медицине, химической промышленности, сельскому хозяйству.

Конечно, при придирчивом чтении специалист может найти отдельные неточности в изложении, иногда чрезмерную схематизацию, но эти недостатки не лишают книгу ее главного достоинства — того, что автор точно уловил одну из характернейших черт молекулярной биологии: использование физических и химических идей и методов исследования в рамках биологических по своим конечным целям экспериментов.

В книге рассказывается и о рентгеноструктурном анализе белков и нуклеиновых кислот, и о химических методах разделения и анализа полимеров биологического происхождения. Иногда автор передает слово непосредственно биологам. Так, читатель имеет возможность узнать «из первых рук», от Френсиса Крика, о выдающемся событии нашего времени — расшифровке структуры наследственного вещества клетки.

Книга посвящена наиболее острым и сложным проблемам молекулярной биологии и генетики, которые нелегко объяснить читателю, получившему в средней школе и даже в вузе устаревшие, а подчас и неверные представления о многих важных направлениях в современной биологии. Однако автору удалось популярно, притом не искажая существа фактов, добытых наукой, передать и величие новых открытий, и трудности, которые пришлось испытать на пути в неизвестное.

У нас еще очень мало популярных книг о биологии наших дней, которая, по свидетельству крупнейших ученых, станет «наукой номер один». Поэтому каждый удачный шаг в этом направлении следует приветствовать — он помогает пропаганде интереснейшей, но мало известной широкому читателю области современного естествознания.

Л. Киселев.

★

ИСААК БОРИСОВ. Есть слова. Книга лирики. Перевод с еврейского. «Советский писатель». М. 1966. 180 стр.

В книге Исаака Борисова более полуроста миниатюр, каждая из которых имеет самостоятельное значение и звучание. Иное стихотворение в шесть — восемь — двенадцать строк — как бы небольшое повествование, рассказ. Каждая такая миниатюра требует пристального внимания читателя и, конечно же, напряжения его мысли. Это книга для вдумчивых.

Поэзия, где же была ты,
Когда еще не было слов?
— В бессоннице трав и пернатых
И в лепете сонных цветов.

И далее — концовка:

Куда же ты скроешься снова,
Когда человек навсегда
Лишится и зренья и слова?
— Исчезну и я без следа.

(Перевод Ал. Ревича)

Мысль этого стихотворения — ничто, в том числе и поэзия, невозможно без человека — становится сквозной мыслью, сквозным образом книги. Все на свете измеряется мерой человечности. Вот почему события истории и явления природы, прямо или косвенно затронутые лириком, озаряются его человечностью, болью и ликованием его сердца. Ничего нет верней и точней, чем эта мера.

Да, добрый ливень в стекла дробно бьет.
Под добрым ливнем

Над ними добрые деревья.

Так что добрых туч идет кочевье...

же, добрый друг.

тебя гнетет?

(Перевод А. Кленова)

Природа и человек в поэзии Борисова нераздельны. Это единство не навязано природе и человеку поэтом, нет — он разглядывал его в самой жизни и сумел доверить своему слову. «Зеленый лист — как песня, что жива, а пожелтевший — песня, что забыта»; сосна — «сама себя короновала за одиночество свое»; «на ветке плачет капля»; земля после ночи поутру «сущит круглые бока».

Книга названа «Есть слова». Слова для Борисова значат то же, что и поэзия, — сочувствие, понимание.

Да, есть слова, что прозвучали
Как нерасслышанный намек.
Чтоб в дни неслыханной печали
На них сослаться ты не мог.

(Перевод Ю. Нейман)

Лирика Исаака Борисова доверительна и ненавязчива. И, естественно, отзывчивый читатель находит контакт с поэтом. Разумеется, одни стихи останутся в душе читателя, мимо других он пройдет безучастно, а может быть, против некоторых строк и возразит. Но в целом он оценит своего доброго и умного собеседника-поэта и захочет с ним встретиться снова.

Л. О.

★

Б. С. РЯБИНИН. О любви к живому. «Провещение». М. 1966. 380 стр.

Недавно польские газеты сообщали о судебном процессе, происходившем в Кракове. На протяжении нескольких лет в этом городе было совершено несколько зверских убийств. Жертвами стали две беспомощные старухи и двое малолетних ребят. Убийца долгое время оставался неизвестным. Все раскрылось при новом — на этот раз, к счастью, неудачном — покушении. Преступником оказался девятнадцатилетний юноша. Когда он совершил свое первое убийство, ему не исполнилось еще и семнадцати лет. Психиатры признали его вменяемым и не обнаружили у него никаких видимых отклонений от нормы. Только свидетели, знавшие обвиняемого еще со школьной скамьи, рассказывали о том, как в детстве он любил мучить животных.

«Обрывал крылья у бабочек», — рассказы-вали те, кто помнил его с самых ранних лет; «Истязал кошек», — говорили другие; «Убивал собак», — вспоминали о времени, наиболее близком к первому убийству. — Всегда находил удовольствие в том, чтобы мучить слабых и беззащитных».

Жестокость к человеку чаще всего начинается с жестокости к животным. С жестокости, которая остается безнаказанной. Эта истина тривиальна. Однако тривиальность не делает истину менее справедливой.

Этой-то истине и посвящена книга Б. С. Рябинина, написанная со страстью, сообщающая читателю множество интересных и далеко не всем известных сведений и преследующая благородную и высокогуманную цель — ратуя за доброе отношение к животным, она воспитывает любовь и уважение к человеку.

Читатели книги узнают: слон может плакать, собака — смеяться. Русский медведь заслужил во Франции боевую награду «За храбрость». Кошка помогала тяжело раненому советскому воину. Собаки боролись с вражескими танками... Но автор рассказывает и о другом. О том, как порою не только не преследуется, но даже поощряется жестокость по отношению к животным. Недавно Медгиз выпустил книжку, ратующую за повсеместную ликвидацию кошек. А кое-где это проводится в жизнь, и даже ребята привлекаются к этому бессмысленно жестокому делу! В Риге обязали каждого охотника убить по десятку сорók или по две собаки. В Чувашии и Ростовской области затеяли истребить всех грачей — полезнейших союзников земледельца в борьбе с полевыми вредителями. Невольно вспоминается печальный опыт одной страны, где истребили всех воробьев, а потом вынуждены были закупать их за рубежом...

И самое важное — об этом Б. С. Рябинин говорит со всей убедительностью — тот моральный урон, который приносит усвоенная с детских лет жестокость, нелюбовь к животному.

Книга хорошо написана. Воспитательное ее значение бесспорно. Она заслуживает пристального внимания педагогов и родителей, ответственных за формирование души ребенка. И в первую очередь эту книгу полезно прочесть самим детям.

А. Таланов.

★

А. РУБАКИН. Над рекою времени. Воспоминания. «Международные отношения». М. 1966. 527 стр.

Профессору А. Н. Рубакину — семьдесят пять лет. Жизнь его интересна и поучительна, многому он был в жизни свидетелем, встречался со многими выдающимися людьми своего времени. Ему есть о чем поведать советскому читателю. Сын знаменитого русского библиографа и популяризатора научных знаний Н. А. Рубаки-

на, автор в школьном возрасте стал участником революционного движения, был арестован и сослан. В 1908 году он бежал из Сибири во Францию, где и прожил тридцать пять лет. Возвратившись на родину, А. Н. Рубакин ведет плодотворную научную работу в области здравоохранения.

Воспоминания А. Н. Рубакина — широкое полотно. Плывая вместе с автором по «реке времени», читатель познакомится с жизнью Парижа начала века, с бытом и нравами русских эмигрантов, с некоторыми событиями первой мировой войны и в период между двумя войнами. Он найдет в книге выразительные описания встреч с В. И. Лениным, с народными комиссарами А. В. Луначарским и Н. А. Семашко, дипломатами Л. Б. Красиным и А. Я. Аросевым, генералом А. А. Игнатьевым, Ф. И. Шаляпиным, французскими писателями А. Барбюсом и Жаном-Ришаром Блоком, с автором «Интернационала» П. Дегейтером и другими. Особенно подробно рассказывается о Ромене Роллане: с ним автор был хорошо знаком и часто бывал на его вилле в Швейцарии. Большая часть книги посвящена тяжелым временам немецкой оккупации Франции, мятарствам автора в петэновских концлагерях метрополии и Алжира, трудному пути на родину через Египет, Палестину, Ирак, Иран.

Не во всем можно согласиться с А. Н. Рубакиным: оценки событий и характеристики людей подчас весьма субъективны, иногда слишком много внимания уделяется второстепенным и даже малозначительным событиям. Но эти недостатки вполне искупаются многими достоинствами книги — богатством и важностью фактических материалов, эмоциональным изложением, гуманистическим духом воспоминаний.

А. Черняк.

★

ЯКУБ КАДРИ КАРАОСМАНОГЛУ. Дипломат поневоле. Воспоминания и наблюдения. Сокращенный перевод с турецкого Г. Александрова. «Международные отношения». М. 1966. 272 стр.

«Я избрал свой заголовок «Дипломат поневоле», иронически перефразировав «Лекаря поневоле» Мольера и Вефика-паши. Иначе, чем бы отличались мои записки от скучных, усыпляющих «мемуаров» всех остальных отставных дипломатов?»

Неплохо сказано, не правда ли? Книга действительно читается с интересом. Ее автор — крупный турецкий писатель и дипломат, представлявший в 1934—1951 годах свою страну в Албании, Чехословакии, Голландии, Швейцарии и Иране, человек либеральных политических взглядов. Он рассказывает о встречах с известными деятелями (например, Кемалем Ататюрком), разоблачает мюнхенское предательство западных держав, гневно бичует политику гитлеровской Германии, характеризует Лигу Наций «как беспомощную организацию», которая, «вместо того чтобы предупре-

дить события», сама «плелась в хвосте этих событий», нелестно отзываясь о характере «помощи» США в послевоенные годы и т. п. Достоинство книги — в умелых зарисовках и характеристиках, хотя описание событий тридцатых—сороковых годов не может претендовать на документальную достоверность и порой грешит ошибочными оценками.

Из своей двадцатилетней карьеры дипломата Караосманоглу делает вывод, что современная буржуазная дипломатия давно стала «анахроническим учреждением». По его словам, «ей чужда динамика нашего века, ей неведомо и существование новых движущих сил общества, определяющих судьбы многих народов и государств», она «не знает, в какую мощную силу превратилось, например, общественное мнение», «не признает все возрастающий авторитет народных масс». Автор считает ханжество и лицемерие типичной чертой дипломатии Запада и отмечает «профессиональную деградацию большинства карьерных дипломатов». На этом фоне показательно его признание, что русские «поставили нас в тупик именно в области дипломатии».

Как будет разрешена проблема труда и капитала? Как устранить неравенство? До каких пор будут применяться терапевтические методы лечения социальных и экономических болезней, которые уже давно требуют ножа хирурга? Эти и подобные вопросы беспокоят автора. Однако, в силу своей слепой веры в «вечность» буржуазного строя, он не находит не только ответа на них, но и верной постановки проблем. В книге есть и страницы, навеянные атмосферой «холодной войны» империализма против социалистических государств.

А. Степанов.

★

СТАНИСЛАВ ПАНКРАТОВ. Вахрушев. Повести. «Молодая гвардия». М. 1967. 334 стр.

Автор этой книги знает жизнь не понаслышке. В недавнем прошлом он газетчик, до этого матрос на Северном флоте. Ранняя его повесть «Вахрушев» и посвящена Северу, людям, которые своим трудом преобразуют этот нелегкий край.

Герои его второй, кажущейся мне более зрелой, повести «Большие часы на солнечной стене...» — молодые музыканты, недавние студенты консерватории Саша Родионова и Борис Лагреньев.

Сначала автор знакомит нас только с Сашей; Борис несколько лет тому назад внезапно бросил консерваторию и уехал куда глаза глядят. Почему? На первый взгляд ничего страшного не случилось, можно сказать, обычное дело. Саша даже решила, что «они с Борькой это дело переживут». Студента четвертого курса Бориса Лагреньева «проработали» на комсомольском бюро за проявление «не наших настроений». Вся вина его состояла в том, что

Борис в своей записной книжке зло высмеял и пародировал пошлые поделки некоего популярного песенника. «На всякий случай» Лагренева осудили, «почти единогласно вкатили выговор с занесением». Руководил бюро лучший друг Бориса Сенька Штыров. Предательство Сеньки Штырова не слишком поразило Лагренева, но вот почему Саша промолчала?.. Правда, она голосовала против, но «голос без объяснений, как известно,— еще не весь голос...».

Сейчас, через четыре года, Саше вдруг неудержимо захотелось встретиться с Борисом, поговорить с ним, добраться до него, «до его города, может быть— до его сердца».

Поездка не приносит Саше счастья с Борисом. Но в душе ее зреет новая музыка — задумчивая, незаметная, «как тихий рассвет на острове, когда створные огни медленно растворяются в утреннем свете, в крепнущем солнечном накале...».

Жизнь продолжается. Может быть, у каждого из них будут еще свои радости, но что-то важное и дорогое бесповоротно ушло. Ничто не проходит даром, приходится расплачиваться за все, что совершил ты или твой лучший друг.

В этой повести мы не встретим ни одного персонажа, который хотя бы в шутку способен был сказать подобно чеховскому Кулыгину: «Я — доволен, я — доволен, я — доволен». Но — удивительное дело! — печальная повесть эта не оставляет унылого впечатления, она заражает энергией, заставляет думать.

Призыв к спасительному раздумью — не просто декларация. Эта мысль вытекает из повести естественно и убедительно. Так же естественна и убедительна ее композиция, продиктованная разыгравшейся драмой.

Повествование ведется стремительно, темпераментно, часто иронично. Правда, отталкиваясь от пресности и косности, которые прячутся за обезличенной литературной речью, автор, к сожалению, злоупотребляет жаргоном (в данном случае студенческим, интеллигентским), принимая его за живое слово. Ведь по сути дела жаргон — штамп, то есть новая форма той самой пресной речи, которая мешает слушать живую жизнь. И об этом надо прямо сказать молодому способному писателю. Испорченная жаргоном речь свидетельствует не о мужественном стиле, а о задиристом, вызывающем, дерзком — это порох, рассыпанный на полу, он может ярко вспыхнуть, но не способен послать заряд точно в цель.

Г. Литинский.

★

СТЕЛЛА КОРЫТНАЯ. Пером и объективом. «Искусство». М. 1966. 248 стр.

Книга С. Корытной «Пером и объективом» — интересный опыт толкования событий кинематографа, по преимуществу по-

следнего десятилетия, в сопоставлении с литературой этих лет. В ней собраны статьи, общую тему которых автор формулирует в подзаголовке книги: «Киногеничен ли духовный мир?»

Вопросительный знак тут, конечно, не выражает действительных сомнений автора. Он намекает скорее на печальную неспособность некоторых работников кино сказать в своих лентах что-либо правдивое о духовном мире людей. Плохие фильмы — это фильмы «литературные». Дело, конечно, не в формальных приемах: плохие фильмы — это всегда фильмы, фиксирующие (с большим или меньшим мастерством) книжную жизнь, выдуманную от недостатка таланта или честности.

Разумеется, интереснее отношения хорошего кино с хорошей литературой. Сегодня это факт создания — по примеру высокой литературы — «размышляющего», «рассуждающего» кино. И что главное — создание своими собственными, органическими средствами. Ведь именно в последние годы на наших глазах киноискусство нащупало такие приемы исследования жизни, что заслужило высшую похвалу.

В книге С. Корытной немало тонких наблюдений над тем, какие же именно «ухищрения» помогают кино «угнаться» за литературой. И как писатели наших дней в свою очередь следят за вторжением кино в глубь «духовного мира» и нередко идут уже по стопам кинорежиссеров.

Автор справедливо видит достоинство сегодняшнего кино в том, что оно может и не боится видеть жизнь в такой ее сложности, напряженности — равно и эмоциональной и интеллектуальной, — как это было невозможно прежде.

Книга «Пером и объективом», безусловно, помогает нам в таком важном деле, как «поиск более правомерных и сопоставимых измерителей и критериев», позволяющих по достоинству оценить все те «многообразные приемы раскрытия человеческого характера, какими располагает и оперирует сегодня киноэкран».

Но следует еще и еще раз заметить, что не довольно лишь искать и даже находить эти самые критерии. Дело первой необходимости — довести их до масс. Каждый фильм, попавший на экраны, как известно, смотрят сотни тысяч людей. Если фильм передан по центральному телевидению, то на следующее утро о нем говорят почти во всех городах и во многих деревнях.

И вот очень важно, что же именно говорят. Ведь кино, как никакое другое искусство, зависит от публики. Если зрители научатся отличать хорошие фильмы от дурных, то никто не сможет позволить себе роскоши изготавливать последние.

Это главная практическая мысль, которая приходит при чтении книги С. Корытной «Пером и объективом».

М. Гордин.

Ленинград.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. О научном коммунизме. Хрестоматия. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. 496 стр. Цена 70 к.

В. Арсенкин. Путь к разуму и сердцу. 128 стр. Цена 17 к.

А. Бутицкий. Клеймо Брудербонда. 80 стр. Цена 10 к.

Документы Конференции европейских коммунистических и рабочих партий в Карловых Варах. 24—26 апреля 1967 года. 24 стр. Цена 3 к.

С. Мокшин. В алмазном краю. 112 стр. Цена 15 к.

В. Осипов. Британия. 60-е годы. 304 стр. Цена 48 к.

В. Ржешевский. Хозяйственная реформа и права предприятий. 128 стр. Цена 20 к.

Н. Смеляков. Деловая Америка (Записки инженера). 304 стр. Цена 68 к.

А. Соловков. Точка опоры. Заметки хозяйственника о парработе. 72 стр. Цена 11 к.

Страны зарубежной Европы. Политико-экономический справочник. 374 стр. Цена 63 к.

Ю. Юров. Путешествие по ленинской адресной книжке. 272 стр. Цена 75 к.

«МЫСЛЬ»

Африка еще не открыта. Сборник очерков. 472 стр. Цена 91 к.

А. Геласимова. Записки подпольщицы. 304 стр. Цена 63 к.

Б. Грушин. Свободное время. Актуальные проблемы. 176 стр. Цена 24 к.

А. Котляр. Рабочая сила в СССР (Вопросы теории воспроизводства). 176 стр. Цена 57 к.

Л. Лахин. Критика антимарксистских концепций взаимоотношения личности и общества. 72 стр. Цена 11 к.

О. Мокиевский. Нусантара. Записки биолога об экспедиции в Индонезию. 230 стр. Цена 59 к.

В. Остряков, А. Степановичюс. Социально-политические факторы формирования коммунистической сознательности трудящихся. 160 стр. Цена 51 к.

В. Пазёнок. Социализм и справедливость. 88 стр. Цена 13 к.

М. Эйзелин. Неизведанный Гиндукуш. Перевод с немецкого. 166 стр. Цена 64 к.

Экономические вопросы развития энергетики. Сборник статей. 166 стр. Цена 52 к.

А. Яковлев. Идеология американской «империи». Проблемы войны, мира и международных отношений в послевоенной американской буржуазной политической литературе. 464 стр. Цена 1 р. 75 к.

«ЭКОНОМИКА»

А. Архипов. План, сбыт и инициатива сельскохозяйственных предприятий. 46 стр. Цена 8 к.

А. Годунов. Введение в теорию управления (Система промышленного производства). 280 стр. Цена 65 к.

Заготовительные цены и чистый доход. Сборник. 192 стр. Цена 60 к.

Л. Карпов. Экономический анализ вспомогательного производства. 160 стр. Цена 48 к.

Е. Киссель. Организация труда исследователей и проектировщиков. 184 стр. Цена 57 к.

В. Левин. Социально-экономические уклады в СССР в период перехода от капитализма к социализму (Государственный капитализм и частный капитализм). 168 стр. Цена 60 к.

В. Назаров, И. Ивашкин. Применение ЭВМ в материально-техническом снабжении. 240 стр. Цена 82 к.

Новая система планирования и стимулирования в промышленности (Опыт перевода предприятий в первом полугодии 1966 г.). Сборник. 184 стр. Цена 36 к.

Б. Степанов. Планирование рабочих кадров на промышленных предприятиях. 112 стр. Цена 29 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Гроссман. Добро вам! Рассказы. 280 стр. Цена 52 к.

Н. Грибачев. Любовь моя шальная. Рассказы. 335 стр. Цена 57 к.

Н. Жернанов. Буйная Падегора. Повести. 304 стр. Цена 50 к.

А. Иващенко. Заметки о современном реализме. 275 стр. Цена 63 к.

А. Имерманис. Земля vs вселенной одна. Стихи и поэмы. Перевод с латышского. 110 стр. Цена 22 к.

Я. Казена. Кондрат Крапива. Критико-биографический очерк. Перевод с белорусского. 142 стр. Цена 28 к.

Н. Калитин. Слово и время. 400 стр. Цена 1 р. 3 к.

К. Ларионова. Большой рейс. Повесть. 247 стр. Цена 39 к.

Н. Музаев. Продолжение песни. Стихи. Перевод с чеченского. 131 стр. Цена 20 к.

В. Некрасов. Путешествие в разных измерениях. 439 стр. Цена 71 к.

А. Осипенно. Огненный азимут. Роман. Перевод с белорусского. 416 стр. Цена 71 к.

З. Паперный. Человек, похожий на самого себя. О Михаиле Светлове. 255 стр. Цена 66 к.

А. Прокофьев. Гроздь. 375 стр. Цена 67 к.

Н. Рыбак. Солдаты без мундиров. Роман. Перевод с украинского. 620 стр. Цена 1 р. 4 к.

О. Фокина. Аленушка. Стихотворения и поэма. 79 стр. Цена 16 к.

В. Шаламов. Дорога и судьба. Книга стихов. 127 стр. Цена 23 к.

Д. Щеглов. Три тире (Дневник офицера). Уполномоченный Военного совета (Записки офицера). 584 стр. Цена 1 р. 8 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ап. Григорьев. Литературная критика. 631 стр. Цена 1 р. 70 к.

А. Данте. Новая жизнь. Божественная комедия. 686 стр. («Библиотека всемирной литературы»). Цена 1 р. 50 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Д. Бедный. Избранная лирика. 31 стр. Цена 5 к.

К. Брукнер. Золотой фараон. Приключения грабителей могил за три тысячи лет до нашей эры. Перевод с немецкого. 200 стр. Цена 75 к.

А. Голубев. Тогда умирает футбол. Роман. 383 стр. Цена 59 к.

П. Межирицкий. Десятая доля пути. Повесть. 320 стр. Цена 41 к.

А. Шастин. Пять цветов августа. Повесть. 96 стр. Цена 10 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

К. Бивье. Дом на улице Четырех Ветров. Перевод с французского. 159 стр. Цена 34 к.
Дети революции. Рассказы. 304 стр. Цена 56 к.

Б. Полевой и Н. Жуков. Наш Ленин. 143 стр. с илл. Цена 83 к.

М. Поступальская. Вечно живой. Рассказы об огне. 192 стр. Цена 49 к.

А. Твардовский. Василий Теркин. Книга про бойца. Рис. О. Верейского. 232 стр. Цена 70 к.

М. Цунц. Властелин рек. 175 стр. Цена 37 к.

«НАУКА»

М. Адиб. Муниципалитет, доктор и Соломоград. Рассказы. Перевод с урду. 104 стр. Цена 28 к.

А. Андреев. Советы рабочих и солдатских депутатов накануне Октября. 423 стр. Цена 1 р. 85 к.

У. Брэгг. Мир света. Мир звука. Перевод с английского. 335 стр. Цена 1 р. 50 к.

Л. Гинцбург. Тень фашистской свастики. Как Гитлер пришел к власти. 206 стр. Цена 65 к.

А. Гозенпуд. Центральный детский театр. 1936—1961. 307 стр. Цена 1 р. 42 к.

Ю. Красин. Ленин, революция, современность. Проблемы ленинской теории социалистической революции. 563 стр. Цена 2 р. 4 к.

Крестьянство и классовая борьба в феодальной России. Сборник статей памяти И. И. Смирнова. 456 стр. Цена 2 р. 6 к.

Правовые вопросы научно-технического прогресса в СССР. 511 стр. Цена 1 р. 85 к.

Прошлое и настоящее. Из истории европейских стран народной демократии. 260 стр. Цена 1 р. 6 к.

«ПРОГРЕСС»

И. Доби. Исповедь и история. Воспоминания. Перевод с венгерского. 446 стр. Цена 1 р. 16 к.

З. Залуский. Пропуск в историю. Перевод с польского. 416 стр. Цена 1 р. 50 к.

Здесь и трава родится красной. Стихи поэтов Анголы, Мозамбика, островов Зеленого Мыса и Сан-Томе. Перевод с португальского. 216 стр. Цена 92 к.

Э. Станев. Иван Кондарев. Роман. Перевод с болгарского. Части 1—2. 448 стр. Цена 1 р. 36 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В. Кузнецов. Остров времени. Книга новых стихов. 87 стр. Цена 15 к.

В. Осипов. Рассказ в телеграммах. 263 стр. Цена 41 к.

Эллай. Камень счастья. Стихи и поэмы. Перевод с якутского. 56 стр. Цена 12 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

П. Воронин. Хочу жить. Роман. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 208 стр. Цена 27 к.

С. Винулов. Избранное. Вологда. Северо-Западное книжное издательство. 192 стр. Цена 50 к.

А. Грачев. Полгода поисков людских. Роман. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 184 стр. Цена 48 к.

И. Гуммер. В нашем дворе... Повесть. Волгоград. Нижне-Волжское книжное издательство. 208 стр. Цена 40 к.

О. Гуссаковская. О чем разговаривают рыбы. Магадан. Книжное издательство. 128 стр. Цена 17 к.

В. Кузьмин. «Игарка», ты слышишь меня? Сборник рассказов. Горький. Волго-Вятское книжное издательство. 79 стр. Цена 10 к.

В. Логинов. Дороги товарищей. Роман. Краснодар. Книжное издательство. 639 стр. Цена 1 р. 11 к.

В. Михайлов. Люди и корабли. Рассказы. Рига. «Звайгзне». 171 стр. Цена 30 к.

А. Мифтахутдинов. Рассказы про Одиссея. Рассказы. Магадан. Книжное издательство. 126 стр. Цена 13 к.

К. Соронин. По следам легенды (Рассказы, очерки, были). Барнаул. Алтайское книжное издательство. 128 стр. Цена 18 к.

Н. Толмачева. Старшая сестра. Повесть. Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство. 252 стр. Цена 59 к.

М. Халфина. Простые истории. Рассказы, повести. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 191 стр. Цена 30 к.

С. Чулошникова. Идет по городу любовь. Стихи. Одесса. «Маяк». 55 стр. Цена 10 к.

69 параллель. Рассказы, стихи, очерки норильских литераторов Красноярск. Книжное издательство. 154 стр. Цена 39 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 25/V 1967 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 1/VII 1967 г.
А 02578. Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
Зак. 1783. Тираж 140.800.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636